

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА

Н. А. Богомолов



МИХАИЛ  
КУЗМИН

СТАТЬИ И МАТЕРИАЛЫ

Н. А. Богомолов



МИХАИЛ  
КУЗМИН



*Посвящаю эту книгу моей жене*



Г.С. Верейский. Портрет Кузмина. 1929(?)  
Из собрания Л.М. Турчинского

**Н. А. БОГОМОЛОВ**

**МИХАИЛ КУЗМИН:  
СТАТЬИ  
И МАТЕРИАЛЫ**

**Москва  
«НОВОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ»  
1995**

# НОВОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Научное приложение. Вып. III

Адрес редакции:  
129626 Москва, абонент. ящик 55

Редактор выпуска

*Т. Михайловская*

Художник

*Нина Пескова*

## СОДЕРЖАНИЕ

<i>От автора</i> . . . . .	6
<b>Часть первая. МАЛЕНЬКАЯ МОНОГРАФИЯ</b>	
«Любовь — всегдашняя моя вера...» . . . . .	9
<b>Часть вторая. СТАТЬИ</b>	
Литературная репутация и эпоха . . . . .	57
Петербургские гафизиты . . . . .	67
Кузмин осенью 1907 года . . . . .	99
Автобиографическое начало в раннем творчестве Кузмина . . . . .	117
Из комментария к стихам двадцатых годов . . . .	151
«Отрывки из прочитанных романов» . . . . .	163
Вокруг «Форели» . . . . .	174
<b>Часть третья. МАТЕРИАЛЫ</b>	
Вхождение в литературный мир . . . . .	181
Переписка с В. Ф. Нувелем . . . . .	216
Дневниковые записи В. К. Шварсалон . . . . .	310
Примечания . . . . .	338



## ОТ АВТОРА

Когда в 1973 году я поступал в аспирантуру филологического факультета МГУ, тогдашний заведующий кафедрой А. И. Метченко, прославленный исследователь соцреализма, наверняка внутренне содрогнулся, услышав, что я хотел бы написать диссертацию о творчестве Вл. Ходасевича или М. Кузмина. Внешне он этого почти не показал, но отверг мои безумные притязания весьма решительно.

Читатель семидесятых и даже первой половины восьмидесятых годов, не имевший возможности следить за специальной литературой, знал о Кузмине лишь несколько фактов (и то далеко не всегда верно трактованных), залетавших в учебники по истории литературы начала века, да еще мог прочитать несколько его стихотворений в разного рода хрестоматиях по истории литературы. «Прекрасная ясность», «шабли во льду», «маски» — вот едва ли не все, что было тогда известно.

С тех пор прошло немало времени. В России вышло несколько книг стихов и прозы Кузмина, сборник статей и материалов о нем, появились отдельные публикации в журналах и разных ученых записках, готовится к печати собрание сочинений и издание многолетнего дневника, который Кузмин вел с 1905 по 1931 год... В печати находится написанная мною и Дж. Малмстадом подробная биография Кузмина (Михаил Кузмин: Искусство, жизнь, эпоха. М.: изд. «А/Я»). И все-таки еще очень многое в его жизни и творчестве остается загадочным, нуждается в комментировании и расшифровке. Именно поэтому я решаюсь сделать достоянием читателей сборник своих статей и материалов, посвященных творчеству Михаила Алексеевича Кузмина от первых лет его литературного пути до самых последних дошедших до нас стихов. Автор с благодарностью вспоминает всех тех, кто определил нынешний уровень разысканий о Кузмине: пионера кузминских штудий Г. Г. Шамова, составителей трехтомного собрания стихов Кузмина Дж. Малмстада и Вл. Маркова, а также А. В. Лаврова, Р. Д. Тименчика, К. Н. Суворову, Ж. Шерона, С. Чимишкян, Дж. Барнстеда, М. Грина, А. Г. Тимофеева, В. Н. Топорова, Т. В. Цивьян, К. Харера, П. В. Дмитриева, И. Паперно, Б. Гаспарова, М. Л. Гаспарова, Г. А. Морева и других, чьи статьи и публикации читались и перечитывались на протяжении многих лет.

**Часть первая**

**МАЛЕНЬКАЯ  
МОНОГРАФИЯ**

## «ЛЮБОВЬ — ВСЕГДАШНЯЯ МОЯ ВЕРА...»

Михаил Кузмин немало написал в своей жизни: одиннадцать сборников стихотворений, девять небольших, но и не маленьких томов прозы, пять книг пьес и вокально-инструментальных циклов (не считая несобранных и оставшихся неопубликованными), статьи о литературе, театре, живописи, которых набирается на пару солидных книг, переводы в прозе и стихах<sup>1</sup>. Это дополняется большим архивом, где хранятся восемнадцать томов дневника за четверть века, обширные эпистолярные комплексы, ноты, выписки из разных книг<sup>2</sup>.

Теснейшим образом Кузмин был связан со всей культурой начала века и двадцатых годов. Без обращения к его имени не обходятся исследователи творчества Блока, Брюсова, Вячеслава Иванова, Гумилева, Ахматовой, Мандельштама, Хлебникова, Цветаевой, Пастернака, Маяковского, Вагинова, обэриутов<sup>3</sup>, оно непременно будет присутствовать в биографиях Сомова, Судейкина, Сапунова, Мейерхольда, в описаниях самых различных театральных предприятий. Включая имя Кузмина в перечислительные ряды, мы непременно увидим рефлексy соседствующих явлений и на его собственном творчестве, на его собственной жизни. Одним словом, материала для изучения и осмысления, как кажется, более чем достаточно. И все же любой ученый, берущийся писать о Кузмине, обязан, хотя бы и не произнося этого вслух, признаться, что очень и очень многого еще не знает.

Своеобразным символом загадок *жизненных* стал надгробный камень на могиле Кузмина с неверной датой рождения, а символом загадок *творчества* — судьба произведений, писавшихся в тридцатые годы, от которых до нас не дошло буквально ничего.

И при этом следует помнить, что личность и творчество Кузмина связаны между собою на редкость тесно даже для той эпохи, в которую он жил и которая настаивала на единстве жизни и поэзии. Детские и юношеские увлечения, известные только самому поэту перипетии жизни, вкусы и пристрастия, прихотливые изгибы настроения создают особую атмосферу всего творчества. Читатель и исследователь должны принять это как аксиому.

Конечно, далеко не всё мы ныне в состоянии разгадать и рассказать, однако создать некоторое представление о Кузмине как человеке и творце — вполне возможно<sup>4</sup>. И наш рассказ должен непременно включать хотя бы краткое повествование о жизни, а не только о поэзии, тем более что вокруг Кузмина нередко складывались легенды, фиксируемые современниками, и эти легенды охотно, с полным доверием пересказывают некоторые авторы книг, выходящих в наши дни<sup>5</sup>.

## 1

Мемуаристы оставили нам немало описаний внешности Кузмина, дающих не только выразительный портрет, но одновременно и раскрывающих психологический мир поэта.

Вот один из наиболее ранних не по времени создания, но по хронологии жизни Кузмина: «Из окна бабушкиной дачи я увидел уходящих дядиных <К.А.Сомова> гостей. Необычность одного из них меня поразила: цыганского типа, он был одет в ярко-красную шелковую косоворотку, на нем были черные бархатные штаны навывпуск и русские лакированные высокие сапоги. На руку был накинут черный суконный казакин, а на голове суконный картуз. Шел он легкой эластичной походкой. Я смотрел на него и все надеялся, что он затанцует. Моих надежд он не оправдал и ушел, не протанцевав»<sup>6</sup>.

Примерно из того же времени — описание А.М.Ремизова: «Не поддевка А. С. Рославлева, а итальянский камзол. Вишневый бархатный, серебряные пуговицы, как на архиерейском облачении, и шелковая кислых вишен рубаха: мысленно подведенные вифлеемские глаза, черная борода с итальянских портретов и благоухание — роза.

Заметив меня, он по-лошадиному скосил свой глаз:

— Кузмин.

И когда заговорил он, мне вдруг повеяло знакомым — Рогожской, уксусные раскольничьи тетки, суховатый язык, непромоченное горло. И так это врозь с краской, глазами и розовым благоуханием. А какое смирение и ласка в подскакивающих словах»<sup>7</sup>.

И еще один ремизовский вариант: «Кузмин тогда ходил с бородой — чернющая! — в вишневой бархатной поддевке, а дома у сестры своей Варвары Алексеевны Ауслендер появлялся в парчевой золотой рубахе навывпуск, глаза и без того — у Сомова хорошо это нарисовано! — скосится — ну, конь! а тут еще карандашом слегка, и так смотрит, не то сам фараон Ту-танк-хамен, не то с костра из скитов заволжских, и очень душился розой — от него, как от иконы в праздник»<sup>8</sup>.

Не напоминая читателю известного портрета работы Марины Цветаевой, относящегося к 1916 году, а написанного в 1936-м<sup>9</sup>, процитируем описание Кузмина тридцатых годов, сделанное известным

искусствоведом В. Н. Петровым: «Его матово-смуглое лицо казалось пожелтевшим и высохшим. Седые волосы, зачесанные на лоб, не закрывали лысины. Огромные глаза под седыми бровями тонули в глубокой сетке морщин. <...> А если довериться сохранившимся любительским фотографиям, то может создаться впечатление, что Кузмин — это маленький худенький старичок с большими глазами и крупным горбатым носом. Но это впечатление ложно. Фотографии ошибаются — даже не потому, что объектив видит не так, как глаз человека, а потому, что аппарат не поддается очарованию. А здесь все решалось именно силой очарования»<sup>10</sup>.

Обратим внимание на общую у всех мемуаристов ноту, не всегда заметную с первого взгляда, но постоянно присутствующую (так же, как и у других, чьи воспоминания здесь не процитированы): в облике Кузмина сочетается несочетаемое; явственно чувствуемое очарование возникает почти без видимых причин, как бы вступая в противоречие со всей внешностью. И сходное впечатление нередко складывается, когда том за томом перечитываешь его литературное наследие, постоянно натываясь на раздражающие, а то и вовсе пустые места, обыденные, ничего не говорящие сердцу стихотворения, а то и попросту на очевидную халтуру... Но вдруг проскальзывает нечто, с трудом определимое словами, — и все окружающее освещается резким и отчетливым светом большого искусства.

Прихотливая изменчивость творчества совершенно очевидно была у Кузмина производным от его собственной биографии, наполненной не столько событиями внешними — путешествиями, резкими переменами положения, решительными происшествиями, — сколько внутренними изменениями душевного строя.

Мы обладаем вроде бы достаточным количеством материала, чтобы попытаться реконструировать истоки кузминского творчества и его внутреннюю эволюцию, — прежде всего достаточным количеством автобиографических текстов, доступных нам сегодня; но, как это почти всегда и бывает у литератора, автобиографичность оказывается далеко не всегда достоверной.

Попробуем все же представить себе его жизнь в том виде, в каком она известна сейчас, с естественными оговорками о возможных пропусках и искажениях.

Михаил Алексеевич Кузмин родился 6 октября 1872 года в Ярославле, в семье отставного военного. Однако эта почти академически звучащая фраза уже с самого начала оказывается в высшей степени двусмысленной, поскольку год своего рождения Кузмин очень часто называл по-разному. Чаще всего в справочниках, энциклопедиях и даже в документах, написанных его собственной рукой, фигурировал 1875-й, но встречался даже и 1877-й, что, естественно, несколько сдвигало картину существования поэта в культуре: если первая дата делала его старшим современником Брюсова и приближала по возрасту к Мережковским, Сологубу, Вяч.Иванову, то вторая сразу

отбрасывала к Блоку и Белому, почти одновременно с которыми Кузмин и дебютировал в литературе. Определение даты рождения, оказавшееся не столь уж простым делом<sup>11</sup>, обнажило одну из главных черт отношения Кузмина к собственной биографии, подверженной любым изменениям в зависимости от сиюминутной внутренней задачи.

Дальнейшее его жизнеописание под раскованным пером Георгия Иванова предстает таким:

«...Кузмин ходит в смазных сапогах и поддевке.

...Кузмин принимает гостей в шелковом кимоно, обмахиваясь веером...

...Он старообрядец с Волги...

...Он еврей...

...Он служил молодцом в мучном лабазе...

...Он воспитывался в Италии у иезуитов... <...> Раньше была жизнь, начавшаяся очень рано, страстная, напряженная, беспокойная. Бегство из дому в шестнадцать лет, скитания по России, ночи на коленях перед иконами, потом атеизм и близость к самоубийству. И снова религия, монастыри, мечты о монашестве. Поиски, разочарования, увлечения без счета. Потом — книги, книги, итальянские, французские, греческие. Наконец, первый проблеск душевного спокойствия — в захолустном итальянском монастыре, в беседах с простодушным каноником»<sup>12</sup>.

Проще всего деловито сказать, что не было в биографии Кузмина ни еврейства, ни (как писали другие авторы) ассирийского происхождения, ни истинного старообрядчества, ни службы в лабазе, ни воспитания у иезуитов, ни бегства из дому, ни монастырей... Но в то же время за внешней неправдой этих слов видно и умение их автора уловить истинную страстность и напряженность жизни, зафиксированную собственными письмами Кузмина и автобиографическими записями<sup>13</sup>.

Обстановку его дома определяет фраза из «Histoire édifiante...»: «Я рос один и в семье недружной и несколько тяжелой, и с обеих сторон самодурной и упрямой». Если суммировать основные впечатления из его записей о ранних годах жизни, то вряд ли ей можно подобрать иное определение, чем «безотрадная»: старый отец, замкнутая и тоже немолодая мать, болезни свои и окружающих, смерти, ссоры, далеко не блестящее материальное положение, временами становящееся просто невыносимым.

И, как часто бывает в подобных случаях, одиночество и отделенность от сколько-нибудь широкого круга общения рано разбудили в мальчике мечтательность, усиленную тем особым эффектом провинциально-патриархальной жизни, который столь ярко описан еще в «Детских годах Багрова внука». Поэзия домашней жизни, тесная связь с волжской природой (после Ярославля до двенадцати лет Кузмин с родителями прожил в Саратове), особый склад воспитания, где

традиционные нянькины сказки и рассказы сливались с естественно входившим в жизнь искусством, определяли его детство. В том же автобиографическом тексте повествуется: «Мои любимцы были «Faust», Шуберт, Россини, Meyerbeer и Weber. Впрочем, это был вкус родителей. Зачитывался я Шекспиром, «Дон Кихотом» и В. Скоттом...» Почти все названные имена и произведения могли бы войти в жизнь мальчика, выросшего не в конце семидесятых и начале восьмидесятых годов прошлого века, а где-нибудь в конце тридцатых. И столь же традиционны — будучи в то же время абсолютно индивидуальными по сочетанию — ранние впечатления от искусства, подробно описанные в письме к Чичерину от 18 июля 1893 года (столь ранняя дата письма заставляет поверить в то, что сведения, оттуда извлекаемые, в наибольшей степени могут оказаться достоверными: еще не начавшему входить в художественную жизнь Кузмину не было никакого резона создавать какую-то особую маску, как это видно в иных более поздних его свидетельствах): «Я вообще мало знал ласки в детстве, не потому, чтобы мой отец и мама не любили меня, но, скрытные, замкнутые, они были скупы на ласки. Мало было знакомых детей, и я их дичился; если я сходился, то с девочками. И я безумно любил свою сестру, не ту, что теперь в Петербурге, но другую, моложе ее. Она была поэтическая и оригинальная натура. <...> У нее был талант для сцены, и раз я слышу ночью, что она говорит; я тихо подошел к двери и вижу, что Аня стоит с тихой улыбкой в мантии из красного платка и говорит слова Гермियोны в последнем акте «Зимней сказки» Шекспира. Тихой, синей отрадой повеяло на меня. Утром я начал ей говорить, что запомнил из вчерашнего: конечно, должен был признаться, что я подслушал; тогда она дала мне Шекспира. Ты знаешь ли чтения ночью, когда весь в жару и трепете пожираешь запрещенные страницы, полные крови, любви, смерти и эльфов, а ночь, как черная лента, тянется долго, долго? Потом скоро мне позволили все читать. Темные зимние вечера у печки, когда я зачитывался Гофманом! И потом наяву я грезил и вечерними колоколами в Вартбурге и Нюремберге <так!>, и догарессой, бедной и прекрасной, и человеком, который полюбил автомат <...> Потом помню себя совсем маленьким осенью при вечерней заре, когда прислуга рубит капусту в сарае; запах свежей капусты и первый холод осени так бодры; небо палево, и нянька вяжет чулок, сидя на бревне. И с мучительной тоскою смотрю я на небо, где летит стая птиц на юг. «Нянька, куда же они летят-то, скажи мне?» — со слезами спрашиваю я. — «В теплые страны, голубчик». И ночью я вижу голубое море, и палевое небо, и летящих розовых птиц. <...> Я мечтал о каких-то мною выдуманных существах: о скелетиках, о смердюшках, тайном лесе, где живет царица Арфа и ее служанки однорукие Струны. <...> А первый кукольный театр! Чудо! даже теперь я весь покраснел от удовольствия. И волшебный фонарь, и китайские тени, и опера, и драма. Оперы я всегда и сочинял и пел своим тоненьким гибким голо-

сом сам, содержание всегда тоже сам сочинял. Драмы же брал Шекспира...»

Это письмо можно было бы цитировать еще и еще, но прервемся и попробуем определить, что же главного содержится в приведенном рассказе. Думается, с одной стороны — это традиция далекого прошлого, навсегда связавшая Кузмина с исконной жизнью небогатого русского дворянства, существовавшего в тесном соприкосновении с природой и с самыми простыми людьми; с другой — трогательное и наивное полудилетантское искусство, с такой неподдельной иронией описанное еще в «Евгении Онегине» и так прочно воспринятое Кузминым в качестве собственной эстетической основы. И, конечно, едва ли не самое главное — стремление к поискам того, что в том же письме обозначено новалисовским символом, голубым цветком, к обретению которого стремилась и его сестра, и он сам, и его эпистолярный собеседник.

Поиски эти велись, конечно, прежде всего в сфере искусства. Однако искусство понималось при этом чрезвычайно широко: уже из приведенных слов ясно, что среди воспринимаемого и самостоятельного создаваемого — музыка, литература, театр в его различных формах... Не замкнутость на чем-то одном, а максимальная энциклопедичность как эстетических впечатлений, так и собственных опытов в искусстве определяют с тех пор и до конца жизни все творчество самого Кузмина.

Переехав с родителями в 1884 году в Петербург, Кузмин очень скоро оказывается в гораздо более широком круге впечатлений, особенно расширившемся от общения с Георгием Васильевичем Чичериным, о котором как о наркome иностранных дел в первые годы советской власти написаны книги и даже выпущен фильм, однако ни в одном из известных нам источников не говорится сколько-нибудь подробно о совершенно особой тональности, в которой прошла его жизнь молодых лет<sup>14</sup>. Воссоздавать ее, конечно, нашей задачей вовсе не является, но сказать несколько слов о том человеке, которого Кузмин выбирает своим другом, конфиденнтом, а отчасти и руководителем, — необходимо, ибо это общение сильнейшим образом отразилось на психологическом облике будущего поэта.

Чичерин принадлежал к богатому и обширному дворянскому роду, в котором одной из наиболее заметных фигур был его дядя, Борис Николаевич Чичерин, хорошо известный в истории русской общественной мысли. Поразительно способный к иностранным языкам, стремившийся впитывать все сколько-нибудь доступные ему эстетические впечатления, осмысляя их как неотъемлемую часть исторической и социальной действительности, Чичерин знал гораздо больше, чем его однокашник по петербургской 8-й гимназии. В письмах к Кузмину то и дело встречаем советы, что стоит прочитать, наставления, к какому изданию одного и того же произведения лучше обратиться, сопоставления весьма, на первый взгляд, далеких друг от



друга явлений искусства. Так, в одном только письме начала 1897 года (полностью этот фрагмент см. ниже, с. 152) Чичерин сообщает Кузмину о «Песнях Билитис» и «Афродите» Пьера Луиса, о знаменитой гностической книге «Пистис София», одновременно рекомендуя и лучшее ее издание, и наиболее глубокую статью о ней; о русских былинах и о достоинствах сборника А. Ф. Гильфердинга; о двух славянских поэтах — Я. Врхлицком и Ю. Словацком, последний из которых сравнивается и с Флобером, и с Леконтом де Лилем, и с Калидасой, на основании чего делается общий вывод о «близости славянства и Индии»...

Но за этим внешним, кажущимся превосходством чувствуется и некоторая робость, вернее всего объясняемая тем, что Кузмин принадлежал к числу творцов, тогда как Чичерин мог быть лишь читателем или слушателем. Следует также отметить, что влияние Чичерина на Кузмина было наиболее сильным, пока тот поддерживал и одобрял (при вполне достаточной строгости) его первые произведения, которые сам автор еще не решался выносить на суд сколько-нибудь широкой публики. Вряд ли случайно, что после высказанного Чичеринным довольно скептического мнения о первой опубликованной прозе Кузмина (ряд писем начала 1907 года) их переписка практически прекратилась.

Общение это было важно еще и потому, что в ходе его можно было более или менее откровенно обсуждать свои интимные переживания, связанные с решительной гомоэротической ориентацией как одного, так и другого собеседника. Для любого читателя как стихов, так и прозы Кузмина очевидно, что его страсть направлена исключительно на мужчин. Но, как ни странно, это не делает его произведения предназначенными лишь для узкого круга людей сходной с ним сексуальной ориентации. Для Кузмина любовь является любовью во всех ее ипостасях, как доступных для него самого, так и абсолютно недоступных и вызывающих отвращение или презрение. В восприятии Кузмина любовь есть сущность всего Божьего мира. Господь благословил ее существование и сделал первопричиной всего сущего, причем благословение получила не только та любовь, что освящается церковью, но и та, что нарушает все каноны, любовь страстная и плотская, отчаянная и предательская, сжигающая и платоническая:

Что ребенка рождает? Летучее семя.  
Что кипарис на горе вздымает? Оно.  
Что возводит звенящие пагоды? Летучее семя.  
Что движением кормит Divina Comedia? Оно!

.....

Мы путники: движение — обет наш,  
Мы — дети Божьи: творчество — обет наш,

Движение и творчество — жизнь,  
Она же Любовь зовется.

• (Лесенка)

Для мировосприятия Кузмина весьма характерна повесть «Крылья», волею судеб ставшая первым его произведением, вызвавшим пристальное внимание читающей публики и критики. Большинство из читавших признало ее бесприммерно порнографической, даже не обратив внимания на то, что на всем ее протяжении не описан ни один поцелуй, не говоря уж о каких-либо более откровенных проявлениях эротического чувства. И в то же время никто из современников не увидел в «Крыльях» необыкновенно широкой панорамы самых различных случаев реализации человеческой любви, от чисто плотских и бездушных до возвышенно-платонических, каждый из которых служит одним из доводов в том полилоге, который изображен в повести<sup>15</sup>.

Все сказанное относится не только к прозе Кузмина, но и к его лирике, которая, являясь безусловным выражением его собственного внутреннего мира, все же далеко не полностью сосредоточена на переживаниях исключительно однополый любви. Кузмин воспринимает ее лишь как частное проявление общих законов жизни и любви. Переживание такой «особости» нередко вызывало неудовольствие даже у самого Кузмина, хотя ни разу в своем творчестве он не попытался притвориться, замаскировать направленность своего собственного чувства и чувств своих героев, как то нередко делалось другими. И лишь изредка желание снять ореол запретности с ранее строжайшим образом табуированной темы ошутимо в его произведениях, и чаще всего лучше их не делает.

Воздействие близкой дружбы с Чичериним, судя по всему, сказалось прежде всего в том, что он инициировал кузминские интересы в области истории культуры, изучения языков, знакомства с музыкой, литературой, живописью самых различных стран и эпох, начиная с античности и кончая современностью. Он же подтолкнул Кузмина совершить в девяностые годы два заграничных путешествия, ставших на долгие годы источником живейших впечатлений для творчества.

Для человека своего времени и своего круга Кузмин путешествовал чрезвычайно мало, но интенсивность переживаний оказалась столь велика, что и двадцать пять лет спустя он мог мысленно отправиться в путешествие по Италии, представляя его во всех подробностях.

В первое путешествие, предпринятое весной—летом 1895 года, Кузмин пустился не в одиночестве, а совместно со своим тогдашним любовником, упорно именуемым «князь Жорж»<sup>16</sup>. Самые краткие сведения о поездке сообщены в «Histoire édifiante...»: «Мы были в Константинополе, Афинах, Смирне, Александрии, Каире, Мемфисе.

Это было сказочное впечатление по очаровательности впервые collage и небывалости виденного. На обратном пути он («Князь Жорж». — Н.Б.) должен был поехать в Вену, где была его тетка, а же вернулся один. В Вене мой друг умер от болезни сердца, а же старался в усиленных занятиях забыться».

Обратим внимание на то, что сказочное путешествие заканчивается смертью близкого человека. Это неминуемо должно было окрасить все впечатления от поездки в трагические тона. Вообще ощущение смерти рано входит в мирозерцание Кузмина, причем важно не только то, что это была смерть пусть и очень близких, но все же других людей (брата, отца, любовника), но и регулярное переживание непосредственной близости собственного конца. Незадолго до поездки в Египет Кузмин пытался покончить с собой, но его успели спасти. И в дальнейшем мысли о самоубийстве не раз посещают его, причем чаще всего они носят характер вполне конкретный, должствующее случиться восстанавливается во всех малейших житейских подробностях, и видно, что за этим кроется не просто мимолетная идея смерти, но серьезное и глубокое переживание.

Это, как нам кажется, должно снять с поэзии Кузмина издавна сложившийся вокруг нее ореол — ореол «веселой легкости бездумного житья». За блаженной простотой и беспечностью регулярно просвечивает смерть, даже если она по имени и не названа. Описывая сущность искусства К. А. Сомова, Кузмин дает ему характеристику, которая в полной мере приложима к большинству изящно стилизованных стихотворений его самого: «Беспокойство, ирония, кукольная театральность мира, комедия эротизма, пестрота маскарадных уродцев, неверный свет свечей, фейерверков и радуг — вдруг мрачные провалы в смерть, колдовство — череп, скрытый под тряпками и цветами, автоматичность любовных поз, мертвенность и жуткость любезных улыбок...»<sup>17</sup>. Как и мир Сомова, мир Кузмина все время включает в себя смерть не только как естественную завершительницу человеческого пути, но и как внезапную спутницу, возникающую в самый неожиданный момент, подстерегающую человека и поэта в любой точке его пути. И в тех египетских впечатлениях, которые позже отразятся в рассказах и стихах Кузмина, смерть будет постоянно стоять за плечом героев, окрашивая своим присутствием самые радостные переживания.

Кузмин провел в Египте менее двух месяцев, однако способность впитывать даже незначительные впечатления от быта и искусства дала ему возможность на долгие годы погрузиться в мир как древнего Египта, так и античной Александрии, нарисовав удивительно полную картину быта, нравов, обычаев, традиций (короче говоря — всей жизни) этого блаженного города, столь соблазнительного для поэтов, обычно погруженных в сугубо европейский быт. Вряд ли случайно примерно в то же время свою Александрию воссоздает перед греческим читателем Константинос Кавафис, один из крупнейших евро-

пейских поэтов XX века<sup>18</sup>. Город делается для Кузмина столь же возлюбленным, как и любимые люди:

Разную красоту я увижу,  
в разные глаза насмотрюсь,  
разные губы целовать буду,  
разным кудрям дам свои ласки,  
и разные имена я шептать буду  
в ожиданьи свиданий в разных рощах.  
Все я увижу, но не тебя!

Второй памятной вехой стало итальянское путешествие 1897 года, также продолжавшееся очень недолго, но так же принесшее поэту множество впечатлений, живших в душе по крайней мере до двадцатых годов. И как египетское путешествие дало Кузмину ощущение прелести мира в соединении со все пронизывающим веянием смерти, так путешествие итальянское сплело воедино искусство, страсть и религию — три другие важнейшие темы творчества Кузмина<sup>19</sup>.

Описание поездки может быть восстановлено по кратким записям введения к дневнику и по письмам к Чичерину, повествующим более подробно о художественных впечатлениях того времени. Внешняя канва была такой: «Рим меня опьянил; тут я увлекся *lift-boy*'ем Луиджино, которого увез из Рима с согласия его родителей во Флоренцию, чтобы потом он ехал в Россию в качестве слуги. <...> Мама в отчаянии обратилась к Чичерину. Тот неожиданно прискакал во Флоренцию. Луиджино мне уже надоел, и я охотно дал себя спасти. Юша <Г. В. Чичерин> свел меня с каноником Mori, иезуитом, сначала взявшим меня в свои руки, а потом и переселившим совсем к себе, занявшись моим обращением. <...> Я не обманывал его, отдавшись сам убаюкивающему католицизму, но форменно я говорил, как я хотел бы «быть» католиком, но не «стать». Я бродил по церквам, по его знакомым, к его любовнице, маркизе *Espinosi Mogoti* в именье, читал жития святых, особенно *S. Luigi Gonzaga*, и был готов сделать-ся духовным и монахом. Но письма мамы, поворот души, солнце, вдруг утром особенно замеченное мною однажды, возобновившиеся припадки истерии заставили меня попросить маму вытребовать меня телеграммой» («*Histoire édifiante...*»).

Описание звучит почти нейтрально, но, очевидно, и быстро испавившаяся страсть, и итальянское искусство, и особенно проблемы религии переплелись для Кузмина в такой клубок, что распутать его оказалось далеко не просто. И прежде всего это касается религиозных исканий Кузмина, которые естественно вписываются в общий контекст духовных исканий конца XIX и начала XX веков.

Кузмин был воспитан в достаточно строгих религиозных традициях; мы знаем о его увлечении проблемами истории христианства и современного религиозного сознания. Однако, как у многих и многих, особенно среди интеллигентов, современная церковь вызывала у

него вполне определенное раздражение, и результатом долгих раздумий, переживаний, поисков стало принципиальное расхождение с официальным православием. Собственно говоря, для думающего интеллигента конца века такое было почти неизбежным: слишком узкую тропу оставляла церковь для тех, кто, искренне веря и желая соблюдать обряды, не мог подчиниться всем установлениям, одобренным иерархами. Поэтому все более и более частыми становились попытки найти религиозную истину вне рамок господствующей церкви. Наиболее известны, конечно, опыты учредителей разного рода религиозно-философских обществ, время от времени выливавшиеся в попытки создать, как Мережковские, свою собственную, предназначенную для малой паствы церковь.

Первоначально Кузмин попробовал путь уже испытанный — стать католиком, но после разочарования в нем обратился к поискам на собственно русской почве. В конце концов это привело его к решению достаточно нестандартному — сблизиться со старообрядчеством. В той широкой амплитуде колебаний, которые представляла собой жизнь Кузмина конца девяностых и начала девятидесятых годов, старообрядчество оказалось созвучным сразу нескольким сторонам его тогдашнего мирозерцания. Одновременно оно давало ему и особый строй установлений, тянувшихся непосредственно в глубь национального самосознания и национальной истории, и возможность приблизиться к чрезвычайно привлекающему его старинному быту.

И в дневнике, и в письмах Кузмин неоднократно фиксирует то особое состояние своей души, при котором «то я ничего не хотел кроме церковности, быта, народности, отвергал все искусство, всю современность, то только и бредил d'Annunzio, новым искусством и чувственностью» («Histoire édifiante...»). На несколько лет он погружается в «русскость», в мир той строгой обрядности, которая права уже тем, что сохраняется в неприкосновенности двести с лишним лет и за ее целостность готовы пойти на смерть или подвергнуться преследованиям не только отдельные выдающиеся люди (как протопоп Аввакум или самосожженцы), но многие и многие.

Вопреки легендам, Кузмин никогда не обращался в старообрядчество по-настоящему. Вероятно, он мечтал *быть* старообрядцем, а не *стать*, как и католиком. К тому же занятия искусством, которые уже к тому времени превратились для него в одно из главных дел жизни, были немислимы в той среде, куда он так стремился. В «Крыльях» молодой купец-старовер Саша Сорокин говорил главному герою: «Как после театра ты канон Иисусу читать будешь? Легче человека убивши. И точно: убить, украсть, прелюбодействовать при всякой вере можно, а понимать «Фауста» и убежденно по лестовке молиться — немисливо...» Из писем к Чичерину мы узнаем, что подобные слова и на самом деле были произнесены одним из знакомых Кузмину старообрядцев. Сам же он рисовал перед своим эпистолярным собеседником целую картину соединения допустимого церковью

искусства и истинной веры, где его собственному творчеству, определяемому иноземными традициями, места не находится. И поэтому опять серьезно возникает вопрос об уходе в монастырь — если не в старообрядческий скит, то в «хороший» православный монастырь, где можно было бы забыться, отойти от грешной жизни и покаяться.

Но слишком сильно оказывалось притяжение искусства, чтобы можно было легко и просто пожертвовать творчеством. Не случайно в понимании Кузмина моделью истинного искусства служили те итальянские здания, которые построены на фундаментах античных дворцов и храмов, то есть органически сочетают в себе современность и глубокую древность, уходящую во времена мифологического прошлого.

На первых порах его почти исключительно влечет музыка, композиторская деятельность. После гимназии его уговаривали идти в университет, но он вполне осознанно выбрал консерваторию и несколько лет проучился там, в классе Н. А. Римского-Корсакова. Однако его формальное образование ограничилось тремя годами, начиная с 1892-го (плюс еще два года занятий в частной музыкальной школе В. В. Кюнера). Круг слушателей его сочинений был очень узок, и какое-то время Кузмин почти и не пытался выйти за его пределы. Часть нотных рукописей сохранилась в архивах, однако лишь несколько произведений Кузмина оказались опубликовано<sup>20</sup>, совершенно ускользнув от внимания как современников, так и исследователей более позднего времени. Лишь много позже, в десятые уже годы были опубликованы ноты некоторых сугубо «русских» вещей ранних лет: цикла «Духовные стихи» и частично — цикла «Времена года» (или «Времена жизни»), под иным заглавием — «С Волги». Остальное же, и прежде всего музыка, ориентированная на западные традиции, писавшаяся очень активно, осталось неопубликованным.

Первые стихотворения Кузмина возникают почти исключительно как тексты к собственной музыке — операм, романсам, скитам, вокальным циклам. Правда, одно из первых дошедших до нас стихотворений было написано безотносительно к музыке, но вполне можно предположить, что мелодия при его создании все же звучала. Во всяком случае, посылая эти стихи Чичерину, Кузмин оговаривает, что они «очень годятся» для музыки.

Один из главных принципов таких текстов — расчет на непременно восприятие слова как звучащего, а не читаемого глазами, и в связи с этим — далеко не полностью используемые возможности его смыслового углубления. Как кажется, вся история вокальной музыки свидетельствует о том, что для пения выбираются стихи одноплановые, или же из сложного текста композитор выделяет лишь один смысловой ряд, оставляя другие в небрежении. Потому-то стихи, заведомо предназначенные для пения, чаще всего пишутся так, чтобы поразить внимание слушателя с первого раза. И ранее поэтиче-

ское творчество Кузмина, насколько оно нам известно, являет собой весьма наглядный пример именно такого отношения к слову.

Собственно говоря, и в литературу он вошел как «подтекстовщик» своих собственных мелодий. К концу 1903-го или первой половине 1904 года относятся события, кратко описанные в «Histoire édifiante...»: «Через Верховских я познакомился с «Вечерами современной музыки», где мои вещи и нашли себе главный приют. Один из членов, В. Ф. Нувель, сделался потом из ближайших моих друзей».

Аудитория «Вечеров» была почти столь же невелика, как и прежняя аудитория Кузмина, но впервые его вещи попали в поле зрения не давнишних друзей, а профессиональных музыкантов. Впервые была перейдена граница, отделяющая домашнюю дружественность и снисходительность восприятия от серьезной и независимой оценки, впервые сочинения Кузмина стали восприниматься всерьез, безо всяких скидок.

Кузин-композитор быстро превратился в одного из постоянных участников этого своеобразного музыкального филиала «Мира искусства», его музыка начала исполняться как в собраниях «Вечеров», так и в публичных концертах, вызывая немалые споры.

Следующим шагом стало отделение стихов от сопровождавшей их музыки. В конце 1904 года в домашнем издательстве дружественного Кузмину семейства Верховских появился «Зеленый сборник стихов и прозы», где вместе с произведениями Ю. Н. Верховского, известного как драматург Вл. Волькенштейна, ныне забытого беллетриста П. П. Конради, незаурядного натурфилософа К. Жакова и будущего главы ОГПУ В. Р. Менжинского были напечатаны тринадцать сонетов и оперное либретто Кузмина.

При нынешнем взгляде на это издание отчетливо чувствуется прavoта Брюсова, писавшего: «...осуществления «Зеленого Сборника» далеко ниже замыслов»<sup>21</sup>. Но если от «Истории рыцаря д'Алессо» можно было вполне отделаться ироническим замечанием Блока: «Поэма того же автора (в драматической форме) содержит 11 картин, но могла свободно вместить 50, так как рыцарь д'Алессо (помесь Фауста, Дон-Жуана и Гамлета) отчаялся еще далеко не во всех странах и не во всех женщинах земного шара»<sup>22</sup>, то сонеты, несмотря на явные их слабости, наиболее точно обозначенные тем же Брюсовым, привлекали внимание и запомнились надолго даже случайным читателям. Характерно мнение, высказанное одним из таких случайных читателей уже много лет спустя: «Жаль, что нет полного собрания его (Кузмина. — Н.Б.) стихов и что прелестные его сонеты, появившиеся в «Зеленом сборнике», нигде не перепечатаны»<sup>23</sup>.

Но появление первой стихотворной публикации внешне несколько не изменило жизни Кузмина. По-прежнему он ходил в русском платье, по-прежнему проводил много времени в лавке купца-старобрядца Г. М. Казакова, с которым поддерживал дружески-деловые

отношения, и по-прежнему был практически изолирован от литературной среды. Настоящий успех и стремительное изменение статуса ждали его с момента завершения уже упоминавшейся повести «Крылья». Она была окончена осенью 1905 года, и почти сразу же Кузмин начал читать ее знакомым, причем наибольший энтузиазм выразили члены «Вечеров современной музыки», а особенно — В. Ф. Нувель и К. А. Сомов. Нувель приложил немало усилий, стараясь добиться публикации повести в только что начавшем выходить журнале «Золотое руно» (правда, его усилия окончились неудачей), и он же ввел Кузмина на «башню» Вяч. Иванова, бывшую в то время центром культурной жизни Петербурга<sup>24</sup>.

Первое посещение ивановских сред не произвело на Кузмина, как, впрочем, и на хозяев «башни», особого впечатления<sup>25</sup>, но зато он познакомился там с Брюсовым, и до некоторой степени это знакомство решило его судьбу как профессионального литератора.

20 января 1906 года Кузмин записал в дневнике: «После обеда отправился к Каратыг<иным>, там были Нувель, Нурок, потом Брюсов, он очень приличен и не без *charmes*, только не знаю, насколько искрен. Тут были сплетни про «Руно», Иванова и Мережковского, он почему-то Юрашу <Ю. Н. Верховского> представлял совсем молодым и потом заявил, что думает, что журнальная деятельность мне менее по душе. Но «Алекс<андрийские> песни» будут в «Весах», не ранее апреля, положим, и что вздумаю написать, чтобы прислал, и что «Весы» будут мне высылаться»<sup>26</sup>. В эти дни не только Кузмин нашел именно того литературного деятеля, который мог создать ему устойчивую репутацию как писателю, но и Брюсов обрел надежного сторонника. Недаром он почти тут же сообщил в письме к владельцу издательства «Скорпион» и меценату «Весов» С. А. Полякову: «...нашел весь состав «Зеленого сборника», из которого *Верховский* и *Кузмин* могут быть полезны как работники в разных отношениях»<sup>27</sup>. И уже довольно много лет спустя в числе своих литературных заслуг он называл то, что «...разыскал М.Кузмина, тогда никому не известного участника «Зеленого сборника», и ввел его в «Весы» и «Скорпион»»<sup>28</sup>. Плодами этого знакомства было опубликование в «Весах», крупнейшем и наиболее заметном журнале русского символизма, сперва достаточного количества «Александрийских песен», а затем и «Крыльев», занявших полностью целый номер журнала и почти тут же дважды выпущенных издательством «Скорпион» отдельной книжкой. После этих публикаций Кузмин перестал быть безвестным композитором и поэтом, превратившись в одну из тех литературных фигур, за благосклонность которых бились ратоборцы всех станов русского модернизма.

Что же так сразу привлекло Брюсова в творчестве почти безвестного до тех пор поэта? Можно полагать, что причиной оказались принятые безо всяких предварительных условий и долгих размышлений «Александрийские песни».



Этот цикл, надолго ставший эмблемой поэзии Кузмина, писался в основном в 1905 году, опять-таки как вокальное произведение. Но по своей словесной структуре он уже гораздо более соответствовал поэзии традиционной, обладая к тому же целым рядом качеств, сделавших его чрезвычайно популярным.

Прежде всего это объясняется тем, что цикл очень точно попал (вряд ли осознанным намерением Кузмина, не слишком пристально следившего в то время за современной литературой) в самый центр художественных исканий эпохи. Верлибр, которым написана большая часть цикла, только-только входил в стихотворный репертуар русской поэзии, а избранная Кузминым форма его, основанная на регулярном синтаксическом и лексическом параллелизме, облегчала вхождение этого непривычного размера в сознание читателей. Сами сюжеты стихотворений, отнесенные к отдаленной исторической эпохе, вполне вписались в тенденцию русского символизма к изображению дальних стран и времен. Наконец, одноплановость смыслового решения отдельных стихотворений, в отличие от ранних произведений Кузмина, на этот раз была дополнена намеренной недосказанностью сюжетов. Непосвященному читателю и слушателю не столь уж просто было понять, о ком идет речь в стихотворении «Три раза я его видел лицом к лицу...»; сюжет может обрываться в самом напряженном месте («Снова увидел я город, где я родился...»); финальная строка «А, может быть, нас было не четыре, а пять?» выглядит абсолютно загадочной и открытой многочисленным толкованиям («Нас было четыре сестры, четыре сестры нас было...»). И в то же время читатель чувствовал себя не сторонним наблюдателем, как, скажем, в исторических балладах Брюсова, а почти что непосредственным участником всего происходящего, автор говорил с ним как с посвященным во все таинства и перипетии событий, делал его равным себе самому и героям как отдельных стихотворений, так и всего цикла<sup>29</sup>.

Поэтому и сам облик автора песен оказался открыт для мифологизирования. С отчетливостью это видно уже в одном из первых откликов — небольшой статье М. Волошина. Он писал: «Когда видишь Кузмина в первый раз, то хочется спросить его: «Скажите откровенно, сколько вам лет?», но не решаешься, боясь получить в ответ: «Две тысячи». Без сомнения, он молод и, рассуждая здраво, ему не может быть больше 30 лет, но в его наружности есть нечто столь древнее, что является мысль, не есть ли он одна из египетских мумий, которой каким-то колдовством возвращена жизнь и память. <...> Мне хотелось бы восстановить подробности биографии Кузмина — там, в Александрии, когда он жил своей настоящей жизнью в этой радостной Греции времен упадка, так напоминающей Италию восемнадцатого века»<sup>30</sup>. Уже первая публикация «Александрийских песен» определила облик поэта, свободно соседствовавший с уже сформировавшимися образами Брюсова, Бальмонта, Сологуба и с

формировавшимися на глазах современников обликами Блока, Андрея Белого, Вяч. Иванова.

Волею судеб Кузмин оказался включен в контекст символизма и до поры до времени предпочитал не сопротивляться такому включению, дававшему возможность регулярно печататься в журналах и выпускать книги, не насилуя своего дарования. Однако в кругу символистов он постоянно старается заявить о своей особости.

Внешне ему наиболее близка позиция брюсовская, основанная на принципах «эстетизма», понимаемого как стремление к максимальной независимости художника от идеологических канонов, будь то идеология какого-либо общественного движения, религиозная или мистическая: «Мы знаем только один завет к художнику: искренность крайнюю, последнюю»<sup>31</sup>. Поэтому именно Брюсову Кузмин может пожаловаться: «Сам Вячеслав Иванов, беря мою «Комедию о Евдокии» в «Оры», смотрит на нее как на опыт воссоздания мистерии «всемирного действия», от чего я сознательно отрекаюсь, видя в ней, если только она выражает, что я хочу, трогательную фривольную и манерную повесть о святой через XVIII в.»<sup>32</sup>. Конечно, принять на веру такое утверждение об «отречении» невозможно, ибо в «Комедии о Евдокии из Гелиополя» отчетливо звучат и мотивы, которые давали Иванову возможность трактовать ее именно так<sup>33</sup>, но для нас сейчас важно, что откровенное идеологизирование, наложение на произведение некоторой внешней сетки координат всегда представлялось Кузмину ничем не оправдываемым насильем.

Однако и с Ивановым он поддерживал отношения самые дружественные и до известной степени творчески близкие. Иванов делает Кузмина участником своих литературных замыслов, держит корректуру книги его «Комедий», вышедшей в издательстве «Оры», Ивановым же и организованным<sup>34</sup>, постоянно следит за его творчеством, стараясь повлиять на замыслы Кузмина уже при самом их становлении<sup>35</sup>. Лишь в 1912 году Кузмин решительно разоидется с Ивановым.

Будучи одним из писателей круга «Весов», Кузмин тем не менее сохраняет вполне доброжелательные отношения и с «Золотым руном», и с «Перевалом» — отъявленными противниками «Весов». Оставаясь другом многих художников «Мира искусства», он в то же время заслуживает глубокую симпатию живописцев «Голубой розы», для которых Бенуа или Сомов были «старичками, из которых, кажется, уже сыпется песок»<sup>36</sup>. Участвуя в замыслах Мейерхольда, он не оставляет мысли о глубоко традиционном театре. И такие примеры можно множить и множить.

Укреплением своих позиций в артистическом мире Петербурга (а тем самым — и всей России) Кузмин был озабочен на протяжении всего 1907 года, напряженно следя за откликами на новые свои произведения, появлявшиеся в журналах и альманахах. Верный друг В. Ф. Нувель регулярно сообщал ему о битвах, введущихся вокруг его

творений<sup>37</sup>, на что Кузмин откликается лениво и почти хладнокровно, однако по сути дела весьма заинтересованно и демонстрируя прекрасную осведомленность и понимание сути полемики.

В центре споров в это время оказывается повесть «Картонный домик», тесно с ней связанный цикл «Прерванная повесть» и «Комедия о Евдокии из Гелиополя» (первые две вещи были напечатаны в альманахе «Белые ночи», пьеса же — в ивановском сборнике «Цветник Ор»). После шумного литературного скандала окончательно определяется место Кузмина в современной литературе — место несколько сомнительное, однако совершенно особое и весьма заметное. Вокруг его произведений ломают копья не только удалые газетные критики, но и такие писатели, как Андрей Белый, Блок, Зинаида Гиппиус, Брюсов. Его отречения от «Золотого руна» добиваются «Весы»<sup>38</sup>, а издатель «Руна» Н. П. Рябушинский готов многим пожертвовать, чтобы его участие в журнале возобновилось. Рассыпается в любезностях редактор «Перевала» С. А. Соколов, ищут сотрудничества киевский журнал «В мире искусств», альманах «Проталина», детский журнал «Тропинка», разные газеты. Мейерхольд пробует заинтересовать его комедиями В. Ф. Коммиссаржевскую (она, впрочем, остается холодна и отказывает). В конце 1907 года премьера блоковского «Балаганчика» с музыкой Кузмина становится событием сезона и — что было понято не сразу — событием всей театральной жизни России XX века.

Своего рода вершина этой популярности — появление весной 1908 года первого сборника стихов Кузмина.

## 2

Как и большинство поэтов начала XX века, Кузмин выстраивал сборники своих стихов так, чтобы они представляли этап пути в искусстве. Книги могли быть более или менее удачными, могли по-разному встречаться критикой, но в любом случае знаменовали эпоху в развитии творческой личности.

«Сети», как поэт озаглавил свою первую книгу, собирались из больших блоков, ранее в значительной степени опубликованных, но собирались так, чтобы предстать в совершенно новом качестве, чтобы создалась картина совершенно иная, чем при отдельном их восприятии. И потому особую роль в складывании сборника начинала играть его композиция.

«Сети» состоят из четырех частей, но четвертая, «Александрийские песни», не участвует в развитии лирического сюжета и является своего рода приложением к сборнику, тогда как первые три составляют целостную картину, что далеко не всегда воспринимается читателями и критиками. Попробуем проследить, как эта картина возникает на наших глазах из отдельных стихотворений, целостных циклов, а затем и частей книги<sup>39</sup>.

Первая часть включает в себя циклы «Любовь этого лета», «Прерванная повесть» и «Разные стихотворения». Если отбросить последний, действительно составленный из стихотворений, не складывающихся в сюжет, то довольно легко будет определить основную тему этой части, тему неподлинной любви, оборачивающейся то разочарованием, как в «Любви этого лета», то прямой изменой, как в «Прерванной повести». О самих разочарованиях и изменах непосредственно из текстов мы не узнаем, они остаются для нас по ту сторону слов, однако сами переживания, вошедшие в стихи, рисуют картины весьма выразительные. Так, плотская страсть в «Любви этого лета» все время воспринимается на фоне то прощания, то воспоминаний о прежних поцелуях, то разлуки и забвения... Конечно, трагизм этих стихов на передний план не выходит, господствует чувство благодарности за подаренную близость, пусть даже она оказывается минутной. Но сложность чувства не должна быть упущена, чтобы мы не оказались в плену традиционного отношения к этим стихам, на которые часто смотрят лишь как на предельное воплощение «духа мелочей, прелестных и воздушных». На деле же в них соединены полет и приземленность, легкость и тяжесть, беспечность и мудрость, что вообще является отличительной чертой всего творчества Кузмина.

Возьмем всего лишь одну строфу из первого, наиболее прославленного стихотворения «Любви этого лета» и попытаемся увидеть эту сложность.

Твой нежный взор, лукавый и манящий,  
Как милый вздор комедии звенящей  
Иль Мариво капризное перо.  
Твой нос Пьеро и губ разрез пьянящий  
Мне кружит ум, как «Свадьба Фигаро».

Строфа стремительно летит, не оставляя читателю много времени для раздумья, и он успеваает уловить лишь опорные слова: «нежный взор», «милый вздор», «нос Пьеро», «кружит ум»... И комедии Мариво с моцартовской оперой (которая регулярно исполнялась самим Кузминым и его друзьями именно в те недели, когда замышлялся и начинал создаваться цикл) должны привести на память читателю ту восхитительную легкость, с которой связывается наше представление о «Свадьбе Фигаро». Одним словом, вспоминается пушкинское: «Как мысли черные к тебе придут, Откупори шампанского бутылку Иль перечти “Женитьбу Фигаро”». Но ведь и поэт, и его читатель не могут не отдавать себе отчета, что, вызывая в памяти пушкинские слова, они тем самым вспоминают и то, откуда эти слова взяты, а стало быть, и всю проблематику «маленькой трагедии». Тень от этих воспоминаний неминуемо ложится на приведенные строки, а значит, и на все стихотворение, а от него — на весь цикл. И эта тень не остается мимолетной, она поддержана ощущениями (то

выраженными в словах, то лишь подразумеваемыми) от других стихотворений. Таково, например, завершение четвертого:

Наши маски улыбались,  
Наши взоры не встречались  
И уста наши немы...

Вместо лиц — маски, взоры отвращены друг от друга, уста замкнуты молчанием — именно так завершается «ночь, полная ласк». Стало быть, и персонажи стихотворения становятся не равными самим себе прежним:

Пели «Фауста», играли,  
Будто ночи мы не знали,  
Те, ночные, те — не мы.

Страсть превращается в неподлинную, обманывающую, таит за собою измену и постоянное недоверие, пусть даже протагонист цикла и пытается убедить себя:

Ну что ж, каков он есть, таким  
Я его и люблю и принимаю.

Цикл завершается на почти счастливой ноте, однако если попробовать представить себе дальнейшее развитие событий, то мы увидим, что вся логика совершающегося ведет к одной неизбежной развязке: мимолетная любовь должна окончиться, чтобы дать место другим переживаниям.

Приблизительно то же самое можно сказать и о «Прерванной повести», хотя ее структура оказывается еще более сложной. Этот ряд стихотворений воспринимался первыми читателями в соотнесении с повестью «Картонный домик» (волею судеб и типографии также оказавшейся «прерванной»), и его сюжет накладывался на ясную прототипическую основу, которую составляли отношения Кузмина с художником С. Ю. Судейкиным. Имя его в стихах прямо не названо, однако легко восстанавливаемо по упоминанию: «Приходите с Сапуновым»<sup>40</sup>. Захватывающий интерес, с которым прослеживалась судьба вполне реальных людей, мешал читателям и критикам уловить глубину и неоднозначность как самой повести, так и особенно — стихотворного цикла. На этот раз автор сам написал «Эпилог», дающий читателю возможность взглянуть на только что прочитанные строки глазами автора, уже знающего, чем завершились события в реальной жизни:

Слез не заметит на моем лице  
Читатель плакса,  
Судьбой не точка ставится в конце,  
А только клякса.

Эта клякса, обрывающая прерывистый сюжет, не позволяет читателю проследить его развитие до конца, не позволяет довершить

образы двух главных героев, однако все предыдущее недвусмысленно объясняет, что счастливого окончания, как и в «Любви этого лета», быть не может, ибо настроение определяется такими словами, как «ревности жало», «отчего трепещу я какой-то измены?», «мой друг — бездушный насмешник или нежный комик?», «несчастный день», «жалкая радость», «унылая свеча» и т.д. «Такие ночи» оказываются столь же обманными, как и в открывающем книгу цикле.

Даже в «Разных стихотворениях», при всем разбросе их тем и настроений, особое значение приобретает завершение раздела:

Меня мучит мысль о Вашем сердце,  
которое, увы! бьется не для меня,  
не для меня!

Вторая часть «Сетей» решительно изменяет настроение первой. Циклы «Ракеты», «Обманщик обманувшийся» и «Радостный путник» проводят читателя от выдуманных, почти призрачных картин стилизованного повествования в духе XVIII века, через нерешительное обретение надежды — к уверенности в том, что наконец-то истинная любовь может быть обретена:

Снова чист передо мною первый лист,  
Снова солнца свет лучист и золотист.

Наконец, третья часть переводит описание любви в совсем иную, третью тональность. М. Л. Гаспаров в одной из своих работ на основе структурного анализа именно этой, третьей части «Сетей» предложил такое весьма выразительное описание мира этих стихотворений: «Сердце трепещет и горит огнем в предошущении любви; час трубы настал, свет озаряет мне путь, глаз мой зорок, и меч надежен, позабыты страхи; роза кажет мне дальний вход в райский сад, а ведет меня крепкая рука светлоликого вожатого в блеске лат»<sup>41</sup>. Место обманчивой страсти занимает истинная и божественная любовь, к которой ведет вожатый, указывающий единственно правильную дорогу.

Читая дневник Кузмина, мы узнаем, что для него образный строй этих стихотворений был связан с виденьями, переживавшимися как совершеннейшая реальность, так что грудь, рассеченная в видении мечом, потом болела на протяжении нескольких дней (подробнее см. в статье «Автобиографическое начало в раннем творчестве Кузмина»).

Конечно, с реальной жизнью Михаила Алексеевича Кузмина, обитавшего в Петербурге, на Таврической, 25, это было связано далеко не так прямо, как может казаться. Из того же дневника мы узнаем, что в дни, осененные виденьями, он, рисовавший себя затворником, раскручивал очередной и не слишком осененный духовностью роман, посещал театры, был погружен в другие переживания... Но для развертывания сюжета книги им выстраивалась особая

реальность, возвышающая любовь до предела высокого, божественного смысла, даруемого и собственными переживаниями, и светлым образом того человека, который предстал облеченным в латы и вооруженным мечом (тем самым уподобляясь святому Кузмину, водителю вой небесных Михаилу Архангелу), человека, чьим предназначением было — сделать влюбленного в него безусловно счастливым.

Своеобразная трилогия воплощения человеческой любви в любовь божественную и составляет главное содержание книги «Сети». Конечно, это нельзя понимать прямолинейно: иногда главное заслоняется изящной фривольностью, стилизованностью не только слов, но и мыслей, изменчивость настроения ведет поэта и его читателей по тем дорогам, которые кажутся уводящими в сторону, но в конце концов все они неумолимо сходятся в одну точку.

И завершив очередной сюжет «Сетей», Кузмин дает как бы миниатюрный слепок с основных тем и настроений сборника в приложенном к нему цикле (если не самостоятельной книге) «Александрийские песни». Этот цикл, в отличие от других частей «Сетей», лишен сюжетного развития, стихотворения в нем обладают полной автономностью, однако в общем «Александрийские песни» являются компендиумом тем, настроений, приемов творчества, характерных для раннего этапа развития поэзии Кузмина. В них есть и беспечный гедонизм (особенно в разделе «Канобские песенки»), есть и своеобразная философия, колеблющаяся от почти детской наивности до глубоких размышлений, теснейшим образом связанных с жизненным опытом отдельного человека (раздел «Мудрость»), есть и воссоздание любовных переживаний, над которыми все время веет призрак смерти, делая их предельно обостренными и в то же время предельно просветленными. И все это заключено в рамку одного культурно-исторического типа сознания, тесно связанного со своеобразием александрийской культуры, какой она представлялась автору.

Однако поэтический замысел не был сколько-нибудь адекватно прочитан критиками, писавшими о «Сетях». Для них сборник представлял ценность прежде всего как учебник поэтического мастерства.

Произнося вполне традиционное словосочетание «поэтическое мастерство», надо отдавать себе отчет, что для Кузмина оно было совершенно неприемлемым. Можно вообразить, как бы он воспротивился формальным разборам своих стихотворений, анализам технического построения. Для него техника была всего лишь «послушной сухой беглостью перстов», которая лежит в основании всякого творчества, но сама по себе не заслуживает никакого особого внимания.

Однако сегодняшнему читателю, для которого голос Кузмина слился со всей русской поэзией, так что нелегко оказывается вычленивать отдельные звуки, принадлежащие именно ему, из этого вол-

шебного хора, видимо, все же следует сказать о том, что именно Кузмин внес в русскую поэзию и почему уже первая книга сделала его заметной звездой на поэтическом небосклоне, где уже блистали те авторы, которым легко было затмить любой не слишком яркий свет. С многолетнего расстояния мы смотрим на это время и замечаем, что нередко поэты, считавшиеся тогда светилами первой величины, отодвигаются в небытие, а звезда Кузмина продолжает гореть ровным сиянием, не затмеваемая другими.

Что читатель нашего времени прежде всего чувствует, открывая сборник стихов Кузмина? Ответ может показаться банальным и уже многократно произнесенным, но от повторения истина, как известно, не исчезает и не искажается: поэзию Кузмина узнаешь в первую очередь по интонации, по неповторимому голосоведению, когда звучание воспринимаешь как голос близко знакомого человека, который невозможно спутать ни с чем даже спустя годы и годы.

При этом в ней нет никаких особых риторических приемов, нет крика, нет интимного шепотка, нет надоедливой «музыкальности». Голос поэта спокоен, чист и ясен, но за этим спокойствием скрыта масса изгибов, в которых и таится узнаваемость.

Быть может, лучше всего это почувствовала в авторском чтении Марина Цветаева, поэт совсем иной интонационной природы, чем Кузмин. Но она понимала исключительное значение этой стороны стиха и потому в блестящих воспоминаниях «Нездешний вечер» смогла описать авторское чтение, услышанное единственный раз в жизни, но запомнившееся на двадцать лет:

«И вольно я вздыхаю вновь.  
Я — *детски!* — верю в совершенство.  
Быть может... это не любовь...  
Но так...

(непомерная пауза и — *mit Nachdruck* — всего существа!)

— *похоже* —

(почти без голоса)

...на блаженство... <...>

Незабвенное на *похоже* и *так* ударение, это было именно *так похоже*... на блаженство! Так только дети говорят: *так* хочется! Так от всей души — и груди. Так нестерпимо-безоружно и даже кровоточаще среди всех — одетых и бронированных»<sup>42</sup>.

Такая «изгибистость» голоса тем и хороша, что позволяет любому видеть в поэзии Кузмина свое, индивидуальное. Каждому из читающих он оказывается особенно дорог какой-то стороной, которая другому может представляться излишней. Кому-то могут стать близки интонации чуть жеманные и стилизованные:



Кто был стройней в фигурах менуэта?  
Кто лучше знал цветных шелков подбор?  
Чей был безукоризненной пробор?  
Увы, навеки скрылося все это...

Для кого-то Кузмин — это в первую очередь восторженное:

Воскресший дух неумертым,  
Соблазн напрасен.  
Мой вождь прекрасен, как серафим,  
И путь мой — ясен.

Кому-то ближе Кузмин интимный и почти домашний:

Я посижу немного у Сережи,  
Потом с сестрой, в столовой, у себя —  
С минутой каждой Вы мне все дороже,  
Забыв меня, презревши, не любя.

И такое перечисление интонаций можно продолжать сколько угодно долго, ибо их разнообразие — почти бесконечно. Ведь когда исследователи говорят о влиянии, скажем, Маяковского на некоторые стихи Кузмина, то они в первую очередь имеют в виду это плохо определяемое словами, но безошибочно чувствуемое интонационное своеобразие, когда у младшего поэта заимствуется не лексика, не сюжеты, не рифмы, не образы, а, пользуясь словом Маяковского, «дикция».

Это строение кузминских стихов с безусловным господством свободы голоса, подчиняющей себе все другие элементы стиха, заставляет внести коррективы в мнение современников о Кузмине.

Для читателей стихов начала XX века было привычным свободное владение самыми различными твердыми формами, разнообразными экспериментальными размерами, регулярными опытами в метрике, ритмике, рифмовании и пр. — все то, что внесли в литературу Брюсов, Бальмонт, Сологуб, Зинаида Гиппиус, Вяч. Иванов и другие поэты-символисты. Кузмин мог бы продемонстрировать такое владение с не меньшим, а то и большим основанием, чем любой из названных авторов. Но если у всех его предшественников экспериментаторство предстает особым щегольством — «смотрите, как я умею!» — то для Кузмина оно так же естественно, как и стихотворение, написанное четверостишиями четырехстопного ямба с перекрестной рифмовкой. Если верлибр, о котором мы уже упоминали, у Блока или Брюсова воспринимается как осознанная система минус-приемов, то у Кузмина он включается в интонационное пространство традиционного стиха и потому звучит как совершенно естественная форма, ничем особым не выделяющаяся на фоне иных размеров.

То же самое относится и к любому другому элементу стиха, взятому в отдельности.

Кузмин мог бы считаться чемпионом сложности построения стиха, если бы это имело какое-то значение. Вырывая отдельные элементы из общей системы, мы можем видеть, как изобретательно и художественно оправданно они применяются. Вспомним, к примеру, уже цитированную строфу из первого стихотворения «Любви этого лета», где внимательный читатель без труда замечает внутренние рифмы, соединяющие первую и вторую строки между собой еще теснее, но не так просто увидеть, что «Пьеро» в середине четвертой строки рифмуется с окончаниями третьей и пятой строк (и это не случайность, так как повторено во всех трех строфах).

А по соседству с этим — совсем другая строфа:

Зачем луна, поднявшись, розовеет,  
И ветер веет, теплой неги полн,  
И челн не чует змейной зыби волн,  
Когда мой дух все о тебе говеет?

Здесь также не очень просто заметить внутреннюю рифму в середине второй строки, поскольку она связана с концом, а не с серединой первой, но еще неожиданнее — полная рифмовка конца второй строки с началом третьей не в цезуре, где рифма ощущалась бы отчетливо, а просто так, по ходу движения стиха, без какого бы то ни было специального выделения.

Кузмин с легкостью строит сложно переплетенные строфы (например, в стихотворении «Двойная тень дней прошлых и грядущих...»), обращается к необычному рефренному построению («Если мне скажут: «Ты должен идти на мученье...»), разрабатывает не только верлибр, но и вполне своеобразные, индивидуальные дольники («Каждый вечер я смотрю с обрывов...» и мн. др.), пронизывает свои стихи отчетливой звукописью, никогда не становящейся назойливой, создает уникальные для русской поэзии строфы<sup>43</sup>... Но почти никогда этим экспериментам не придается какого-либо особого значения, они спрятаны вглубь стиха и заметны только при разборах. Многие ли замечали, что открывающее «Сети» стихотворение «Мои предки», неоднократно попадавшее в хрестоматии и одно из самых известных массовому читателю поэзии, целиком состоит из одной фразы, протянувшейся на пятьдесят две строки, — и в этом нет ни малейшей искусственности, ни тени синтаксической натяжки?

Как кажется, такое представление о поэзии и поэтике Кузмина заставляет отвергнуть мнение авторитетных критиков о «Сетях», видевших в этой книге прежде всего сборник изящных безделушек, безусловно имеющих право на существование, но не претендующих на что-либо большее. Достаточно привести ряд цитат, чтобы убедиться в этом: «Стихи М. Кузмина — поэзия для поэтов. Только зная технику стиха, можно верно оценить всю ее прелесть»<sup>44</sup>; «Его мир — маленький замкнутый мир повседневных забот, теплых чувств, лег-

ких, чуть-чуть насмешливых мыслей»<sup>45</sup>; «...Кузмина все же нельзя поставить в числе лучших современных поэтов потому, что он является рассказчиком только своей души, своеобразной, тонкой, но не сильной и слишком ушедшей от всех вопросов, которые определяют творчество истинных мастеров»<sup>46</sup>.

Думается, что такой «общий глас» был безусловно ошибочен. «Современные вопросы», которых так не хватало критикам в его поэзии, уже давно отодвинулись на задний план, ушли из мира повседневных интересов сегодняшнего русского читателя, но остались те духовные поиски, та всечеловеческая реальность, которые определили основную направленность первого сборника стихов Кузмина:

Светлая горница — моя пещера,  
Мысли — птицы ручные: журавли да аисты;  
Песни мои — веселые акафисты;  
Любовь — всегдашняя моя вера.

Приходите ко мне, кто смутен, кто весел,  
Кто обрел, кто потерял кольцо обручальное,  
Чтобы бремя ваше, светлое и печальное,  
Я как одёжу на гвоздик повесил.

### 3

С выходом «Сетей» завершилось перевоплощение Кузмина в совсем иного человека, чем тот, которого знали друзья до сего времени. Теперь их глазам предстал современный эстет и денди, знаменитый своими разноцветными жилетами на каждый день, завсегда премьер и вернисажей, писательских салонов, сотрудник ведущих русских журналов, гордость книгоиздательства «Скорпион».

Утвердившись в этом своем новом качестве, Кузмин начал деятельность профессионального литератора. Казалось, что его литературная и частная жизнь наконец-то сомкнулись в единое целое и теперь за ними можно следить как за чем-то безусловно общим. Однако оказалось, что это было не вполне так.

С 1908 по 1917 год Кузмин издал всего две поэтические книги, переключившись в основном на прозу. Количественно сборники его рассказов и повестей, отдельно изданные романы полностью затмевают издания стихов, что становится еще более очевидным, если вспомнить две книги пьес и опубликованный двумя изданиями вокальный цикл «Куранты любви».

Но и поэтические книги этих лет, увиденные спокойным взором с известного временного расстояния, оказываются далеко не равноценными. Сам Кузмин, пользуясь гимназической системой оценок, с некоторым колебанием ставит «Сетям» все-таки пятерку, а вот вышедшие в 1912 году «Осенние озера» получают лишь тройку, а «Глиняные голубки» 1914 года оценены и вовсе безнадежной двойкой<sup>47</sup>.

Откровенно говоря, с такой самооценкой можно согласиться. Действительно, второй и третий сборники стихов представляют собой прямое продолжение «Сетей» по всем принципам построения, обращения с материалом, отдельные стихотворения в них не менее совершенны по форме, но отчетливо заметно, что за внешним совершенством пропадает глубокое внутреннее содержание, столь явное в «Сетях».

Конечно, далеко не ко всем стихотворениям это относится. И в «Осенних озерах», и в «Глиняных голубках» немало отдельных поэтических удач, но впечатления целостности эти книги не производят. На наш взгляд, это связано с наиболее отчетливой тенденцией в общем развитии поэтики Кузмина: именно в эти годы, с 1908 до 1914-го, он все более и более движется к упрощению и даже некоторой примитивизации. Отчасти это связано с направлением эволюции его литературных воззрений, отчасти — с той внешней ситуацией, в которой он оказался. Поэтому разговор о новом этапе поэтического развития Кузмина следует начать с отступления в другие области.

«Сети» определили место поэта среди ведущих русских символистов, хотя он никогда и не претендовал на роль теоретика, серьезного литературного критика, журнального бойца, да и сами его произведения чаще всего рассматривались, по выражению Андрея Белого, как предназначенные «для отдыха»: изящная проза и милая поэзия.

И для самого внутреннего склада Кузмина такое отношение было вовсе не противоестественно. В его прозе и поэзии то сложное, нередко даже мистическое содержание, которое символисты столь охотно демонстрировали, существовало потаенно. Поза «мистагога», «теурга», носителя эзотерического знания была ему в высшей степени чужда, хотя какие-то намеки на владение тайным знанием мы время от времени чувствуем. Соответственно, по совершенно различным образцам формировалось литературное поведение символистов и Кузмина. Уже говорилось о том, как Кузмин строил свои отношения с писателями, представлявшими два полюса русского символизма того времени, — с Брюсовым и Вяч. Ивановым. Но схождения и расхождения определялись не только личностными контактами, но и всем типом отношения к действительности.

Так, Вяч. Иванов видел в скрытом мистицизме ряда стихотворений и прозаических вещей Кузмина то откровение, которое достигается путем индивидуального потаенного знания, молитвы, мистических озарений. По Иванову, такое откровение могло быть распространено и на жизнь других людей, могло стать предметным уроком для них, а стало быть, Кузмин оценивался как потенциальный член некой гипотетической общины людей, объединенных этим знанием и опытом.

Но для самого Кузмина такие попытки не могли не выглядеть заранее обреченными на неуспех, потому что частный, индивидуаль-

ный опыт религиозного переживания действительности, вынесенный в качестве образца пусть даже для сравнительно немногих людей, представлялся ему профанированным и тем самым лишенным всякого смысла. В каком-то смысле ему более близка была позиция Брюсова, не требовавшего потаенной сложности и вполне удовлетворенного размерами того стакана, из которого Кузмин пил<sup>48</sup>. Но и позиция Брюсова устраивала его далеко не полностью, и главной причиной тому была брюсовская ориентация на сугубо литературную систему ценностей, замкнутость в пределах журнально-книжной полемики. Не могла не раздражать и поза мэтра, бесстрастно судящего своих современников и раздающего неопровергаемые оценки. Насколько можно судить по дневнику и критическим статьям Кузмина, особой ценностью для него обладало искусство, наделенное большой внутренней свободой, той свободой, которая легко выражается в неправильностях, небрежности, незавершенности, которая позволяет писателю с равной степенью легкости быть цельным и расколотым, мистиком и реалистом, — одним словом, наиболее соответствовать природе своего дарования.

Источники такого отношения к творчеству еще нуждаются в определении, отдельные точные наблюдения<sup>49</sup> должны быть сложены в единую систему, но уже и сейчас ясно, что в основе этого отношения у Кузмина лежит глубоко осознанный и переработанный сугубо индивидуальный опыт, понимаемый как нерасчлененное и нерасчлененное единство личности, выражающей себя в произведении.

Из этого же исходит и определение Кузминым собственной литературной позиции. До тех пор, пока личность остается в неприкосновенности, он вполне спокойно соседствует с каким-либо другим писателем, теоретиком, литературной группой и пр., но как только начинаются попытки вмешательства в естественное развитие поэтической личности, происходит бунт, ведущий к пересмотру любых позиций, какими бы прочными они ни казались.

Именно этим, по всей вероятности, определяется последовательное отчуждение Кузмина ото всех литературных позиций и группировок, заинтересованных в том, чтобы иметь в своих рядах такого незаурядного поэта.

Типичным примером такого расхождения является разрыв Кузмина с Вяч. Ивановым. Сугубо личные причины<sup>50</sup> были, скорее всего, лишь внешним выражением глубокого внутреннего недовольства Кузмина той открыто идеологической полемикой, в которую он (видимо, помимо своей воли) оказался втянут. Повод был достаточно незначительным: при публикации в журнале «Труды и дни» его рецензии на сборник Иванова «Cor ardens» редакцией был урезан ее конец, что вызвало возмущение как Иванова, так и самого Кузмина. Надо сказать, что в последней утраченной фразе не было ничего принципиального<sup>51</sup>, но создавшуюся ситуацию Кузмин решил использовать, чтобы решительно размежеваться с позицией журнала,

четко определившейся уже в первом его номере. За отдельными частными пунктами полемики отчетливо просматривается главное — несогласие видеть в русском символизме единственного законного наследника всей мировой литературы, на чем решительно настаивали многие авторы первого номера «Трудов и дней». В письме в редакцию журнала «Аполлон», даже не уточняя, о какой именно фразе, снятой в печати, идет речь, Кузмин решительно говорит: «Как ни неприятно «Трудам и дням», но школа символистов явилась в 80-х годах во Франции и имела у нас первыми представителями В. Брюсова, Бальмонта, Гиппиус и Сологуба. Делать же генеалогию Данте, Гете, Тютчев, Блок и Белый не всегда удобно, и выводы из этой предпосылки не всегда убедительны»<sup>52</sup>. Хотя имя Иванова было тщательно убрано из письма, он не мог не принять многое из того, что произнес Кузмин, на свой счет, и личная ссора была таким образом возведена к более серьезным и значимым для литераторов расхождениям в эстетике и идеологии.

По аналогичной схеме во многом строились отношения Кузмина с другим литературным направлением, в члены которого его нередко записывают и до сих пор. Акмеист Кузмин или нет — споры об этом шли и идут в литературе довольно долго. Определение, данное ему В. М. Жирмунским, — «последний русский символист»<sup>53</sup> — не учитывает индивидуальной реакции Кузмина на любые попытки присоединить его к программным выступлениям символистов, являясь только типологическим определением, да и то в рамках концепции самого Жирмунского. Но несколько не более обоснованны и попытки сблизить Кузмина с акмеизмом. Уже не раз цитировались резкие определения, которые Кузмин в различных статьях давал этой группе, и опровергнуть таким образом мнение о Кузмине-акмеисте очень легко. Но гораздо более существенным и поучительным является рассмотрение его схождений и расхождений с акмеистами в литературном процессе эпохи.

Казалось бы, тесная дружба с Гумилевым после приезда того в Петербург из Парижа, единство литературной позиции в момент первого, наиболее серьезного кризиса символизма, когда в 1910 году Кузмин вместе со всей «молодой редакцией» журнала «Аполлон» явственно заявляет о своей приверженности курсу Брюсова, а не декларациям Блока и Вяч. Иванова (как представляется, эта позиция отразилась в тексте рассказа «Высокое искусство», посвященного Гумилеву), статья «О прекрасной ясности», участие в заседании «Цеха поэтов», предисловие к первой книге стихов Анны Ахматовой — все это указывает, что определенная близость существовала. И однако никто из акмеистов никогда не говорил и не писал, что Кузмин принадлежит к их узкому, корпоративно замкнутому кругу.

Чаще всего в качестве доказательных объяснений фигурируют личные мотивы. Вот что рассказывала, например, Ахматова: «У нас — у Коли <Гумилева>, например, — все было всерьез, а в руках Кузми-

на все превращалось в игрушки... С Колей он дружил только вначале, а потом они быстро разошлись. Кузмин был человек очень дурной, недоброжелательный, злопамятный. Коля написал рецензию на «Осенние озера», в которой назвал стихи Кузмина «будуарной поэзией». И показал, прежде чем напечатать, Кузмину. Тот попросил слово «будуарная» заменить словом «салонная» и никогда во всю жизнь не прощал Коле этой рецензии...»<sup>54</sup>

Нет сомнения, что одна из рецензий (Гумилев писал об «Осенних озерах» трижды<sup>55</sup>) задела Кузмина настолько, что он — редкий случай в истории русской литературы! — счел нужным дезавуировать свою собственную рецензию на гумилевское «Чужое небо»: высоко отозвавшись о сборнике на страницах «Аполлона», он через несколько месяцев в «Приложениях к “Ниве”» оценил ту же книгу почти уничтожающе. Но вряд ли стоит сомневаться, что инцидент с гумилевской рецензией был лишь толчком, поводом к решительному разрыву с Гумилевым и возглавляемой им школой.

Для Кузмина было очевидным фактом (другое дело, насколько это соответствовало действительности), что акмеизм как литературное направление является в первую очередь отражением личности его основателя, то есть Гумилева. Следовательно, именно гумилевская эстетика должна была проецироваться на все представления акмеизма об эстетической природе литературы. А тут расхождения между двумя поэтами оказываются принципиальными. Кузмин не раз язвительно высмеивал слова Кольриджа, охотно повторявшиеся Гумилевым: «Поэзия есть лучшие слова в лучшем порядке», — а ведь именно из этого принципа исходил Гумилев в своих критических работах и в практике заседаний «Цеха поэтов». Тяготение Гумилева, а следом за ним и всего «Цеха», отчасти и акмеизма, к нормативной поэтике не могло не вызвать решительного противодействия у Кузмина. Именно поэтому внешний повод и вылился в такое резкое расхождение между двумя поэтами. За частными недоразумениями и неприязненностью легко просматривалось принципиальное различие во взглядах на поэтическое творчество.

К первой половине десятых годов относится и закрепление за Кузминым репутации человека, лишенного каких бы то ни было моральных устоев. Наиболее отчетливо такое отношение выразилось в поздних заметках Ахматовой и в обрисовке того из персонажей «Поэмы без героя», облик которого в наибольшей степени связан с обликом Кузмина<sup>56</sup>. Всем читавшим Кузмина были известны его отношения с молодым поэтом-гусаром Всеволодом Князевым, и очень многих шокировало, что после того, как Князев покончил с собой в результате несчастной влюбленности в О.А.Глебову-Судейкину (внешне казалось, что второй раз она вмешалась в судьбу Кузмина, разлучив его с любимым человеком: сначала с Судейкиным, а затем и с Князевым), Кузмин выказал полное равнодушие к его гибели и даже не присутствовал на похоронах.

Естественно, мы не можем говорить с полной уверенностью, но по дневнику Кузмина схема событий представляется совершенно ясной: все отношения Кузмина и Князева, начавшиеся в мае 1910 года, проходили под знаком грозящей неверности. Приступы страстной любви сменялись ревнивыми ссорами, даже скандалами, в которых акценты расставлялись чрезвычайно резко. В конце августа 1912 года Кузмин поехал в Ригу, где Князев тогда служил, и они провели вместе несколько счастливых дней, а потом неожиданно расстались. О причинах расхождения нам ничего не известно, однако оно зафиксировано с несомненной точностью. И все дальнейшее — приезды Князева в Петербург, его визиты к Глебовой-Судейкиной и в «Бродячую собаку», столкновения там с Кузминым, свидетелями которых были многочисленные мемуаристы, — происходило уже в совершенно другой психологической обстановке: вместо подозревавшегося всеми, в том числе и Ахматовой, необычайного любовного треугольника, где не двое мужчин соперничали за женщину, а мужчина и женщина были связаны сложными отношениями с другим мужчиной, создавалась ситуация совсем иная — драматический роман Князева с Глебовой-Судейкиной, проходивший на фоне уже закончившихся его отношений с Кузминым. Если вспомнить, как описывается в «Картонном домике» реакция Демьянова на окончание романа с Мятлевым (судя по дневнику Кузмина, такое описание полностью соответствует реальному эпизоду), то нетрудно понять и природу дальнейшей «бесчувственности» Кузмина: роман завершился, и теперь любимый в прошлом человек стал абсолютно чужд, потому и смерть его волнует не более, чем смерть любого слегка знакомого человека. Это может нравиться или нет, но lamentировать по этому поводу и считать на основании этого Кузмина исключительно безнравственным человеком — несправедливо.

Безусловно, Ахматова была художественно права, создавая в «Поэме без героя» образ «Арлекина-убийцы», явственно наделенного чертами Михаила Алексеевича Кузмина, но переносить это художественное решение в реальные события 1912—1913 годов и на этом основании предьявлять своеобразный нравственный иск Кузмину — невозможно.

Перипетии частной и литературной жизни Кузмина, безусловно, сказались и на его творчестве.

Нежелание каким бы то ни было образом ассоциироваться с литературными группами того времени привело его к определенной изоляции в «высокой» литературе. После прекращения в 1909 году «Весов» и «Золотого руна» Кузмин сделался деятельнейшим сотрудником только что возникшего журнала «Аполлон», одним из тех, кто не просто там сотрудничал, но до известной степени определял и внутреннюю политику журнала. Однако расхождение с Гумилевым не могло не повлиять и на отношения с «Аполлоном», где Гумилев по-прежнему оставался весьма влиятелен. Новые предприятия символи-



стов после инцидента с «Трудами и днями» также не выглядели для Кузмина хоть сколько-нибудь привлекательными. Отношения с Брюсовым явственно ухудшились, и в «Русской мысли» за годы его властвования в литературном отделе Кузмин печатался очень мало. Традиционные толстые журналы не могли преодолеть своей неприязни к столь скандальной фигуре, какой для них по-прежнему представлялся Кузмин, и, как следствие всего этого, главным местом сотрудничества для него становились не очень притязательные издания типа «Нивы», «Аргуса», «Огонька», «Вершин» и пр., вплоть до бульварного «Синего журнала» и суворинского «Лукоморья», которыми очень многие литераторы с именем брезговали. Конечно, его стихи печатались и во вполне серьезных «Северных записках», и в альманахах, среди которых были весьма незаурядные «Стрелец» и «Альманах муз», но постоянное сотрудничество все же чаще связывало его с полубульварными изданиями, которые требовали от своих авторов не художественного совершенства продукции, а прежде всего понятности для самого непритязательного читателя. Если на «Осенних озерах» это обстоятельство еще не успело сказаться, то в «Глиняных голубках» проявилось в полной мере.

Вторая существенная особенность — регулярное сотрудничество с театрами, для которых Кузмин писал не только музыку, но и целые пьесы, нередко вместе с музыкой. Эти пьесы ставились и в серьезных театрах, и в многочисленных по тому времени театрах миниатюр, и в полупрофессиональных домашних спектаклях, но во всех случаях они были ориентированы на беспечную легкость восприятия, должны были доставлять зрителю веселье и радость, не заставляя особенно задумываться над сложными проблемами.

Наконец, на изменении тональности творчества Кузмина не могло не сказаться изменение круга его общения. Если прежде он беседовал, заводил дружбы и считался своим среди элитарного художественного круга (Дягилев, Сомов, Мейерхольд, Вяч.Иванов, Блок, Сологуб, Анненский, Брюсов и др.), то теперь все чаще его окружают молодые поэты, артисты, художники, музыканты, для которых он является безусловным мэтром, чьим словам следует беспрекословно внимать. Хотя поза учителя, насколько можно судить по воспоминаниям, была Кузмину абсолютно чужда, все же такое отношение не могло не воздействовать на его сознание. Вместо общения с равными как равный он оказывался среди людей, явно уступавших ему в интеллектуальной и художественной силе. Особенно заметно проявилось это в тот период, когда он стал тесно общаться с популярной беллетристкой Е. А. Нагродской и на какое-то время даже поселился в ее большой квартире.

На некоторое время критерии художественного совершенства у Кузмина сдвинулись: все написанное представлялось безусловно удачным, а раз напечатанное неуклонно включалось в книгу стихов. В беллетризованных мемуарах Г. Иванова есть сценка, которая

вполне может быть и вымыслом (тем более, что страницы «Петербургских зим», посвященные Кузмину, пронизаны явным недружелюбием, связанным с разными внешними причинами), но тем не менее соответствует тому впечатлению, какое оставляют сборники Кузмина начала десятых годов. На вопрос автора воспоминаний, включать ли какое-то стихотворение в книгу или нет, Кузмин отвечает: «Почему же не включать? Зачем же тогда писали? Если сочинили — так и включайте...»<sup>57</sup>

По-прежнему остается умение простыми словами выразить любовь и нежность, за пустячным эпизодом разглядеть глубокий внутренний смысл, соединить мифологический сюжет с сегодняшними переживаниями, достичь органического единства стилизованности и современности, построить сюжет большого стихотворения... Однако многописание явно не идет Кузмину на пользу. Так, скажем, цикл «Газэлы» в «Осенних озерах» был бы хорош, если бы состоял не из тридцати весьма однообразных стихотворений, а из пяти-шести: стремление автора попробовать свои силы в каком-то определенном духе и роде поэзии, не ограниченное строгими требованиями взыскательного художника, обернулось утомительным для читателя (да, кажется, и для писателя тоже) занятием.

Или, читая вошедший в «Глиняные голубки» «роман в отрывках», нередко поражаешься формальной изобретательности Кузмина, создающего небывалые доселе строфические построения, пользующегося ритмическими и метрическими изысками, но сам замысел при всем этом остается неполноценным, не чувствуется той строгой продуманности плана, о которой так много в беседах с Кузминым говорил Вяч. Иванов. Перед нами лишь разрозненные фрагменты, плохо складывающиеся в единую картину. Романтическая история оказывается недовершенной, а идеологические споры и конфликты, намеченные в последних отрывках при появлении графа Жозефа де Местра, так и не успевают развернуться.

Подобных примеров в двух больших сборниках стихов — более чем достаточно. Сохраняя, конечно, свое творческое лицо, Кузмин все более и более снижает тот пафос, который так отчетливо виден в «Сетях», — пафос ощущаемого в любой, самый незначительный момент жизни отношения к Божьему миру как к единству. Текущая критика встретила «Осенние озера» намного теплее, чем «Сети», иногда даже отдавая им в прямом сравнении преимущество. Однако, с нашей точки зрения, этот сборник (не говоря уже о «Глиняных голубках») выглядит гораздо менее цельным, чем первая книга стихов. Вряд ли случайно тончайший И. Анненский с таким недоверием писал в статье «О современном лиризме» (1909) о цикле, которому предстояло в будущем завершать «Осенние озера» и придавать им особый смысл: «А что, кстати, Кузмин, как автор «Праздников Пресвятой Богородицы», читал ли он Шевченко, старого, донятого Орской и иными крепостями, — соловья, когда из полупомеркших глаз

его вдруг полились такие безудержно нежные слезы — стихи о Пресвятой Деве? Нет, не читал. Если бы он читал их, так, пожалуй бы, сжег свои “праздники”<sup>58</sup>. Действительно, более чем странным выглядит в цикле прямой перепев пушкинского: «Родила царица в ночь Не то сына, не то дочь; Не мышонка, не лягушку, А неведому зверушку»; столь же неуместна и кузминская версия рассказа о Благовещении; да и вообще завершать сборник, посвященный любимому человеку и включающий стихи с откровенным описанием физической страсти, обращениями к Богородице — едва ли не кощунство.

Еще показательнее в этом отношении военные стихи, которые Кузмин охотно писал и печатал в разных журналах и газетах 1914—1915 годов. В них, пожалуй, единственный раз за свою творческую биографию Кузмин утерял даже собственную интонацию: они мало отличаются от многочисленных поделок того времени.

К счастью, такое положение продолжается сравнительно недолго. Начиная приблизительно с 1916 года в творческой манере Кузмина что-то начинает меняться, пока почти потаенно для читателя, но уже вполне ощутимо для автора. И с самого начала двадцатых годов возникает новый облик Кузмина, все яснее и яснее обрисовывающийся с каждой новой книгой.

#### 4

Сказав «с самого начала двадцатых годов», мы несколько опередили события, ибо отдельные изменения заметны уже в первых двух книгах Кузмина, выпущенных им после революции — в 1918 году. Одна из них представляла собой небольшую брошюрку, состоявшую всего из двух стихотворений, вторая — вполне солидную книгу стихов (хотя, конечно, вдвое меньшую по размерам, чем любая из трех предыдущих).

Но прежде, чем начать разговор о перемене творческой манеры, необходимо очертить тот круг представлений о реальной жизни и о месте художника в ней, который складывался у Кузмина постепенно и к середине двадцатых годов стал вполне определенным. Для него, старательно отделявшего политику и прочие события общественной жизни от своих произведений, само представление о том, что его творчество может быть каким-то образом соотносено с ними, было немислимо. Еще в 1907 году на предложение Брюсова участвовать в октябристской газете «Столичное утро» он хладнокровно отвечал: «Октябристский характер газеты мне безразличен, т.к. я совершенно чужд политике, а в редкие минуты небезразличия сочувствую правым»<sup>59</sup>. Но и сам этот вопрос был задан Брюсовым скорее из вежливости, и ответ был получен совершенно ожидавшийся.

В годы же наибольшего переустройства русской жизни современная действительность стала все чаще врываться в произведения Куз-

мина. Ранее она время от времени получала отражение в дневнике (особенно в период революции 1905 года, когда записи становились особенно насыщены фактами и оценками), но в стихи и прозу не попадала никак, поскольку практически не затрагивала частной жизни поэта. Но с началом мировой войны политика начала вмешиваться в эту жизнь самым решительным образом. Новый друг Кузмина вполне мог быть призван в армию, и волнения по этому поводу регулярно отражаются уже не только в дневнике, но и в стихах, придавая им до некоторой степени оппозиционный по отношению к господствующим настроениям характер. Осознание того, что из дела, происходящего где-то в стороне и дающего возможность зарабатывать, не слишком себя утруждая, писанием военных стихов и рассказов, война превращается в жестокую реальность, непосредственно угрожающую ему и ближайшим людям, заставило поэта занять вполне определенную позицию. Увидав рядом с собой неприкрашенный лик войны, Кузмин решительно от него отвернулся.

Напечатанный осенью 1917 года очерк Г. Чулкова, где Кузмин не назван по имени, но узнается безошибочно, зафиксировал очень четко выраженную позицию: войну нужно прекратить во что бы то ни стало, и любые средства для этого хороши. Именно в таком контексте произнесена фраза, нуждающаяся в специальном толковании: «Разумеется, я большевик»<sup>60</sup>. В те дни «большевик» значило прежде всего — любым путем желающий прекращения войны. Но и в дальнейшем, особенно в первые дни после 25 октября, в дневнике Кузмин нередко высказывал симпатию к свершившим переворот и пошедшим за ними: «Солдаты идут с музыкой, мальчишки ликуют. Бабы, ругаются. Теперь ходят свободно, с грацией, весело и степенно, чувствуют себя вольными. За одно это благословен переворот» (4 декабря 1917).

Можно предположить, что в сознании Кузмина революция была связана с пробудившейся энергией тех люмпенизированных масс, которым он давно и прочно симпатизировал, которые представлялись ему одним из слоев, с наибольшей полнотой выразивших коллективное сознание традиционно молчащей России. Для него они были чем-то подобны старообрядцам, чье отношение к текущим событиям формировалось не чтением сегодняшних газет и политических брошюр, а древним укладом жизни, тем самым поднимаясь над суетой нынешнего дня и обретая безусловную правоту. «Хулиганы», «гостинодворцы», те «двенадцать», что теперь оказываются ядром власти, точно так же выплескивают свою энергию зла вовне, исходя из непосредственного переживания действительности, определенного всем строем их не сформулированного словами мироощущения.

Но уже в марте 1918 года он записывает: «...действительно, доравнившиеся товарищи ведут себя как Аттила, и жить можно только ловким молодцам...» Достаточно быстро он увидел, что большевист-

ская революция оказалась не стихийным излиянием народной (пусть даже в том ограниченном понимании, которое вкладывал в это понятие он сам) воли, а чем-то совершенно другим. Становилось все более ясно, что во главе переворота по большей части оказались люди, обладающие своими собственными представлениями о том, как надо эти стихийные силы использовать в своих интересах. Организующая сила партии большевиков, почти незаметная на огромных пространствах России, в столице была ощутима в полной мере, и в открыто политическом цикле стихов 1919 года «Плен» Кузмин не случайно сравнил ее с деятельностью одной из наиболее одиозных личностей в истории России: «Не твой ли идеал сбывается, Аракчеев?»<sup>61</sup>

При этом главный упрек, бросаемый им большевизму, это уничтожение частной жизни во всех ее проявлениях: частного капитала, частного предпринимательства, частного заработка и, как результат всего этого, вообще человеческой индивидуальности, подчиняемой теперь государству непосредственно, во всех самых насущных нуждах, когда без снисходительно выделяемых пайков становится реальной реальностью смерть от голода или холода.

Для поэта, привыкшего существовать независимо от государства, коллектива, просто современников и в этой независимости видевшего залог художественной самостоятельности, такое положение вещей было невыносимо, оно требовало какого-то реального противостояния.

В «Плене» таким противостоянием оказывалась надежда на то, что солнечный свет, парадоксально-ироническим образом оборачивающийся теплом содержимых частным лицом бань, вернется в мир и снова озарит его своим сиянием.

А в создававшихся в конце 1917-го и первой половине 1918 года «Занавешенных картинках» подобным противостоянием явилась плотская любовь во всех ее аспектах — от почти невинной детской до гривуазно-стилизованной, от изысканной до грубо материальной (и, конечно, в равной степени гомо-, гетеро- и бисексуальной)<sup>62</sup>.

На какое-то время опорой могло стать искусство, которое должно было оградить поэта от происходящего как бы магическим кругом, создать оазис, изолированный от наступления жестокого внешнего мира. Как параллель такому искусству возникали воспоминания о прежнем быте, причем воспоминания, включавшие в единый поток и религиозные переживания, и любовные, и бытовые, заставляющие восторженно перечислять, например, многочисленные торговые дома:

Кожевенные, шорные,  
Рыбные, колбасные  
Мануфактуры, писчебумажные,  
Кондитерские, хлебопекарни,  
Какое-то библейское изобилие, —  
Где это?

Мучная биржа,  
Сало, лес, веревки, ворвань...

И как почти неизменный апофеоз:

Яблочные сады, шубка, луга,  
Пчельник, серые широкие глаза,  
Оттепель, санки, отцовский дом,  
Березовые рощи да покосы кругом.

Но постепенно одна надежда за другой отпадали. Прежнее устройство теплового бытового мира не возвращалось, а, наоборот, становилось все более недостижимым. От жестокой реальности внешнего мира искусство служило плохой защитой. Все реже и реже могло претворяться в действительность гордое заявление 1922 года:

Устало ли наше сердце,  
ослабели ли наши руки,  
пусть судят по новым книгам,  
которые когда-нибудь выйдут.

В послереволюционные годы Кузмин издал восемь из одиннадцати своих стихотворных сборников, однако ни один из них не идет ни в какое сравнение с предыдущими книгами по объему: «Двум», «Занавешенные картинки» и «Новый Гуль» представляют собой летучие брошюры, «Эхо» — скорее всего собрание оставшегося от других книг, не востребованного ими материала (не зря по упоминавшимся уже гимназическим оценкам «Эхо» получило категорическую двойку, а «Новый Гуль» — натянутую тройку). Поэтому поэтический мир «позднего» Кузмина нужно описывать в основном по четырем книгам: «Вожатый» (1918), «Нездешние вечера» (1921), «Параболы» (1923) и «Форель разбивает лед» (1929).

Да и первые две книги как бы пересекаются: в «Вожатый» вошли стихи 1913—1917 годов, а в «Нездешние вечера» — 1914—1920-го. Как в том, так и в другом сборнике нет сюжетности циклов, как то чаще всего бывало ранее, и сами циклы дополняют друг друга: очень близки «Виденья» из «Вожатого» и «Сны» из «Нездешних вечеров», «Лодка в небе» представляется своеобразным продолжением и развитием цикла «Плод зреет», а многое из «Вина иголок» свободно вошло бы в «Фузий в блюдечке». Потому две эти книги можно считать своеобразной диалогией.

Обе части этой «диалогии» выстроены по довольно сходному композиционному принципу, который в самых общих чертах можно было бы обозначить как движение от попыток успокоенно-благословляюще взглянуть на мир — через кроющиеся за внешней успокоенностью симптомы глубинного космического неустройства вселенной — к откровенной дисгармоничности, угрожающей человеку уже непосредственно, — и в заключение облегченный вздох венчающего «Вожатый» стихотворения «Враждебное море»: «Таласса!» — или вос-

торженно ликующее прославление «всех богов юнейшего и старейшего всех богов», которым заканчиваются «Нездешние вечера»:

Все, что конченным снилось до века,  
век не кончается!

Конечно, наша схема не учитывает множество самых разнообразных подробностей, которые вносят соположенные друг с другом стихотворения, более того: композиционные ходы могут даже временами опровергать общее направление движения, могут отсылать читателя на неверный путь и заставлять ошибаться. Но пристальное чтение показывает, что даже в отдельных стихотворениях можно проследить эту эволюцию авторского отношения к миру, где переплетаются надежда и отчаяние, уверенность и опасение, чувство правоты и сознание незавершенности своего дела. Вот лишь одно стихотворение, где само движение мысли построено по тому же принципу, что и общее движение всего стихового массива двух книг:

Какая-то лень недели кроет,  
Замедляют заботы легкий миг, —  
Но сердце молится, сердце строит:  
Оно у нас плотник, не гробовщик.  
Веселый плотник сколотит терем.  
Светлый тес — не холодный гранит.  
Пусть нам кажется, что мы не верим:  
Оно за нас верит и нас хранит.

Оно все торопится, бьется под спудом,  
А мы — будто мертвые: без мыслей, без снов...  
Но вдруг проснемся пред собственным чудом:  
Ведь мы всё спали, а терем готов.  
Но что это, Боже? Не бьется ль тише?  
Со страхом к сердцу прижалась рука...  
Плотник, ведь ты не достроил крыши,  
Не посадил на нее конька!

Амбивалентность образной системы стихотворения совершенно отчетлива, чувства и настроения автора то свидетельствуют о его надеждах, то замирают в смертельном отчаянии. Строение Божьего мира оказывается незавершенным, а человек в нем — незащищенным от земных стихий. И то же самое ощущение выделено в тонкой статье, посвященной анализу цикла «Фузий в блюдечке»: «Надо долго вчитываться в цикл, чтобы через это гутирование выверенных с идеальным чувством меры деталей стало проступать нечто иное: космическое устройство мира в ипостаси неустойчивости, вариативности оппозиций, мене местами прежде всего *верха* и *низа*, приводящим к нарушению порядка, к смещению, при всей идиличности чреватому опасностью»<sup>63</sup>.

В большинстве стихотворений этих двух книг стилевая система остается прежней, ориентированной на эстетику внешне простого слова, спокойного интонационного голосоведения, на воссоздание благости и умиленности при воспоминании о сугубо русских пейзажах и картинах, частое обращение к «стихотворениям на случай», свободное использование твердых форм (сонет, рондо, терцины, а в «Эхе» еще и вовсе редкостная спенсеровая строфа). Но в некоторых стихотворениях чувство беспорядка, разлада в мире начинает вписываться непосредственно в текст, его уже не надо специально выискивать.

Взвинченная интонация, исполненная восклицаний и вопросов, разорванные и нарочито неточные рифмы, очень резкие инверсии, непривычные словообразовательные модели, столкновение возвышенного и низменного, ввод в стихотворение далеко не всем известных мифологических образов, отсылки к загадочным для читателя текстам нередко создают впечатление невнятицы, зауми, едва ли не футуристических опытов.

Для самого Кузмина наиболее «футуристически» выглядело «Эхо» с такими стихотворениями, как «Страстной пяток» или «Лейный лемуру», который он в дневнике не без оснований именовал «хлебниковщиной», однако и в «Вожатом», и в «Нездешних вечерах» есть нечто подобное. Если «Хлыстовскую» для читавших многочисленными в начале века статьи и книги о русском сектантстве еще представлялась возможность понять без особого труда, преодолев лишь сумбуризм словесного радения, то сложные переплетения образов во «Враждебном море» или по-своему преломленные мотивы гностической мифологии в цикле «София» нередко выглядели просто загадочными, требующими специальной расшифровки, основанной на солидных знаниях.

Это сочетание простоты выражения с подчеркнутой, демонстративной сложностью заставляло даже превосходных критиков делать поразительные ошибки. Так, ценитель таланта Кузмина, отчетливо понимавший сложность устройства его поздней поэзии, К.В. Мочульский мог себе позволить фразу, небрежно и мимоходом сводя содержание стихотворения «Адам» из «Нездешних вечеров» к элементарной, чуть ли не предназначенной для детей истории: «Детальная зарисовка вещей, внимание к мелочам и подробностям — естественная реакция от обобщенности и всеобъемлемости символизма»<sup>64</sup>. Обращая внимание на те стихотворения, где сложность чувствуется в словесном строе, критик не заметил, что внешне элементарная история Адама и Евы под стекляннным колпаком далеко не проста, что описание их жизни ни в коей мере не важно само по себе, а служит лишь средством для выражения сложной идеи, развивающейся даже в двух стихотворениях Кузмина, основанных на одном историческом источнике — фрагменте из розенкрейцерской рукописи XVIII века<sup>65</sup>. История создания гомункулических Адама и Евы почти дословно вос-



производит старый текст, однако главным для Кузмина является не их жизнь в стеклянной колбе, а жизнь кабинета, где обитает их создатель. Для него важна не история Адама и Евы, переписанная еще раз, проигранная в театрализованно-примитивизированном ключе, а то, что после наблюдения над ними у тех, кто воссоздал гомункулов, возникает ощущение, что не заключенные в колбе, а сами они — «летучие игрушки Непробужденной тьмы».

Но в наибольшей степени представление о Кузмине как об одном из наиболее эзотерических русских поэтов XX века создается на основании двух последних (если не считать книги «Новый Гуль», составленной из одного цикла стихов) сборников Кузмина — «Параболы» и «Форель разбивает лед». В чем-то это впечатление двойственно: отдельные стихотворения выглядят внешне простыми и ясными, едва ли не описательными, но вдруг неожиданные соединения образов рисуют перед читателями странные картины, которые оказываются почти невозможно расшифровать, не прибегая к сложным методам анализа.

Стало уже почти традицией испытывать свои исследовательские способности на стихотворениях из «Парабол» и «Форели», стараясь показать, какие подтексты (причем вовсе не только литературные) кроются за тем или иным текстом и позволяют прочесть его наиболее адекватно замыслу поэта. Однако вряд ли можно будет когда-либо до конца выявить их все, особенно если учесть особый метод подхода Кузмина к своим «источникам», определенный им самим:

Толпой нахлынули воспоминанья,  
Отрывки из прочитанных романов,  
Покойники смешались с живыми,  
И так всё перепуталось, что я  
И сам не рад, что всё это затеял.

Реальные события и отзвуки различных произведений искусства, мистические переживания и насмешливое отношение к ним, слухи и их опровержения, собственные размышления и мифологические коннотации, рассказы приятелей и кружащиеся в голове замыслы, воспоминания о прошлом и предчувствия будущего — все это создает неповторимый облик стихотворений Кузмина двадцатых годов, и не только тех, что составили «Параболы» и «Форель», но и тех, что остались в силу тех или иных обстоятельств неопубликованными.

Конечно, время от времени и в стихотворениях двадцатых годов Кузмин бывает столь же ясным, как прежде. Недвусмысленность авторской позиции в «Не губернаторша сидела с офицером...» или «Переселенцах» делала создание этих стихотворений шагом не менее важным, чем написание «Реквиема» или «Мы живем, под собою не чуя страны...». Однако подобная ясность для Кузмина того времени не слишком характерна. Он явно ищет свой путь для объяснения с эпохой, не совпадающий ни с неудержимым стремлением пойти в

подчинение наступающей сталинщине, ни с попытками говорить с эпохой на ее языке, оставаясь непримиримым оппонентом существующего строя.

Для Кузмина его собственная индивидуальность оставалась при любых обстоятельствах самодостаточной, не нуждаясь ни в каких соположениях с эпохой, социальными установлениями, господствующими настроениями, вкусами и пр. Если Мандельштаму важно было понять самому и убедить других, что он — «человек эпохи Москвошвея» (а в логическом развитии это дало и все его «гражданские стихи», от «Мы живем, под собою не чуя страны...» до сталинской «Оды»), если Пастернак был уверен в положительном ответе на вопрос: «Но разве я не мерюсь пятилеткой?», если Ахматова на долгие годы замолкала, будучи не в состоянии перенести наваливающийся гнет, оставаясь поэтом (и только крайнее отчаяние ежовщины и войны снова разбудило в ней молчавший голос), то Кузмин был спокойно-неколебим, пребывая неразложимо равным самому себе. Он мог легко изменить какие-то внешние признаки своих текстов (самостоятельно, не дожидаясь цензурного вмешательства, убрать из них сомнительные для цензуры пассажи, начать писать слово «Бог» со строчной буквы и пр.), но при всем этом продолжал быть верен тем основным принципам творчества, что выработались у него уже к середине двадцатых годов.

6 апреля 1929 года он записал в дневнике: «Почему я никогда в дневнике не касаюсь двух-трех главнейших пунктов моей теперешней жизни? Они всегда, как я теперь вижу, были, мне даже видится их развитие скачками, многое сделалось из прошлого понятным. Себе я превосходно даю отчет, и Юр<кун> даже догадывается. Егунов прав, что это религия. М<ожет> б<ыть>, безумие. Но нет. Тут огромное целомудрие и потусторонняя логика. Не пишу, потому что, хотя и ясно осознаю, в формулировке это не нуждается, сам я этого, разумеется, никогда не забуду, раз я этим живу, а и другим будет открыто не в виде рассуждений, а воздействия из всех моих вещей. <...> Без этих двух вещей дневник делается как бы сухим и бессердечным перечнем мелких фактов, оживляемых (для меня) только сущностью. А она, присутствуя незримо, проявляется для постороннего взгляда контрабандой, в виде непонятных ассоциаций, неожидан<ного> эпитета и т.п. Все очень не неожиданно и не капризно».

Честно сказать, однозначно определить, что здесь имел в виду Кузмин, кроме прямо названной религии, не так уж просто. Но совершенно очевидно одно: он явственно чувствовал, что все, совершаемое им, определяется единством собственной личности, не подчиненной обстоятельствам даже столь тяжелой жизни, какой она сделалась в двадцатые—тридцатые годы, когда до минимума сжались издательские возможности: оригинальную прозу его прекратили печатать в первой половине двадцатых, после «Форели» не вышло ни

одной книги стихов, да и отдельно напечатанные стихотворения можно буквально по пальцам пересчитать, критические статьи тоже не находили применения, Кузмина постепенно вытеснили со страниц «Вечерней красной газеты», последнего издания, где он время от времени еще рецензировал спектакли и концерты... Для него оставались лишь переводы (Гомер, Шекспир, Гете, Байрон — и вплоть до Брехта) да сотрудничество с театрами, все более сходявшее на нет.

Квартиру (вернее, две комнаты) на Спасской, где жил Кузмин, регулярно посещали разные люди, которые в шестидесятые—семидесятые годы рассказывали начинающим исследователям о своих впечатлениях. С Кузминым жил его постоянный еще с 1913 года спутник Юрий Юркус с матерью, каждый день приходила Ольга Николаевна Арбенина-Гильдебрандт, бывшая фактически женой Юркуна.

Судя по рассказам, вкусы Кузмина в музыке и в русской литературе не особенно менялись, но о многом говорят те веяния в иностранной литературе, за которыми он пристально следил. Он был наслышан о Джойсе еще в двадцатые годы (об этом есть запись в дневнике) и наверняка читал его хотя бы в переводе Валентина Стенича в начале тридцатых; «В поисках утраченного времени» не слишком заинтересовало его в русском варианте, предложенном А. А. Франковским, но обращение к французскому оригиналу несколько исправило впечатление. Большим вниманием пользовался Г. Майринк да и вообще вся литература, связанная с немецким экспрессионизмом. Говорят, что нравились ему первые переведенные на русский вещи Хемингуэя<sup>66</sup>.

Остается вопросом, знал ли он сюрреализм непосредственно или был только наслышан о нем, как о дадаизме (при том пристальном интересе, который Кузмин испытывал к западной литературе, многочисленные статьи об этих течениях не могли, конечно, не попасть в поле его зрения), но известно по воспоминаниям, что аналогичные поиски русских авторов его весьма интересовали. Дневник фиксирует, что среди его знакомых были А. Введенский и Д. Хармс, особенно регулярно посещал его и читал свои произведения первый. Однако еще существеннее, что такие прозаические вещи Кузмина, как «Печка в бане» и «Пять разговоров и один случай», совершенно определенно предвосхищают хармсовскую прозу тридцатых годов.

Пристрастия, как видим, очень показательны. Увы, мы не знаем, что Кузмин писал в тридцатые годы. Ему не только было невозможно печататься, но оказалось невозможно сохранить написанное. Мы знаем, что был в значительной степени (если не полностью) написан роман о Вергилии, но уцелели только две первые главы, опубликованные еще в 1922 году. Лишь в отрывках известен стихотворный цикл «Тристан»<sup>67</sup>. Совсе пропали переводы шекспировских сонетов, которые, как сообщают современники, были завершены. Вполне можно предполагать, что было и нечто еще, в том числе рукописи тех

стихотворений двадцатых годов, которые зафиксированы в перечнях, но пока не отысканы, а там — кто знает...

Попробуем на основании сохранившегося ответить на вопрос: что все-таки составляет ядро творческой личности Кузмина? Ответов, конечно, может быть много, в том числе и столь простых, что их можно сформулировать в нескольких словах. Но мы попытаемся определить это более развернуто, рассматривая последний сборник стихов Кузмина «Форель разбивает лед».

Он состоит из шести больших разделов, которые в зависимости от установки исследователей рассматриваются то как поэмы, то как стихотворные циклы. Сразу нужно сказать, что, по нашему глубокому убеждению, есть все основания считать эти разделы именно циклами, в известной степени подобными тем, что были характерны для первых кузминских сборников (типичные образцы — «Любовь этого лета», «Прерванная повесть», «Ракеты» и пр.). Об этом свидетельствует прежде всего регулярная смена метров и прочих форм построения, тогда как для поэм Кузмина («Всадник», «Чужая поэма», «Николино житие») характерно метрическое и строфическое единообразие. Далее: при отчетливости сюжета каждого раздела между его отдельными узлами регулярны разрывы, преодолеваемые избранным принципом объединения (двенадцать ударов часов в новогоднюю ночь, соответствующие двенадцати месяцам; семь створок веера; семь дней недели с соответствующими им планетами и богами и пр.). Только в «Лазаре» сюжетная основа прослеживается вполне последовательно, однако следует отметить, что для понимания аллегорического ее смысла необходима постоянная проекция событий цикла на Евангелие, чего в традиционных поэмах Кузмина никогда не бывает.

Единственная аналогия, которая могла бы быть подыскана к циклам «Форели» в поэнном творчестве Кузмина, — «неоконченный роман в отрывках» «Новый Ролла», который, однако, также весьма значительно отличается от любого звена последней книги прежде всего отсутствием внутренней завершенности своей идеи, тогда как в «Форели» все части безупречно приводятся к финалу именно своей композицией.

Итак, перед нами книга, состоящая из шести не связанных между собою непосредственно циклов, каждый из которых обладает собственным внутренним единством, как обладает единством и каждое из отдельных стихотворений, составляющих эти циклы. Но и вся книга в целом является единой; в ней, на наш взгляд, отчетливо прослеживаются те принципы художественного мышления Кузмина, которые сделали его одним из безусловно значительнейших русских поэтов XX века.

В первом цикле, так и называемом «Форель разбивает лед» (характерно, что и в жизни и в творчестве Кузмина мотив рыбы, бьющейся в лед и пробивающейся на волю, повторяется не раз), ор-

ганизирующим звеном является годовой цикл, и отдельные эпизоды связаны между собой не только общими героями, но и прерывисто развивающимся любовным сюжетом, переносимым из современности в мир мифологизированной кинематографичности («Второй удар»), балладного мистицизма («Шестой удар»), а более всего — воспоминаний из собственного прошлого. И через эти воспоминания и отвлечения в другие сферы человеческого бытия, через вписанную в современность фантастику проходит один сквозной мотив:

...я верю,  
Что лед разбить возможно для форели,  
Когда она упорна. Вот и все.

Явные любовные ассоциации этого образа (от глубинно мифологических до самых поверхностных) не могут заслонить и иного, вполне очевидного смысла: упорное стремление к цели через все преграды и препятствия, даже кажущиеся непреодолимыми. В любом случае им суждено пасть, если настойчивость не ослабеет, и преградой не станут ни чужая любовь, ни разлука, ни вмешательство посторонних сил, ни соблазны легкой и веселой жизни, ни воспоминания о трагическом прошлом. «Ангел превращений снова здесь», новый год несет с собой окончательное завершение поединка форели со льдом:

То моя форель последний  
Разбивает звонко лед.

Вывод не бог весть какой оригинальности и сложности, но для того, чтобы к нему прийти, понадобилось миновать массу искушений и препятствий, в любой момент грозивших тем, что мир так и останется прежним, двойник — одиночкой, Гринок — далеким шотландским городком, и уж, конечно, «трезвый день разгонит все химеры». Чувство истинной любви, преодолевающее искушение и соблазн, — вот то, что позволяет человеку сохранить свою индивидуальность, навек остаться смертным братом протагониста перед лицом той страсти, что сильнее воли.

В «Панораме с выносками» серия нравоучительных картинок, замещающих печальные и радостные события (уединение, рождающее в старообрядческом скиту страсти; рождаемые темными чувствами убийства, отравления, кражи; загадочная вещица, хранящая в себе прикосновения самых верных друзей, отдаленных непреодолимым пространством), существует параллельно с «выносками», выходами за пределы этой нравоучительности, которые включают в себя и мифологические представления (Гермес — Ганимед — Зевс-орел), и травестированные религиозные мотивы, завершающиеся, как результат всего, эмблематической картиной: летящий пароход, бесконечный простор, ветер, чувство окончательного расставания с мелькающими на берегу людьми и пейзажами, освящаемое присутствием «брата» (не исключено, что «братья» двух первых циклов каким-то

образом отождествляются). Соседство панорамы и действительности, ощущение их постоянного пересечения, единства искусства и жизни порождает чувство сладостного опустошения, возникающего при расставании с чем-то дорогим.

В «Северном веере» ощущение единства определяется событиями, связывающими жизни двух самых близких людей. Названное в пропущенном по цензурным причинам пятом стихотворении имя «Юрочка» напрямую открывает лирическую природу цикла, писавшегося в тот год, когда Ю. Юркуну исполнялось 30 лет:

Двенадцать — вещее число,  
А тридцать — Рубикон...

Мелкие домашние подробности: имя собачки, излюбленный когда-то ресторан, образы из прозы друга, точно названное место его заочения — все ведет к откровенному выражению пронзительной нежности:

Возьми ее — она твоя.  
Возьми и жизнь мою.

Наиболее, кажется, независимый от индивидуальных переживаний цикл в книге — «Пальцы дней», где создается выразительный образ недели как суммы всей человеческой истории, понятой через переплетение различных мифологий, где есть и Ной, и Марс, и Никола... Но в конечном счете все это концентрируется в каком-то очень близком и родном искусстве, становящемся «точкой, из которой ростками Расходятся будущие лучи».

Предпоследний цикл «Для августа» предлагает читателю не очень внятное сюжетное построение, основанное на пародийном восприятии современных «раздирательных драм», как кинематографических, так и литературных: «Я никогда их не едал, У Блока кое-что читал»; «То Генрих Манн, то Томас Манн»; «Бердсли и Шекспир»; «Как у Рэнбо, под ногтем Торжественная щелкнет вошь» и т. д.

Эта пародийность подчеркнута и наиболее откровенной во всей книге непристойностью отдельных эпизодов, и нарочитым введением описания воровской хазы, и издевательскими звукоподражаниями в заключительном стихотворении цикла. При этом внешняя событийность оказывается совершенно обманчивой: «И остаются все при своем». Ни путешествие в Голландию, ни прочие достаточно заманчивые приключения ничего не меняют, все возвращается, чтобы снова начаться и завершиться безо всяких последствий.

Поначалу и «Лазарь», последний из включенных в книгу циклов, кажется продолжением, хотя и не столь откровенно пародийным, начатой в «Для августа» линии: сложный сюжет, преступление, сыщик и суд, попытки установить истину — почти детективная история. Но постепенно осознание того, что история теперешнего молодого чело-

века Вилли — это история воскрешения евангельского Лазаря, перенесенная в наши дни, заставляет нас по-иному смотреть на все сюжетные перипетии цикла. И тогда особую роль в нем приобретает «часовых дел мастер», зовущийся Эммануилом (что, как известно из Писания, означает «с нами Бог»), одновременно завершающий детективный сюжет примитивной и неправдоподобной развязкой и переводящий его в иной, потусторонний план. Воскрешение Вилли-Лазаря после максимального падения в бездну отчаяния и позора позволило Кузмину в наиболее откровенной для конца двадцатых годов форме высказать надежду на Божественный промысел как в собственной жизни, так и в жизни всей страны, с которой он столь тесно связан. И в этой точке первый и последний циклы смыкаются: связь между ними определяется как надеждой на собственные усилия, так и провиденциализмом. В мире, исполненном зла, насилия, непонимания, все же остается возможность воссоединения ранее разъединенного и тем самым восстановления истины, воскрешения уже умершего и пробывшего четыре дня во гробе.

Думается, что такой общий план рассмотрения всего последнего кузминского сборника позволяет нам говорить о его совершенно определенной целостности и соединении отдельных, нередко чрезвычайно «темных» стихотворений и циклов в особую общность, до известной степени повторяющую композицию первого сборника стихов Кузмина: если там описывалось восхождение человека от неподлинной, обманной любви к любви божественной, то здесь речь идет о пути, в начале и в конце которого явственно обозначена надежда на человека и на Бога, та надежда, с помощью которой только и можно выжить во все более и более ожесточающемся мире. Увидеть и трезво осознать эту жестокость, но передать читателю не ее, а цельность, ясность, любовь, уверенность в успехе дела, жажду воскрешения — вот задача, с которой Кузмину блестяще удалось справиться в итоге всего творчества.

\* \* \*

В одном из поздних интервью Ахматова обмолвилась несколько сурово, но в известном смысле справедливо: «Смерть его в 1936 году была благословением, иначе он умер бы еще более страшной смертью, чем Юркун, который был расстрелян в 1938 году»<sup>68</sup>.

Кузмин умер 1 марта 1936 года в переполненной палате городской больницы, полежав перед этим в коридоре и простудившись. Свидетель похорон описывал: «Литературных людей на похоронах было меньше, чем «полагается», но, может быть, больше, чем хотелось бы видеть... Вспомните, что за гробом Уайльда шли семь человек, и то не все дошли до конца»<sup>69</sup>.

После смерти Кузмина и ареста Юркуна большая часть архива,

не проданного ранее в Гослитмузей, пропала, и до сих пор никто не знает, где она может быть. Казалось, что и само имя Кузмина сразу ушло в далекое литературное прошлое, что ему никогда не будет суждено вернуться.

Он даже не оставил русской поэзии, как то издавна велось, своего предсмертного «Памятника», поэтому пусть за него скажет другой поэт — Александр Блок: «Самое чудесное здесь то, что многое пройдет, что нам кажется незыблемым, а ритмы не пройдут, ибо они текучи, они, как само время, неизменны в своей текучести. Вот почему вас, носителя этих ритмов, поэта, мастера, которому они послушны, сложный музыкальный инструмент, мы хотели бы и будем стараться уберечь от всего, нарушающего ритм, от всего, заграждающего путь музыкальной волне»<sup>70</sup>.



**Часть вторая**  
**СТАТЬИ**



## ЛИТЕРАТУРНАЯ РЕПУТАЦИЯ И ЭПОХА

В классической для русского литературоведения работе И. Н. Розанова о литературных репутациях<sup>1</sup> не истолковано прямо и недвусмысленно, что же именно автор вкладывает в это понятие. Однако из всего контекста очевидно, что в содержание термина входит исключительно реакция внешних интерпретаторов произведения и целокупного творчества автора: рецензии, критические осмысления, пародии, перепевы, цитация, включение в хрестоматии и т. д., вплоть до установки памятников и просто сохранения в памяти благодарных (или же, наоборот, исключительно неблагодарных) потомков.

Однако в понятии литературной репутации неизбежно существует и вторая сторона, относящаяся к самому писателю: творя не в безвоздушном пространстве, он неминуемо реагирует на критические отклики и все подобное перечисленному выше, соотнося истинное содержание своего творчества, каким оно представляется ему, с той внешней рецепцией, которая выражается в откликах «литературной общественности». И эта сторона не менее, если не более, важна для литературоведа, так как ее изучение дает возможность проникнуть хотя бы отчасти в сферу психологии творчества, а из нее — в сферу понимания художественных задач того или иного автора. Ставя себя в определенные отношения с современниками, обладающими возможностью публично реагировать на преданные тиснению произведения, автор тем самым выстраивает и собственную позицию в литературе.

Ограничимся лишь одним примером, анализ которого мог бы помочь разрешить «загадку русского декаданса» (как сформулировала это Дж. Д. Гроссман) гораздо более точно.

Известно, что первое издание «Chefs d'oeuvre» Валерия Брюсова вызвало бурю негодующих откликов не только посторонних критиков, случайных современников, но и ближайших друзей автора. Одному из оставшихся нейтральными друзей автор сообщал в письме: «Вышли мои «Шедевры». Эффект их появления был весьма значительным, но и весьма печальным. Против меня восстали все, даже и те, которые убедительно торопили меня напечатать эту мою книжку.

Бесконечно возмутило всех предисловие. Сознаю, я там пересолил немного, но ведь надо стать в положение человека, которого полтора года безустально ругали во всех журналах и газетках. Как бы то ни было, вознегодовали все, и некто г. Коган заявил даже, что напечатать я свое предисловие раньше — он не считал бы возможным вступить со мной в знакомство. <...> Конечно, я могу утешаться тем, что пока все это бездоказательная брань, к тому же самых моих стихов не касающаяся, но все же переживать все это и бороться со всем этим не слишком приятно<sup>2</sup>. И именно в такой обстановке менее чем через год, когда совершенно очевидно первое издание сборника еще никак не могло разойтись, Брюсов готовит и печатает второе издание книги, где те же самые ноты, что так возмутили первых читателей, звучат еще сильнее: «Пусть же в полном составе звучит тот хор, голос которого уносится в далекое будущее. В своем настоящем виде моя книга кажется мне вполне законченной, и я, спокойнее, чем когда-либо, завещаю ее вечности, потому что поэтическое произведение не может умереть»<sup>3</sup>. Этот жест произвел очевидный эффект, подобный тому, что был после первого издания<sup>4</sup>. И нет сомнения, что пристальное сравнительное изучение двух изданий «Chefs d'oeuvre» даст возможность представить себе, как Брюсов строил свою позицию в ответ на реакцию критиков и друзей.

Материалов для подробного исследования такого рода проблем применительно к разным авторам начала XX века в нашем распоряжении находится не столь уж и много, поскольку определение реакции писателя на отклики публики по поводу его собственного творчества требует довольно сложных операций над любыми текстами, предназначенными для постороннего взгляда и слуха, то есть даже эпистолярные отклики всегда нуждаются в определенной коррекции, далеко не всегда возможной при нынешнем состоянии изученности предмета. Поэтому наиболее надежным способом постижения подобных сторон творчества являются тексты автокоммуникативные. Естественно, и они нуждаются в определенной интерпретации, однако в данном случае она может быть проведена с гораздо большей степенью легкости.

Одним из наиболее значительных документов этого типа, известных в настоящее время, является дневник М. А. Кузмина, ведшийся им на протяжении по крайней мере тридцати лет (первые известные нам записи относятся к 1905 году, в то же время существует — хотя пока и не доступен для изучения — дневник 1934 года). Из многих аспектов биографии и творчества Кузмина, могущих найти разрешение на основании изучения дневника, здесь я предлагаю рассмотреть именно проблему собственной литературной репутации, в определенные моменты становящейся чрезвычайно существенной для Кузмина.

Прежде всего следует определить те периоды творчества, когда такая проблема его волновала. Как было бы совершенно естественно

предположить, первый момент относится ко времени становления Кузмина как профессионального писателя, т. е. к 1905—1907 годам, с 1908-го явно отодвигаясь на задний план; второй — уже не столь очевидно — к годам постепенной утраты уже определившейся популярности в сознании читающей публики. Процесс же обретения прочной писательской репутации и тем более состояние ее «акмэ» для Кузмина не являлись проблемой и потому в дневнике почти не отражались. Поэтому имеет смысл остановиться именно на этих двух моментах его биографии, тем более что они дают возможность не только увидеть некоторые стороны индивидуальности поэта и прозаика, но и обратить внимание на особенности литературной жизни тех исторических периодов, когда стремительные изменения публичной реакции на творчество Кузмина заставляли его осмыслять или хотя бы просто фиксировать их.

Первый этап из интересующих нас изучен довольно хорошо, и потому его особенности могут быть сформулированы достаточно точно и кратко, хотя они довольно сложны.

Всерьез о своей литературной репутации (естественно — в дальнейшей это оговариваться не будет — мы имеем в виду только те эпизоды, которые так или иначе освещены доступными нам материалами) Кузмин задумался после того, как им был если еще и не завершен, то в значительной степени написан роман (определение самого автора) «Крылья» и появилась возможность читать его самым различным людям. Несколько раз на страницах дневника Кузмин записывает впечатления своих слушателей, и почти всегда это оказываются впечатления одного и того же рода. Конечно, фиксируются собственно оценки (хороший/плохой, удачный/неудачный и пр.), но значительно более развернуто — те впечатления, которые соотносят занесенные на страницы романа переживания с собственным опытом слушателей. Так, 10 октября 1905 года, после чтения «Крыльев» в кругу участников «Вечеров современной музыки»<sup>5</sup> появляются такие слова: «Покровский <...> долго говорил о людях вроде Штрупа, что у него есть человека 4 таких знакомых, <...> как он слышал в банях на 5-й линии почти такие же разговоры, как у меня, что на юге, в Одессе, Севастополе смотрят на это очень просто...» и т.д.

Суждения такого рода, насколько можно судить, волнуют Кузмина гораздо сильнее, чем разборы художественных достоинств произведения. Так, он никак не откликается на довольно подробный анализ поэтики «Крыльев» в одном из писем Г. В. Чичерина, чьим мнением он всегда дорожил, и даже в те самые годы, к которым относится письмо о «Крыльях», отмечал в дневнике другие мнения своего давнего товарища<sup>6</sup>.

С одной стороны, это явственно свидетельствует о том, что Кузмину было важнее донести до читателей некоторые мысли своего романа, чем услышать суждение о его художественных особенностях, но с другой — о том, что произведение было предназначено для фор-

мирования определенного круга сочувственников автора, которые могли бы сделаться членами какой-то гипотетической общности, объединенной не только гомосексуальными интересами (хотя они, бесспорно, были Кузмину весьма важны), но и сходством представлений об искусстве, а в конечном счете — и о жизни вообще.

И в этом смысле внешняя реакция непременно должна была сопрягаться у него с обликом реагирующего человека. Из дневника известно несколько случаев, когда восторженные почитатели Кузмина вызывали у него неодолимое раздражение. Так произошло, например, с бароном Георгием Михайловичем фон Штейнбергом, которого Кузмин с еще некоторыми людьми (С. А. Ауслендером, Б. А. Леманом, П. П. Потемкиным, В. Ф. Нувелем) подверг утонченным издевательствам, вызвавшим обиженное письмо униженного барона: «Вас, наверное, очень удивит мое письмо, т.к. мы условились говорить с Вами по телефону, но, может быть, прочтя это письмо, Вы придете к заключению, что нам говорить вообще больше с Вами не о чем. Я собираюсь поделиться с Вами моими мыслями и впечатлениями о вчерашнем вечере. Мистифицировали ли Вы меня? Если да, то не буду разбирать и оценивать роль и поведение Лемана и Потемкина, может быть, у Вас принято так обращаться с незнакомым, впервые встреченным человеком, это вопрос устава того или другого монастыря, кот<орый> может мне подойти или нет; но с Вами лично вопрос обстоит далеко не так; если это мистификация, то задуманная и подготовленная заранее, и, если бы после всех наших разговоров (хотя бы на извозчике) я имел бы право осудить Вас за насмешку над мной даже экспромтом, то Вы, надеюсь, поймете, что обдуманное издевательство надо мной в присутствии и при помощи мне совершенно незнакомых людей должно было бы вызвать с моей стороны окончательный разрыв каких бы то ни было отношений между нами. Но этому верить я не могу и не хочу. Вы помните, я говорил Вам при нашей первой встрече, что мне приходилось всегда разочаровываться и ошибаться в людях мне симпатичных. Если бы в данном случае это было бы так, то ошибка в Вас была бы слишком груба и слишком жестока расплата за излишнюю экспансивность и доверие. Но даже если это не мистификация, то Вы виноваты в том, что не предупредили меня хотя бы в общих, ничего не значащих словах о том, что может произойти. Вы должны были бы (если я не стул и не стол для Вас) понять, насколько мне вначале многое у Вас было непонятно и чуждо; ведь, собственно, если во мне и есть задатки, благодаря кот<орым> я, может быть, и могу со временем жить в тон с Вами, то пока ведь я еще совершенно *de l'outré Rhien*, филистер, которому нужна была бы твердая и преданная рука, чтобы направить его через кладку на эту сторону реки. Если это все было серьезно, то, может быть, Вы не имели права предупредить меня? Вы видите, я ишу объяснений сам; мне было бы очень больно, если бы это оказалось на деле так грубо и недоброжелательно. Если Вы, по Вашему мнению, уже достаточно

посмеялись надо мной и больше я Вам уже ни для чего не нужен, то Вы не постараетесь объяснить мне вчерашний вечер; но если Вы можете хоть что-нибудь сказать, чтобы выяснить его, я буду ждать; но, предупреждаю, — долго ждать тяжело, легче сразу решиться и вычеркнуть. Отчего Вы так меняетесь вообще? Вчера Вы были совершенно чужой и далекий; это выводит из равновесия, а попадая в совершенно незнакомую среду равновесие необходимо. Жду ответа. *Жорж*»<sup>7</sup>.

В некоторых отношениях аналогична была история с неким натурщиком Валентином, который, прочитав «Крылья», принес Кузмину свой дневник, где было записано несколько его гомосексуальных приключений.

27 февраля Кузмин заносит в дневник: «Днем неожиданно явился какой-то тип в берете, зеленой бархатной рубаше под пиджаком без жилета, с ярко-рыжими кудрями, очевидно, крашенный. Оказывается, натурщик Валентин, где-то читавший «Крылья», разузнавший мой адрес и явившийся, неведомо зачем, как к «русскому Уайльду». Большой пошлости и аффектации всего разговора и манер я не выдал. Он предлагал мне свои записки как матерьял. М<ожет> б<ыть>, это и интересно. Но он так сюсюкал, падал в обморок, хвастался минут 40, обещая еще зайти, что привел меня в самый черный ужас. Вот тип. Оказывается, знает и про «Балаганчик» и про Сережу, которого он считал братом и т. п.». На следующий день, прочтя принесенное, он так сформулировал свое впечатление: «Дневник Валентина — что-то невероятное, манерность, вроде мечты о жизни бульварного романа, слог — все необыкновенно комично, но есть неожиданные разоблачения и сплетни». И далее, на протяжении довольно продолжительного времени этот дневник время от времени всплывает в дневнике Кузмина: то его читают в дружеском общении, то он должен был стать основой для задуманной, но не осуществленной повести «Красавчик Серж», предполагавшейся писаться без оглядки на цензуру. Не лишено интереса, что дневник этот все-таки послужил основой литературного произведения, только автора, причисляемого к совсем иному разряду писателей, чем Кузмин: в романе Н.Н.Брешко-Брешковского «Петербургская накипь», печатавшемся осенью 1907 года в «Биржевых ведомостях», в фигуре натурщика Клавдия Кузмин без труда узнал знакомого ему Валентина<sup>8</sup>.

Таким образом, интерес Кузмина к откликам подобного рода обнажал возможность пересечений его творчества с литературой самого низкого разбора, что в первые годы деятельности было, очевидно, для него немыслимым. Ориентируясь на журналы символистской направленности, он с некоторой иронией наблюдал за рецепцией своего творчества в массовой печати. Дневник и письма 1907 года, особенно его лета, демонстрируют пристальное внимание Кузмина к малейшим откликам на его произведения. Последней новинкой сезона стал альманах «Белые ночи», где были напечатаны одновременно повесть

«Картонный домик» и стихотворный цикл «Прерванная повесть». На лето Кузмин уехал в провинцию, но ряд петербургских журналов и газет он получал и внимательно следил за ними, тщательно отмечая и хроникальные заметки (например, о своем отъезде из Петербурга<sup>9</sup>), особенно если они были связаны с какой-нибудь нелепицей (как, например, в хронике газеты «Русь» от 6 июля: «Автора нашумевшей повести «Крылья» в среде его близких приятелей в шутку называют «мэтр» <...> В только что вышедшей маленькой, чрезвычайно изящно изданной книге его «Приключения Эмиля Эбефа» галантно обрисованы веселые нравы средневековья»), и многочисленные критические статьи (например, «В алькове г. Кузмина» В.Ф. Бочановского<sup>10</sup> и его же отклик «О греческой любви»<sup>11</sup>), и сатирические стихи (как, например, «Чемпионат» Сергея Горного:

Кузмин всемирный взял рекорд:  
Подмял маркиза он де Сада.  
Александрийский банщик горд...  
Вакханту с крыльями отрада.  
Де Саду сделав два parade'a,  
Кузмин всемирный взял рекорд...<sup>12</sup>),

и пародии, и шаржи, и сатирические театральные представления, и пр.

3 июля, прочитав немалое количество таких откликов, Кузмин писал своему другу В. Ф. Нувелю: «Милый друг, что Вы меня совсем забыли? или Вы думаете, что я уничтожен всеми помоями, что на меня выливают со всех сторон (и «Русь», и «Сегодня», и «Стол<ичное> утро», и «Понед<ельник>»)? Вы ошибаетесь. Приятности я не чувствую, но tu l'as voulu, Georges Dandin».

Тем временем (возможно даже, что Кузмин знал далеко не обо всем, лишь постепенно осознавая смысл своей популярности) его имя стало стремительно мифологизироваться.

В статье «Кузмин осенью 1907 года» мы попытались показать, как этот миф создавался, здесь же отметим, что сутью его было двойное образа поэта: с одной стороны, завсегдатай эротических клубов, угрожающий нравственности молодых людей, а с другой — затворник, поглощенный медитациями, мистически настроенный и жгущий в своей комнате ладан. Особенно существенно для нас, что сам Кузмин старательно поддерживал свою репутацию в обеих ипостасях столичных толков, добиваясь создания совершенно определенной художественной личности.

Можно полагать, что окончательное оформление кузминского мифа позволило поэту в дальнейшем не следить с таким пристальным вниманием за своей литературной репутацией, поскольку формирование мифа есть уже высшая точка репутации. Именно этот миф в различных его модификациях дошел до наших дней: с одной стороны, это «адский» Кузмин, облик которого запечатлен в строках



«Поэмы без героя», в заметках Ахматовой и в ее словах, зафиксированных различными мемуаристами. С другой — тот явно неприязненный, но свидетельствующий о глубинности личного отношения портрет Кузмина, который возникает на страницах критических статей Г. Адамовича или «Петербургских зим» Г. Иванова.

Рождение и осуществление кузминского мифа позволяет сделать хронологический перелет и обратиться к представлению о творчестве Кузмина, которое создавалось в двадцатые годы самыми различными авторами, однако, как оказалось, приводили они к одному и тому же результату.

К тому времени Кузмин воспринимался читающей публикой как безусловный живой классик, долженствующий освящать своим присутствием всякое литературное предприятие в Петербурге. И у людей, заинтересованно к литературе относящихся, но стоящих вне того круга, который столь почитал Кузмина, начинается почти что неизбежная реакция отторжения.

Приведу лишь несколько свидетельств такого рода. Вот — письмо В. Ф. Ходасевича к Г. И. Чулкову от 20 января 1921 года: «Вчера вечером меня подняли и повели вниз<sup>13</sup>, читать стихи с Кузминым. Народу было не много. Кузмин почитает Лермонтова разочарованным телеграфистом. Здешние с ним солидарны. Я не бранюсь и веду себя скромно: пусть думают, что я тоже дурак, а то обидятся»<sup>14</sup>. Вот — отрывок из дневника К. И. Чуковского, где речь идет о стихотворении, так потрясшем в свое время Марину Цветаеву: «Стишки М. Кузмина, прошепелявленные не без ужимки, — стихи на случай — очень обыкновенные»<sup>15</sup>. Наконец, напомним самый явный пример — статью А. Волынского «Амстердамская порнография»<sup>16</sup>, где сборник Кузмина «Занавешенные картинки» подвергался резчайшей критике. Характерно — и Кузмин не преминул это заметить, — что сборник вышел в свет в конце 1920 года, а статья появилась в начале 1924-го, причем появилась в издании, с которым Кузмин был долгое время связан отношениями длительного сотрудничества. Совершенно очевидно, что появление статьи Волынского было не индивидуальным критическим актом, а рассчитанной акцией тех людей, для которых Кузмин был не просто одним из осколков прошлого, но и символизировал целое направление в истории русской литературы начала XX века. Создалась ситуация, в известной мере напоминающая историю «дела Горнфельда», когда справедливые, но излишне резкие упреки переводчика «Легенды об Уленшпигеле» О. Мандельштаму, использовавшему фрагменты его перевода для нового издания и не указавшему этого на книге, были подхвачены той частью уже сложившегося советского литературного истеблишмента, которой Мандельштам уже давно стоял поперек горла. Публичная ссора двух вполне уважаемых людей вызвала целый поток оскорбительной брани и имела для Мандельштама в конечном итоге катастрофические последствия. Для Кузмина таких последствий не было — веро-

ятно, прежде всего потому, что он не стал связываться с Волынским публично, ограничившись частным письмом, где отчетливо дал понять, что понимает эту новую сторону новой литературной политики: «“Занавешенные картинки”, разумеется, предлог, и весьма неудачный. Книга, изданная 5 лет тому назад на правах рукописи, официально в продажу не поступавшая, ни юридически, ни этически не может быть объектом печатного обсуждения, как дневник, частные письма, случайно найденные у антиквара или собирателя автографов. Не в этом дело. Характеристика моей деятельности вообще может быть различна. Но я думаю, что мои писания лежат настолько вне плана Ваших интересов, что *Вам* просто-напросто не важно, *какого Вы обо мне мнения*. Боюсь, что Вы и не читали всего, о чем Вы пишете в данной заметке»<sup>17</sup>.

За 4 месяца до этого происшествия Кузмин в дневнике подводил итоги своей литературной деятельности: «Если вспомнить все мои дела, предприятия, выступления и то, что называется «карьерой», — получится сплошная неудача, полное неумение поставить себя, да и случайные несчастья. За самое последнее время они учащаются. М<ожет> б<ыть>, я сам виноват, я не спорю. «Ж<изнь> Искусства», «Красная <газета>», Б<ольшой> Др<аматический> Театр, Т<еатр> Юн<ых> Зрит<елей>, переводы оперетт, «Всем<ирная> Литер<ату>ра», всякие «дома». Где я могу считать себя своим? «Academia», «Петрополь» и т.д. Не говоря о своей музыке. Книги, о которых говорили, да и то ругая: «Ал<ександрийские> Песни», «Крылья», «Сети», «Куранты <любви>» — все первые. Что писали в 1920—21 году? волосы становятся дыбом. «Мир Ис<кусства>», «Аполлон», «Д<ом> Интермедий», «Привал <комедиантов>» — разве по-настоящему я был там? везде intrus. Так и в знакомствах. А част<ные> предприятия? «Часы», «Абракасас»? «Петерб<ургские> Вечера»? Жалости подобно. Все какая-то фикция».

Безусловно, список неудач впечатляет, но Кузмин еще не мог предвидеть, что его ждет впереди. Пока что вокруг него собирается небольшой круг поклонников, но все чаще и чаще попытки выйти за пределы этого круга оказываются сугубо гомосексуальными предприятиями, как майская поездка 1924 года в Москву, в подробностях восстановленная А. Г. Тимофеевым<sup>18</sup>. Редкие публикации становятся все реже. Казалось, дело могла поправить беседа с другом юности Г. В. Чичериным, наркомом иностранных дел и человеком безусловно влиятельным в большевистской верхушке.

Свидание с ним состоялось в ноябре 1926 года, когда положение Кузмина стало уже совсем катастрофическим. Описано в дневнике оно так: «Наконец Юша; потолстел, но не так обрюзг, как на снимках. “Mieux veut tard que jamais”, — начал он. Говорил на ты и долго по-французски, т.к., по его словам, он чувствует себя как за границей. Разговор об искусстве, воспоминания, полемика, дружба, остроумие, дипломатия, вроде светской дамы, подтруниванье над собст-

венным положением, моя известность в Германии, разбор моих вещей, был на «Кармен», идет на «Мейстерзингеров» и т.д. Оптимизм, как у гос<ударяни> Марии Федоровны, которая была бы уверена, что можно прожить на 3 р<убля> в год. Почему мало печатаюсь, мало пишу». И следующая запись показывает, что значила литературная репутация в это время (напомню — 1926 год): «Всеобщая сенсация с Чичериным. Все удивлены, что я ничего у него не попросил, но я думаю, что так лучше».

Интерпретация последнего высказывания может быть различной, но само представление о том, что человек, находящийся на вершине общественной лестницы, не только может, но и должен помочь, если его о том настойчиво попросить, уже свидетельствует о складывавшейся ментальности советского художественного деятеля.

Ровно через год следует запись, также демонстрирующая своеобразное изменение представления о литературной репутации, также чрезвычайно важного для культуры последующего времени: «Не имеет ли мой упадок, страх и томление причин, не накликает ли оно их? Перед чаем прибежал похолодевш<ий>, перепуганный Л<ев> Льв<ович><sup>19</sup>, увлек меня в мамашину комнату и на ухо сообщил, что его вызывали в ГПУ и спрашивали обо мне, кто у меня бывает, я ли воспитал в нем монархизм, какие разговоры велись в 10-летн<ую> годовщину, что, кроме педерастии, связывает его со мною, где он еще бывает и т.п. Назвал он Милашевского, Сториц<ына> и Митрохина, от меня до некоторой степени отрекся, но перепуган, думает, что его лишат работы, выставят из ун<иверс<итета> и вышлют. Не знаю. Я был как во сне. Черномордики?<sup>20</sup> Сторицын? Недаром он уже давно сообщал, что я арестован, и не являлся дней 10. Его печальные сплетни всегда бегут перед событиями. А сегодня он явился. <...> Теперь уже приобретают какую-то понятность и намеки у <В.М.> Ходасевич: что печатать меня запрещено, и странное отхождение многих. Что же будет с Юр<куном>? А м<ожет> б<ыть>, они просто нащупывают. Л<ев> говорит, что агентурный матерьял — толстая тетрадь».

Характерно и то, что дошедшая до нас часть дневника заканчивается небольшой тетрадкой, где Кузмин записывает, как вербовали Юркуна и как он ездил в Москву, пытаясь на верхних этажах ГПУ добиться его освобождения от обязанностей сексота<sup>21</sup>.

Литературная репутация все теснее связывалась с политическим положением в стране и с литературной политикой советской власти. Вероятно, Кузмин отчетливо ощущал, что любая его попытка найти компромисс со складывавшейся системой литературных отношений неминуемо будет неудачной, поэтому он, сколько известно, даже и не стараясь ничего сделать, спокойно отходил в практическую неизвестность для современного читателя.

И чрезвычайно характерно в этом отношении описание одного из последних публичных выступлений Кузмина в Институте истории

искусств, состоявшегося 10 марта 1928 года. Довольно широко известен рассказ В. Н. Орлова об этом вечере, записанный Дж. Малмстадом и опубликованный в его биографии Кузмина (фамилия Орлова, конечно, не названа). В своем дневнике Кузмин отметил: «Читал охотно, чувствуя, что доходит». Рассказ же Орлова содержит фразу: «Это была последняя демонстрация петербургских педерастов». Таким образом, поэзия Кузмина, наиболее зрелая и совершенная его поэзия, опять опрокидывалась в мир интересов сексуальных меньшинств, из которого она в начале века столь решительно вышла, став достоянием большой русской литературы.

Последняя книга Кузмина прошла незамеченной, что отчасти объясняется в дневниковой записи: «Книга потихоньку идет. Думают, что рецензий не будет. Хвалить не позволят, а ругать не захотят». После этого практически лишь узкий кружок друзей, в который входили поэт А. Введенский, прозаик и филолог-классик А. Егунов, искусствовед В. Петров и некоторые другие, преданно слушал Кузмина. Во внешнем же мире он чаще всего представлял или в облике переводчика, или — еще чаще — человека прошлой литературной эпохи, и вряд ли кто задавался вопросом, жив ли он на самом деле. Новая литература решительно отторгала его.

Но закончить хотелось бы эпизодом из лагерных воспоминаний Т. А. Аксаковой-Сиверс, связанным с именем Кузмина. Кажется, что он, любитель необычайных совпадений, с удовольствием бы этот рассказ выслушал. Речь идет о воровке в законе, чем-то согрешившей перед хеврой. «Накануне, на собрании, Полянцев предложил применить к ней суровый вид репрессии — полить ее из поганого ведра, после чего она считалась бы опозоренной и никто из ее среды не мог бы иметь с ней ничего общего. В барак вошел автор проекта с гитарой в руках. Перебирая струны, он пел: «Дитя, торопись, торопись, помни, что летом фиалок уж нет!» Дедикова хриплым голосом спросила с верхних нар: «Жора! Правда ли, что ты хочешь лишить меня звания Тоси?» Продолжая перебирать струны, Полянцев пожал плечами и сказал: «А какое мое дело?» Потом бравурным речитативом повторил три раза «фиалки, фиалки, фиалки», приглушил струны ладонью и вышел из барака. Это была его последняя песня»<sup>22</sup>.

## ПЕТЕРБУРГСКИЕ ГАФИЗИТЫ

В сфере современных литературоведческих и историко-культурных штудий, посвященных началу XX века, особое место должно занимать изучение различного рода обществ и кружков, позволяющее проанализировать не только частные устремления отдельных деятелей искусства, но и некоторые жизнестроительные тенденции, особо важные для символизма. При этом внимание следует уделять не только тем объединениям, которые обладали разветвленной системой представлений о мире, собственной кружковой символикой и т.п.<sup>1</sup>, но и тем, которые были гораздо более замкнуты, далеко не полностью реализовывали свои творческие потенциалы и даже — как предельный вариант — существовали лишь теоретически, в проекте, но не воплощались в жизнь, подобно мимолетному замыслу Зинаиды Гиппиус, о котором она сообщала в письме к А. Л. Волынскому 20 августа 1891 года: «Если бы действительно можно было жить не злобствуя, не браня, не вредя друг другу, если бы можно было составить хоть небольшой кружок серьезно работающих и серьезно думающих людей, хороших товарищей, и доверять им бесконечно, не боясь, что они вдруг отвернутся от тебя из-за вздора, из-за какой-нибудь сплетни! Я такая пессимистка, что не верю в возможность этого в Петербурге, да еще в литературе. Есть вы, есть я, есть отдельные личности — но нет союза, нету кружка»<sup>2</sup>.

В нашей работе речь пойдет об одном из литературных кружков, практически не привлекавших до сих пор внимания исследователей, — дружеском обществе «друзей Гафиза», объединившем в ближайшем общении с Вяч. Ивановым нескольких людей, немаловажных для истории русской культуры того времени, и позволившем говорить о неких общих устремлениях, в той или иной степени отразившихся в творчестве и идейной эволюции этих художников.

До сих пор в печати о деятельности этого общества рассказывалось не часто и не слишком подробно: при публикации письма К. А. Сомова к М. А. Кузмину от 10 августа 1906 года<sup>3</sup>, дневников В. И. Иванова<sup>4</sup> и М. А. Кузмина<sup>5</sup>, а также стихотворения М. А. Кузмина «Друзьям Гафиза»<sup>6</sup>. Затронута тема «Гафиза» в монографии П. Дэвидсон<sup>7</sup>. Остальной материал, использованный нами при разысканиях, почерпнут из переписки и произведений членов

кружка, а также из немногих обнаруженных упоминаний о его деятельности в материалах других писателей-символистов.

Предыстория «Гафиза» (в дальнейшем всюду сохраняется транскрипция имени поэта, принятая в начале века и особенно в кругу общения «гафизитов») относится к концу марта 1906 года. В большом письме Л. Д. Зиновьевой-Аннибал к М. М. Замятиной, начатом, очевидно, 10 марта и продолженном 26 марта (оно датировано: «Воскресенье 10 утра»), рассказывается об импровизированном собрании, происходившем, по всей видимости, накануне: «К вечеру пришел Гюнтер, стали обедать чем Бог послал моментально. Потом вдруг Юля, потом Бердяевы с цветами hortensia и вазочка: подражание древней с фиалками, нарциссами, гиацинтами и еще дивным глицинием, кажется, а Бердяев хотел «декадентке» (мне сплетничала Лидия Юд<ифовна>, что они даже поссорились в магазинах) — принести черный ирис. И здесь началось что-то неожиданное. Да, явилась на часок Чулкова с чудным сладким пирогом. Между цветами двигались эти три красавицы. Чулкова — брюнетка еврейского типа, но с большой нежностью, Бердяева — античная маска с саркофага, и Юля, сам Берд<яев> — красавец, кудрявый брюнет с алмазами — горящими талантом и мыслью глазами. Гюнтер красавец «schlanke Flamme's», как его называет Вячесла<в> по заглавию его первого сборника «Schlanke Flammen». Затем старики: Вячесла<в> и я. Тоже интересны: тому порука вкус Сомова. Мой красный хитон с оранжевой шалью очень был хорош и вдохновил всех на маскарад. Лид<ия> Юд<ифовна> общипала от обилия цветов, украсили женщин и мужчин. Бердяева одели греческими складками в оранжевую кашемировую ткань, повязали оранжевую bandelette через лоб и розы в волосы.

Вячеславу одевали папоротник на голову. Юлю причесали *châtelaine*, уничтожив гнусную римскую репу, и она преобразилась от своего удручительного безвкусия. Лид<ия> Юд<ифовна> повязала греч<ескую> банделетку красную через лоб и устроила трагическую прическу, укуталась в старую, моей матери, персидскую шаль, увы, другой не было. Стали пить вино и шутить, потом стали говорить горячо о красоте и ее счастье, что нужно спасти ее для жизни, и вспоминали слова Горького, «что мало мы ценим себя и что мы правительство России», и слова Гюнтера, что самые тонкие и передовые люди Европы вот здесь, вот — мы, ибо Запад еще декадентствует в своих вершинах, а мы уже перевалили. [Вячесла<в> ] написал Гюнтеру в его альбом стихотворение к нему: «На востоке Люцифер, Вечер на закате» <...> Решено было, раз мы «правительство» и «первые люди», с осени начать «преображать» костюмы и нравы, устроив ядро истинной красоты при помощи наших художников. Сомов, бывший очень робким и несколько исключительным в своих идеалах 18-го века, теперь совершенно соблазнен моими хитонами и нашими жаркими проповедями»<sup>8</sup>.

Этот отрывок нуждается в некоторых комментариях. Иоганнес

фон Гюнтер (1886—1973) — немецкий поэт и переводчик русской литературы. В 1906 году он впервые приехал в Петербург и познакомился с Ивановым. Иванов написал ряд стихотворений, к нему обращенных, но как раз об упоминаемом в письме Гюнтер сообщает: «Его русский оригинал погиб, сохранился лишь мой перевод. Я помню лишь две первые строчки Иванова: “На Востоке Люцифер, Веспер на закате”»<sup>9</sup>. Его книга стихов «Тонкое пламя», о которой говорится в письме, в свет не вышла. Юля — знакомая Ивановых Ю. А. Беляевская. Лидия Юдифовна Бердяева (урожд. Рапп, 1889—1945) — жена Н. А. Бердяева, Надежда Григорьевна Чулкова (1874—1961) — жена писателя Г.И. Чулкова. Особого комментария требует упоминаемая Зиновьевой-Аннибал фраза Горького. 3 января Горький был у Вяч. Иванова, и тот описал этот визит по горячим следам в письме к М. М. Замятниной от 4 января: «Вчера был — не знаю уже, плодотворный ли по практическим последствиям — но во всяком случае чрезвычайно характерный, знаменательный день в жизни нашего литературного мира. Максим Горький явился милым и кротким агнцем, говорил мне много о необходимости слияния лит<ературных> фракций, о том, что мы, художники, все в России, etc. Потом началось заседание под председат<ельством> Мейерхольда. Говорил сначала я — около часа — о действе, потом Чулков (о мистич<еском> анархизме и новом театре), потом Мейерхольд — о том, что мои идеи составляют основу театра «Факелов», и о том, как приближаться к его осуществлению. Потом Горький — о том, что в России только и есть, что искусство, что мы здесь «самые интересные» люди в России, что мы здесь — ее «правительство», что мы слишком скромны, слишком пренебрегаем свое значение (!), что мы должны властно господствовать, что театр наш должен быть осуществлен в громадном масштабе — в Петербурге, в Москве, везде одновременно<но> — etc. Потом я в ответ, Чулков, Мейерхольд, Андреева, Лидия, Габрилович, я снова — о мистике. Заседание продолжалось от 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub> до 5<sup>1</sup>/<sub>2</sub> и должно быть возобновлено»<sup>10</sup>.

Вторым центром, вокруг которого формировалось будущее ядро «Гафиза», стало дружеское общение К. А. Сомова, В. Ф. Нувеля и М. А. Кузмина, которое временами соприкасалось с ивановскими «средами»<sup>11</sup>. Еще в начале апреля оно было отчетливо отделено от замысла «Гафиза»<sup>12</sup>, но через Нувеля Кузмин постепенно втягивался в круг мыслей об этом предприятии. Уже 12 апреля он записывает в дневник: «Под большим секретом сообщил (Нувель. — Н.Б.), что Вяч. Иванов собирается устраивать Hafiz-Schenke, но дело первое за самими Schenken, причем совершенно серьезно соображают, что у них должно быть обнажено, кроме ног. Это как-то смешно». И через день, 14 апреля: «Пришел Нувель; во вторник днем пойдем к В. Иванову, где будет только Сомов, чтобы во время сеансов я читал свои вещи. На Hafiz-Schenke предпола<гают> пригл<асить> Ив<ановы> Нув<еля>, Сомова, Городецкого, меня и Бердяева. Надеются на мою

помощь и советы. Должны ли быть Schenken сознательными?» 18 апреля Сомов, Нувель и Кузмин были у Ивановых; 24-го Кузмин узнает от Нувеля, что «Hafiz-Schenke предполагается в субботу, гостей 8 чел<овек>, но, к сожалению, с дамами и без Schenken»<sup>13</sup>.

Во время «среды» в ночь с 25 на 26 апреля создание «Гафиза» было решено, по всей видимости, окончательно. Во всяком случае, только при описании этого вечера Зиновьева-Аннибал сообщила о вечерах Гафиза как о вполне реальном предприятии в письме к М. М. Замятниной: «Поставил Вячеслав вопрос, к какой красоте мы идем: к красоте ли трагизма больших чувств и катастроф, или к холодной мудрости и изящному эпикуреизму. Это то, что все это время занимает меня как проблема душевная и художественная. Много виноваты в столь острой ее постановке во мне — Сомов, Нувель и их друг, поразительный александриец, поэт и романист Кузьмин<sup>14</sup> — явление совсем необыкновенно<е>, с тихим ядом изысканных недосказанностей, приготовляющий новое будущее жизни, искусству и всей эротической психике человечества. Есть у нас заговор, о котором никому не говори: устроить персидский, Гафисский (так! — Н.Б.) кабак: очень интимный, очень смелый, в костюмах, на коврах, философский, художественный и эротический. На будущей неделе будет первый опыт. Пригласили мы, основатели, т.е. Вяч<еслав>, Сомов, я и Нувель, еще Кузьмина, Городецкого и, увы, Бердяевых (боюсь, что эти не подходят, потому что в них нет ни тишины, ни истинного эстетизма)»<sup>15</sup>. Датировка подтверждается и записью Кузьмина в дневнике от 26 апреля: «Вяч<еслав> Ив<анович> говорил очень интересно и верно об эпохах органических и критических, трагизме и jardin d'Épicure, мне было неловко, что он вдруг заметил: «Вот прямо против меня талантливый поэт, автор «Алек<сандрийских> песен», сам Александриец в душе». Говорил Аничков, ожесточенно, глупо и смешно, ругал почти в глаза все общество, которое гомерически хохотало и хлопало в ладоши, говорил, что эстетизм — мещанство, громил неотомщенную неверность жен, разврат, который конец всего, только не его речи. Пошли на крышу, рассветало, чудный вид, будто Вавилон. Городецкий читал стихи «Монастырская весна» — очаровательно, другие мне несколько меньше понравились. Внизу, продолжив несколько прения, читали опять стихи, и я прочитал «Солнце» и «Кружитесь». «Сомов» — Иванов<а> превосходен. Я слышал, как Сомов говорил какой-то даме, что нужно жить так, будто завтра нам предстоит смерть, будто из моего романа, т<о> е<сть> вообще мысль, за которую я всецело стою. Возвращался при розовых редких облаках на бледно-голубом, будто выцветший фарфор, небе. Hafiz-Schenken м<ожет> б<ыть> во вторник».

Первое собрание действительно состоялось во вторник 2 мая 1906 года<sup>16</sup> и наиболее подробно описано в дневнике Кузьмина за это число: «Иванов был уже одет, Сомов одевал других, он врожденный костюмер. Пожалуй, всех декоративней был Бердяев в виде Соломона



Я не ожидал того чувства начинания, которое пронеслось в молчании, когда Иванов сказал: «Incipit Hafiz». И платья, и цветы, и сиденье на полу, и полукруглое окно в глубине, и свечи снизу, все располагало к какой-то свободе слова, жестов, чувств. Как платью, непривычное имя, «ты» меняют отношения. Городецкого не было, и сначала разливал Сомов, но потом стали все своими средствами доставать вино. И беседа, и все казалось особенным, и к лучшему особенным. Я был крайне польщен, что Л<идия> Дм<итриевна> меня назвала Антиноем. Я крайне наслаждался, но печально, что не будет Schenken и что предполаг<ается> серия дам. По-моему, Schenken могли бы быть несознательные и даже наемные, с ними даже ловчее чувствовалось бы, чем, напр<имер>, с тем же Городецким в качестве кравчего. Мои стихи толковались, как какая-нибудь сапсон'а Cavalcani. Утро было сероватое, когда мы разошлись».

Как видим, с одной стороны, собрания сразу начали напоминать тот «протогафиз», который состоялся в марте. Однако довольно скоро стало очевидным, что как темы для обсуждений, так и сама обстановка, сам воздух встреч приобретают характер гораздо более своеобразный. Но прежде, чем перейти к анализу тем гафизического общения, имеет смысл попытаться восстановить его внешнюю сторону.

Всего, насколько нам известно, собрания посещало десять человек: Иванов с женой, Бердяев с женой, Кузмин, Сомов, Бакст, Нувель, Городецкий и начинающий прозаик Сергей Ауслендер. Каждый из них получил имя, под которым в дальнейшем и фигурировал в этом кругу общения. Иванов именовался Эль-Руми или Гиперион, Зиновьева-Аннибал — Диотима, Бердяев — Соломон, Кузмин — Антиной или Харикл, Сомов — Аладин, Нувель — Петроний, Корсар или Repouveau, Бакст — Апеллес, Городецкий — Зэйн или Гермес, Ауслендер — Ганимед<sup>17</sup>. Этот круг участников изображен в стихотворении Иванова «Друзьям Гафиза» с подзаголовком: «Вечеря вторая. 8 мая 1906 г. в Петробагдаде. Встреча гостей»:

Ты, Антиной-Харикл, и ты, о Диотима,  
И ты, утонченный скучающего Рима —  
Петроний, иль Корсар, и ты, Ассаргадон,  
Иль мудрых демонов начальник — Соломон,  
И ты, мой Аладин, — со мной, Гиперионом,  
Дервишем Эль-Руми, — почтишь гостей поклоном!

.....  
Друзья-избранники, внимлите: пусть измена  
Ничья не омрачит священных сих трапез!  
Храните тайну их! — Ты, Муза-Мельпомена,  
Ты, кравчий Ганимед, стремительный Гермес,  
И ты, кто кистию свободной и широкой  
Умешь приманить — художник быстрокий —  
К обманным гроздиям пернатых, — Апеллес!<sup>18</sup>

Приведем также до сих пор не публиковавшееся стихотворение

М. А. Кузмина, обращенное к гафизитам и рисующее обстановку и характер их собраний:

Нежной гирляндю надпись гласит у карниза:  
«Здесь кабачок мудреца и поэта Гафиза».

Мы стояли,  
Молча ждали  
Пред плющом обвитой дверью.  
Мы ведь знали:  
Двери звали  
К тайномудрому безделью.  
Тем бездельем  
Мы с весельем  
Шум толпы с себя свергали.  
С новым зельем  
Новосельем  
Каждый раз зарю встречали.  
Яркость смеха  
Здесь помеха,  
Тут улыбки лишь пристойны.  
Нам утеха —  
Привкус меха,  
И движенья кравчих стройны.  
В нежных пудрах  
Златокудых  
Созерцаем мы с любовью,  
В круге мудрых,  
Любомудрых  
Чаши вин не пахнут кровью.  
Мы — как пчелы,  
Вьемся в доли,  
Сладость роз там собираем.  
Горы — голы,  
Ульи — полы,  
Мы туда свой мед слагаем.  
Двери звали  
(Мы ведь знали)  
К тайномудрому безделью,  
И стояли,  
Молча ждали  
Пред плющом обвитой дверью.

Нежной гирляндю надпись гласит у карниза:  
«Здесь кабачок мудреца и поэта Гафиза»<sup>19</sup>.

Третья встреча гафизитов была почтена стихотворением Вяч. Иванова, опубликованным как вторая часть диптиха «Палатка Гафиза», а первоначально называвшимся: «Друзьям Гафиза. Вечера третья. 22 мая 1906»<sup>20</sup> (черновые варианты заглавия «Дифирамб» и «Жалоба Гипериона»).

Сам стиль собраний отчасти запечатлен в отрывке из письма Зи-

новьевой-Аннибал к Замятниной (сохранился отдельный лист, место которого в переписке не поддается точному определению. Впрочем, не лишено вероятности, что он относится к письму от 16 мая): «О себе стало так трудно писать. Не то чтобы обет молчания о наших «тайных» собраниях был так ненарушим перед тобою, которая, так сказать, вся слилась с нашею жизнью, но это то, о чем писать вообще трудно, о чем всякое слово есть ложь.

Мы чего-то ищем ощупью. Как передать словами жесты ступающих в темноте с осторожно, хотя и жадно протянутыми руками?.. Я могу сказать только, что нас, коренных и *истинных*: Мы оба, Сомов, Нувель, Кузмин, Бакст, затем второго слоя Городецкий и Бердяев (была один раз его жена, но мы ее открытой баллотировкой изгнали). Ищем <нераз> женщин, и никто не может найти, потому что нет еще женщин свободных, женщин-гетер в новом — древнем смысле. Мы имеем за вдохновение персидский Гафиз, где мудрость, поэзия, и любовь, и пол смешивался, и Кравчий — прекрасный юноша, как женщина, вдохновлял поэта и пламенил сердца. Наш кравчий, красивый юноша, окончивший только гимназию, поэт (и С<оциал>-Д<емократ>!) жаждет мудрости, и прелестно, нежно чувствен и целомудрен. Мы одеваем костюмы, некоторые себе сшили дивные, совершенно преображаемся, устилаем коврами комнату Вячеслава, ставим на пол подстилки с вином, сладостями и сыром, и так возлежим в беседе и... поцелуях, называя друг друга именами, нами каждым для каждого приду<манными>»<sup>21</sup>.

К июню 1906 года относятся размышления Иванова о деятельности гафизитов, записанные в дневнике. Среди них в первую очередь следует отметить следующее: «Гафиз должен сделаться вполне искусством. Каждая вечеря должна заранее обдумываться и протекать по сообщенной выработанной программе. Свободное общение друзей периодически прерываться исполнением очередных номеров этой программы, обращающих внимание всех к общине в целом. Этими номерами будут стихи, песня, музыка, танец, сказки и произнесение изречений, могущих служить тезисами для прений; а также некоторые коллективные действия, изобретение которых будет составлять также обязанность устроителя вечера...»<sup>22</sup>. К лету 1906 года относится также ряд творческих и издательских замыслов вокруг «Гафиза», о которых Иванов пишет в письмах-дневниках жене: «У Кузмина сейчас же началась целая опера — «Севильский Цирюльник», т.е. разыгрывание партитуры с пением. Завидно было любоваться на такое мастерское обладание роялем и ритмом. Целый мир de la gai<e>té d'antan непринужденно развертывался в быстрейших темпах и с великолепным brío — Сомов сидел и радовался, но не пел. <...> Стал я уверять Нувеля, что задача его жизни — воскресить эту gai<e>té d'antan в большой опере, но все же новой и разнообразной, напр<имер>, в опере «Северный Гафиз»»<sup>23</sup>. И в другом письме: «Решили вместе (с С. М. Городецким. — Н.Б.) писать роман (хотя сна-

чала он испугался, что будет мною порабошен) «Северный Гафиз»; причем он желает изображать судьбы старшего героя, а мне даст младшего, — и никак не наоборот. Доказывал мне, что вышел из меня, — и хотя это неверно, <потому> <что> раньше вовсе не читал меня, все же держится этого взгляда в связи <с> литературной стор<оной> эволюции. Так мы и пришли к согласию, что нить действительно такова: Коневской, я, он. <...> Зэйн разделяет мое мнение, что молодой герой романа (т.е. он сам) должен быть звероподобен, бессердечен, пожалуй, в смысле характерной для нового поколения безжалостности и легкости в отношении к жизни. «Быть в природе» — называет он это. А старый герой романа (Эль-Руми), по его мнению, таков: он как Данте — с двумя ликами, один обращен вперед, к возрождению; его характеризует «хороший авантюризм». Из младшего героя старший хочет сделать худож<ественное> произведение, отчасти по своему замыслу» (20 июля 1906 года). Особенно напряженный характер принимает деятельность кружка летом 1906 года, когда Зиновьева-Аннибал уезжает из Петербурга в Швейцарию к детям, а в это время в жизни Иванова разворачиваются события, составившие бытовую подоснову сборника стихов «Эрос»<sup>24</sup>.

Вернувшись в Петербург, Зиновьева-Аннибал извещает Змятинину: «В эти 5 дней рухнули две судьбы и воскресли две новых. <...> Два раза сидели ночь Гафиситы: Сом<ов>, Нув<ель>, Кузм<ин>. Они трогательно и тепло любят меня»<sup>25</sup>. И через день: «Ничего не известно и какой-то вихрь. Все висит в воздухе, кроме нашей любви с Вячеславом» и нашего тройственного союза, но весь союз в воздухе, а вокруг рушатся судьбы»<sup>26</sup>.

О деятельности кружка осенью 1906-го и в первой половине 1907 года нам известно немного, однако несомненно, что в какой-то степени он продолжал существовать. Наиболее прямое свидетельство находится в недатированном письме Зиновьевой-Аннибал к Нувелю: «Дорогой Петроний! Итак, с сердечною радостью жду тебя и друзей наших на радостное возрождение великого Гафиза. Готовлю яства и питья — соки красного и золотого винограда. Вы же, друзья, памятуя обычай, несите сладкого яда один кувшин. Мною извещен Ассаргадон-царь. Твоя верная Диотима»<sup>27</sup>. Так как в этом письме говорится о «возрождении» «Гафиза», то можно предположить, что готовившаяся встреча относилась либо к осени 1906 года, после летнего перерыва, либо к какому-то новому собранию после паузы, что могло быть в конце 1906-го либо в начале 1907 года.

Приведем также записи из дневника Кузмина, позволяющие до известной степени восстановить хронологическую канву собраний «Гафиза» в это время. 9 октября: «Устроили в комнате Диотимы род Гафиза, поставив в виде саркофага урну посредине. Вячеслав» Ив<анович> и Городецкий читали из общей книги «Σρος» и «Антэрос» что-то не очень благополучное; Иванов что-то прямо подозревает между мною и Сомовым; разбирая, кто perverté devergondé,

К<онстантин> А<ндреевич> нашел меня ni l'un ni l'autre pas tête sigieux. Так проболтали до четырех часов...». 1 ноября: «Сережа (Ауслендер. — Н.Б.) на суд Гафиситов не пошел. К Ивановым пришел Юраша (Ю. Н. Верховский. — Н.Б.), которого насилу удалось спровадить. <...> Мне было очень весело, я все танцевал, Диотима спросила о моей радости и сказала, что она знает, первая буква «С», вторая «У», что она со мной говорила на извозчике о нем после первого вечера у Коммиссарж<евской> и тогда же предположила; потом слышала, что он был у меня, что «Весна» посвящается ему, о чем не без некоторого негодования сообщил ей Городецкий, потом моя радость — и вот она все знает. Сначала судили Сережу и Renouveau; к первому отнеслись довольно строго и по заслугам, раз он сам не дорожит, не стремится и не проникся до того, что мог не пойти просто потому, что боялся скуки и гнева Диотимы. Второй вывернулся. Были в костюмах, но диваны слишком далеки. Предложили новых: <М. Л.> Гофмана, Сабашникову и Судейкина. Сомов говорил, что думает и верит, что я буду продолжать его любить, но секретничает о чем-то с Renouveau о предосудительном, за что я сержусь на Вальтера Федоровича. Городецкий написал отличные стихи».

В середине ноября «Гафиз» переживает некий кризис, когда исчерпывают себя отношения Иванова с Городецким и постепенно завязывается роман с М. В. Сабашниковой. Относящаяся, очевидно, к этому времени сумбурная и страстная записка Зиновьевой-Аннибал к Иванову помечена: «5 1/2 утра на Четверг, Ноябрь. Ночь Гафиза благословенного»<sup>28</sup>. 11 ноября в дневнике Кузмина появляется запись: «У Ивановых новости; после страданий и борьбы Вяч<еслав> Ив<анович> поставил крест на романе с Городецким и теперь атмосфера очищенной резигнации. Диотима шьет новое выходное платье. Гафиз будет, но если уйдет Городецкий, исключат Сережу, не примут Судейкина и Гофмана, это будет какая-то богадельня, а не Гафиз. <...> Строили планы будущих вещей, будущих приключений, тапвел атоигеух, апокрифического дневника; было, будто конец прошлой зимы. Сомов признался во влюбленности в Добужинского и строил планы первых признаний. Сидели не поздно».

Этим же числом помечено письмо Зиновьевой-Аннибал к Замятинной, где сообщается: «“Эрос” выйдет дней через 10 или 15. «Уроды» тоже. Затем «Ярь» и «Трагический зверинец». Дивная у меня есть подруга: Сабашникова, художница, талантливая портретистка (на выставке в Париже). Она жена Волошина; странное, поэтическое, таинственное существо, пленительной наружности. Она пришла писать мой портрет и тоже в красном и оранжевом. Долго шли борьбы великодушия между моими двумя портретистами. Состоялся мой женский Фис почти случайно, вернее, стихийно, сам собой. Тебя жду в нем участвовать. Гафиз как-то замирает. Он перешел слишком в жизнь. Сергей Городецкий буквально в каких-то внутренних вихрях бежал на несколько дней в Лесной. Страшно за него неска-

занно»<sup>29</sup>. Угасание «Гафиза», как следует из этого письма, вызвало к жизни новый, специфически женский кружок, идея которого возникла у Зиновьевой-Аннибал еще летом. Об этом кружке вспоминала Н. Г. Чулкова: «Вяч. Иванов называл свои собрания *Symposion* по примеру и в подражание «Пира» Платона. Устраивались еще и другие собрания, более интимных и более близких друзей, — на них не приглашались женщины. В противовес этим собраниям Лидия Дмитриевна собирала по вторникам своих друзей-женщин и назвала эти собрания Фиас. На этих вечерах, помню я, бывала Маргарита Васильевна Сабашникова, художник и поэт, которая потом написала прекрасный портрет Лидии Дмитриевны, уже посмертный; жена А. Блока — Любовь Дмитриевна Блок, рожденная Менделеева, дочь знаменитого химика. Всем давались имена исторических или мифологических героинь древности. Сабашникова названа была «Примавера», Лидия Дмитриевна носила имя «Диотима», Любовь Дм. Блок — «Беатриче». У меня тоже было какое-то имя, но я сейчас не могу его вспомнить. Эти собрания происходили недолго, как будто три или четыре раза, потом Лидия Дм<итриевна> заболела»<sup>30</sup>.

Возвращаясь к дневнику Кузмина, приведем из него еще несколько записей о гафизических или квазигафизических встречах, планах и т.п.

15 ноября: «У Ивановых был Леман и Гофман, предполагаемый быть введенным в Гафиз. Мы с Сережей прошли в комнату Городецкого ждать, покуда не удалят Лемана и пришедших Чулкову и Верховского (опять несчастный Юраша!), мы были уже одеты наполовину. Бердяев прислал письмо с почти отказом. Сначала Вяч<слав> Ив<анович> взволнованно хотел обсуждать письмо Бердяева, парижские сплетни и т. д., все было неприятно, запальчиво и нервно. Сережа стоял прижавшись к стене, в черном бархате, белой рубашке и жемчужном поясе, как лицемерный кающийся; мне нравился его мягкий, несколько приторный голос, говорящий будто искренние уверения, его какое-то чувствуемое предательство, он был будто молодой итальянский отравитель XV века. Городецкий хулиганил, Диотима плакала, говорила, что она несчастна, я ее утешал и гладил по волосам, обнимая...» 11 января 1907 года: «Пришел <С.В.> Троицкий <...> Л<идия> Дм<итриевна> его предложила в Гафиз». 14 февраля: «Пошли к Ивановым, народу была куча, читали о поле Волошин, Бердяев, Иванов; какой-то кадет из Одессы говорил долго и непонятно. Городецкий устраивал в других залах какую-то собачью свадьбу. Потом читали стихи; я, Ремизова, Сапунов, Сабашникова и Иванов, удалясь в комнату Л<идии> Дм<итриевны>, снова устроенную по-гафизски, отдыхали, я играл на флейте, потом пел, а Сабашникова танцевала. Голубоватое небо в окнах на розовой стене, фигура Мар<гариты> Вас<ильевны> в голубом, танцующая, камелия, стоящая посередине, — все было отлично».

Явную аллюзию на идеи гафизитства находим в письме Иванова

к Брюсову от 26 февраля 1907 года: «Литературное событие дня — «Снежная маска» А.Блока, которая уже набирается в «Орах» <...> Блок раскрывается здесь впервые вполне и притом по-новому, как поэт истинно дионисийских и демонических, глубоко оккультных переживаний. Звук, ритмика и ассонансы пленительны. Упоительное, хмелевое движение. Хмель метели, нега Гафиза в снежном кружении, сладострастие вихревой влюбленной гибели»<sup>31</sup>. 3 июня Нувель сообщает Кузмину: «Вяч<еслав> Ив<анович> бодр и весел. Прочел мне стихотворения, посвященные Вам и мне. Ваше “Анахронизм”, мое “Петроний”» (оба стихотворения вошли в книгу Иванова «*Cor ardens*», и в них явственна гафизическая символика). 24 июля Зиновьева-Аннибал пишет Нувелю письмо, в котором эта символика так же активна, как и в ответе Нувеля<sup>32</sup>. Наконец, последнее из известных нам свидетельств о существовании кружка обнаружено нами в письме Нувеля к Кузмину от 20 августа 1907 года: «А вот Гафиза уж больше не будет. Это наверно. Но не явится ли что-нибудь «на смену». Это было бы любопытно».

Но описание внешней истории кружка дает еще весьма немного для определения того значения, какое он имел в жизни целого ряда выдающихся русских художников начала XX века. Поэтому хотелось бы обратиться к анализу круга идей, которые занимали «гафизитов» и обсуждались на их собраниях, насколько этот круг можно сейчас восстановить. Но сперва необходимо сказать несколько слов о генезисе образной системы, определявшей характер художественных и жизненных текстов «гафизитства».

Одно из недавних исследований о поэзии Гафиза открывается таким заявлением автора: «Я полагаю, что для дискуссии о структуре стихов Гафиза плодотворно принять идею об аналогиях между стилистическими нововведениями Гафиза и нововведениями «модернистского движения» в Европе, которому уже исполнилось сто лет»<sup>33</sup>. В чем можно усмотреть эту аналогию применительно к творчеству русских символистов? Мы полагаем, что она заключена в той амбивалентности поэтической структуры, которая удачно определена одним из французских авторов, писавших так: «Велико различие между самым чистым мистицизмом с его символами, основанными на трансцендентальном решении проблемы бытия, который видят в нем (Гафизе. — Н.Б.) одни, и циническим эпикуреизмом, сильно окрашенным в пессимистические тона, который воспринимают в его стихах буквально. Гафиз — поэт чувственной Любви, Женщины, Вина, Природы, безверия? или поэт божественной Любви, созерцательных наслаждений, самоотречения, божественной веры?»<sup>34</sup>. Или как формулирует это современная русская исследовательница: «Совершенство поэтической мысли, смелость, свобода, ироничность и проникновенная искренность удивительным образом сочетаются с каким-то таинственным свечением каждого слова, его многомерностью, волнующим единством формы и сути. Неудивительно, что в глазах читате-

лей Хафиза, и прежде всего суфиев, гениальное владение словом было не чем иным, как божественным даром, знаком прикосновенности поэта к миру тайн, а сам он — орудием мира тайн, его языком»<sup>35</sup>.

Нетрудно увидеть, что подобные характеристики стиля поэзии Гафиза, ее семантической природы отчетливо сопоставляются с кругом поэтических предпочтений Вяч. Иванова и других поэтов-символистов, где принцип «a realibus ad realiora» становится во многом определяющим для понимания и осмысления законов символизма. Как справедливо писала З. Г. Минц, «пантеистические поиски «соответственности» «natura naturans» и «natura naturata» воплотились в семантической структуре символа: называя явление земного, «посюстороннего» мира, символ одновременно «знаменует» и все то, что «соответствует» ему в «иных мирах», а так как «миры» бесконечны, то и значения символа для символиста безграничны»<sup>36</sup>.

Можно предположить, практически не рискуя ошибиться, что именно этот принцип «соответствий» был причиной интереса обрисованного круга художников к творчеству Гафиза. Собственные искания подкреплялись опытом великого поэта. Не лишним также, очевидно, будет напомнить: Гафиза переводил Вл. Соловьев, что не могло не привлечь внимания Вяч. Иванова.

Однако названные причины учитывают лишь часть обстоятельств, оставляя в стороне другие, не менее, если не более важные. Позволим себе обратить внимание читателей на один текст, указанный в письме З. Н. Гиппиус к В. Я. Брюсову из Парижа от 15 ноября 1906 года: «Письмецо ваше из С<анкт>П<етер>б<урга> получила, но обещанных «петербургских впечатлений» нет. А я жду с нетерпением, потому что уж от кого же, как не от вас, будет нескучно услышать о новом «тайном» обществе Вячеслава Иванова, о котором мне уши прожужжали его (общества, а не Вячеслава) члены, попадавшие в Париж? Правда, они говорят-говорят — и вдруг остановятся: «секрет». Далее уже им позволено указывать на «Записки Ганимеда» (см. «Весы»). Но так как забыть об этом обществе они мне все-таки не дают, и так как мы с вами одинаково презираем «секрет» (зная «тайны») — то я думала, что вы меня как раз этими секретами позабавите. Насколько праведнее мне читать ваше письмо, чем «Записки Ганимеда»! «Что бы ты ни познавал — познавай всегда посредством прекрасного», — сказал кто-то, и я ему верю. Предполагать же, что вы остались чужды этому обществу, — я никак не могу... — Оно насчитывает много членов: кроме Mr et Mme Вячеслав Иванов — Нувель, Бакст, Сомов, Ауслендер и т.д.»<sup>37</sup>. Таким образом, в круг источников сведений о кружке «гафизитов» вводится рассказ С. А. Ауслендера «Записки Ганимеда»<sup>38</sup>.

При всем несовершенстве рассказа, который был одним из первых напечатанных опытов Ауслендера, он содержит ряд черт, свидетельствующих о некоторых особенностях, общих для всех авторов, входивших в круг «гафизитов». Прежде всего это относится к рассчи-



танной амбивалентности повествования, долженствующего быть прочитанным и как стилизованный исторический рассказ, и как рассказ о повседневности. Уже самое начало «Записок Ганимеда» явно подразумевает двусмысленность: «Во дни революции несколько друзей составили тайное общество, цели которого, несмотря на все старания, мне не удалось доискаться; подлинных имён этих друзей я тоже нигде не нашел, но есть указания, что были это поэты и художники, не бесславные в те времена». Слово «революция», оставленное без уточняющих определений, в равной мере могло обозначать и Великую французскую революцию (что и выясняется из дальнейшего развития сюжета), и революцию современную, проходящую перед глазами читателя и автора.

Для читателя, посвященного в обстоятельства деятельности кружка «друзей Гафиза», амбивалентность продолжается и далее. Так, на фоне того, что Ганимедом среди «гафизитов» именовался сам Ауслендер, примечательно выглядят такие фразы: «Личность этого юноши и его роль в истории общества остаются совершенно не выясненными. По-видимому, вкравшись в доверие друзей, он обманул их, а потом, неизвестно чем побуждаемый, поступил с ними совершенно вероломно и послужил причиной их рокового конца». Примеры такого рода можно было бы множить и далее, но, как представляется, и уже приведенных вполне достаточно. Следует лишь обратить внимание, что амбивалентность рассказа является слабым отражением того принципа, который был заложен в самом механизме существования общества, когда один и тот же жизненно-творческий текст должен был прочитываться с помощью различных кодов, непосредственно связанных с реалиями самых разнообразных историко-культурных эпох. Для «друзей Гафиза» это античность в многообразии стадий ее исторического развития, в поддающихся воссозданию реальных подробностях и в мифологическом облики, персидская и арабская древность и мифология, но в то же время совершенно явственные отсылки и к другим эпохам: именование Нувеля Корсаром, как можно полагать, должно вызвать в памяти знаменитую байроновскую поэму; Гиперион и Диотима, конечно же, генетически восходят к роману Ф.Гельдерлина «Гиперион» и его идеям (естественно, с учетом платоновского «Пира»); безусловно, важнейшую роль в формировании всего замысла «гафизитства» играло воспоминание о гетевском «Западно-восточном диване» (который, что нелишне отметить, много позже, в 1930-е, переводил Кузмин). Анализируя роль и место «Западно-восточного дивана» в творчестве Гете, А. В. Михайлов совершенно справедливо пишет: «В 1820-е годы Гете обобщает свой историко-культурный опыт в понятии «всемирная литература». Едва ли оно было бы возможно без творческих усилий «Дивана». Гете пришел к убеждению, что история и культура всего человечества едины, что культура по существу интернациональна»<sup>39</sup>. Для двух крупнейших поэтов, принимавших участие в вечерах Гафиза, для

находившегося в расцвете творческих сил Вяч.Иванова и для только начинавшего свое литературное поприще М. Кузмина, творчество Гете символизировало высшую степень воплощения мира в искусстве, как писал впоследствии Кузмин: «Но все настоящее в немецкой жизни — лишь комментарий, Может быть, к одной только строке поэта».

Естественно, любой из этих историко-культурных контактов «друзей Гафиза» заслуживает пристального рассмотрения не только на внешнем, поверхностном уровне, но прежде всего на уровнях глубинных, проникающих в сферу основополагающих художественных интенций любого из рассматриваемых авторов. Мы же позволим себе сосредоточиться лишь на одной стороне этого вопроса — на воссоздании атмосферы общения героев данной работы и определении важнейших сфер, объединявших их, несмотря на все разнообразие и разнонаправленность устремлений каждого.

Последнее из предварительных замечаний, которые следует сейчас сделать, касается одного из весьма важных для «гафизитов» обстоятельств, суть которого была сформулирована в свое время Гельдерлином в предисловии к «Гипериону»: «Кто лишь вдыхает аромат возвращенного мною цветка, еще его не знает, а кто сорвет его лишь для того, чтобы чему-то научиться, тоже его не познает»<sup>40</sup>. Принципы «Гафиза» пронизывали (в тот момент, когда они действовали, что, естественно, бывало далеко не всегда, далеко не во всякий отдельно взятый момент жизни «гафизитов») все стороны жизни, от самых главных — до мельчайших, кажущихся нам абсолютно неважными.

Известно, какое значение имело для формирования мировоззрения Кузмина его дружеское общение с Г. В. Чичериным. И вот в одном из сравнительно ранних писем Чичерина к Кузмину мы читаем: «...я прочитал твое письмо от 18-го июля и еще более убедился, как близки наши настроения, хотя некоторые мои оттенки тебя и шокируют. И в тебе господствует неутолимая жажда «голубого цветка», как во мне — «художественного ощущения», различие не в словах ли только? Мы ищем того же, но не всегда в одном и том же — в этом вся разница. Тебя шокирует, что я ищу того же и в низменных предметах. Тебя шокирует, что я с цинической <sup>1</sup>/<sub>2</sub> улыбкою говорю о прекраснейших душевных движениях, а меня устрашает превращение романтизма в догматику, — т<о> е<сть> во мне, а не в тебе»<sup>41</sup>. Стремление уловить не только возвышенный ореол чувства или предмета, но и понять его во всех проявлениях, могущих показаться недостойными внимания, мелкими, грубыми и пр., притом понять не в застывшем состоянии, а в процессе живого произрастания, становления и изменения, — вот что необходимо иметь в виду, говоря о круге «гафизитов» и их идеях. Без ощущения живого развертывания мысли во всем богатстве ее проявлений, от безусловно прекрасных до «низких», а то и шокирующих восприятие современного читателя, не

удастся постигнуть всех сложностей и своеобразия жизни этого небольшого кружка, возникшего едва ли не в самом центре устремлений русского символизма середины девятисотых годов.

Обращаясь непосредственно к кругу идей «гафизитов», следует иметь в виду, что внутри этого общества, сколь бы оно ни было мало, существовали значительные расхождения между его членами, и природа «Гафиза» может быть понята только при уловлении как черт сходства, так и черт отличия между ними. Так, Иванов записывает в дневнике: *«Я устремляюсь к вам, о Гафизиты. Сердце и уста, очи и уши мои к вам устремились. И вот среди вас стою одинокий. Так, одиночество мое одно со мною среди вас»*<sup>42</sup>. Эти строки находят своеобразный ответ в стихотворении Кузмина «Друзьям Гафиза»:

Нас семеро, нас пятеро, нас четверо, нас трое,  
Пока ты не один, Гафиз еще живет.  
И если есть любовь, в одной улыбке двое.  
Другой уж у дверей, другой уже идет.  
.....  
Пусть демон не мутит, печалью хитрость строя,  
Сомненьем, что всему настанет свой черед,  
Пусть семеро, пусть пятеро, пусть четверо, пусть трое,  
Пока ты не один, Гафиз еще живет.

Эти стихи — одновременно и декларация принципов кружка, значение которого определяется не количеством участников, а той атмосферой, которая создается в его кругу, но в то же время и свидетельство невозможности одиночества среди «гафизитов»<sup>43</sup>. Позиция Иванова в этом смысле явно выходит за рамки преобладающего настроения членов кружка и встречает их сопротивление, если не открытую враждебность; «Вчера я проповедовал Гафизитам «мистический энергетизм». Они сердятся на «моралиста» и думают, что это одно из моих девяти противоречий. («В чем мудрость Муз?» — спросили меня. Я сказал: «В том, что их девять: поэзия — девять противоречий»). Между тем, это — мое настоящее и верное. <...> Антиноя я бы любил, если б чувствовал его живым. Но разве он не мертв? и не хоронит своих мертвецов, — свои «миги»? Ужели кончилась *l'ère de miel* эротико-эстетического «приятя» и его, и других Гафизитов? По Гафизу, это — «творчество». *Espérons*»<sup>44</sup>. И далее следует запись приблизительно о том же: «Очаровательный Петроний объясняет себе мое настроение по отношению к Гафизу так: Гафиз отвлекает меня от моего «богоборчества», от «прометеизма». Ему хотелось увериться, что я еще «жив». Или же ничего не осталось во мне для «жизни», при моей поглощенности мистикой, «идеологией», наконец, поэтической фантазией?»<sup>45</sup>. В кругу «гафизитов» настроенность Иванова воспринималась как его решительная отделенность от большинства прочих членов: «Иванов очень мил, как всегда. Думаю, однако, что он скоро отойдет от нас, удаляясь все более в почтенный, но не живой академизм»<sup>46</sup>.

Идея Гафиза в обществе как бы распалась на две ипостаси. С одной стороны, — это сформулированное Ивановым:

...ханжа, имам слепой,  
Не знает мудрости под розовой улыбкой,  
Ни тайн торжественных под поступию зыбкой,  
Шатаемой хмельком...

Для Иванова Гафиз был прежде всего представителем «сладостного завета», где переплелись мудрость с понимающей и прощающей улыбкой, торжественные тайны со слегка хмельной поступью. Но во всем этом главенствует все же та сторона творчества, которая дает поэту право назвать Гафиза мистагогом:

И, влюбленный, упоенный, сам нашептывает верным  
Негу мудрых — мудрость неги — в слове важном и размерном  
Шмель Ширази, князь экстаза, мистагог и друг — Гафиз.

Другую ипостась «гафизитства» мы прочитываем в описании различных встреч и бесед. В письме Иванова к жене от 1 августа 1906 года находим, к примеру, такое описание тем, предназначенных для обсуждения среди «гафизитов»: «Вечером был у меня милый симпозион. Горел канделябр и нравился мертвенною сумрачностью света. <...> Раздался после 11 ч<асов> звонок — но то был Бакст. Repouveau наблюдал меня, не сводя почти глаз, говорил, что «мною любитесь», старался выводить меня на свежую воду и обогащать свой dossier обо мне, — но я был для него «énigmatique», и чуть ли он не завидовал блеску моих внешних успехов у «юношей», в виде портретов, стихов (стихи Зэйна я не читал), писем от Гюнтера, Городецкого, Антиноя и Кравчего, который, по уверению Сомова, в меня «влюблен». Разбирали молодых друзей, и мне странно было и жутко прислушиваться к мнениям о Городецком. Ганимед, по их суду, очень умен, даровит и физически непривлекателен; душа у него глубже и богаче, чем у Городецкого. Последний — легкий фавн, телом Аполлон (!), красив, и внутренне или неинтересен, или — слово Сомова — непонятен, может быть, нам, п<отому> ч<то> представляет новую, другую душу. Все решили, что Городецк<ий> далеко впереди по дороге в будущее, значительно моложе, чем Сережа-Кравчий. Я сказал, что он мне понятен и близок душой, п<отому> ч<то> я с ним согласен, что Коневской, я и он — одна литературная группа. <...> Темы были вперемежку искусство, литература и эротизм. Заставили сказать вчерашние стихи и очень гутировали. Этим Feinschmecker'ам подавай как раз Gelegenheitsgedichte. Форма для них — все. И как хорошо дышится в этой атмосфере чисто-эстетического. Разговор ушел далеко в область фривольного (по мнению Repouveau, Нина вышла замуж затем, чтобы опять испытать острое удовольствие адюльтера) — до исследования половой биографии Зинаиды Гиппиус, — это была *серьезная* тема —, и — тема шутли-

вая — до картин изнасилования Нины Павловны, наружность которой — *ô monstre de la médisance* — Андрей Белый во время одного сеанса с Бакстом определил как кусок сырого мяса, лежащий на дворе под жгучим июльским солнцем. Он же, Андрей, характеризовал наружность Allegro как круглый станционный бутерброд с яйцом, обвитым килькой. Еще темами были: искусство Египта и греческий архаический стиль, Гюисманс, Barbey d'Aureville и Вилли, и Анатоль Франс и т.д., и были импровизованы очень веселые вариации на тему Рябушинского: «Она идет, как снег идет... Она лежит, как сторожит, — обнажена — и вся дрожит». Был снова поднят вопрос du fameux bandeaux. Я чувствовал себя божественно поднятым над этою сферой и потому говорил, что непременно нужно осуществить проект. Отсюда приглашение вечером в четверг к Repouveau на предварительное совещание. Условие: лишение зрения при посредстве bandeau, — при оставлении всех остальных чувств. О «Гафизе» скорее думают, что он сделал свое дело <1 слово неразб.>, круг завершен, но возможности есть и, м<ожет> б<ыть>, восстановление желательное».

Поясним несколько реалий этого письма. Нина Павловна Анненкова-Бернар (1859 или 1864 — 1933) — актриса и писательница. Вечер по поводу ее свадьбы с С. А. Борисовым описан Ивановым в письме к жене от 29 и 31 июля 1906 года, к этому вечеру им было написано стихотворение-напутствие, вошедшее в книгу «*Cog ardens*»<sup>47</sup>. Николай Павлович Рябушинский (1876—1951) — миллионер, издатель журнала «Золотое руно», вообразивший себя писателем и художником. 27 июля Иванов писал жене: «Курьез. Ряб<у>шинский сказал, что пишет стихи! И сказал одно стихотв<орение>, которое так поразительно, что я запомнил его наизусть. Вот оно. Кажется, что страстицы «Руна» им украсятся. Если дело пойдет так, придется воздерживаться от сотрудничества. Но нужно ждать фактов.

Она идет, как снег идет,  
Когда весною тает лед.  
Она цветет, как пруд цветет,  
Когда трава со дна встает...  
Она лежит, как сторожит, —  
Обнажена — и вся дрожит».

Над этими стихами все «гафизиты» долго издевались. О «проекте» мы скажем несколько далее.

Темы, становившиеся предметами обсуждения на собраниях, выражали ту позицию, которая была характерна прежде всего для Кузмина, Нувеля и Сомова, то есть для тех, о ком Зиновьева-Аннибал писала мужу 4 августа: «Дудик, мне было бы до дна костей больно, если бы они, эти старые эстеты, уже не понимающие Городецкого, уже отучившиеся учиться, и жадные, и завистливые (Сомов, Нувель, Бакст, Кузмин), если они смогут тебе дать новое и <настолько?> яркое и сладкое, — что оно стоит *новой* жизни нашего истинно-

го брака. *Новое* я приму, но *не от них*. Если от них, то не приму. Уйду сама искать иного блаженства и иных ядов. <...> Поскольку я принимаю своим вечным утром Сережу Городецкого, постольку жалостливо прохожу мимо Вальтера Нувеля и... Кости Сомова. Они были мне привратниками, щелкнули ключом, и я толкнула дверь и увидела новые дали, но те, повернувшие заветный ключ, — остались там, у входа... я же прошла и свободна под новыми небесами, своими, не их»<sup>48</sup>.

Время от времени полемика внутри «Гафиза» приобретала масштабы, явно выходящие за рамки только литературных споров, становясь одним из существеннейших для Иванова и его оппонентов аспектов мироосмысления. В недатированном письме, написанном, очевидно, около 5 июня, Зиновьева-Аннибал сообщила Замятниной: «Пришли Гафиситы: Сомов (из Мартышкино), Нувель, Бакст, Кузмин. Хотела было не вставать, ибо дошла действительно после этой <1 слово неразб.> до полного истощения и безобразного вида, но стыдно стало так неласково отнестись, да и не спалось, было жалко не участвовать в близкой, милой беседе. Оделась и пришла. Сомов мне привез букетик васильков. Сидели часов до трех в hall, пили вино, самовара я не ставила. И больше все спорили. Идет огромный спор «за души» между Вяч<есла>вом и Кузминым. Вячеслав требует энергетика, воления преобразовательного, *excelsior, zum höchsten Dasein*, а Кузмин покорствуется Смерти, Страсти и своим желаниям, и своей *роковой* минуте, ибо он глубокий фаталист. Я его определяю как ангела-хранителя Майи — покровца цветного мира, как единственно данного, любящего «эти хрупкие вещи» просто *за хрупкость* их. И что же было бы с жизнью, если никто не любил бы ее покорною благословляющею любовью, готовой *пассивною* волею и на любовь и на смерть? Но Вячеслав определяет его как «горницу прибранную», в которую «поселился Сатана», как одержимого и сам себе неведомо творящего дело Духа Тьмы и Смерти. Не знаю, кто прав, но мне скучно все, что около этого самого Сатаны, ибо я этого не понимаю. А если наш Антиной таков, то тем хуже для него. Мне же почти все равно»<sup>49</sup>. Любопытна запись Кузмина о дне 6 июня, которая и дает возможность приблизительно идентифицировать две встречи и тем самым датировать письмо Зиновьевой-Аннибал. Напряжение идейного противостояния, которое почувствовала Зиновьева-Аннибал, здесь обращено на тему гораздо более частную: «К обеду пришли Сомов и Бакст, потом все поехали к Ивановым. Дорогой я с Сомовым несколько меланхолически изредка говорили. У Ивановых долго не отворяли на наши звонки и стук, наконец Вяч<еслав> И<ванович> показался раздетым. Они уже спали! Мы хотели тотчас уходить, но он задержал, читал «Кормчие звезды», потом вышла и Диотима, опять было вино, споры о Дон Кихотах и Дон Жуанах; огромный об Уайльде. В. И. ставит этого сноба, лицемера, плохого писателя и малодушнейшего

человека, запачкавшего то, за что был судим, рядом с Христом — это прямо ужасно».

Как видим, для той части «гафизитов», где доминировали Сомов, Нувель и Кузмин, в восприятии Гафиза преобладала «жизнь», воспринимаемая как отрицание «прометеизма», «богоборчества», причастности к «мистическому энергетизму». Если мы обратимся к напечатанной в нашей книге переписке Кузмина и Нувеля, то увидим, что, несмотря на внешнюю дружественность и согласность корреспондентов, особенно на первых порах, в ней определенно проглядывает принципиально различное отношение к миру. Нувель постоянно делится своими впечатлениями от литературной жизни, рассказывает Кузмину о настроениях в художественной среде, оценивает новые произведения. Кузмин же предпочитает говорить лишь о тех сторонах артистической жизни, которые касаются непосредственно его, старательно обходя вопросы художественных противостояний времени. Он предпочитает расспрашивать Нувеля о знакомых, об «эскападах», волноваться о близких ему самому людях, но не определять свою литературную позицию. Думается, это не случайно.

Творчество Кузмина производило на современников поэта впечатление чрезвычайно сложное и противоречивое. Это касалось не только разных мнений о достоинствах или недостатках того или иного конкретного произведения, но и общей оценки литературной деятельности Кузмина. Она была полярно противоположной не только у литераторов различных направлений, но и у литературных деятелей одного и того же круга. Связано это было прежде всего с вопросом, что же является главным в творчестве поэта: беспечная легкость стихов или утонченная сложность?<sup>50</sup>

В настоящее время, как нам представляется, точный ответ на этот вопрос литературоведением уже дан: за легкостью и нередкой пряностью видны глубина и сложность, но они существуют неотрывно друг от друга. Такое толкование поэзии Кузмина было определено еще в рецензии Блока на «Сети», являющейся частью статьи «Письма о поэзии».

Немаловажный для понимания этой темы вопрос об отношении Блока к Кузмину — и, опосредованно, к гафизическому кружку — был обстоятельно рассмотрен в статье Г. Шмакова «Блок и Кузмин»<sup>51</sup>. Однако и в указанной работе, и в других работах о творчестве Кузмина не выявлены исходные точки генезиса его творчества, оно рассматривается как неизменная данность. Нам представляется, что без анализа связей Кузмина с «обществом друзей Гафиза» вряд ли возможно верно осмыслить и оценить развитие его поэзии на довольно значительном этапе творчества.

Как хорошо известно, серьезная работа Кузмина собственно над стихами, в отрыве от музыки, началась летом 1906 года, то есть именно в то время, которым помечена процитированная выше фраза Иванова об «эротико-эстетическом приятии» как о наиболее важном

и цельном в восприятии мира для самого Кузмина и других «гафизитов», что прямо перекликается с принципиальным положением К. Мочульского: «Для Кузмина — единственное обновление в любви. «Любовь всегдашняя моя вера» — говорит он в «Сетях». Она открывает наши глаза на красоту Божьего мира, она делает нас простыми, как дети. Любовь есть познание, есть прозрение»<sup>52</sup>.

Но это «эротико-эстетическое приятие» не является и не может являться одноплановым. Кажется, Е. Б. Тагер впервые в печати обратил внимание на важность статьи Кузмина «К. А. Сомов» для характеристики творчества самого поэта<sup>53</sup>. Но не менее важна она и для оценки общих устремлений большинства художников, принадлежавших к числу «гафизитов»: «Беспокойство, ирония, кукольная театральность мира, комедия эротизма, пестрота маскарадных уродцев, неверный свет свечей, фейерверков и радуг — вдруг мрачные провалы в смерть, колдовство — череп, скрытый под тряпками и цветами, автоматичность любовных поз, мертвенность и жуткость любезных улыбок — вот пафос целого ряда произведений Сомова. О, как не весел этот галантный Сомов! Какое ужасное зеркало подносит он смеющемуся празднику!»<sup>54</sup>.

Увиденная Кузминым в этой статье двуплановость живописи Сомова, соединение в ней красочности и глубинного трагизма, беспечности и ожидания смерти, накладываясь на творчество самого Кузмина, придает особое значение направленности некоторых его (и общих для всех «гафизитов») замыслов, формировавшихся как в ту эпоху, так и в несколько более позднюю. Так, 10 августа 1906 года Сомов писал Кузмину: «Недавно, сидя у Нувеля в этом гафизическом составе, нам пришла мысль обессмертить наш «Северный Гафиз» и издать для этой цели маленькую роскошную книжечку стихов, уже написанных El-Rumi, Вами, Кравчим, Поппеей <?> и Диотимой (ее проза о губах и поцелуях) и могущих быть написанными для будущих собраний в эту зиму. Книжка эта будет названа «Северный Гафиз», и к ней будут приложены портреты всех Гафизитов, воспроизведенные в красках с оригиналов, сделанных мною и Бакстом в стиле персидских многоцветных миниатюр с некоторой идеализацией или, лучше сказать, стилизацией гафизических персонажей. <...> Правда, эта мысль очаровательна? Книжка будет, конечно, анонимной, и только сходство портретов будет приподнимать таинственный вуаль. Будет это роскошное издание в небольшом количестве экземпляров, нумерованных при этом»<sup>55</sup>. Более подробно описывал этот проект Иванов в письме к жене от 4 августа: «Закончилась беседа решением, сопровождаемым клятвою, продолжать Гафиз с тем, чтобы к весне уничтожить, «сжечь» его разоблачением и... скандалом, — выпустив «Северный Гафиз, almanach de poche», в складчину. Это должна быть маленькая, маленькая книжечка, содержащая *все* стихи и прозу Гафиза и портреты *всех* членов в красках, — в костюме и во весь рост, а также картинку *nature morte* —



изображение обстановки и утвари Гафиза, как она у нас есть (только стилизованно), с яствами и свечами на полу и куполом Госуд<арственной> Думы за окном. Все это должно быть очень изящно и очень восточно по стилю, до такой степени, что книжка будет читаться, как восточные книги, с конца к началу и справа влево (или при помощи зеркала). Имена участников (но не их лица!) должны быть скрыты под нашими гафизическими именами, причем перед выходом в свет книжки будут пущены статьи с разоблачением наших знаменитостей. 300 экземпляров (с красными ленточками) рублей по 10 (как хочет Сомов) или немного дешевле. Издание обойдется в 1000—1500 рублей, и произведет сенсацию, и будет бессмертно. Все портреты будут разбаллотированы между Сомовым и Бакстом (причем вольные переуступки между ними допускаются), и оба будут прилежно работать. «Диотиму буду рисовать я», — сказал Сомов, и когда Бакст заикнулся о твоём покрывале из зеленого (или голубого?) газа, а также о желательности шальвар, — отверг энергично то и другое. «Ведь у нас северный Гафиз!» Нужно было видеть энтузиазм и радость Сомова после его немного чопорной грусти при выработке проекта! Бакст говорит, что давно не видал его в таком одушевлении — и это указывает, что он будет хорошо работать. Мы разошлись под впечатлением великого замысла, который должен быть осуществлен непременно. Конечно, это будет création обоих художников по преимуществу. Сборник должен открываться стихами Платена в моем переводе. Все ахнут, снобы умрут от зависти (особенное потрясение будет в Москве), все скандализуются и закричат».

На эти замыслы Кузмин откликнулся 12/25 августа, обращаясь к Нувелю: «Что Вы пишете о Сев<ерном> Гаф<изе>, меня живейше радует и интересует, только замысел печататься справа налево мне кажется несколько неудобным для чтения». Сам этот книжный проект нес в себе двойственность и даже множественность восприятия: во-первых, имитировался стык культур: русские стихи должны были печататься справа налево, портреты русских поэтов и художников предполагалось выполнить в стиле персидских миниатюр и пр.; во-вторых, это была игра на анонимности и одновременно известности авторов сборника; в-третьих, это выпуск в публику (пусть даже и довольно ограниченную) сугубо интимного дела крошечного кружка, этой публике совсем неизвестного. Такое искусственное и рассчитанное внесение множественности точек зрения в замысел должно быть безусловно поставлено в связь с амбивалентностью самой «гафизической» поэзии.

Замысел альманаха «Северный Гафиз» осуществлен не был, но, видимо, не случайно уже сам Кузмин в альманахе «Белые ночи» предпринял аналогичную в чем-то пробу, попытавшись одну и ту же жизненную ситуацию описать с двух точек зрения — в прозе и в поэзии. Посылая издателю альманаха Г. И. Чулкову цикл стихов, параллельный ранее принятой повести «Картонный домик», он писал:

«Дорогой Георгий Иванович, посылаю Вам, как обещал, «Прерванную повесть», но мне думается, что 1) может быть неудобным 2 изложения одного и того же происшествия, как бы освещающие одно другое»<sup>56</sup>.

В полной мере, как известно, замысел реализован не был: конец повести был утерян в типографии, и в «Белых ночах» она была опубликована без нескольких последних глав, что вызвало вполне естественное недовольство поэта<sup>57</sup>, но даже и это обстоятельство Кузмин не преминул использовать для своеобразной игры, усложняющей восприятие этих двух произведений. В публикуемом ниже письме к В. В. Руслову от 1 (14) ноября 1907 года он писал: «Прилагаемый конец «Картонного Домика» переписан исключительно для Вас; другого списка, кроме черновика, нет ни у кого и не будет. Я бы Вас просил не давать делать списки, а быть единственным обладателем. Это мне будет приятно». Вполне очевидно, что таким образом он завуалированно подталкивал адресата к распространению последних глав повести как можно более широко, особенно в среде «своих»<sup>58</sup>.

Похожая история произошла и с другим неосуществленным начинанием Кузмина — сборником «Пример влюбленным», задумав который он обратился к владельцу издательства «Альциона» А. М. Кожебаткину: «Не хочешь ли ты издать скандальную книгу, маленькую, в ограниченном колич<sup>е</sup>стве экземпляров, где было бы стих<sup>отворений</sup> 25 моих и стих<sup>отворений</sup> 15 Всеволода Князева. За последние не бойся. Во-первых, я беспристрастно их тебе рекомендую, во-вторых, ты сам увидишь. Стихи все вроде тех, что я тебе читал последний раз. Прислать можем довольно скоро, так в августе или часть даже раньше. Мне бы не хотелось их путать с другими, а отдельно без Князева тоже я не хочу. Называться будет «Пример влюбленным», стихи для немногих. Обложку и проч. мог бы сделать Судейкин, или Арапов, если у него удастся»<sup>59</sup>. И несколько позже о том же замысле: «Саша, посылаю тебе рукописи, посмотри, какие они прелестные, а «скандальность» очень невинная, и то только для Князева. Судейкин хотел бы сделать много украшений и в красках»<sup>60</sup>. Этот замысел опять-таки давал Кузмину возможность показать одни и те же события с различных сторон (в данном случае — с точки зрения своей и Князева) и, соответственно, внести решительную неоднозначность в читательское восприятие его собственного текста. Действуя так, он стремился внести в свое творчество амбивалентность мировидения, сделав его лишь частью общего взгляда на мир, и тем самым преодолеть постепенно складывающееся у русских критиков, в том числе и вполне серьезных, впечатление мелкости и игрушечности его поэзии и прозы.

Из сказанного вытекает и еще одна проблема: возможно ли считать раннего Кузмина символистом, или же он принадлежит к какому-нибудь другому направлению в русской поэзии? В называвшейся статье Г. Шмакова говорится, что «очень важным для правильного

понимания своеобразия поэтической системы и специфики <кларизма> Кузмина является замечание Блока о том, что Кузмин никак не связан с русским символизмом и не является символистом по существу. <...> Блок справедливо возражал на то, что “он (Вяч. Иванов. — Г.Ш.) тащит за собой Кузмина, который на наших пирах не бывал”<sup>61</sup>. Думается, что здесь автор статьи упустил из виду два обстоятельства: во-первых, в цитируемом письме Блока к Белому слово «наших» подчеркнуто, что свидетельствует об отнесении его к самим Блоку и Белому, а вовсе не ко всему символизму. Во-вторых, это замечание высказано в частном письме, после сложных раздумий по поводу первого номера журнала «Труды и дни» и опубликованной там весьма несимпатичной Блоку рецензии Кузмина на ивановский «Сог ardens». Полемический контекст высказывания не позволяет принять его за абсолютную истину, даже если мы будем считать Блока носителем такой истины, что не вполне оправданно.

Противоположная точка зрения была высказана В. М. Жирмунским в известной статье «Преодолевшие символизм»: «Мы можем назвать Кузмина последним русским символистом. Он связан с символизмом мистическим характером своих переживаний; но в стихах он не вносит этих переживаний, как непобежденного, смутного и трепещущего хаоса. Искусство начинается для него с того мгновения, когда хаос побежден...»<sup>62</sup>. Вероятно, отнесение Кузмина (во всяком случае, на раннем этапе его творчества; вопрос о позднейшей философской лирике Кузмина вряд ли может быть решен таким образом) к символистам в общем смысле правильно, хотя необходимо сказать и о том, что это не означало его безусловного подчинения «заветам символизма», да и степень преодоленности хаоса в его стихах, как кажется, несколько преувеличена Жирмунским, что может объясняться тем, что в 1916 году, когда писалась статья, поэзия Кузмина действительно тяготела к «опрошению» и новые тенденции в ней только начинали проступать. Мы стремились показать, что с первых своих стихов Кузмин тяготел к двойственности поэтической структуры, где за призрачностью и масочностью все время ощущались бы глубина и темнота хаоса, непреодоленного, но как бы отодвинутого на задний план. В критике современников это чаще всего отмечалось при сопоставлении разных сторон творчества Кузмина, особенно его стихов и прозы<sup>63</sup>. Как это происходило внутри одного произведения, лучше всего продемонстрировал Блок (помимо упомянутой рецензии, см. также его отзыв о повести «Крылья»<sup>64</sup>).

Но, быть может, не менее важной была жизненная позиция поэта, которая, вполне вероятно, также в значительной степени восходит к идеям «гафизического» круга. Если обратиться к уже неоднократно использованной (и публикующейся в полном объеме далее) переписке Кузмина и Нувеля, то нетрудно заметить, что для Нувеля легкость отношения к жизни принципиальна. У Кузмина же все выглядит гораздо более серьезным, чем у его конфидента. Например,

забота о любимом человеке принимает у него характер едва ли не болезненный, что чувствуется не только в письмах, но и в стихах, вошедших в «Любовь этого лета»:

Мне не спится, дух томится,  
Голова моя кружится...

Но так же свободно любовь может перейти в полнейшее равнодушие: «Читал он (Кузмин. — *Н.Б.*) однажды мне свой дневник. Станный. В нем как-то совсем не было людей. А если и сказано, то как-то походя, равнодушно. О любимом некогда человеке:

— Сегодня хоронили *Н.*

Буквально три слова. И как ни в чем не бывало — о том, что Т.К. написала роман, и он уж не так плох, как это можно было бы ожидать»<sup>65</sup>. Описанное здесь отношение к жизни в еще большей степени противопоставляет Кузмина постсимволистскому поколению поэтов, для которых не только «надменность солипсизма» казалась «не акмеистичной»<sup>66</sup>, но и отношение к жизни как к реальности, воспринимаемой в зависимости от минутного настроения поэта, было неприемлемо. Не случайно этическая проблематика ахматовской «Поэмы без героя», где в наибольшей степени высказались принципы акмеизма как «тоски по мировой культуре», так тесно сплетена с обликом персонажа, о котором Ахматова писала: «Мне не очень хочется говорить об этом, но для тех, кто знает всю историю 1913 г., — это не тайна. Скажу только, что он, вероятно, родился в рубашке: он один из тех, кому все можно. Я сейчас не буду перечислять то, что было можно ему, но если бы я это сделала, у современного читателя волосы бы стали дыбом»<sup>67</sup>. Противопоставление двух формул: «Это я — твоя старая совесть» и «Кто не знает, что совесть значит И зачем существует она» — подразумевает прежде всего Автора поэмы и персонажа, вобравшего в себя очень многие черты жизненного и литературного облика Кузмина<sup>68</sup>. Поэтому мы имеем основания возводить пред историю поэмы (отнюдь не настаивая на прямом отражении, ибо Ахматова, вероятно, вообще ничего не знала о существовании общества) к «Северному Гафизу» и его идеям.

На первый взгляд, «общество друзей Гафиза» представляется малозначительным и малозаметным эпизодом на фоне революционных событий 1906—1907 годов, локальной частностью чрезвычайно насыщенной петербургской культурной жизни, не связанной с идейными исканиями людей, к нему не принадлежащих. Не случайно во «внешней» переписке кружка о нем почти не упоминается, неизвестны сколько-нибудь подробные мемуары об этом обществе. И тем не менее деятельность этого кружка необходимо включить в число тех явлений культуры, которые непременно должны учитываться при анализе всей культурной жизни России начала XX века.

Существенно, прежде всего, здесь то, что деятельность «Северного Гафиза» получила отражение в литературе. Помимо уже называв-

шихся стихотворений Кузмина и Вяч. Иванова, рассказа С. Ауслендера, явные аллюзии на события из жизни «башни» того времени (в том числе развивавшиеся и в рамках «гафизитства») находим в комедии Зиновьевой-Аннибал «Певучий осел», первое действие которой было опубликовано в альманахе «Цветник Ор», а второе, третье и четвертое остались при жизни автора ненапечатанными (между прочим, музыку к комедии предполагал писать Кузмин). Наиболее явно эти аллюзии проявляются в хоре эльфов из второго действия: «Какой печальный оборот Вдруг приняли дела на башне»<sup>69</sup>, а также в сцене из третьего действия, когда появляются влюбленные «человек с головой черной пантеры» и «Женщина с мордой Гиэны» и первый из них произносит: «Здесь возведу я высокое ложе. Здесь совершится наш подвиг и наше падение. Мы подвижники Великой Страсти. Идите, все демоны, и люди, и звери, — сетью окиньте ложе страстной пытки, чтобы, не изведенные из ада, мы так лежали: я когтями терзая ее мясо, она клыками вгрызаясь в мои внутренности. Вот путь наш в Дамаск!»<sup>70</sup>. Впрочем, самим символистам аллюзионность была очевидна и по первому действию, что ясно из письма Брюсова к З. Н. Гиппиус от 22 мая 1907 года<sup>71</sup>. А в начале 1907 года задним числом Зиновьева-Аннибал осмысляла как «предгафизическую» свою повесть «Тридцать три уroda» (окончена в начале мая 1906 г.). В письме к А. Р. Минцловой она говорила: «Теперь о Тридцати Трех два слова. Истинно тронута тем, что вы вторично трудитесь говорить о них, и неутешна о пропаже первых ваших «неповторяемых» слов. Этот «огонь», «искажающий, уродующий» «вечность форм», — огонь чадный. Это «ненахождение выхода слов», «отчаяние, искание» — плоды уныния, падения, отчаяния, как я однажды подписала под заглавием книги. Но все это *не настоящее*. Это первая книга, которую я писала не *всею* собою, в которой передавала горение и корчи своей ряби, даже не средней глубины. Это Кузмин, странное весна и лето, Сомов, и апогей — Городецкий (предчувствием) в девушке без имени, и беспомощность, безверность ряби моей, ветром смятой поверхности, — в бедной Вере. И все же она *Вера*. Умерла, себя не познавши. Я же дальше живу, и даже когда писала, то знала за книгой, <не о?> чем сказала книга, но нравилось мне сказать только то, что сказала. И все же, или именно *потому* (ведь это, может быть, именно мое преступление дурного демонизма, — это книга, написанная с какой-то злостью и намеренно не договоренная) — в этом чадном расказе оказалась какая-то пророческая сила»<sup>72</sup>.

Но, может быть, еще более важно, что с появлением и развитием «гафизитства» у ряда членов кружка было связано формулирование собственных мировоззренческих позиций. Едва ли не в наиболее открытой форме это сказалось в отношениях Иванова с Н. А. Бердяевым. Для определения схождения и расхождения двух выдающихся мыслителей непосредственно во времена «Гафиза» прямых данных, если не считать довольно случайных упоминаний сторонних наблю-

дателей, у нас нет, но в более поздних письмах Бердяева к Иванову точки расхождения названы очень отчетливо.

В письме от 22 июня (год не означен, но по содержанию оно совершенно явно относится к 1908 г.) Бердяев писал, единственный, сколько нам известно, раз упоминая свое участие в кружке: «Я отношусь отрицательно и враждебно к некоторым Вашим идеям и стремлениям, а к Вам всегда относился и отношусь с любовью. Но Вы, быть может, совсем забыли меня, Вы, быть может, не любите разномыслия с Вами? Вспоминаю Гафиз, и воспоминание это мне приятно, поскольку из него выделяется чувство дружбы к вам двум, а затем воспоминание становится смутным и прослеживается что-то неприятное. Я никогда не разделял Ваших мистических надежд, лично Ваших надежд (у других их, по-видимому, не было) на такого рода формы общения, для меня это было обыкновенное дружеское общение с эстетикой и остроумием. Но некоторые обнаружившиеся тенденции этого общения мне были неприятны и становились в противоречие с моим сознанием. Тогда я отошел, да и скоро все само собою распалось. Все это давно было, очень давно по количеству внутренних для меня событий, да и не знаю, что Вы теперь об этом думаете и чувствуете. Мое сознание и все мое существо все крепче и крепче срасталось с христианством, и теперь вне христианской веры для меня невозможна жизнь»<sup>73</sup>.

И в дальнейших, достаточно редких письмах Бердяев продолжает ту же линию идейного размежевания с Ивановым, которая вполне очевидно связана с их тесным общением на «башне» и в «Гафизе». Так, в письме от 17 марта (очевидно, 1909 г.) Бердяев вполне определенно проводит разграничительную черту между кругом идей своих и Иванова: «Я знаю и чувствую, что в Вас есть глубокая, подлинная, мистическая жизнь, очень ценная, для религиозного творчества плодотворная. И все же остается вопрос коренной, вопрос единственный: оккультное ли истолкование христианства или христианское истолкование оккультности, Христос ли подчинен оккультизму или оккультизм подчинен Христу? Абсолютно ли отношение к Христу, или оно подчинено чему-то иному, чуждому моему непосредственному, мистическому чувству Христа, т<о> е<сть> подчинено оккультности, возвышающейся над Христом и Христа унижающей? На этот вопрос почти невозможно ответить словесно, ответ может быть дан только в религиозном и мистическом опыте. Я знаю, что может быть христианский оккультизм, знаю также, что лично Ваша мистика христианская. И все-таки: один отречется от Христа во имя оккультного, другой отречется от оккультности во имя Христа. Отношение к Христу может быть лишь исключительным и нетерпимым, это любовь абсолютная и ревнивая. Все эти вопросы я ставлю не потому, что я такой «православный» и такой «правый» и боюсь дерзновения. Я человек большой свободы духа, и самая моя «православность» и «правость» есть дерзновение. Не боюсь я никакого нового творчества,

ни дерзости новых путей. Всего больше я жду от порождения какой-то новой любви. Но к Христу должно быть отношение консервативное. <...> Быть может, я еще буду бороться с Вами, буду многому противиться в Вас, но ведь настоящее общение и должно быть таким»<sup>74</sup>.

И, наконец, наиболее полное и отчетливо сформулированное осмысление своих принципиальных разногласий с Ивановым Бердяев высказывает в письме от 30 января 1915 года. Не без оснований можно полагать, что оно было написано под впечатлением работы Бердяева над статьей «Ивановские среды»<sup>75</sup> и является своеобразным подведением итогов их личного и идейного общения на протяжении десятилетия: «Вы все хотели, чтобы я сказал Вам откровенно, что я мыслю о Вас. И вот я скажу Вам, хотя и недостаточно пространно. Думаю я прежде всего, что Вы изменили заветам свободолюбия Лидии Дмитриевны, ее мятежному духу. Ваш дионисизм, Ваш мистический анархизм, Ваши оккультные искания, все это, очень разное, было связано с Лидией Дмитриевной, с ее прививкой. О Вас я очень сильно чувствую вот что: тайна Вашей творческой природы в том, что Вы можете раскрываться и творить лишь через женщину, через женскую прививку, через женщину-пробудителя. Таков Вы, это роковое для Вас. Творческое начало в Вас падает без взаимодействия с женской гениальностью. Ваша огромная одаренность вянет. Вы сами по себе не свободолюбивы: Вы боитесь трудности истинной свободы, распятия, к которому ведет путь свободы. Вы слишком любите легкое, отрадное, условное, в Вашей природе есть оппортунизм. Вы думаете, что теперь живете в свободе, потому что свободу смешиваете с легкостью, с приятностью, с отказом от бремени. У Вас нет религиозного дара свободы. Вы свободу всегда переживали как демоническое дерзание, и для Вас лично воспоминания о путях свободы связаны с чем-то темным и сомнительным. И в Вашей природе есть робость, которая лишь внешне приправлена дерзновением. Вы всегда нуждаетесь во внешней санкции. Сейчас Вам необходима санкция Эрна или Флоренского. Вы ищете санкции и в личной жизни, и в жизни духовной и идейной. Жизнь в свободе — трудная и страдальческая жизнь, легка и приятна — лишь жизнь в необходимости. Вам незнакома божественная свобода, у Вас есть лишь воспоминание о демонической свободе. В православии Вы ищете теперь легкой и приятной жизни, отдыха, возможности все принять. И это усталость в Вас, духовное истощение от ложных опытов дерзания. В последние годы Вы живете уже творческими открытиями и подъемами прежних лет. Но сейчас я чувствую, что прежний подъем погас в Вас. Вы стали перекладывать в стихи прозу Эрна. Вы почти отреклись от Ваших греческих, дионисических истоков. И на высоте Вы лишь тогда, когда остаетесь поэтом. Я не люблю в Вас религиозного мыслителя. Ваша необычайная творческая одаренность цвела и раскрывалась под воздействием сначала жизни Лидии Дмитриевны, а потом ее смерти. А в Ваших ок-

культурных исканиях для Вас имела огромное значение Анна Рудольфовна. Теперь эти пробуждающие силы уже не действуют так. Теперь Вы попали в быт и живете под санкцией Эрна, говоря символически. В Вас слишком много всегда было игры, Вы необычайно даровиты в игре. И сейчас Вы очень привлекаете и соблазняетесь в минуты игры. Но думается мне, что Вы никогда не пережили чего-то существенного, коренного в христианстве. Я чувствую Вас безнадежным язычником, язычником в самом православии Вашем. И как прекрасно было бы, если бы Вы оставались язычником, не надевали бы на себя православного мундира. В Вас была бы языческ<ая> праведность. В Вас есть языческий страх христианской свободы, бремя которой не легко вынести. Вашей природе чужда Христова трагедия, мистерия личности, и Вы всегда хотели переделать ее на языческий лад, видели в ней лишь трансформацию эллинского дионисизма. Ваше чувство жизни, Ваше мироощущение в своей первооснове языческое, просто внехристианское, а не антихристианское. Вот в моей природе есть что-то антихристианское, но вся кровь моя пропитана христианской мистерией. Я — «еретик», но в тысячу раз более христианин, чем Вы — «ортодокс». Вы совсем не могли бы жить с религией Христа, не знали, что с ней делать, она просто не нужна Вам. Но культ Богородицы очень Вам подходит, сердечно нужен Вам для жизни, для мистических млений. И свое языческое чувство жизни Вы теперь прилаживаете к церкви, как к женственности и земле. Я объявляю себя решительным врагом Ваших <1 слово неразб.> платформ и лозунгов. Я не верю в глубину и значительность Вашего «православия»...»<sup>76</sup>.

Здесь не место разбирать, кто был прав в этом споре, если был прав кто-нибудь вообще. Важно подчеркнуть, что, отталкиваясь в значительной степени от идей «гафизитства», Бердяев поднимает разговор на чрезвычайно высокий уровень накала интеллектуальных страстей, переводит его из плана житейского в план мировоззренческий.

Возвращаясь непосредственно к деятельности кружка, попытаемся хотя бы кратко обрисовать то функциональное значение, которое он приобретал в действительности России того чрезвычайно напряженного времени. 9 марта 1907 года Зиновьева-Аннибал писала Замятниной: «Жизнь моя, помимо рабочей спешки, складывается в такие драмы, одной из которых в обычной атмосфере было бы достаточно, чтобы или написать жалостно-трагический роман, или прожить его, или избавиться от него смертью. Но на башне организмы приспособлены к всасыванию крепчайших ядов. Башенникам все на пользу. Поболит живот шибко, зато кровь вся обновилась, и, вечные кочевники красоты, они взлетели в новые и новые дали»<sup>77</sup>. На фоне такой жизненной насыщенности сама интимность становится понятием отмеченным, перерастает свои рамки и осмысливается как явление едва ли не космического масштаба. Не случайно в этих осмысле-



ниях интимности едва ли не ведущую роль играли размышления об Эросе и о том, что он несет в жизнь человека. «Новая Среда — гигант. Человек 70. Нельзя вести списка. Реферат Волошина открыл диспут: «Новые пути Эроса». Вячеслав симпровизировал речь поразительной цельности, меткости, глубины и правды. Говорил, что история делится на периоды ночи и дня, так, Греция — день, Средние Века — ночь, Возрождение — день, а затем как «?» ночь, и 19-й век — рассвет, теперь близится день. Утро отличается дерзновением повсюду, и, перейдя к жизни, искусству, Вячеславу сказал, что так и называемые декаденты если не в сделанном, то в путях своих исполняли правое дерзновение. И дальше, перейдя к области Эроса, говорил дивно о том, что, в сущности, вся человеческая и мировая деятельность сводится к Эросу, что нет больше ни этики, ни эстетики — обе сводятся к эротике, и всякое дерзновение, рожденное Эросом, — свято. Постыден лишь Гедонизм»<sup>78</sup>.

Вопрос о практическом претворении в жизнь так понимаемых принципов эротического отношения к действительности, несомненно существующий и весьма актуальный для истории культуры, чрезвычайно деликатен и нуждается в особом рассмотрении, с привлечением всех имеющихся источников, которые до сих пор доступны нам лишь частично. Пока же можно сказать лишь то, что в сложнейших отношениях четы Ивановых с С. М. Городецким и М. В. Сабашниковой-Волошиной формировалась сама атмосфера «башни», они придавали всему происходящему там особый смысл, выходящий за пределы реальных фактов. Как писала Зиновьева-Аннибал: «С Маргаритой Сабашниковой у нас у обоих особенно близкие, любовно-влюбленные отношения. Странный дух нашей башни. Стены расширяются и виден свет в небе. Хотя рост болезнен. Вячеслав переживает очень высокий духовный период. И теперь безусловно прекрасен. Жизнь наша вся идет на большой высоте и в глубоком ритме»<sup>79</sup>. Однако она же менее чем через месяц исповедовалась А. Р. Минцловой: «Подсчитываю теперь свою убыль и свои дары. Жизнь одарила нежданно там, где не просила, и отняла там, где складывала я свои сокровища. Я же пакиродилась после того, что лицом к лицу со смертью отдавала жизнь и все живущее здесь. И все мне было новым, и все пути впереди. Так, обретя вновь свой пакирожденный брак с Вячеславом, я устремляла свою светлую волю изжить до последнего конца любовь двоих, и знала, что еще и еще растворяться будут перед нами двери нашего Эроса прямо к Богу. Это прямой путь, жертва на алтарь, где двое в совершенном слиянии переступают непосредственно грань отъединения и взвивается дым прямо в Небеса. Но жизнь подрезала корни у моего Дерева Жизни в том месте, где из них вверх тянулся ствол любви Двоих. И насадила другие корни. Это впервые осуществилось только теперь, в январе этого года, когда Вячеслав и Маргарита полюбили друг друга большою настоящею любовью. И я полюбила Маргариту большою и настоящею любовью, потому что

из большой, последней ее глубины проник в меня ее истинный свет. Более истинного и более настоящего в духе брака *тройственного* я не могу себе представить, потому что последний наш свет и последняя наша воля — тождественны и едины. <...> Столько я сказала (и как сумела, но Вы поймете и простите немощь) о себе и о путях, по которым меня влек и влечет Эрос. Теперь скажу о них. Вы знаете, как светло и крылато выступила в путь Маргарита. И начались откровения пути. Первое было красоты глубокой и потрясающей, целый новый мир для меня: — стихия *ласки*, где царицей Маргарита-девушка. Второе, что не имеет она никаких проходов к стихии *Страсти* и к стихии *Сладострастия* (которые, к слову говоря, взаимно враждебны одна другой). Третье, — что она соприкасалась с стихией Страсти сильными, <темными?>, страшными толчками, глухонемыми — в первой юности, в детстве и — утратила все ходы. Четвертое — что Вячеслав взглянул в новый дивный мир. Помнилось ему прозреть и обрести новую Любовь. Пятое — что муки крещения в Новую Любовь велики и огненны, и искушает сомнение. Шестое откровение, — что Вячеслав узнал для себя только две реки жизни, Эросом рожденные, — Духовная Любовь и Страстная Любовь, и все, что между, — полудевство, и не правда, и не красота. И очень бьется, и страдает, и обличает. И седьмое откровение, — что Маргарита мнит себя гвоздем в распятии Вячеслава и проклятой, т.к. свет, который в ней, <погашается?> и становится теплотой в нем. Анна Рудольфовна, это все: купель ли это крещения для Вячеслава или двери гибели?»<sup>80</sup>. Поглощенность собственными интимными переживаниями не могла не проявиться в жизненном поведении участников событий.

В годы первой русской революции именно круг Вячеслава Иванова составлял середину тех «петербуржцев», о которых современные исследователи пишут: «“Петербургцы” <...> были полны пафоса революции, революционной жертвы, «самосожжения» личности во имя мира и Родины», неославянофильского патриотизма и неонароднического воодушевления»<sup>81</sup>. Но как обратная сторона собраний на «башне» возникало именно «общество друзей Гафиза», где вопросы социальные и политические намеренно отодвигались на самый задний план, где все, выходящее за пределы кружковых интересов, воспринималось приблизительно с той точки зрения, с которой судил о статьях Блока Кузмин, когда писал Нувелю: «Блок, попав в «Знание», прямо с ума сошел, и читая его статью в том же «Руне» то слышишь Аничкова, то Чулкова, то, помилуй Бог, Луначарского»<sup>82</sup>. В гораздо более наивной форме приблизительно такое же ощущение было выражено и Зиновьевой-Аннибал: «И, ради Бога, не пиши мне о политике. Неужели ты не замечаешь, что я не пишу никогда о ней, ты же наполняешь ею две страницы. Для меня, впрочем, политики не существует и не существовало. Если невозможное 18-го <так!> октября осталось навек невозможным, — я молчу, я «посыпала главу пеплом» и молчу. Пусть все совершается, как совершалось всегда и

совершится. То не я хочу, то не мое, не моего Бога. Молчи и ты со мною»<sup>83</sup>. Эти настроения могут быть до известной степени восприняты как программные для всего кружка (хотя отметим в скобках, что для Вяч.Иванова политика, как следует из его дневника, никогда не оставалась в небрежении: он постоянно фиксирует последние новости в этой сфере, повествует о своих контактах с политическими деятелями и т.п.). Не в меньшей степени программным было и резкое несовпадение взглядов «башни» на пути России с тем, что пытались найти Мережковские, хотя еще летом 1906 года Мережковский уговаривал: «Дорогой Вячеслав Иванович, часто бывает, что люди в разлуке сближаются. Это и с нами случилось относительно Вас. Вы стали нам ближе издали, чем когда мы были в Петербурге. Мы все больше ценим Ваш дар и верим, что этот дар от Бога, верим также, что Вы ищите и всегда будете искать только прекрасного и доброго. Это говорю Вам из глубины сердца. Между нами чувствуется если еще не любовь, то возможность любви, и эту возможность не надо пренебрегать»<sup>84</sup>. Однако уже к началу 1907 года относится целый ряд резких выпадов Мережковских против Иванова и его круга<sup>85</sup>, свидетельствующих о решительных расхождениях как в литературной, так и в политической области, причем в обеих Мережковские оказывались гораздо «левее». Именно в атмосфере «башни» окончательно определяется «мистический анархизм» и выковываются различные его ответвления<sup>86</sup>. Деятельность Вяч. Иванова и «башни» становилась одним из симптомов серьезного кризиса, охватившего либеральную мысль, оказавшуюся неспособной решить важнейшие проблемы жизни России. Вспоминая несколько более позднее время, Е.Ю.Кузьмина-Караваева писала: «Петербург, Башня Вячеслава, культура даже, туман, город, реакция — одно. А другое — огромный, мудрый, молчаливый и целомудренный народ, умирающая революция, почему-то Блок и еще — еще Христос»<sup>87</sup>. «Гафизитство» представляло собою попытку эстетизированного отрешения от революции (не забудем, однако, что вместе с этим проблемы революции обсуждались на той же самой «башне» во время ивановских «сред», и обсуждались с пылом и стремлением к определению собственной позиции как активных деятелей происходящего в России), попытку замкнуться в сфере чисто художественных и чувственных переживаний, отвергая даже те достаточно абстрактные идеи «мистического энергетизма», «прометеизма» и т.п., что были характерны для Иванова. Вспышка «гафизитства» и угасание интереса к нему, как нам представляется, были весьма характерны для русской культуры того времени.

И здесь при разговоре о «друзьях Гафиза» должно появиться имя Александра Блока, для которого эти годы были временем вызревания важнейших идеологических сдвигов, отчасти также связанных с «башней». В январе 1907 года Зиновьева-Аннибал писала дочери: «Блок сдружился с нами необыкновенно. <...> Эта дружба делает нам глубокую и большую радость, потому что он высокий человек и

страшно строгий и поэтому одинокий»<sup>88</sup>. Но об участии Блока в кружке нет решительно никаких сведений. Следовательно, придется предположить, что Ивановы нарочно удерживали его несколько вдали от таких минутных предприятий, как этот кружок. Мотивы такого удерживания нам, естественно, не могут быть известны доподлинно, но без особого риска можно предположить, что по самому характеру своему общество не могло не вызвать сильнейшего внутреннего противодействия Блока, и это Ивановыми отчетливо осознавалось. Никакие дружеские связи, художественная заинтересованность не могли преодолеть внутреннего отчуждения, какое у Блока вызвал бы «Гафиз».

В наибольшей степени отрицание идей кружка «гафизитов» в имплицитной форме можно усмотреть в рецензии на первую книгу стихов Кузмина «Сети», где, давая чрезвычайно высокую оценку его творчеству, Блок в то же время говорит об известной нецелостности его поэзии, о той противоречивости, которая не позволяет Кузмину стать в число «истинно народных поэтов»: «...Кузмин теперь один из самых известных поэтов, но такой известности я никому не пожелаю»<sup>89</sup> <...> И причина такого печального факта лежит вовсе не в одном непонимании читателей, но также и в некоторых приемах самого Кузмина. Указать ему на это должны те немногие люди, которые действительно любят и ценят его поэзию»<sup>90</sup>. Видя и ощущая амбивалентность поэзии Кузмина, Блок призывал поэта «стряхнуть с себя ветошь капризной легкости»<sup>91</sup>, что для Кузмина оказалось невозможным. Это была органическая черта его поэзии, которая чем дальше, тем больше вызывала у Блока и ряда других поэтов резкое и решительное неприятие, выливавшееся не только в литературно-критические выступления, но и в человеческие отношения, и в мемуары.

Исследование истории «общества друзей Гафиза» дает возможность понять, как формировались творческие концепции, чрезвычайно важные для целого ряда замечательных деятелей русской культуры начала века, вдохнуть окружавшего деятельность русских символистов воздуха, который, улетучиваясь, оставлял взору последующих читателей лишь отдельные малозначительные факты, не связанные в систему. Применительно же к творчеству Кузмина разговор о «гафизитах» позволяет пристальнее рассмотреть генезис его поэзии и ту ее специфику, которая на протяжении долгого времени будет определять ее смысловую структуру.

## КУЗМИН ОСЕНЬЮ 1907 ГОДА

Как видно из предыдущей статьи, изучение всякого рода литературно-художественных кружков самого различного плана и толка, от существовавших долгое время и обладавших формальными признаками (как, например, «Вечера Случевского», «Общество ревнителей художественного слова», оно же — «Академия стиха»<sup>1</sup>, или, например, «Общество поэтов», в просторечии именовавшееся «Физой») или потаенно-эзотерических, имевших свой собственный язык и подобие программы (вроде уже упоминавшихся «аргонавтов»), вплоть до обретавших свое существование лишь в умах «учредителей», имеет для историков культуры и литературоведов немалое значение. Даже попытки последнего рода, затерянные в толще воспоминаний, дневников и переписки, могут свидетельствовать об умонастроении эпохи с не меньшей отчетливостью, нежели кружки, уже образовавшиеся и функционировавшие. Сама возможность гипотетически представить себе некое объединение людей, обладающих общим кругом интересов, представлений о действительности, литературных и художественных вкусов, ориентированных на особый тип жизненного поведения, уже свидетельствует о том, что определенная тенденция в обществе существует. Реализация же кружка или его угасание на самом начальном этапе замышления вполне может оказаться случайностью: активность или пассивность организаторов, материальные возможности, дружбы или расхождения и многое другое могли расстроить уже обдуманное и почти решенное предприятие.

Один из вариантов подобного общества обнаруживается во второй половине 1907 года, причем основным его бродильным началом оказывается Кузмин. На фоне его регулярной неприязни к каким-либо формальным объединениям<sup>2</sup> такое стремление выглядит довольно неожиданным, однако, на наш взгляд, оно свидетельствует в первую очередь о желании устроить особый тип творчества, непохожий на все прочие.

Собственно говоря, информация, которой мы обладаем, весьма незначительна и часто не выходит за рамки некоторых предположений, однако они дают возможность, как нам представляется, реконструировать планы Кузмина и до известной степени распространить

их на его последующую деятельность, вплоть до создания в начале двадцатых годов группировки эмоционалистов и существования во второй половине двадцатых и первой половине тридцатых в квартире Кузмина своеобразного кружка, являвшегося, по всей видимости, одним из значимых центров неформальной художественной жизни Ленинграда того времени.

Для внимательного рассмотрения обстоятельств замысла и первоначальных действий по организации потенциального кружка в немногих словах напомним последовательность фактов жизненной и творческой биографии Кузмина начиная с 1905 года, поскольку они имеют непосредственное отношение к интересующей нас теме.

1905 год проходит для Кузмина под знаком (формального, во всяком случае) следования законам своей предшествующей жизни: он ходит в русском платье, постоянно общается с купцом Казаковым, мастерами и приказчиками из его лавки, лишь постепенно входя в круг участников «Вечеров современной музыки», близких к «Миру искусства». Осенью этого года он несколько раз читает своим знакомым из артистического круга, к которым участники «Вечеров» присоединили и нескольких художников, повесть «Крылья», что заставило заговорить о Кузмине как о литераторе уже в относительно широком обществе.

С начала 1906 года, продолжая внешне ту же жизнь, Кузмин начинает посещать «башню» Вяч. Иванова, где весной попадает в кружок «гафизитов», по-видимому, ставших для него одним из первоначальных образцов существования объединения именно такого типа, о котором речь пойдет в дальнейшем.

В сентябре 1906 года он перемениет платье, одеваясь с этих пор по-европейски (для Кузмина тип одежды очевидно является семиотически значимым). В июльском номере «Весов» он дебютирует в печати серьезно, а не эфемерно, как в «Зеленом сборнике», где в конце 1904 года его литературные произведения впервые увидели свет<sup>3</sup>. 11-й номер «Весов» за этот год был целиком отдан «Крыльям» (один из считанных случаев за все шесть лет существования журнала!). К той же самой осени относятся два подряд романа Кузмина — с К. А. Сомовым и С. Ю. Судейкиным, плотски закрепившие его связь с новой для него сферой общения: на смену безвестным купцам и приказчикам-старообрядцам, молодым людям без определенных занятий и весьма низкого образовательного ценза пришли художники самого элитарного московского и петербургского круга, неотъемлемой частью которого останутся отныне и сам Кузмин<sup>4</sup>.

В повести «Картонный домик», писавшейся с января по март 1907 года, есть фраза, вычеркнутая из рукописи, готовой к представлению в набор: «Мы оба, — говорит ее главный и отчетливо автобиографический герой Демьянов художнику Мятлеву, в которого он влюблен, — своим искусством и своею жизнью покажем миру образец пламенной красоты»<sup>5</sup>. В то время подобные планы еще не могли осуществиться,

однако уже к лету 1907 года ситуация для реального Кузмина, а не для его книжного аналога решительно изменилась.

Первая половина года стала для него временем настоящей литературной известности, на этот раз не только среди избранной публики, типа посетителей «башни» или завсегдатаев театральных вечеров у Коммиссаржевской, но и у читателей достаточно обширного спектра. Его имя стало достоянием многочисленных статей, заметок, пародий, шаржей в ежедневных газетах, что придавало нарастающей известности скандальный характер, поляризовавший представления рядовых читателей о его творчестве: одними оно воспринималось как чистая порнография, мало имеющая отношения к истинной литературе, для других, не склонных доверять голосам массовой печати, казалось одним из символов истинного нового искусства.

К этому необходимо прибавить, что из-за гомоэротической направленности поэзии и прозы Кузмина они становились предметом пристального и пристрастного специального чтения людей сходной с автором сексуальной ориентации. Как бы мы ни старались показать, что только этими особенностями «Крылья», «Картонный домик» или «Любовь этого лета» не заслужили бы себе того особого и заметного места в истории русской литературы, которое они имеют, мы не должны забывать, что в реальности русские гомосексуалисты практически впервые получили произведения, описывающие не только переживания (что уже спорадически становилось предметом внимания писателей как XIX, так и XX века), но и быт своих сочувственников, и эта сторона заставляла их внимательно читать все новые публикации Кузмина и даже искать с ним знакомства.

Приведем всего лишь один пример из значительно большего их числа (еще несколько см. в статье «Литературная репутация и эпоха», а также в переписке Кузмина с Нувелем).

В начале 1908 года Кузмин получил письмо, которое хотелось бы воспроизвести полностью, чтобы читатель мог составить представление о типе людей, атаковавших его:

«Великий, возьмите эти розы, как цветы моего сердца.....

Я никак не ожидал, что такое счастье придет. Певец бессмертных (смело говорю) «Крыльев» написал мне. Прежде всего большая благодарность духа за те редкие минуты в жизни, которые я переживал при чтении «Крыльев». С каким захлебывающимся восторгом я пил эту розовую книгу, будучи в тот год еще реалистом. Некоторые из моих школьных товарищей, которым я пропагандировал эти новые, высшие идеи, были тоже в вихревом восторге. Всех притягивала эта красота новой жизни, захватывающая талантливость пророка ожидаемых веяний грядущего «третьего царства». И где-то там — в дали, через сумерки вечерней действительности, восходит манящий образ поэта... Вы мне дали эти крылья. Благодарю, благодарю... Теперь я знаю, по каким путям должно идти искание духа. Не собьюсь с верного пути, приводящего к «Красоте жизни» .....

Но кругом пока еще так темно, утро новой зари так еще далеко, хотя, где-то теряясь вдали поет кочет. Но день далеко. Совсем. Один не могу идти. Не расправить Крылья.

Ради новой красоты  
Мы преступаем все законы и черты.

Но я одинок. Где же та вечерняя звезда, которую воспел Вагнеровский Вольфрам? .....

Бальмонт говорит, что самыми важными моментами своей жизни он считает «внезапные просветления». Со мной раз было то же самое. Когда я в первый раз я услышал

«Душа стремится  
к дальним высотам».

Точно ск<в>озь утренний сон я понял сразу все. С тех пор блуждаю и ищу путевую звезду. Довольно только ходить. Вы, повторяю, уже дали мне Крылья, но где же эта очарованная даль, куда надо лететь? .....

Как бы я страстно хотел прикоснуться к этой руке, умеющей торговать звуки не скучных песен земли. Но это так грубо-реально. Я Вас считаю таким дальним, к чему нельзя подходить. И видеть Вас можно только облитого лунным сиянием в теряющейся перспективе .....

Ваш Дальний.

.....  
.....

Если захотите дать мне еще раз пережить те незабвенные минуты, то вот мой условный адрес:

Николаевский вокзал, предъявителю билета реального уч<илища> Богинской № 27»<sup>6</sup>.

Ни в одном из ныне доступных нам документов нет ни малейшего намека на то, что Кузмин пошел на встречу с предъявителем билета училища Богинской, но существенно, что на протяжении довольно значительного времени писатель был предметом интереса и даже симпатии людей подобного типа, хотя далеко не всегда они вызывали ответную одобрительную реакцию.

Лето 1907 года Кузмин проводил у сестры с мужем близ станции Окуловка Новгородской губернии. Именно там он получил письмо от своего в то время верного друга В. Ф. Нувеля с анализом планов на будущую осень: «Судя по настроению, царящему в литературных лагерьях, мне кажется, что предстоящей зимой все должны друг с другом переругаться. Боюсь даже за свое отношение к Ивановым, т.е., конечно, к Лидии Дмитриевне (Зиновьевой-Аннибал. — Н.Б.).

Нельзя же, право, все время ломать комедию и скрывать, что в сущности согласен и с Брюсовым, и с Пильским, и с Антоном Крайним, т.е. со всеми, кто ее ругает. А сказать это — значит вражда на-



веки, и, пожалуй, не только с нею, но и с Вяч<еславом> Ив<ановичем>. Просто не знаешь, как быть.

С удовольствием думаю о возобновлении «ойгий» у трех граций. Зин Венгерова мне клялась, что Бэла (Л. Н. Вилькина. — Н.Б.) вернется и все будет по-старому. А вот Гафиза уж больше не будет. Это наверно. Но не явится ли что-нибудь «на смену». Это было бы любопытно. Во всяком случае, Вам необходима новая «Прерванная повесть». Ведь это осеннее развлечение!» (письмо от 20 августа).

В новый период петербургской жизни Кузмин, таким образом, вступал, напуганный Нувелем, всегда стремившимся к тесному кружковому общению, где важную роль играли не только вполне официальные «Вечера современной музыки», не только потаенный «Гафиз» (которому и действительно не суждено было возродиться, прежде всего из-за смерти Л. Д. Зиновьевой-Аннибал в октябре 1907 г.), но и близкое общение с Л. Н. Вилькиной, З. А. и И. А. Венгеровыми при участии Сомова (как явствует из писем Вилькиной к нему<sup>7</sup>, именно в это время у художника и поэтессы разворачивался в высшей степени своеобразный роман). Предложить что-либо более соответствующее литературным и художественным вкусам Кузмина друзья не могли, а поэтому он принялся за конструирование собственного интимного кружка своими силами.

Одним из вариантов был, конечно, тот, что описан в отчетливо автобиографическом рассказе «Высокое искусство» как относящийся практически к этому времени: «...я пошел к своему старинному другу, известному художнику, где собралось несколько самых разнокалиберных, но близких лиц: еще один писатель, двое художников, музыкант, чиновник при министерстве двора и три молодых офицера; и там, в веселой беседе, не чувствуя обязательства быть «пророками», «безумцами», «уродами», занимаясь пением и легкими шутками, я успокоился...» Однако просто дружеская компания, очевидно, не могла Кузмина полностью удовлетворить, ему требовалось общество несколько более серьезное, и если не формализованное, то, во всяком случае, обладающее некоторыми (скорее всего, словесно не выраженными) идеологическими установками.

Естественно, что эти установки для Кузмина должны были сопровождаться прежде всего гомосексуальными устремлениями (стоит вспомнить, что и в среде «гафизитов» подобная тенденция была весьма распространена). И, вероятно, именно «Гафиз» послужил некоторым образцом, на который следовало ориентироваться при создании потенциального кружка, явственные следы которого сохранились в дневнике и переписке Кузмина того времени.

Первое предвестие возможности такого кружка можно (уже задним числом) констатировать в дневниковой записи от 1 сентября 1907 года: «Вечером был у Дягилева. Там были Бенуа, Аргушинский, Серов и Нувель. Приехал Рябушинский. Таврида сияла, когда я проходил мимо. Дягилев ужасно мил, хотя и сообщил мне, что мой сту-

дент, за которым и он бегал уже года 2, — Поклевский-Козелл, имеющий 4 миллиона и равнодушный к этому вопросу. Рассказывал про гимназиста Руслова в Москве, проповедника и *casse-tête*, считающего себя Дорианом Греем, у которого всегда готовы *человек* 30 товарищей *par amour*, самого отыскавшего Дягилева etc. Возможно, что вместе поедет в Москву». Пока что этот фрагмент говорит только о ни к чему особенному не обязывающей беседе, однако несколько далее станет ясно, что в складывающейся картине отношений он займет достаточно важное место.

5 сентября следует запись: «У Нувеля было очень мило: 3 плана: 1) журнал, где редактором был бы Дягилев, 2) общество в роде Гафиза, без Ивановых, наше, 3) дело Наумова, — довольно для начала». Если идея журнала<sup>8</sup> не получила никакой, сколько нам известно, реализации, если «дело Наумова» свелось лишь к взаимно-ревнивой и вполне платонической влюбленности Кузмина и Нувеля в этого юнкера, которому адресовано несколько циклов стихов Кузмина, то второе предположение овладело вниманием Кузмина надолго, а попытки реализации его были предприняты в самом ближайшем будущем.

6 сентября состоялся разговор у Дягилева: «...пошли к Дягилеву. Там вся комиссия была в сборе: Шаляпин, Головин, Санин и т.д. <...> Оставшись втроем, беседовали о Наумове, о любви, о журнале, о моей музыке». Поскольку две темы этой и предыдущей записей совпадают, то можно предположить, что и об обществе разговор также зашел, хотя его содержание нам и неизвестно.

9 сентября Кузмин выразительно описывает свое душевное состояние этих дней, в значительной степени, видимо, проецирующееся на все дальнейшие планы: «Какая-то тяжесть и осадок горечи меня преследуют сегодня: от безденежья, от простуды, от холодности Наумова? Отчего? Было бы много денег, я бы не горевал, сшил бы платье, пошел бы в балет, в театр, в «Вену», что я знаю? Взял бы тапетку, поехал бы кататься. Или лучше опять засесть за греков, никуда не ходить, писать, сидеть дома — и все приложится. Ах, если бы Наумов был другой! я погибаю без романа. <...> у меня чуть не делалось обморока от тоски, чисто физической». Как видим, дальнейшее развитие событий Кузмин как бы распределяет по двум возможным руслам: чувственному (причем в самом низменном варианте) и интеллектуальному, основанному, однако, на высокой одухотворенной любви. Как увидим далее, оба варианта были Кузминым испытаны в дальнейшем.

Планы об обществе не оставляют Кузмина и в последующие дни. Так, 12 сентября он записывает: «Пришел Нувель, рассуждал об обществе, где будет, что и как. Опять читали «1001 ночь», про Ганема Бен Айюб, хотел придти Сомов, очевидно, не попал, брызга несносный. Нувель был очень мил». Несколько последующих дней были наполнены для него метаниями между все нарастающей любовью к На-

умову, разговорами с гомосексуальными проститутками в Таврическом саду и искусством (посещение театра Коммиссаржевской и разговор с ней). И на этом фоне чрезвычайно выразительной выглядит запись от 16 сентября: «Я ставлю все на карту; огромное счастье, безмерное солнце и вдохновение, или какая-то пустота, дыра темноты, смерть нравственная. Теперь я понял, что для меня Наумов, и как люди <могут?> чуть умирать не от детского легкомыслия, не от безденежья, а от отвергнутой любви. Какой стыд! будто мальчишка. Господи, я в Твои руки себя предаю, я даже молился перед милым, так помогавшим некогда Эммануилом. Я предложил Наумову прочитать ему свой дневник. Я могу потерять и возможность видеть его, и знакомство, и все, а что я могу иметь? Мы ездили к Гофманам, дивный день, куча гостей. И вот я не буду больше ни видеть, ни слышать, ни чувствовать его, не говорить о голубях, не рассуждать, не играть музыки. К чему тогда писать будет, жить, стремиться к известности? После смерти князя Жоржа, после измены Судейкина у меня не было надежды, где бы вкусы, развитие так совпадали. Мы возвращались вместе, я его провожал. Я завидовал Модесту, делавшему ему семейные сцены, свободно его трогавшему, целовавшему на прощанье. Вот все на ставке. Где советы друзей? где планы? где рассудок? где сдержанность? Что-то огромной серьезности стоит между нами, стена это или мост?»

Но завершается эта запись опять-таки фиксацией разговора об обществе, даже получившем теперь название, хотя и несколько непривычное для современного русского языка: «Без меня были Чичерины, Леман телефонировал, что не может быть, пришли В<альтер> Ф<едорович>, Тамамшев и Сережа. Строили планы общества «розовых». Что-то будет?» Уже сам список беседовавших показывает, что гомосексуальная его специфичность хотя и присутствовала, но все же далеко не определяла общей настроенности.

В последние дни сентября и в первые дни октября очертания общества довольно неожиданно для Кузмина начинают приобретать более определенный характер. 29 сентября он записывает в дневнике: «...письмо от Сапунова и от какого-то студента с просьбой рекомендовать его в “эротическое общество”». Письмо Кузмину от Н.Н.Сапунова от 21 сентября 1907 года уже опубликовано и потому в комментировании не нуждается, письмо же от неизвестного студента нами не разыскано, но содержание его можно представить себе по дальнейшим записям. 2 октября: «Студент с Гороховой телефонировал, что придет завтра <в> 5—7». И на следующий день: «Был гороховый эротоман; конечно, чучела; говорил, что на Аненск<нрзб> вечере в Кисловодске у Яворской одна дама ему сказала про Петерб<ургские> собрания у баронессы до 150 чел., где я — главный, но она меня не видала, т.к. я всегда был занят...»

Эти дневниковые строки отражают сразу два мифа. Один — о самом Кузмине, который для современников представляется каким-то

все более и более загадочным человеком, одна из ипостасей которого зафиксирована здесь, а целостный облик — в записи от 5 октября: «Крандиевская в школе говорила про меня, что я три года жил в пещере в скиту и писал поднош<ение> Богородице, потом — обратно, кокетничаю с мужчинами, ломаюсь, пудрюсь, подвожу глаза, на женщин не обращаю внимания». Ширящиеся слухи такого рода постепенно складывались в единую картину, создавая тот облик Кузмина, который со временем был с полной художественной убедительностью запечатлен в строках «Поэмы без героя».

Второй миф относится к существованию некоего «эротического общества». Не говоря о многочисленных обществах провинциальных гимназистов, вроде орловских «огарков» (ими, между прочим, интересовался и Кузмин), мы знаем о некоторых мистификационных предприятиях, хорошо известных нашему герою. История одного из них рассказана Вл. Ходасевичем в воспоминаниях «Литературно-художественный кружок»<sup>10</sup>, другое было создано воображением С. П. Ремизовой и Л. Ю. Бердяевой, интриговавших его существованием В. В. Розанова, что было впоследствии описано А. М. Ремизовым в «Кукхе»<sup>11</sup>.

Что касается общества, имеющегося в виду в приведенной записи, то его характеристика явно заимствована из газетной статьи<sup>12</sup>, где подробно описано эротическое общество, собиравшееся в доме баронессы Ш..., в деятельности которого якобы активнейшее участие принимал и прославленный «порнограф» Кузмин. Несомненно, такого общества в действительности не существовало, но известие о нем вполне могло активизировать воображение Кузмина и наложиться на впечатления от знакомства, состоявшегося в то же самое время, о котором мы, к сожалению, знаем недостаточно подробно, но можем быть твердо уверены, что им предполагалось создание определенного домашнего кружка под духовным водительством Кузмина.

1 октября он фиксирует в дневнике: «Встал не поздно, ездил за покупками. Телеграмма от 4<-х> гимназистов, благодарящих “милого автора “Ал<ександрийских> пес<ен>” и пьес»». Судя по всему, телеграмма была подписана, но обратного адреса не было. И здесь показательна та поспешность, с которой Кузмин решил откликнуться на эту телеграмму. 2 октября: «На почте сказали, что узнавать нужно в главн<ом> почт<амте>. Святополк-Мир<ские> живут там же. Тамашев слышал только фамил<ию> Покровского. Что-то будет? Смогу ли я стать некоторым центром? Но кроме меня, кто же таким именно?»

Как представляется, две последние фразы из приведенной записи с наибольшей отчетливостью указывают на то, какие надежды возлагал Кузмин на почти случайную телеграмму четырех гимназистов. Желание стать «некоторым центром» и сознание, что в качестве мифологизированной фигуры он может это желание выполнить, с этого

времени, как мы предполагаем, овладело сознанием Кузмина на довольно продолжительное время.

Но продолжим чтение дневника. 3 октября: «Послал книг гимназистам, назад не вернули, вероятно, угадал». 4 октября: «Разбирал письма до поздней ночи, часов до 2-х; вот молодость, как глупы юноши без руководителей, не ценящие того, что улетает. Вот письма Юши Чичерина, идеологическая дружба, музыка, неизвестность, скорлупа; бедные письма мамы, потом сестры, письма любовные, деловые и другие. Целая жизнь, целая жизнь». Очевидно, эта запись отражает не только давнее убеждение Кузмина, нашедшее отражение и в его прозе (вспомним хотя бы Штрупа и Ваню Смурова в «Крыльях» или Стока и Лаврика Пекарского в «Плавающих путешественниках»), но и предощущение того, что отныне ему самому будет возможно играть роль не ученика, как прежде, а наставника.

На следующий день довольно невнятная запись фиксирует совпадение будущего визита гимназистов с каким-то предложением о постановке уже давно готовых и даже публично исполнявшихся «Курантов любви»: «В среду Сережа опять притащит какую-то даму с концертом и «Курантами любви». Телефон от милых гимназистов: завтра придут. Мне все это веселее окрашивает будущее». И 6 октября следует чрезвычайно важный рассказ о свидании с В. А. Наумовым, а потом несколько разочарованно повествуется и о свидании другом: «Перед ним было 6 гимназистов, беседовали, курили, ели конфеты. Один другого уродливей, только Покровский еще ничего, немного мордальон, но приятный и резвый».

К сожалению, нам почти ничего не известно об этой шестерке гимназистов, как и о тех, кто впоследствии к ним примкнул. К числу людей, оставивших свой след в истории русской культуры, среди них относится лишь кн. Д. П. Святополк-Мирский, впоследствии известный критик, погибший в сталинских лагерях. Кузмин был с ним знаком еще с начала 1907 года, когда группа воспитанников Первой петербургской гимназии, где учился Мирский, собиралась ставить блокковский «Балаганчик» с музыкой Кузмина, но спектакль не состоялся<sup>13</sup>. Предположительно можно идентифицировать еще только одного человека из этой группы. Названный Кузминым Покровский, возможно, тот же самый Корнилий Павлович Покровский, которому впоследствии будет посвящен кузминский стихотворный цикл «Лазарь». Он входил в круг поклонников А. Д. Радловой; достоверно известно, что он покончил с собой летом 1938 года<sup>14</sup>.

В записи от 10 октября обращает на себя внимание выражение «мои гимназисты», свидетельствующее об известной степени уже возникшей близости: «Видел моих гимназистов, собирающихся очень скоро ко мне». 15 октября они действительно посещают Кузмина: «Что было? Скучаю; ездил за провизией, были гимназисты, Сомов, Нувель; Белый надул. Пили чай, болтали, я читал; молодые люди еще оставались. Какой-то осадок есть во мне». Но затем в общении

или по, крайней мере, в его фиксации следует довольно долгий перерыв, когда Кузмин кажется полностью поглощенным своим чувством, обращенным на Наумова. 26 октября Наумов попадает с растяжением связок в лазарет на довольно долгое время, Кузмин постоянно ходит навещать его, но одновременно начинает снова и еще чаще встречаться с гимназистами. 28 сентября у него в гостях Святополк-Мирский, 2 ноября — вся компания: «Припелелся Тамамшев, приехал Сережа, пришли гимназисты. Они всё хотят ко мне приводить разных юношей; что же, в час добрый; описывали мне кандидатов: красивый, из хорошей семьи и т.д. Сидели долго. Нужно бы их звать поодиночке. Покровский, несмотря на мордальонность, очень мне нравится».

5 ноября Кузмин отправляется на очередную «оргию» с Венгеровыми: «Перед грациями заехал к Repouveau выслушать отчет <о свидании с Наумовым>, оказавшийся довольно плачевным: незначительность разговора, холод, кокетство, внешняя любезность, стена. В<альтер> Ф<едорович> был в мрачной меланхолии. Я утешал его, чувствуя себя почти исцеленным. Свидание у них на субботу. Que lè bon Dieu les bénisse! Болтали, играли Cimarosa. У Венгеровой была зеленая скука. Сомов пел, Изабелла играла, Зинаида говорила глупость за глупостью, я читал, Валечка хандрил. Чудные ночи, гулять бы, кататься, пить вино с тем, кого любишь на время». Совершенно очевидно, что даже самое веселое из препровождений времени, какое знал до того Кузмин, превратилось для него в доuku, что заставило с еще большей страстью желать встреч с молодыми людьми.

Ближайшая из этих встреч произошла буквально на следующий день: «Все тащили в «Вену», но я, Сомов, Нувель и гимназисты поехали к Палкину. Было прेमло, и Св<ятополк->Мирский очень понравился моим друзьям». На следующий день свидание обсуждалось с Нувелем: «У Валечки посидели, он в восторге от вчерашнего вечера, от Мирского, от молодежи — не я ли это все делаю друзьям, а разве В<иктора> А<ндреевича> не я изобрел? У Сомова были Бенуа, Аргутинский, Яремич, Нунок и Добужинский — было скучно, во всяком случае, скучнее, чем с гимназистами, которые милы даже молча, будучи молодыми». 8 ноября, в день именин: «Да, получил письмо от Мирского, очень милое, просит их позвать скорее, что они уже соскучились etc. Это лестно, что молодые не скучают с нами, ищут, и приходят, и хотят приходить». 12 ноября следует запись о свидании, более подробно в дневнике не описанном и даже неизвестно когда состоявшемся: «Пошел к Нувелю; было тепло и скользко; вчера у него был Дягилев, сегодня он у него и т.д. Нашли у меня таинственный вид и <вымотали?> таки, что я сознался в посещении Покровского. Я ничего рассказать не мог, т.к. разговор с этим милым юношей, хотя и сердечный, был самый обыкновенный. Пришел Сомов, пели «Figaro», болтали...»

Видимо, именно в эти дни соединилась идея поставить «Куранты

любви», с которой к Кузмину обращалась некая дама, и желание гимназистов принять участие в некоем театральном представлении. Можно осторожно высказать предположение, что желание Кузмина было связано с неудавшейся постановкой какого-то балета, которую предлагал А. Н. Бенуа, но от которой Кузмин решительно отказался. Об этой постановке нам известно немного, но имеющиеся сведения нелишние привести. 11 ноября в дневнике записано: «К Фокину не поехал, а прямо к Нувелю и Сомову, где и просидели. Наверно, Бенуа будет злиться, оказавшись у Фокина вдвоем с Каратыгиным». На следующий день: «Каратыгин телефонировал, что Бенуа обиделся и отказался ставить балет». И почти тут же, 13 ноября: «Письмо от Бенуа, этот инцидент с балетом как-то приблизил ко мне его». Переписка Кузмина и Бенуа сохранилась. 12 ноября Кузмин писал: «...сейчас Каратыгин мне сообщил, что Вы отказались участвовать в вечере Аничкова и что будто бы мое крайне невежливое отсутствие вчера у Фокина было одной из причин этого.

Как бы мало мне ни было дела до вечера Аничкова, как бы мало ни верил я в осуществление данного предприятия, мне очень приятно, если Вы имеете против меня совершенно заслуженное неудовольствие. И я очень извиняюсь.

Вовсе не в целях оправдания я приведу следующие объяснения:

- 1) я вовремя совершенно не знал, что будете Вы и музыка;
- 2) знал, что будет только Каратыгин и я, что без нот, без Вас, без либретто делало бы совершенно бесплодным наш визит;
- 3) либретто отлично мог бы захватить Каратыгин и от Верховских, у которых он был накануне, и от Сомова, где он, оказывается, получил ноты;
- 4) моя роль либреттиста настолько незначительна, что мое присутствие на совещании мне совсем не представлялось такой важности;

5) я дел вести совсем не умею и не обещал этого делать.

Теперь я вижу невежливость моего поступка и прошу у Вас извинения, но если возможно, чтобы вина Вашего отказа не падала всецело на меня, то я очень прошу Вас об этом»<sup>15</sup>.

Бенуа отвечал на это письмо 14 ноября: «Дорогой и многоуважаемый Михаил Алексеевич, Мне, действительно, хочется отказаться от постановки Вашего балета и Ваша Воскресная измена в этом «не только» предлог. Когда я брался за это дело, то меня соблазняла лишь мысль быть Вашим сотрудником. Вас же это, очевидно, не интересует, а такое Ваше отношение расколодило и меня. Вы поймете, что самая затея была скорее безумной, а перспектива работать для голодных депутатов — скорее скучной. Теперь я очень рад, что все могу свалить на Вас <...>, нашу же затею исполним в другой раз при более подходящем настроении...»<sup>16</sup>.

Вернемся, однако, к планам Кузмина и компании гимназистов. Вероятно, предложил ставить «Куранты» Святополк-Мирский, уже

имевший некоторый опыт такого рода. Запись, окончательно прикрепляющая это событие к определенному дню, сделана 19 ноября: «Были гимназисты, Дмитриев, Сережа, Сомов, Нувель и неожиданно только что приехавший Бакст. Сомов страшный рохля, двух слов не сказал с Мирским. «Куранты» ставит<sup>17</sup> Дмитриев, что сразу повысило мой интерес к ним. Сережа меня сердил фырканьем в присутствии молодежи, развязностью и, м<ожет> б<ыть>, тем, что он нравится Мирскому. Но как все фантастично: молодежь, письма, любви, ненависть. Мне кажется, что что-то из-под меня уходит, не знаю, отчего».

Одновременно на желание создать какой-то прочный союз с группой гимназистов накладывается еще одна попытка Кузмина, намеки на которую содержатся в письмах к В. В. Руслову. Именно 15 ноября, в разгар эпопеи с компанией Святополка-Мирского, Кузмин делает ему предложение о создании некоего союза, который будет иметь определенное значение не только для корреспондентов, но и для искусства в самом широком смысле слова: «Все, что я слышал, только усиливало желание сблизиться с Вами и даже, признаюсь, порождало смелые надежды, что в союзе с Вами (Hoppy soit qui mal у репе) мы могли бы создать очень важное и прекрасное — образец. М<ожет> б<ыть>, Вы и один это можете сделать, но жизнь одна, не запечатленная в искусстве, не так (увы!) долговечна для памяти». Кузмин намеренно загадочен в отношении того, что именно он подразумевает под «образцом», и превращает общение в своего рода эстетическую игру (не получившись в конце 1907 года, эта игра завершилась во время авторского вечера в Москве в 1924 году<sup>18</sup>).

В то время, как развивались эпистолярные отношения с Русловым, в Петербурге начались репетиции «Курантов любви», за которыми Кузмин следил с живейшим интересом. 20 ноября он записывает: «...Дмитриев толковал о «Курантах», он милый и нежный, но несколько моллюск». 21 ноября: «Пришел il principio<sup>19</sup>, посидевший с час мило». 23 ноября Кузмин встретился с Чеботаревской (вероятно, Александрой Николаевной), принесшей афишу будущего вечера: «Чеботаревская развесила афишу, где «Куранты» напечатаны шрифтом с ее лицо — прямо неловко». 24 ноября — снова встреча с Дмитриевым (к сожалению, нам не удалось отыскать никаких данных об этом художнике-гимназисте; ясно только, что это никак не может быть известный театральный художник В. В. Дмитриев, с которым Кузмин был хорошо знаком в тридцатые годы): «От него <М. Л. Гофмана> направился к Ремизову, где должен был быть Дмитриев. Ал<ексей> Мих<айлович> куда<-то> ушел, оставив меня караулить Дмитриева и ждать Серафиму Павловну. <...> Пили чай, болтали, гадали; шел с гимназистом до Дворцового моста, потом далеко домой. Написал 3 стихотв<орения>». Видимо, к этому же вечеру относятся и слова из дневника за следующий день: «Ремизов просил



Дмитриева привести Покровского и principio, отбивая от меня клиентов. Но это ничего — пусть вращается молодежь между нами».

Последние слова, как кажется, вполне отчетливо свидетельствуют о том, что предполагавшийся кружок молодежи, в котором Кузмин принимал на себя роль идеологического наставника, должен был иметь не исключительно гомосексуальную направленность, а ориентироваться на общекультурные интересы, связанные с петербургской артистической жизнью. В этом контексте «Куранты любви» выглядели одним из наиболее верных средств сплотить небольшую группу молодых людей вокруг руководителя-оракула. Для самого же Кузмина художественные интересы явно соприкасались с интересами эротическими. Во всяком случае, интерес к декорациям Дмитриева, описанный в дневнике и в письме к Руслову, показывает это. Московскому корреспонденту Кузмин сообщает: «...ставил «Куранты» очень милый новоявленный художник Дмитриев (еще гимназист), картины которого нравятся даже ворчливым генералам А.Бенуа и Сомову, моим приятелям». Однако в дневнике картина выглядит несколько иной: «Бенуа сказал, что эскизы Дмитриева ему не понравились, но что Локкенберг их поправит. Это еще что за контроль? Принять к сведению и поговорить завтра за репетицією» (26 ноября). На следующий день: «Был на репетиции, видел и Дмитриева, и Локкенберга, последний <последнего?> просил, будто ничего не зная, ничего не менять в эскизах. Обстановка даже любительской репетиции меня волнует». Такое протекционистское поведение по отношению к своим любовникам (а иногда и просто нравящимся ему мужчинам) из художественной среды со временем становится для Кузмина весьма типичным. Именно так он строит свое поведение по отношению к С. С. Познякову, В. Г. Князеву, Ю. И. Юркуну.

Записи от 29 и 30 ноября свидетельствуют, что любительская постановка «Курантов любви» значила для Кузмина несколько не меньше, а может быть, и больше, чем репетиции в театре Коммиссаржевской в конце 1906 года, когда он был увлечен С. Ю. Судейкиным. Таким образом, в его восприятии уравнивались высшие достижения театрального искусства того времени и вполне дилетантская попытка, потерпевшая решительную неудачу.

Как представляется, о состоявшемся 30 ноября 1907 года «Вечере нового искусства» имеет смысл рассказать несколько подробнее, поскольку его описание дает возможность не только представить себе жизнь Кузмина, но и внести некоторые дополнительные штрихи в биографию Александра Блока. Насколько нам известно, ни в одном из биографических источников и в комментариях к ним ничего не сказано о том вечере, после которого Блок написал матери: «Твое письмо о ненужности чтения на концертах совпало с большим вечером «Нового искусства», после которого все мы втроем решили, что я больше читать не стану. Я отказываюсь категорически и с 30 ноября нигде не читал»<sup>20</sup>. Прочие связанные с этим обстоятельства довольно

хорошо известны<sup>21</sup>, но содержание самого вечера оставалось нераскрытым. Между тем о нем существует дневниковая запись Кузмина, письма его и заметки из газетной хроники, позволяющие восстановить непосредственные причины такого решительного недовольства Блока.

30 ноября следует запись в дневнике: «Думая, что будет еще репетиция, пошел на Моховую к 6-ти часам, там были только Локкенберг и Сенилов, репетиции не было; ходили, шутили, будто прошлый год у Коммиссаржевской; одевались и т.д. Начали очень поздно, публика волновалась, знакомых была куча. «Куранты» провалились под смех и шиканье. Рядом сидел Сомов и Мирский. Были и Покровский и тамамшевский Витя, имевший ко мне какую-то просьбу. После поехали к Палкину впятером; мол<одые> люди положительно приручаются. Позвал их в понедельник. Они очень милы, шутили, пили, болтали свободно; они бы были даже прелестными друзьями, помимо всего прочего. Назад шел я с Корнилием даже под ручку. Ремизов попросил меня познакомить Сер<афиму> Павл<овну> с гимназистами, а она их позвала к себе. Очень хорошо проведенный вечер».

Несколько более подробно описан провал постановки в письмах к Руслову от 1, 2 и 8—9 декабря, к которым и отсылаем читателя, позволяя себе лишь отметить фразу: «“Куранты” не имели успеха отчасти (и очень отчасти) от исполнителей очень «сознательных», старавшихся осмыслить все мои бессмыслицы и певших чрез меру серьезно». Думается, что выделение кавычками слова «сознательных» делает его в словоупотреблении Кузмина и его собеседника синонимом к слову «грамотных», т.е. причастных к гомосексуализму. Таким образом, провал постановки относится на счет чрезмерной пристрастности актеров и певцов, принесших художественность в жертву идеологическому наполнению текстов.

Наконец, газетный отчет, несмотря на очевидную пристрастность, дает возможность представить себе этот вечер как целое: «Стильный вечер нового искусства состоялся 30 ноября в театре «Комедия», собрал совершенно полный зал публики и, конечно, не обошелся без курьезов. Первый выразился в том, что администрация заподозрила г.г. декадентов в неблагонадежности и попадать в зал приходилось через наряд полиции и длинный строй всевозможных контролеров, остальные сюрпризы преподносились исполнителями и авторами».

Представление началось вместо восьми час. в начале десятого, и все первое отделение, которое должно было состоять из лекции г. Андрея Белого о символизме, было отменено<sup>22</sup>, и приступили к исполнению пасторали г. Кузьмина <так!> «Куранты любви». Тайна заглавия, почему произведение названо курантами, а не прейскурантами или транспарантами — оказалась неразгаданной: Куранты написаны очень плохими, подчас против желания автора вызывающими дружный смех стихами с скучной музыкой самого автора г. Кузьмина.

Идея пьесы, по-видимому, выражена в заключительных стихах, которые звучат приблизительно так:

Любовью уколоться  
Можно даже у колодца<sup>23</sup>.

Пьеса шла при плохих декорациях и костюмах и в очень неудачном исполнении.

В дивертисменте были показаны авторы, читавшие собственные труды: г.г.Ремизов, Алекс.Блок и Сергей Городецкий. Романсы на стихотворение <так!> г.Бальмонта под музыку г.Сенилова пел Барышев, справедливо ошиканный, и тщетно пытались вызвать символические отголоски г-жи Ацкери и Волохова и Щеголева пением и чтением.

Из объявленных программой, не объяснив причин неявки, уклонились от суда публичного Я. Соллогуб <так!>, Мейерхольд и И. Рувкавишников, вызвав громкий, но заслуженный упрек в неделикатности.

Среди дам было несколько явившихся в стилизованных костюмах и прическах и вызывавших любопытное недоумение, г.г. авторы и их приятели дружно друг друга приветствовали, а в итоге можно признать доказанным, что среди петербуржцев есть беспечальный кружок лиц, цель и забота жизни которых сводится к жонглированию рифмами, идеями и смыслом<sup>24</sup>.

Судя по всему, именно неуспех спектакля повлек за собою распадение возможного альянса. 2 декабря Кузмин записывает: «Завтра придут милые юноши. <...> Перечитывал прошлогодний дневник, это был разгар судейкин<ской> эпопеи. 3-го — «счастливый день»». Почти нет сомнения, что и настроение автора проецируется на прошлогодние события, и «счастливый день» 1906 года («Целый день проведем мы сегодня вместе...») провидится и в 1907-м. Однако Кузмина поджидало если не полное разочарование, то нечто на него похожее: «...Теплее; ездил за конфетами; от Покровского записка, что не может быть. <...> Сомов не пришел, были только Нувель, Мирский и Позняков. Мирский ушел рано. Студент <С. С. Позняков> говорил, топая ногой, что ему нужно, чтоб его любили, хотя бы Сатана, что ему ничто не удастся, и наконец лег на диван. Бранил Мирского, говорил, что Покровский любит проституток...» (3 декабря).

Попытки создания общества, где члены были бы связаны взаимными любовно-влюбленными отношениями, постепенно сходят на нет, как вследствие явной незаинтересованности молодых людей исканиями Кузмина и желания показать, что он далеко не составляет теперь центра их интересов, так и вследствие довольно внезапно начавшегося романа Кузмина с С.С.Позняковым, поначалу относившегося к категории чисто чувственных, но постепенно превращавшегося в попытку и интеллектуального союза. Именно под таким углом зрения имеет смысл рассмотреть последующие записи дневника.

Сперва речь идет об уже упоминавшихся «оргиях» с характерной оценкой очередной из них как унылой, но все же более интересной: «Оргия была крайне скучна, но лучше, м<ожет> б<ыть>, предыдущей. Зинаида упрекала меня за свиту гимназистов; хорошо, что есть впечатление свиты. Мне важнее, что говорят, чем что есть на самом деле. Позвал Дмитриева на пятницу». Однако в пятницу 7-го числа к Кузмину пришел вовсе не Дмитриев, а Покровский: «Ездил за покупками. Пришел ненадолго Покровский, еще до меня. Я очень его люблю; не обещал скоро придти. <...> Пришел Ауслендер и Позняков, оставшийся с твердым намерением довести дело до конца, в чем он и успел. Вот случай. Но я не скажу, чтобы это было без приятности. <...> Он и не надеется, что это не для времяпрепровождения».

На следующий день в отношении Кузмина с молодыми людьми вмешивается Нувель, что первого откровенно приводит в негодование: «В<альтер> Ф<едорович> достал билет себе и Principino на балет; меня это очень шокировало: отказался от ложи и взял вдвоем, сунулся к Наумову, теперь к Principino, будто у него мало своих. Но, конечно, это зуб небольшой». Эта запись уже, как кажется, свидетельствует о том, что отношения окончательно превращаются всего лишь в попытки любовного сближения с молодыми людьми, причем попытки, заранее обреченные на неудачу. Это тем более характерно, что начиная с этого времени жизнь Кузмина как бы разделяется на несколько отдельных потоков: с одной стороны, для литературных занятий, он создает впечатление глубокого уединения, посвященно-го платонической и мистической любви к Наумову<sup>25</sup>; с другой — развивается обещающий стать весьма значительным отнюдь не платонический роман с Позняковым, которому Кузмин активно протестирует и даже добивается (правда, через год после описываемого нами времени) написания «Диалогов» молодого писателя в «Весах»<sup>26</sup>; к тому же кругу отношений близок и мимолетный эпизод с П. П. Потемкиным (своеобразная месть Нувелю за его «отбивание» гимназистов); рядом с этим — создание впечатления рокового соблазнителя, от которого родители должны, остерегаясь, прятать своих сыновей. На этом фоне распад предполагаемого «общества» если и не прошел для него совсем уж не замеченным, то, во всяком случае, почти не отразился в доступных нам материалах. С известной натяжкой к суждениям такого рода можно отнести запись от 16 декабря: «Вечером пришел Валечка и гимназисты. Позняков болен, получил от него письмо. <...> В<альтер> Ф<едорович> пошел наверх, он наделает des gaffes. Откровенным я могу быть лишь с самим собою, как это ни тяжело. Прочитал Валечка свои стихи юношам, очень их шокировав и спугнув. Слушался бы лучше меня. Я его тревожу, и это меня радует, я и его могу провести». И завершается этот фрагмент описанием довольно традиционным для характера Кузмина, каким он рисуется из известных нам биографических материалов, состояния, чаще всего служащего предвестием новых литературных

занятий: «Планы опять начинают привлекать. Засяду в библиотеку, работа, свидания с милым Виктором, будущий год — все светло влечет меня. Я мог бы быть бесконечно счастлив: читать около него, когда он занимается — разве это не счастье? И Модест <Гофман>, и Минцлова — христианские друзья».

28 января 1908 года после довольно долгого перерыва гимназисты снова упоминаются в дневнике, однако свидание описывается почти уже безнадежное: «Занимался с Сережей <Ауслендером>, потом пришел Позняков, втроем поехали к Ремизову, там полная мизерия. Были гимназисты и Валечка. Я вел себя совершенно невозможно, рано еще выходить. Позняков и Нувель куда-то еще поехали, я же с Мирск<им> и Покровским плелась домой. Что-то нарушено». Эта «нарушенность» в конечном счете вылилась в почти полное прекращение отношений. Время от времени в дневнике начала года появляются записи о встречах с Мирским, Покровским, Дмитриевым, но постепенно они становятся все реже и реже. Наконец в марте появляются две записи почти подряд, практически завершающие наш сюжет. 18 марта: «Вечером пришли Нувель, Потемкин, медик, Позняков и неожиданно Покровский с Сухотиным. Давал аудиенции, Корнилий выматывал у меня признания». И через день: «Письмо от Покровского, желающего порвать отношения». После этого, насколько мы можем судить, всякие отношения прекращаются на довольно долгое время.

На этом заканчиваются попытки Кузмина создать какую-то группу единомышленников, объединенных не только общностью сексуальных предпочтений (в подобном случае это не стало бы предметом нашего внимания), но — и даже в первую очередь — общностью эстетических интересов. Однако следует отметить, что само стремление к созданию аналогичной группы было у Кузмина если не постоянным, то регулярно пробуждающимся в различных ситуациях. Видимо, можно говорить, что одной из попыток такого рода было создание полужурнала-полуальманаха «Петербургские/Петроградские вечера» на средства Е. А. Нагродской, где Кузмин должен был выполнять функции если не идеолога, то организатора и вдохновителя. Образцом подобной группы стало в дальнейшем объединение эмоционалистов<sup>27</sup>, ориентированное на особую полусемейную близость участников. Очевидно, не вполне лишено оснований предположение и о том, что роль Кузмина в «молодой редакции» «Аполлона» нуждается в специальном пристальном рассмотрении, особенно в связи с тем, что его позиция в ней была определенно антисимволистской и до 1912 года связь между Кузминым, Гумилевым, Зноско-Боровским, А. Н. Толстым и некоторыми другими близкими к этой редакции людьми поддерживалась весьма интенсивная.

Таким образом, мнение исследователей о том, что стремление Кузмина избегать каких бы то ни было литературных групп являлось очевидным, должно быть несколько скорректировано: это относится

только к тем объединениям, которые желали диктовать своим членам какие-либо принципы, ограничивающие творческую индивидуальность (прежде всего это, конечно, касается символизма в изводе Вяч. Иванова<sup>28</sup> и акмеизма), тогда как группы иного типа, основанные на свободном дружески-любовном общении их членов, были для него привлекательны на протяжении почти всей жизни в литературе. Именно этим, с нашей точки зрения, следует объяснять согласие Кузмина участвовать в заседаниях «Цеха поэтов» (причем не только самых первых, но и в начале 1912 года, когда Кузмин некоторое время жил у Гумилевых в Царском Селе), документально зафиксированное принятие приглашения «Кольца поэтов имени К. М. Фофанова»<sup>29</sup> или присутствие на заседаниях «Вольного содружества поэтов» в 1921 году<sup>30</sup>.

Таким образом, попытки реставрировать планы Кузмина осени 1907 года дают, на наш взгляд, возможность не только определить некоторый круг замыслов поэта в данное время, но и наметить более широкую перспективу, касающуюся важного для литературоведения вопроса о роли и значении различного рода объединений для творческой практики писателя, чьи декларации демонстрируют решительный отказ от подобного рода литературных игр, равно как и от желания консолидироваться с другими авторами на некоторых идеологических основаниях, что было в высшей степени характерно для Кузмина.

## АВТОБИОГРАФИЧЕСКОЕ НАЧАЛО В РАННЕМ ТВОРЧЕСТВЕ КУЗМИНА

*Памяти З. Г. Минц*

Автобиографичность — общая черта литературы, однако степень ее выраженности в том или ином произведении, в той или иной художественной системе решительно различна, и в каждом отдельном случае перед исследователями возникает особая проблема, для решения которой необходимо прибегать к самым разнообразным методам изучения — от источниковедческих до психоаналитических.

Вряд ли мы сейчас можем ставить перед собою задачу описать творчество Михаила Кузмина как целостную систему. Нас скорее интересует ответ на вопрос, отчетливо сформулированный В. Н. Топоровым: «Откуда эта потребность во введении в литературу казалось бы противоположного ей внелитературного начала, в «поэтический» текст — «правды» и что такая операция дает тексту (или — в другом ракурсе — какую цель преследует его автор)?»<sup>1</sup>. Обладая некоторым количеством ранее не введенного в научный оборот материала, мы можем обратиться к проблеме соотношения в его творчестве реальной действительности (естественно, насколько мы можем представить себе ее по разного рода текстам, дошедшим до нас) и реальности художественной. Необходимость такого изучения диктуется тем, что М. Кузмин относится к числу писателей с «загадочной» биографией<sup>2</sup>, поэтому столь соблазнительно видеть во многих его произведениях элементы автобиографизма, позволяющие непосредственно проецировать реальность художественную на реальность жизненную и делать определенные выводы о второй на основании первой. В нашем же понимании связь между литературой и реальностью в его творчестве представляется значительно более сложной. Интерпретация ее — задача работы совершенно иной, чем наша, но можно полагать, что вводимые в научный обиход материалы дадут возможность будущим исследователям (намеренно говорим во множественном

числе, ибо, как нам кажется, даже при установлении абсолютно точных биографических данных — что, вообще говоря, вряд ли возможно — интерпретация их соотношения с художественной структурой произведения всегда будет до известной степени гипотетической) быть более основательными в своих построениях. Мы постараемся показать, как легко раскрываемый автобиографизм приобретает у Кузмина специфические свойства, делаясь средством художественного обобщения, а не внося в произведение «непереваренных» фрагментов реальности.

Своего рода модель отношения автора к действительности создает уже первое его литературное произведение, ставшее достоянием печати, — цикл «XIII сонетов», опубликованный в конце 1904 года (на обложке стоит 1905-й) в «Зеленом сборнике стихов и прозы». Кузмин никогда более не перепечатывал этот цикл, однако читателями он был отмечен и запомнен<sup>3</sup>.

История создания этих сонетов со вполне удовлетворительной полнотой вырисовывается из писем Кузмина к Г. В. Чичерину. В недатированном письме, явно относящемся к июлю 1903 года, он пишет из Васильсурска, где проводил лето: «Странный случай — когда мы ездили в женский монастырь через леса вчетвером: сестра моя, племянник Сережа, я и сержин товарищ Алеша Бехли, среди самой несоответственной обстановки мне захотелось вдруг изобразить ряд сцен из Итальянского возрождения, страстно. Можно бы несколько отделов (Canzoniere, Алхимик, Венеция и т.п.), и даже я начал слова из Canzoniere (3 сонета) и вступление»<sup>4</sup>. Писались как тексты сонетов, так и музыка к ним очень быстро, и уже к 20 августа были готовы все тексты, а к 8 сонетам — и музыка. Но нас в данный момент более интересует не история создания сонетов, а их связь с жизнью Кузмина, и здесь мы обнаруживаем парадоксальную ситуацию, которую несомненно ощущал и сам поэт. Дело в том, что его интересы предшествующих и нескольких последующих лет вполне определенно были направлены на жизненные идеалы совсем иного плана. Так, 11 июля 1902 года, всего за год до создания сонетов, он писал тому же Чичерину: «Живу в яблонных садах над слиянием Суры с Волгой, за Сурой лески, поля и луга с деревьями, но я сижу спиной к этому виду, похожему и идущему к центру черноземной России, со взором за Волгу, где за широкой ramenью, поросшей травами, кустами, пересеченной речкой, ручьями и болотцами, начинается дубовый лес, а на горизонте высится темный бор, тянущийся на северо-восток к полу-сибири. От него не оторвать взора, и так шемит сердце от этого речного и лесного простора. До этого я был в разных местах и в Казани. В Семеновские скиты и в Владимирские села на святое озеро проследовал Мережковский, причем содержатели земских станций были недовольны обязанностью доставлять ему даром тройки. Но я ничего не пишу и не знаю, что выйдет. В большой, светлой, кругом в окнах комнате сидят за работой и поют:



Милый Ваня, разудалая голова,  
Слышу, едешь ты далеко от меня.  
С кем я буду эту зиму зимовать?  
С кем прикажешь лето красное гулять?  
Гуляй, мила, лето красное одна —  
Уезжаю я во дальни города.

И Ваня, кудрявый, в синей сибирке, вроде Сорокина, и едет куда-нибудь в Кунгур, и она тоненькая, в темном сарафане и платке в роспуск одиноко гуляет на горах, смотря на леса, за которыми скрылся ее Ваня»<sup>5</sup>.

Это письмо дает отчетливое представление о том состоянии духа, в котором Кузмин работал над вокально-инструментальными циклами «Духовные стихи», «Времена года»<sup>6</sup> и не известным нам циклом «Города». В это время для него народная песня является не просто свидетельством о жизни определенного круга людей, но и органическим слиянием с нею, песня объясняет жизнь, а жизнь самым непосредственным образом переходит в песню. Очевидно, таково же было намерение и самого Кузмина: создать ряд произведений, столь же непосредственно связанных с реальностью, воссоздать такой тип отношения искусства к действительности, при котором творчество является частью жизни, каким-то аналогом тех форм искусства, которые разрешены и естественны для старообрядцев, истинностью жизни которых пытается Кузмин в эти годы поверять истинность жизни своей: иконопись, церковное пение, эстетизированный быт. На этом фоне весьма комически выглядит фигура Мережковского, который решает постигать истинно народную жизнь наскоком, подобно внезапно налетевшему полицейскому чину<sup>7</sup>.

Именно таким состоянием души диктуются искания Кузмина, о которых он говорит в письмах к Чичерину 1903 года. В первом из них, написанном 9 января (датируем по почтовому штемпелю), он определяет свое отношение к культуре как к целостному феномену: «Конечно, нельзя не видеть того, что есть; что есть движение мысли XIX в., что Данте, Вольтер и Ницше — этапы, что в России 2 направления, но нельзя не видеть, что в действительности это — одна миллионная всего общества (т.к. к нему (как и к XX в.) принадлежат все живущие в данное время, и опять скажу, что мнение наставника с Охты равноправно и в равной мере XX в., как и того же Ницше) и из этой миллионной не  $\frac{1}{10}$  ли искренна? Так что эти «направления» и т.п., конечно, существуют, но это — кучка писателей, журналистов и разговорщиков; их меньше, чем нигилистов в «Бесах», где все комитеты и подкомитеты, охватывающие сетью всю Россию, оказываются одним мерзавцем и кучкой дурачков. Это все более чем ничтожного значения и не стоит даже рацей. <...> Я не знаю, будет ли синтез и какой, я более интересуюсь пришествием антихриста; имея истину веры, жизни и искусства, мне безразлично, каково будет все

другое не истинное, раз оно не совпадает буквально с истинным даже в форме. Культур много, и какова будет встреча русской культуры с европейской: отвернется ли она и пойдет мыться в баню, или наденет «спиджак» и пойдет слушать кафе-шантан (потому что что же другое может дать та чужой) — я не знаю. Все равно я не приемлю...»<sup>8</sup>.

Оставляя в стороне очевидные параллели с современным состоянием русской культуры, обратим внимание на то, что Кузмин зафиксировал чрезвычайно важную проблему соотношения истинной культуры народа, представленной, однако, им в несколько утопически идеализированном виде: полностью сохранившей все черты древнего, исконного быта и культа ревнителей «древлего благочестия», и того, что предлагается ей людьми с опытом обыкновенного «европейского» образования, воспитания и даже творчества. Найти истинное равновесие между этими двумя полюсами русской жизни своего времени он считает возможным лишь в личностном переживании всего происходящего и претворении своего экзистенциального опыта в творчество. При этом в каждый отдельно взятый момент бытия в мире необходимо соблюдать внутреннюю гармонию между внешним и внутренним. Именно это обстоятельство привело Кузмину к переосмыслению опыта своего давнего путешествия в Италию, которое для него навсегда осталось одним из самых дорогих воспоминаний. 11 мая 1902 года он писал Чичерину: «...я вспоминаю каноника Мори, который поучал меня с наивным бесстыдством, считая себя по крайней мере Макьявелли: «Никогда ничего важного не говорите друзьям, ибо они будут всегда следовать за вами как легионеры в триумфе Цезаря и говорить давно забытые и пристыжающие воспоминания». Конечно, это наивно и подло, но какая-то правда в этом есть. И насколько легче людям не столь сильным начинать новую, обновленную жизнь, не волоча за собою старого хлама (хотя ничто не проходит бесследно, но это след в душе для себя, а не факт налицо), уходя совсем в другие места, совсем к другим людям, которые знали бы их только уже обновленными, для которых мое прошлое только общая формула: «Был язычник и грешник — покаялся и обратился», или исповедь с надрывом, а не фактическое, полное красок и изгибов души воспоминание. А за мной целый хвост — мои вещи, и всякому, обозревающему их в совокупности, кажется, что после вчерашнего эллинизма, сегодняшнего домостроя возможно, если не вероятно, что-нибудь новое, мексиканское что ли. И тот переворот, которому ты было поверил и считал во время Царскосельск<их> прогулок большим, чем обращение Thaïs'ы, является пустым, хотя и интелесным поворотом калейдоскопа. Это мне не особенно безразлично. А если бы те настоящие люди, которые делают мне радостную честь, считая меня почти своим, которые часто и не подозревают моих музык<альных> занятий (кроме крюков), узнали о Вавилонях и Клеопатрах? Конечно, круг, где возможно распространение моих вещей, так далек от другого, но невозможного мало, и это мне безусловно не

безразлично. Эти вещи (до посл<едних> 2-х, 3-х лет) нужно прятать или сжигать, как женихи жгут любовные письма к кокооткам. Куда ни пойду, в беду попаду. Сижу ли я у Казакова, живу ли летом у сестры, ежду ли с летними знакомыми по Волге и лесам, занимаюсь ли дома крюками, — я чувствую и впитываю жизнь и поэзию и вижу вздорность музыки; читаю ли Сокальского или слушаю с трепетом Степ<ана> Вас<ильевича Смоленского> — я охвачен живой струей, но вижу до боли ясно всю искусствен<ность> и словесность их мечтаний о музыке и тщету совместить несовместимое. Вижу ли я место и значение своей музыки, играя ее Верховскому, Сандуленке и (что ж таиться) вам, я чувствую огромную далекость интересов, понятий и идей, так мне кажется все чужеродным, ненужным и ненастоящим»<sup>9</sup>.

На этом фоне появление «XIII сонетов» должно было выглядеть совершенно неожиданным, и Кузмин вынужден был перед Чичериным оправдываться: «Зная, что после «Гиацинта» пошла «горенька», и после «Клада» — «Страшный суд», я без боязни смотрю на это влечение, делая только, чтобы оно было достаточно продолжительно для окончания задуманного»<sup>10</sup>.

По всей видимости, ключ к пониманию столь резкого перехода от «русского» к «итальянскому» следует искать в личной жизни Кузмина, о которой он достаточно бегло, но определенно сообщает в «Histoire édifiante de mes commencements»: «Второе лето<sup>11</sup> я отчаянно влюбился в некоего мальчика, Алешу Бехли, живших тогда на даче в Василе Варинных знакомых. Разъехавшись, я в Петербург, он в Москву, мы вели переписку<sup>12</sup>, которая была открыта его отцом, поднявшим скандал, впутавшим в это дело мою сестру и прекратившим, таким образом, это приключение»<sup>13</sup>. Напомним, что инициалы А.Б. стоят как посвящение к «XIII сонетам», упоминаются они и в позднейших «Сонетах», написанных, по всей видимости, в 1904 году<sup>14</sup>.

Этот частный эпизод жизни Кузмина, как представляется, может объяснить и появление итальянской темы в интересующих нас сонетах. Описывая свою итальянскую поездку, он вспоминал: «Рим меня опьянил; тут я увлекся lift-boy'ем Луиджино, которого увез из Рима с согласия его родителей во Флоренцию, чтобы потом он ехал в Россию в качестве слуги. Я очень стеснялся в деньгах, тратя их без счета. Я был очень весел, и все неоплатоники влияли только тем, что я считал себя чем-то демоническим. Мама в отчаянии обратилась к Чичерину. Тот неожиданно прискакал во Флоренцию, Луиджино мне уже понадоел, и я охотно дал себя спасти. Юша свел меня с каноником Мори, иезуитом, сначала взявшим меня в свои руки, а потом и переселившим совсем к себе, занявшись моим обращением. Луиджино мы отправили в Рим; все письма диктовал мне Мори»<sup>15</sup>. Отчетливо видная параллель между двумя «приключениями» (вспыхнувшая страсть, обретение взаимности, скандал и расставание) выводит на поверхность сильнейшие итальянские впечатления, о которых

Кузмин неоднократно писал как в эпистолярной прозе, так и в стихах, и в прозе художественной.

Но этот же эпизод, на наш взгляд, позволяет более трезво взглянуть и на автобиографическую основу повести «Крылья». Ее констатировали многие, писавшие о «Крыльях», начиная, по всей видимости, с Чичерина<sup>16</sup>, но ни разу не был отчетливо поставлен вопрос о природе этой автобиографичности.

Меж тем этот вопрос должен быть принципиально решен, так как уже в это время формируются взгляды Кузмина на соотношение действительности и вымысла в творчестве.

Прежде всего при разговоре об этом следует иметь в виду сложную жанровую природу повести. Природа «Крыльев» как философского трактата сегодняшнему читателю очевидна<sup>17</sup>, однако, судя по всему, прочтение ее как произведения вполне натуралистического, изображающего быт гомосексуального подполья, не представлялось Кузмину чем-то принципиально чуждым этой природе. Уже после первого чтения «Крыльев» членам «Вечеров современной музыки» он записывал в дневнике: «Покровский <...> долго говорил о людях в роде Штрупа, что у него есть человека 4 таких знакомых, что, как случается, долгое время они ведут, развивают юношей бескорыстно, борются, думают обойтись так, как-нибудь, стыдятся даже после 5-го, 6-го романа признаться; как он слышал в банях на 5-й линии почти такие же разговоры, как у меня, что на юге, в Одессе, Севастополе смотрят на это очень просто и даже гимназисты просто ходят на бульвар искать встреч, зная, что кроме удовольствия могут получить папиросы, билет в театр, карманные деньги. Вообще, выказал достаточно осведомленность. Кстати, я так попался: у него шурин Штруп. Вот совпадение». И даже издевки прессы, почти единодушно воспринявшей «Крылья» как произведение исключительно «мужеложное», не были для него ни неожиданностью, ни особенной неприятностью.

Однако подобное восприятие повести должно было оставить у большинства читателей представление о том, что автобиографическое начало здесь чрезвычайно сильно, а автор может безоговорочно быть отождествлен с главным героем повести. Меж тем, насколько мы можем судить, автобиографизм в ней довольно четко распределен между различными персонажами.

Безусловно, Ваня Смуров, главный герой «Крыльев», до известной степени персонаж автобиографический. Однако в то же время не следует забывать и о том, что события реальной жизни Кузмина ни в коей мере не соответствуют хронологическим реалиям повести. Ваня — гимназист, тогда как поездка Кузмина в Италию состоялась в 1897 году, когда ему было 25 лет, а летние месяцы в Васильсурске он стал проводить с 1902 года, вполне взрослым человеком. Ни о чем подобном в гимназической жизни автора мы не знаем и, как кажется, вполне можем говорить о практической невероятности подобных

происшествий<sup>18</sup> — в то же время определенные автобиографические черты отданы совсем другим персонажам повести.

Так, учитель греческого Даниил Иванович, увозящий Ваню из Васильсурска в Италию, имеет дома скульптурную голову Антиноя, «стоящую одиноко, как пенаты этого обиталища»<sup>19</sup>. Но в кругу друзей сам Кузмин имел прозвище «Антиной» и запечатывал свои письма цветным сургучом с отпечатком профиля Антиноя на нем. В васильсурском эпизоде скорее позволительно увидеть почти неизвестного нам Алешу Бехли, тоже гимназиста, подпавшего под влияние человека много старше себя.

Кузмин дарит собственную «Александрийскую песню» одному из гостей Штрупа, да и самому Штрупу придает некоторые черты своего характера: пристрастие к классической древности, стремление осваивать языки не по словарям, а как бы в живом общении с текстами: «...времени на подготовительное занятие грамматикой нужно очень мало. Нужно только читать, читать и читать. Читать, смотря каждое слово в словаре, пробираясь, как сквозь чащу леса, и вы получили бы неиспытанные наслажденья» (Судя по письмам к Чичерину, Кузмин именно так осваивал итальянский язык), даже история банщика Федора, становящегося слугой Штрупа, в определенной степени напоминает историю Кузмина с Луиджи Кардони, который должен был поехать с ним в Россию в качестве слуги.

Соответственно из жизни Смурова убрано принципиально важное для Кузмина общение с Мори по профессиональным вопросам. Судя по всему, каноник надеялся, что Кузмин обратится к католичеству и станет тайным агентом иезуитов в России, однако в повести ни о чем подобном речи нет, как и вообще ни о каких религиозных исканиях, очень существенных для молодого Кузмина. Интерес к религии у Вани (впрочем, как и у Штрупа) прежде всего эстетический и полуэтнографический: «Никого особенно не удивило, что Штруп между прочими увлечениями стал заниматься и русской стариной; что к нему стали ходить то речистые в немецком платье, то старые «от божества» в длиннополых полукафтанах, но одинаково плутоватые торговцы с рукописями, иконами, старинными материями, поддельным литьем; что он стал интересоваться древним пением, читал Смоленского, Разумовского и Металлова, ходил иногда слушать пение на Николаевскую и, наконец, сам, под руководством какого-то рябого певчего, выучивать крюки. «Мне совершенно был незнаком этот закоулочек мирового духа», — повторял Штруп, старавшийся заразить этим увлечением и Ваню, к удивлению, тоже поддававшегося в этом именно направлении».

В то же время следует отметить, что часть своих заветных мыслей и чувствований Кузмин отдает не главным «идеологическим» героям повести, а совсем иным персонажам. Так, явно неприглядными и даже зловещими чертами наделен итальянский композитор Уго Орсини: «Орсини сладко улыбался тонким ртом на белом толстею-

щем лице с черными без блеска глазами, и перстни блестели на его музыкально развитых в связках с коротко обстриженными ногтями пальцев. «Этот Уго похож на отравителя, не правда ли?» — спрашивал Ваня у своего спутника...» В то же время именно в монологе Ор-сини о своей будущей, грезящейся работе можно совершенно отчетливо различить мотивы многих стихотворений, которые Кузмин будет писать, хотя и значительно позже, в двадцатые годы: «Первая картина: серое море, скалы, зовущее вдаль золотистое небо, аргонавты в поисках золотого руна, — все, пугающее в своей новизне и небывалости и где вдруг узнаешь древнейшую любовь и отчизну. Второе — Прометей, прикованный и наказанный: «Никто не может безнаказанно прозреть тайны природы, не нарушая ее законов, и только отцеубийца и кровосмеситель отгадает загадку Сфинкса!» Является Пакифия, слепая от страсти к быку, ужасная и пророческая: «Я не вижу ни пестроты нестройной жизни, ни стройности вещей сновидений». Все в ужасе. Тогда третье: на блаженных лужайках сцены из «Метаморфоз», где боги принимали всякий вид для любви; падает Икар, падает Фазтон, Ганимед говорит: «Бедные братья, только я из взлетевших на небо остался там, потому что вас влекли к солнцу гордость и детские игрушки, а меня взяла шумящая любовь, непостижимая смертным». Цветы, пророчески огромные, огненные, зацветают; птицы и животные ходят попарно и в трепещущем розовом тумане виднеются из индийских «*manuels érotiques*» 48 образцов человеческих соединений. И все начинает вращаться двойным вращением, каждое в своей сфере, и все большим кругом, все быстрее и быстрее, пока все очертания не сольются и вся движущаяся масса не оформляется и не замирает в стоящей над сверкающим морем и безлесными, желтыми и под нестерпимым солнцем скалами, огромной лучезарной фигуре Зевса-Диониса-Гелиоса!»

Пользуясь автобиографическим материалом и вводя его в повествование вполне открыто, Кузмин одновременно решительно его преобразует, что заставляет критически относиться к любым попыткам представить этот материал в снятом виде, как материал для биографии Кузмина, без дополнительной проверки по доступным источникам в каждом случае.

С данной точки зрения значительный интерес представляет строение сборника «Сети» как книги стихов, где явственно прочитывается сквозной сюжет, одновременно биографический и мистический.

Это построение явилось плодом довольно долгих раздумий и проб. 20 января 1908 года, осведомляясь о судьбе рукописи «Сетей», Кузмин писал Брюсову: «Получили ли Вы в достаточно благополучном виде рукопись «Сетей»? Мне крайне важно Ваше мнение о стихах, неизвестных Вам. Я писал Михаилу Федоровичу <Ликиардопуло> о возможном сокращении (и желательном, по-моему) «Любви этого лета». Если это не затруднит Вас, я был бы счастлив предоставить Вам это решение, равно как и выбор из 8 стихотворений («Раз-

личные стихотворения»), где я стою исключительно только за сохранение последнего: «При взгляде на весенние цветы». Что можно опустить без потери смысла в «Прерванной повести»? «Мечты о Москве»? «Несчастный день»? «Картонный домик»?<sup>20</sup> Получив ответное письмо, где Брюсов уговаривал его рукопись не сокращать<sup>21</sup>, Кузмин предложил другой вариант: «Пусть будет так: выбрасывать из книги я ничего не буду, но вот, что я думаю. Т.к. последние два цикла не очень вяжутся с остальной книгой и т.к. я предполагаю писать еще несколько тесно связанных с этими двумя циклов, не помещать их в «Сетях», а оставить для возможного потом небольшого отдельного издания <...> Досадно, что книга уменьшается, но мне кажутся мои соображения правильными»<sup>22</sup>. Как становится ясно из дневника, эти два последних цикла планировалось издать отдельной книгой в «Орах», домашнем издательстве Вяч. Иванова.

При всей случайности возникновения именно такой композиции книги, в итоге она обрела характер вполне законченный, и более того, если бы два последних цикла были на каком-то этапе исключены (впрочем, это могло быть лишь в последние дни перед отправкой рукописи в «Скорпион», поскольку именно они и писались последними), сюжет всей книги не имел бы своего логического окончания. Правда, даже в таком виде сборник не получил, как представляется, хоть сколько-нибудь верной оценки в критике<sup>23</sup>, для которой наиболее авторитетным и дающим недвусмысленную ориентацию<sup>24</sup> стал отзыв Брюсова, опубликованный уже в 1912 году и тем самым как бы подводивший итог: «Изящество — вот пафос поэзии М. Кузмина. <...> Стихи М. Кузмина — поэзия для поэтов. Только зная технику стиха, можно верно оценить всю ее прелесть. И ни к кому не приложимо так, как к М. Кузмину, старое изречение: его стакан не велик, но он пьет из своего стакана»<sup>25</sup>. Между тем совершенно очевидно (подробнее см. об этом в статье «Любовь — всегдашняя моя вера»), что книга была построена (если не принимать во внимание завершающий ее раздел «Александрийские песни», не входящий в лирический сюжет) как трилогия воплощения истинной любви, открыто ассоциирующейся в третьей части книги с любовью божественной, в любовь земную и стремящуюся к плотскому завершению, но несущую в себе все качества мистической и небесной.

Мы не исключаем, что сам Кузмин мог бы довольно решительно воспротивиться такому суждению о своей книге. Напомнил уже приводевшиеся слова из письма к Брюсову 30 мая 1907 года: «Вы не можете представить, сколько радости принесли мне Ваши добрые слова теперь, когда я подвергаюсь нападкам со всех сторон, даже от людей, которых искренно хотел бы любить. По рассказам друзей, вернувшихся из Парижа<sup>26</sup>, Мережковские даже причислили меня к мистическим анархистам, причем в утешение оставили мне общество таких же: Городецкого, Потемкина и Ауслендера. Сам Вячеслав Иванов, беря мою «Комедию о Евдокии» в «Оры», смотрит на нее как на

опыт воссоздания мистерии «всемирного действия», от чего я *сознательно* (курсив наш. — Н.Б.) отрекаюсь, видя в ней, *если только она выражает, что я хочу* (курсив наш. — Н.Б.), трогательную фривольную и манерную повесть о святой через XVIII в.»<sup>27</sup>. После таких протестов, внешне кажущихся очень искренними, не очень хочется искать в произведениях Кузмина что-либо за пределами той сферы, которую он сам им отводит. Однако, тщательнее всматриваясь в текст письма, следует обязательно принять во внимание как его общий полемический контекст (Кузмин расчетливо играл на очевидном для него разноречии Брюсова и Вяч. Иванова в полемике о «мистическом анархизме», представляя себя верным сторонником Брюсова, тогда как почти наверняка можно предположить, что в разговорах с Вяч. Ивановым позиция была обозначена гораздо мягче), так и принципиальное нежелание Кузмина в какой бы то ни было степени ассоциироваться с какими бы то ни было литературными группировками, пусть даже его произведения демонстрируют внутреннее тяготение к тем или иным принципам, прокламировавшимся символистами, акмеистами, футуристами или любыми иными поэтическими объединениями.

Если беспристрастно взглянуть в сквозную тему сборника «Сети», то увидим, что первую часть в нем составляют «Любовь этого лета» и «Прерванная повесть» — циклы о любви призрачной, обманчивой, неподлинной, то оборачивающейся внешним горением плотской страсти при отсутствии какого бы то ни было духовного содержания (лишь иногда привносимого извне, лирическим героем), то завершающейся изменой, причем изменой самой страшной, связанной с окончательным уходом в другую сферу притяжений. Вторая часть, куда входят «Ракеты», «Обманщик обманувшийся» и «Радостный путник», посвящена возрождению надежды на будущее, возникающее в непосредственном проживании жизни, а не предначертанное кем-то заранее:

Ты — читатель своей жизни, не писец,  
Неизвестен тебе повести конец.

И наконец, в третьей части, даже лексически ориентированной на Писание, открыто провидится высший смысл человеческой жизни, придаваемый «Мудрой встречей» с «Вожатым», который несет в себе одновременно черты и обыкновенного земного человека, и небесного воина в блещущих латах (наиболее явно ассоциирующегося со святым Кузмина — архангелом Михаилом, водителем Божиих ракет)<sup>28</sup>.

Автобиографические подтексты первой части очевидны, и Кузмин не думал скрывать их от друзей, да и от многих читателей также. «Любовь этого лета» посвящена отношениям с ничем не примечательным молодым человеком Павликом Масловым, и друзья Кузмина того времени легко проецировали стихи непосредственно на ре-



альность. Характерный пример — письмо В. Ф. Нувеля от 1 августа 1906 года: «...третьего дня видел его (Маслова. — *Н.Б.*) в Тавриде (Таврическом саду. — *Н.Б.*). К сожалению, я не мог долго беседовать с ним, т.к. я был не один, но могу сказать, что он такой же, как и прежде. И нос Пьеро, и лукавые глаза, и сочный рот — все на месте (остального я не рассматривал) <...> Где же та легкость жизни, которую Вы постоянно отстаивали? Неужели она может привести к таким роковым последствиям? Тогда все рушится, и Вы изменили «цветам веселой земли». И нос Пьеро, и Мариво, и «Свадьба Фигаро» — все это только временно отнято у Вас, и надо разлюбить их окончательно, чтоб потерять надежду увидеть их вновь и скоро». Цитаты из наиболее ранних стихов «Любви этого лета», написанных еще в Петербурге, до отъезда в Васильсурск на отдых, в тексте письма совершенно очевидны. Столь же очевиден был и автобиографический подтекст «Прерванной повести», тем более что она была опубликована впервые в альманахе «Белые ночи» вместе с еще более откровенной в этом отношении повестью «Картонный домик» (подробнее см. об этом далее).

Однако и последняя, третья часть «Сетей», наиболее возвышенная и предназначенная для высокого завершения сборника, также была основана на откровенном автобиографизме, скрытом от глаз обыкновенного читателя, которому она должна была представляться находящейся по ту сторону человеческого существования в реальном мире.

2 октября 1907 года. Кузмин записал в дневнике: «Зашел к Вяч. Ив. <Иванову>, там эта баба Минцлова водворилась. Вяч. томен, грустен, но не убит, по-моему. Беседовали». Анна Рудольфовна Минцлова появилась в жизни семьи Ивановых в конце 1906-го или самом начале 1907 года и быстро заняла место доверенного человека, которому становились известны все самые интимные тайны семьи, о чем свидетельствуют исповедальные письма Л. Д. Зиновьевой-Аннибал, отрывки из которых приведены в статье «Петербургские гафизиты». После смерти Зиновьевой-Аннибал Минцлова, убежденная в собственной оккультной силе, начала решительную атаку на Иванова, пытаясь подчинить его своей воле. Отношения Иванова с Минцловой — особая глава его биографии<sup>29</sup>, но существенно отметить, что и для Кузмина эта мистическая связь не прошла бесследно.

Сколько мы можем судить по дневниковым записям Кузмина, он довольно скептически относился ко всякого рода теософическим, оккультным, масонским и тому подобным концепциям. Однако личность Минцловой произвела на него очень сильное впечатление, поддержанное его собственными переживаниями этого времени.

В марте 1907 года Кузмин познакомился с приятелем М. Л. Гофмана по юнкерскому училищу Виктором Андреевичем Наумовым и страстно в него влюбился. Однако бесконечные попытки сближения

не приносили успеха — Наумов не выражал особого желания превращать знакомство в интимные отношения. И тогда Кузмин прибег к мистике.

Способствовала этому атмосфера, установившаяся на «башне» Иванова после смерти его жены. Иванов не только вслушивался в советы Минцловой, но и вошел в тесный контакт с поглощенным всякого рода мистическими учениями Б. А. Леманом, стал культивировать различные формы медитации, которые завершались визионерством и создавали эффект полного вселения души Зиновьевой-Аннибал в его земное тело. И для весьма близкого к нему в это время Кузмина это увлечение также не прошло даром.

Вот несколько характерных записей из его дневника, относящихся к концу 1907-го и началу 1908 года: «Пришел Леман, говорил поразительные вещи по числам, неясные мне самому. Дней через 14 начнет выясняться В<иктор> А<ндреевич>, через месяц будет все крепко стоять, в апреле—мае огромный свет и счастье, утром ясным пробужденье. Очень меня успокоил. <...> Да, Леман советует не видеться дней 10, иначе может замедлиться, но это очень трудно. Апрельское утро придет, что бы я ни делал. Проживу до 53 л., а мог бы до 62—7, если бы не теперешняя история. Безумие не грозит» (23 января); «Пришел Леман с предсказаниями. Я будто в сказке или романе. Не портит ли он нам? ведь и он был в меня влюблен» (29 декабря).

И в этой обстановке у Кузмина начинаются довольно регулярные видения, некоторые из них подробно описаны в дневнике. 29 декабря такое видение зафиксировано впервые: «Днем видел ангела в золот<исто->коричневом плаще и золот<ых> латах с лицом Виктора и, м<ожет> б<ыть>, князя Жоржа<sup>30</sup>. Он стоял у окна, когда я вошел от дев<sup>31</sup>. Длилось это яснейшее видение секунд<нд> 8». 28 января Кузмин записывает, что начинаются медитации, и тут же после этого видения возобновляются с еще большей отчетливостью и регулярностью. Так, 16 февраля следует запись: «Анна Руд<ольфовна Минцлова>, поговоривши, повела меня в свою комнату и велевши отрешиться от окружающего, устремиться к одному, попробовать подняться, уйти, сама обняла меня в большом порыве. Холод и трепет — сквозь густую пелену я увидел Виктора без мешка на голове, руки на одеяле, румяного, будто спящего. Вернувшись, я долго видел меч, мой меч, и обрывки пелен».

Читателю, хорошо помнящему стихи Кузмина, многое должно быть в этих записях знакомо. Вожатый в виде ангела, облеченного в латы, с меняющимся лицом — то Наумова, то князя Жоржа, то самого Кузмина (и тогда этот ангел отождествляется с архангелом Михаилом, вооруженным мечом) — все это сквозные символы третьей части «Сетей». Некоторые стихотворения этой серии вообще оказывается невозможно понять вне дневниковых записей, настолько их символика необъятно широка и суживается лишь при подстановке

внетекстовой реальности. Таково, например, второе стихотворение цикла «Струи»:

Истекай, о сердце, истекай!  
Расцветай, о роза, расцветай!  
Сердце, розой пьяное, трепещет.

От любви сгораю, от любви;  
Не зови, о милый, не зови:  
Из-за розы меч грозящий блещет.

Однако при обращении к дневнику смысл стихотворения становится почти очевидным: «Днем ясно видел прозрачные 2 розы и буд-то из сердца у меня поток крови на пол» (7 февраля). И днем позже: «Болит грудь, откуда шла кровь».

Но наиболее очевидный ключ ко всем этим стихотворениям дает описание видения, случившегося с Кузминым 31 января 1908 года: «В большой комнате, вмещающей человек 50, много людей, в розовых платьях, но неясных и неузнаваемых по лицам — туманный сонм. На кресле, спинкою к единствен<ному> окну, где виделось прозрачно-синее ночное небо, сидит ясно видимая Л<идия> Дм<итриевна> Зиновьева-Аннибал в уборе и платье византийских императриц, лоб, уши и часть щек, и горло закрыты тяжелым золотым шитьем; сидит неподвижно, но с открытыми живыми глазами и живыми красками лица, хотя известно, что она — ушедшая. Перед креслом пустое пространство, выходящие на которое становятся ясно видными, смутный, колеблющийся сонм людей по сторонам. Известно, что кто-то должен кадить. На ясное место из толпы быстро выходит Виктор (Наумов. — *Н.Б.*) в мундире с тесаком у пояса. Голос Вячеслава (Иванова. — *Н.Б.*) из толпы: «Не трогайте ладана, не Вы должны это делать». Л. Дм., не двигаясь, громко: «Оставь, Вячеслав, это все равно». Тут кусок ладана, около которого положены небольшие нож и молоток, сам падает на пол и рассыпается золотыми опилками, в которых — несколько золотых колосьев. Наумов подымает не горевшую и без ладана кадельницу, из которой вдруг струится клубами дым, наполнивший облаками весь покой, и сильный запах ладана. Вячеслав же, выйдя на середину, горстями берет золотой песок и колосья, а Л. Дм. подымается на креслах, причем оказывается такой огромной, что скрывает все окно и всех превосходит ростом. Все время густой розовый сумрак. Проснулся я, еще долго и ясно слыша запах ладана, все время медитации и потом».

Из этого отрывка становится ясно, что цикл «Мудрая встреча» посвящен Вяч. Иванову не только «так как ему особенно нравится», как сообщал Кузмин В. В. Руслору, но и по самой прямой связи переживаний Кузмина с мыслями, обуревавшими Иванова в эти тяжелые для него месяцы. Любовь, смерть и воскресение в новой, божественной любви — вот основное содержание трех циклов, объединенных в третьей части сборника «Сети», и тем самым завершение сквозного

сюжета всей книги, причем это теснейшим образом оказывается связанным с двумя автобиографическими подтекстами: любовь к В. Наумову и сопереживание состоянию Вяч. Иванова после смерти жены с ее мистическим воскресением в новую, совсем иную жизнь.

Таким образом, автобиографизм в различных его преломлениях пронизывает всю первую книгу стихов Кузмина, составляя ту психологическую основу, которая позволяет ей держаться как целостному произведению искусства, не распадаясь на отдельные фрагменты. Но значимым является то, что автобиографичность в разных частях книги различна: от почти полной открытости в первой, через разрозненность и несводимость к единой основе во второй, к возвышенно сублимированной третьей, которая обыкновенным читателем, не погруженным в круг переживаний Кузмина-человека, воспринимается как сугубо отрешенная от действительности. В известном смысле «Сети» могут быть уподоблены вообще всему творчеству Кузмина, где автобиографичность становится многосторонней и, в зависимости от ее типа в том или ином произведении, провоцирует расшифровку читателем и исследователем.

Наиболее общепризнанным примером открытого автобиографизма в прозе Кузмина является, несомненно, повесть «Картонный домик». Даже достаточно далекий от того круга, в котором вращался Кузмин, поэт А. А. Кондратьев<sup>32</sup> сразу после появления повести общал своему знакомому: «В романе этом фигурирует он сам под фамилией Демьянова, художник Сомов, переименованный в Налимова, проходят облики Вяч. Иванова, Коммиссаржевской, Сологуба и других»<sup>33</sup>. Для близких же друзей Кузмина, попавших в «Картонный домик» в качестве действующих лиц, автобиографизм был тем более очевиден. Так, В. Ф. Нувель, безошибочно узнаваемый на страницах повести, писал ее автору: «...я должен сказать, что все эти Вафилы и прочие дафнисоподобные юноши мне немножко надоели и хочется чего-то более конкретного, ну, напр<имер>, современного студента или юнкера. Вообще удаление вглубь Александрии, римского упадка или даже XVIII-го века несколько дискредитирует современность, которая, на мой взгляд, заслуживает гораздо большего внимания и интереса. Вот почему я предпочитаю Вашу прерванную повесть и «Картонный домик» (несмотря на «ботинку») «Эме Лебефу» и тому подобным романтическим удалениям от того, что сейчас, здесь, вокруг нас». И если в этом отрывке из письма еще чувствуется какое-то желание разделить стороны художественную и «реальную» (имея в виду, конечно, — как и всюду в дальнейшем, — что и в любом нехудожественном свидетельстве факт всегда отражен не непосредственно, а через призму пристрастного наблюдения), то совсем снимает их противоположность письмо Ф. Сологуба Кузмину, когда старший писатель, узнав себя в одном из проходных персонажей повести, решительно обиделся именно на дискредитацию себя как человека, а не как действующего лица: «В Вашем «Картонном домике»

есть несколько презрительных слов и обо мне — точнее, о моей наружности и моих манерах, которые Вам не нравятся. Художественной надобности в этих строчках нет, а есть только глумление. Эти строчки я считаю враждебным по отношению ко мне поступком, мною не вызванным, ни в каком отношении не нужным и, смею думать, случайным»<sup>34</sup>.

В самом деле, большинство действующих лиц повести совершенно явно имеет очевидных прототипов и легко «разгадывается» читателями, как теми, что стояли относительно близко к описываемым событиям, так и нынешними, хотя бы поверхностно представляющими себе жизнь петербургской богемы середины девятисотых годов. Р. Д. Тименчик, В. Н. Топоров и Т. В. Цивьян в прекрасной статье «Ахматова и Кузмин»<sup>35</sup> уже отчасти сделали эту расшифровку достоянием сегодняшнего читателя, заодно определив и принципы, по которым кодировались истинные фамилии: Демьянов — сам Кузмин, Мятлев — С. Ю. Судейкин, Налимов — К. А. Сомов, Елена Ивановна Борисова — Ольга Афанасьевна Глебова (в замужестве Судейкина), Темиров — Н. Н. Сапунов, Петя Сметанин — Павлик Маслов. К этому списку следует прибавить режиссера Олега Феликсовича (как и у В. Э. Мейерхольда, сочетается древнерусское имя с иностранным отчеством), Надежда Васильевна Овинова — Вера Викторовна Иванова (помимо парного имени Вера — Надежда, еще и метатеза гласных в фамилии), Валентин — С. А. Ауслендер (очевидно, по названию его рассказа «Валентин мисс Белинды», опубликованного в том же альманахе, что и «Картонный домик»), Вольфрам Григорьевич Даксель — Вальтер Федорович Нувель, Матильда Петровна — Л. Н. Вилькина (как раз в это время она была тесным образом связана с К. А. Сомовым и даже считала себя его «любовницей»<sup>36</sup>; письмо же, написанное Валентином Матильде Петровне в конце повести, вполне соответствует реальному письму С. А. Ауслендера к Вилькиной<sup>37</sup>). Таким образом, для нас загадочными фактически остаются прототипы лишь старухи Курмышевой (судя по всему, им была тетка Кузмина, о которой, к сожалению, нам практически ничего не известно) и ее дочери, а также совсем бегло упомянутой Сакс.

Такая полнота совпадений провоцирует буквально перенести и всю фактологическую сторону дела из повести в реальность. Однако внимательного читателя должно остановить уже хотя бы то, что сообщила в своих мемуарах В. П. Веригина, близкая свидетельница происходивших событий<sup>38</sup>. Цитируя из повести описание известного «вечера бумажных дам», состоявшегося на квартире В. В. Ивановой после премьеры «Балаганчика», Веригина делает ремарку: «Надо сказать, однако, что героев этого романа на нашем вечере не было»<sup>39</sup>.

Обращение к дневнику Кузмина позволяет с достаточной полнотой восстановить ход событий, описанных в «Картонном домике», каким он был в действительности, и увидеть, что «поэзия» и «правда»

расходятся в данном случае весьма значительно, даже если не обращать внимания на расхождения психологические, могущие также быть плодом художественной фантазии автора, поскольку его дневник не только воспринимался как литературное произведение, но даже мог выполнять его функцию<sup>40</sup>.

Прежде всего, это относится к стилю и духу отношений героев повести. Так, Демьянов связан с Налимовым только дружбой, тогда как осенью 1906 года, когда происходили все события повести, у Сомова с Кузминым был отнюдь не платонический роман. Близкая дружба и общение Демьянова с Темировым реальности не соответствуют, более того — в ряде случаев Темиров соединяет в себе черты двух реальных лиц: Сапунова и Н. П. Феофилактова. Отношения Демьянова со Сметаниным, описанные как уже чисто платонические и исчерпывающие себя, на деле были вполне плотскими, и хотя Маслов уже изрядно надоел Кузмину, все же их связь не прекращалась.

Довольно заметны хронологические и топографические несоответствия между текстами повести и жизни. Даже без обращения к неизданному тексту дневника можно обнаружить несколько несоответствий. Так, «Свадьба Зобеиды» Г. фон Гофманстала, которая упоминается в шестой главе, была поставлена в театре Коммиссаржевской уже в 1907 году, значительно позже описываемых событий. Обращение к опубликованным материалам показывает, что знакомство Кузмина с Судейкиным, в отличие от знакомства Демьянова с Мятлевым, произошло не 28 октября 1906 года на чтении Ф. Сологубом своей трагедии «Дар мудрых пчел», но двумя неделями ранее, на чтении Блоком «Короля на площади»<sup>41</sup>. «Вечер бумажных дам» происходил 30 декабря<sup>42</sup>, а разрыв Судейкина с Кузминым случился за несколько дней до того<sup>43</sup>.

Еще больше принципиальных расхождений добавляет обращение к неопубликованным или опубликованным лишь частично страницам дневника Кузмина. Так, объяснение Судейкина и Кузмина в присутствии Н. П. Феофилактова (а вовсе не Сапунова-Темирова, как в повести) происходило не на извозчике по дороге из загородного ресторана, а дома у Кузмина: «Начал писать «Лето»<sup>44</sup>, изнывал, ожидая гостей. Наконец они пришли. Судейкин, Феофилакт, Нувель, Гофман, Городецкий. Судейкин делал набросок, портрет он будет писать без меня; очень черный en face, за головой венки, в глубине 2 серебряные ангела<sup>45</sup>; говорил, что в субботу было подчеркнуто наше общество <...> Феофилакт и Судейкин оставались очень долго; последний все ташил первого уходить, а [второй] первый назвал не уходил. Наконец, Судейкин сел в кресло и сказал: «Ну, я остаюсь, на сколько тебе угодно, и отвечаю правду на какие угодно вопросы, и первое, что я скажу, что я не знаю человека более талантливого, чем Мих<аил> Алекс<еевич> и все время буду это говорить». Феоф<илакт>ов: «Ну, а любишь ты Мих<аила> Ал<ексеевича>?» — «Люблю». — «Как?» — «Как угодно». — «Всячески?» — «Всячески». — «А я, вы

думаете, люблю Вас?» — «Любите». — «Отчего вы это думаете?» — «Я это чувствую». — «С каких пор?» — «С первой встречи». — «Вы знаете, что я вас не люблю, а влюблен в вас?» — «Знаю». — «Вас это не удивляет?» — «Нет, только я не думал, что вы будете говорить при Николае Петровиче» — «Вам это неприятно?» — «О нет». — «А если бы я не говорил?» — «Я бы сам Вам сказал». — «Первый?» — «Первый». — «И вам не жалко, что это сказал я?» — «Нет, я очень счастлив». Феофилакт слушал, слушал и, наконец, объявил, что давно так приятно не проводил времени, как сегодня, и что это приятнейший вечер в Петербурге для него. Вот странно!» (Дневник, 30 октября)

Умышленно, очевидно, опущен в повести оставшийся на страницах дневника рассказ об одной из знаменательных встреч с Судейкиным: «Я не поехал к Сологубу, оставшись с приехавшим Судейкиным. <...> Он был очень искрен и откровенен, хотя меня почти измучила рефлексировка и психология наших отношений. Два раза, когда я доходил до крайней нежности, он останавливался и, наконец, сказал, что сам скажет, когда настанет время нашей общей половой жизни. Он думает, что верно отвергание [любви] женщин, только пройдя их. Я ему прочитал вступление к дневнику<sup>46</sup>, он рассказал мне свою жизнь. Его прапрадед, бургомистр Рославля, сдал город без крайней необходимости и против желания жителей; с тех пор фамилия Судейкиных, женаты на Судовских, за верность родине лишенных графства. Бедные дворяне, дед весь в охоте, в собаках, 12 чел. детей, мать молится на перекрестке 3-х дорог, чтобы не было больше детей — все умирают по очереди почти от голода, остается один последний, известный несчастный Судейкин, убитый в 80-х годах революционерами, отец Сергея Юрьевича<sup>47</sup>. Болезнь идет наследственно двумя путями, и потом сам Сергей Юрьевич 12<-ти> или 13<-ти> лет лично заразился от женщины; кроме нее он знал еще 2-х, одну ненавидимую, другую боготворимую, но умершую. Теперь думает и чувствует быть *comme vous autres*, любил одно время Дягилева и Якунчикова. Считает, что любившие его гибнут неизбежно, но через третье лицо. Указывал на гибнувших, называя по именам. Мне предсказывал гибель через 5 лет. Говорил, что мы оба несем зло и яд, что это общее, связывающее нас. Сначала думал, что любовь наша только отблеск искусства. Это все было куски души, без этого нельзя обойтись, но я думаю, что этот [утонченный] анализ и раскрытие язв есть только туннель, после которого говоришь «слава Богу», выехав в улыбающуюся долину»<sup>48</sup>. Обратим внимание, что создающийся в данной записи облик Судейкина, охотно занимающегося утонченным анализом и «раскрытием язв», совсем не совпадает с образом Мятлева, из которого (как, впрочем, и изо всех других персонажей) «вынута» психология.

Очень показательна и запись от 8 ноября. Этот день, день именин и автора повести и ее героя, с одной стороны, как бы объединяет ре-

альность внутри- и внетекстовую, но с другой — решительно их разъединяет. «Мои имянины, жду Судейкина. Утром заходили к тете и Эк<атерине> Аполл<оновне>, которую привели к нам обедать. Тетя была уже у нас; зашел <Н. В.> Чичерин; от Павлика <Маслова> скромное печальное письмо, письмо от Гриши Муравьева<sup>49</sup>. Судейкин приехал только в 10<sup>1</sup>/<sub>4</sub> часов и послал наверх Антона, был очень возбужден, будто после вина, говорил оживленно о театр<альных> интригах, о преследовании его актрисами и т. д. Он очень восхищен, кажется, Сережей <Ауслендером>, так что я серьезно начну скоро ревновать. У Ивановых, по случаю бывшего днем пожара, среды не было, и мы, посидевши немного у Званцевой, пошли ко мне, где мы застали, уже довольно некстати, Каратыгина и Тамамшева. После чая Сомов пел, Судейкин попросил вымыть руки, но этого совсем ему было не нужно, а это был безмолвный ответ с его стороны. <...> Когда мы встали, я перекрестился. «Что вы делаете?» — «Благодарю свою икону, что она исполнила мою просьбу, давши Вас мне». Потом я встал на колени и поцеловал его ботинку. Он обещал остаться после всех, но потом сказал, что слишком поздно и пошел даже первый. <...> Я лег с очень горьким осадком, мне хотелось плакать, не знаю, отчего, все мне казались далекими, Судейкин странным и ненадежным, а как бы светло все могло быть; меня смущает и страшит его непонятность и временами он почти нелюбезен, я до сих пор не знаю, правда ли, что он меня любит, хотя ему нет никакой причины притворяться...» Как видим, из реальности опять-таки убраны психологические подробности (за исключением внешнего проявления: осенение себя крестным знаменем и поцелуй «ботинки»), зато в текст повести вставлены внезапное проявление любви Раисы к Мятлеву, игра в оракул с предсказанием грядущей близости, большое количество посторонних людей вместо нескольких знакомых. Существенно и то, что изменено место действия: оно происходит не в обителище самого Кузмина-Демьянова, но в доме старухи Курмышевой.

Не вошел в сюжет повести эпизод, характерный для обрисовки отношений Кузмина с Ауслендером: «Решил поговорить с Сережей о Судейкине откровенно, потому что в данном случае он очень мне опасен; кроме того, мне хотелось знать вообще, как он смотрит на подобные отношения после моих секретов и житья у них. Он сказал, что я могу быть совершенно спокоен, что Судейкин ему ничуть не нравится и что вообще, он не знает, кого из встречаемых лиц он мог бы физически полюбить. Казался не удивленным, не шокированным, стал как-то мягче, ласковее...» (10 ноября).

Далее в дневнике следуют эпизоды, которые Кузмин предпочел претворить не в прозу, а в стихи «Прерванной повести». Так, после премьеры «Сестры Беатрисы» в театре Коммиссаржевской следует запись: «Видел милого Судейкина. Маленькие актрисы ташили куда-нибудь после спектакля, но мы поехали к Ивановым. Было чудно



ехать, обогнали Сомова и Нувель, кухню Лемана. У Ивановых была уже куча народа. Мы не пошли в зал, где, потом оказалось, говорили о театре Коммиссаржевской. А я с Судейкиным, бывшим все время со мною и Серафимой Павловной <Ремизовой>, удалясь в соседнюю комнату, занялись музыкой; приползла кое-какая публика. Вилькина с Нувель и Сомовым так громогласно говорили, хотя рядом были 2 пустые комнаты, что музыку пришлось прекратить. С<ергей> Юрьевич сказал, что мог бы заехать ко мне, что меня побудило уйти раньше, инкогнито, хотя я думал, что меня будут искать. Дома я читал дневник и стихи; потом стали нежны, потом потушили свечи, постель была сделана; было опять долгое путешествие с несказанной радостью, горечью, обидами, прелестью. Потом мы ели котлеты и пили воду с вареньем. Слышали, как пришел Сережа. Ушел С<ергей> Ю<рьевич> в 5 часов. Я безумно его люблю». Эта запись прямо соотносится со вторым и третьим стихотворениями «Прерванной повести», причем подтверждается воспоминание И. фон Гюнтера, что «толстая дама» — С. П. Ремизова, «тонкая модница» — Л. Н. Вилькина, а «франты» — К. А. Сомов и В. Ф. Нувель<sup>50</sup>.

Запись от 27 ноября отразилась в седьмом стихотворении: «Судейкин рассказывал об их розовом доме с голубыми воротами, о своих комнатах, семье, знакомых, собаках; потом мучил меня, потом перестал, поставив условием, что мы будем против окна и что он не будет делать ни малейшего движения; конечно, последнее он не исполнил. Мои большие надежды отсылает на Москву»<sup>51</sup>.

Записи самого конца ноября и начала декабря начинают объединять цикл стихов, повесть и жизнь единым кольцом, хотя последовательность событий (вероятно, намеренно) запутывается. 28 ноября: «...швейцар сказал, что Судейкин хотел ехать в Москву. Что ж это, не прощайся? так просто?» (ср. в стихах: «Я знаю, что у вас такие нравы: Уехать не простясь...»); 30 ноября: «Письма нет; ходил за покупками; писем нет; играл кэж-уоки и матчиш, такая скука, хоть бы уехать куда. И вдруг он здесь и не дает знать? спросить у Сапунова или Феофилактова мне стыдно. И чем я заслужил такое обращение? <...> Ходили вниз посмотреть письма — нет. Не известить по приезде! Но еще ужаснее, если он и не уезжал...» (ср. в продолжении того же стихотворения: «...вернуться тайно»); 1 декабря: «Пришел Нувель, между прочим сказавший, что Судейкин у него был с Бакстом после театра в среду. Здесь! и бывает в гостях! здоров? и я ничего даже не предполагаю? давно я не чувствовал такой смерти в душе. Какая любовь! какая любовь! <...> Приехавши домой, нашел программу от «современников»<sup>52</sup> и святочный домик с прозрачной цветной бумагой, сквозящей от вставляемой свечки, оставленный приезжавшим Сергеем Юрьевичем. Он сделал то, что нужно было, сейчас же приехал, но меня не было, узнавал, где я, чтобы поговорить по телефону, но этого не знали» (ср. главу 11 повести и пятое-шестое стихотворения цикла). Далее в дневнике следует такая запись: «Сегодня, в

воскресенье, 3-го декабря я был утешен, не только утешен, но в радости, не только в радости, но и счастлив. С 12 часов до 7 я видел, слышал, целовал, имел своим ненаглядного Сергея Юрьевича. Я был как пьяный, и все планы о будущем, и все отношения были блаженны, как ничто никогда не бывало; он был страшно бледный, волосы с темно-золотым рыжеватым отливом, рассказывал свое времяпрепровождение, был откровенен; закусывали, пили чай; чтение дневника вдруг прерываемое длинными поцелуями; поездка к Сомову, опять поцелуи перед дверью, почти при прислуге, и опять вместе, на вокзале, на улице, в кофейне. Обещал писать каждый день, прислать эскизы, гордые замыслы на будущее, наивный *affichage* перед Сомовым с моими письмами, ревность и любовь — делали этот день одним из пленительнейших. <...> У меня мысль написать цикл, аналогичный «Любви этого лета», Судейкину. Как я счастлив, как я счастлив, как я счастлив!» (ср. стихотворение 4 и десятую главу повести; обратим особое внимание на то, что именно в этот «счастливый день» у Кузмина возникает мысль о цикле стихов, посвященном Судейкину, который потом станет «Прерванной повестью»).

16 декабря следует запись, относящаяся к замыслу восьмого стихотворения: «Ездил с Сережей покупать шапку и перчатки. Купил фасон «гоголь» и буду носить отогнувши козырек, как Сергей Юрьевич. <...> В конце пришел Бакст, ругал Судейкина, меня за шапку».

В двух следующих записях речь идет о переживаниях и действиях, описанных в двенадцатой главе «Картонного домика»: «Я больше не могу, я больше не могу: я везде вижу ясно до безумия его лицо, его фигуру, слышу его голос; я не могу ездить на извозчиках, я чувствую его руку под своим локтем. Я никогда не был в таком яснovidеньи и я не возбужден в то же время. Я не могу быть на одном месте, я мечусь как угорелый, и нет покоя, нет конца виденью. Что мне делать? любовь, как ты наказываешь верных тебе!» (23 декабря); «...послал срочную телеграмму с оплаченным срочным же ответом к Судейкиным, умоляя о немедленном ответе; до ночи ничего — это прямо не имеет имени...» (24 декабря).

Наконец, 26 декабря наступает развязка, описанная в четырнадцатой главе повести. А вот как она выглядит в дневнике: «Ездили на *vernissage*; выставка скучновата и бедна, но было много знакомых. Получил письмо от <Сергея> Ю<рьевича>: «Мое долгое молчание считаю извинительным; теперь я спокойнее. Я женюсь на О. А. Глебовой. Шлю Вам привет, мой дорогой друг. Если бы Вы приехали, мы были бы очень рады». Я почему-то вдруг пошел к Баксту, его, к счастью, не было дома, я, побродив по улицам, зашел на Таврическую — никого нет, опять к Баксту — нет; заехал в театр отвезти ноты — никого еще нет, Сапунова нет; было тепло, снежно, мысли тупели и успокаивались от хождения или быстрой езды. Явилась определенность, пустота, легкость, будто без головы, без сердца; м<ожет> б<ыть>, это только первое время, только обманно. Напишу очень

дружески, сдержанно, доброжелательно, не Диотимно<sup>53</sup>. Я имею счастливую способность не желать невозможного. Дружески болтали с Сережей, он писал письмо, будто бы от моего имени Вилькиной, что я близок к смерти; я смеялся у печки. Опять свободен? пуст? легок? Написал эпилог к циклу. Ждем наших из театра. Сегодня большой день для меня, несмотря на видимую легкость. Это потяжеле смерти князя Жоржа. Быть так надутым! Но отчего такая легкость? разве я совсем бессердечный? Вчера еще я мог броситься из окна из-за него, сегодня — ни за что. Но впереди — ничего».

Сохранившиеся письма Судейкина к Кузмину и С. А. Ауслендера к Л. Н. Вилькиной<sup>54</sup> довольно близко соответствуют и тому, что переписано в дневнике, и тексту повести, хотя есть и два довольно важных расхождения. Во-первых, в дневниковой записи опущена фраза: «Я женюсь на Ольге Афанасьевне Глебовой, безумно ее любя», а во-вторых, в тексте повести прибавлена холодно-расчетливая фраза: «Я очень занят и часто не буду иметь возможности отвечать на письма».

Последние две записи, на которые нам бы хотелось обратить внимание, относятся ко времени после развязки. 27 декабря: «Я сгоряча не заметил приписок в письме от Глебовой и от сестры Судейкина с зятем, где они меня приветствуют и зовут к себе. Вот странно, будто роман Fogazza или Серао. По телефону говорил с Вилькиной; она упрекает меня в бессердечности, что я — мумия, пустой, легкомысленный etc». В этой же записи содержится важная информация о том, что повесть о закончившейся истории посоветовал Кузмину написать К. А. Сомов. Последняя же из интересующих нас записей была частично опубликована<sup>55</sup>, однако имеет смысл восстановить сделанные публикатором две купюры. Первая из них частично описывает костюм Кузмина на «вечере бумажных дам»: «Через ногу лиловая перевязь, изображающая нечто вроде фаллоса с красненькой ленточкой на конце», а вторая впрямую соотносится с одним из эпизодов «Картонного домика»: «Иванова читала мое: «Сегодня праздник», рассказывала о Судейкине, что он в конце истории сказал: «Я бы вам дал пощечину» (ср. главу девятую).

Таким образом, материала для сопоставления двух реальностей, повести и дневника, у нас вполне достаточно, и мы можем сделать хотя бы некоторые выводы.

Как кажется, с достаточной степенью определенности можно констатировать такие линии расхождения между «реальностью» и ее воспроизведением в повести: 1) отказ от психологического анализа и предыстории переживаний главных героев повести; 2) ввод в повествование двух влюбленностей (Валентина и Овиновой, Раисы и Мятлева), существование которых дневником не зафиксировано (что, впрочем, не исключает того, что они были в действительности); 3) довольно подробное описание быта старухи Курмышевой; 4) спрессовывание времени и «склеивание» персонажей.

Последняя особенность, конечно, относится не только к повести Кузмина, а скорее является характерной для искусства вообще. Что же касается первых трех, то, как представляется, их появление связано с общими принципами построения «Картонного домика». С нашей точки зрения, отчетливый автобиографизм и отчасти даже памфлетность повести ни в коем случае не предназначались для воссоздания реального быта самого Кузмина и артистической среды около театра Коммиссаржевской, а способствуют концентрированному изображению нравов того круга, который стал объектом описания в повести. Относительно новый для Кузмина (напомним, что лишь в начале сентября 1906 года он сбрил окладистую бороду и снял русскую одежду<sup>56</sup>), этот круг интриговал его своей непривычностью, изысканностью внешнего поведения и открытостью того, что было принято скрывать (вспомним чтение Мятлевым любовного письма Демьянова в присутствии Налимова, что находило соответствие и в реальности дневниковых записей, и повторим, что у Кузмина с Сомовым только что завершился роман), легкостью дружеских и любовных связей. Если принять такое понимание повести, то становится очевидным, что изображение быта старухи Курмышевой (возможно, не случайно фонетически эта фамилия напоминает имя одного из персонажей А. Н. Островского — Гурмыжской) и ее дочери необходимо автору для того, чтобы отделить описание нового для него самого круга от традиционных нравов и обычаев, бывших предметом внимания русской прозы и драматургии XIX века. Если воспользоваться уподоблением самого Кузмина, то основная сюжетная линия «Картонного домика» напоминает произведения Фогаццаро или Серао, тогда как линия, связанная с Курмышевой, — произведения Островского или Лескова, чье творчество было постоянно в центре внимания Кузмина. Этому же контрасту основной и побочной линий служат и эпизоды с Валентиной и Овиновой, Раисой и Мятлевым. Нестандартность поведения главных героев подчеркивается традиционностью неразделенной любви второстепенных персонажей<sup>57</sup>.

Данная особенность повести еще более заметна при сравнении «Картонного домика» с его своеобразным двойником — стихотворным циклом «Прерванная повесть», опубликованным в том же альманахе, что и повесть. Те же самые события (хотя, как мы уже писали, несколько по-иному отобранные) составляют житейскую основу цикла, однако авторская позиция в нем является принципиально иной. Если «Картонный домик» представлял собою законченное произведение (хотя типографская случайность и лишила его этой законченности), то уже само название цикла указывает на отсутствие финальности, подчеркнутое последними строками:

Судьбой не точка ставится в конце,  
А только клякса.

Существенно меняется и облик протагониста: описываемый как «иной» Демьянов сменяется лирическим «я», скольжение по поверхности событий сменяется воспроизведением и пристальным анализом переживаний в душе этого «я», окружающие главных героев персонажи вновь обретают свои имена (Сапунов, Сережа — С. А. Ауслендер), и все это в совокупности заставляет нас воспринимать события более целостно. На фоне несомненной лиричности «Прерванной повести» открыто выраженное авторское и карикатурно-портретное начало «Картонного домика» направлено на создание картины быта и нравов определенного круга людей, с которым автор одновременно хочет и идентифицироваться (отсюда многочисленные автобиографические элементы), и размежеваться (отсюда те особенности художественного построения, о которых мы говорили выше).

Следующий образец прозы Кузмина, который мы намереваемся рассмотреть с нашей точки зрения, — рассказ «Высокое искусство», не единожды бывший в последнее время предметом исследования. В двух работах Г. А. Морева<sup>58</sup> убедительно показана связь героини «Высокого искусства» с ее прототипом — З. Н. Гиппиус, рассказ введен в контекст размышлений Кузмина о символизме и его значении для современной русской культуры, а также определены некоторые закономерности соотношения его содержания с биографией самого автора.

Помимо ставших достоянием печати статей, существует еще одно публично высказанное мнение о прототипической основе рассказа: на конференции «Николай Гумилев и русский Парнас» (Санкт-Петербург, сентябрь 1991 г.) А. Г. Тимофеев выступил с докладом, в котором, в частности, высказал предположение о том, что прототипом Константина Петровича Щетинкина является Н. С. Гумилев<sup>59</sup>. По мнению автора доклада, непосредственным поводом для создания рассказа послужила свадьба Гумилева и Ахматовой в апреле 1910 года, несколько разладившая тесную дружбу Гумилева и Кузмина, сложившуюся в конце девятисотых годов. Несколько огрубляя для краткости и ясности изложения суть доклада, ее можно определить так: психологическую основу рассказа составляет желание «отместить» Гумилеву за разрушение чисто мужской дружбы женским вмешательством (конечно, о сколько-нибудь интимных отношениях речь не шла). Посвящение рассказа Гумилеву служит, как полагает А. Г. Тимофеев, прямым доказательством связи реальной дружбы Кузмина и Гумилева с судьбой Щетинкина: его самоубийство в рассказе является своего рода расплатой за «измену» в реальной жизни.

Нам представляется, что нет никаких оснований проводить столь жесткую параллель между Н. С. Гумилевым и главным героем рассказа. Прав Г. А. Морев, считающий Щетинкина «писателем явно постсимволистской формации»<sup>60</sup>, однако, скорее всего, нет особых оснований думать, что это связывает его с Гумилевым. Прежде всего, стихи Гумилева конца девятисотых и самого начала десятых годов

еще полностью находились в русле символизма «брюсовского» типа. Сборник «Жемчуга», вышедший как раз в 1910 году, заслужил высокие оценки Брюсова и Вяч. Иванова (из-за чего последний был подвергнут резчайшей, находящейся на грани личных оскорблений критике Эллисом, посчитавшим гумилевский символизм профанацией символизма истинного<sup>61</sup>), а новые стихи, писавшиеся в 1910—1911 годах, не знаменовали какого бы то ни было перелома в творческой программе Гумилева. Говорить о его постсимволистской ориентации в то время было явно рано. К тому же стоит отметить, что и личные отношения Гумилева с Кузминым были в те дни вполне дружественными: известная запись Кузмина о знакомстве с Ахматовой<sup>62</sup> вполне миролюбива, да и имя самого Гумилева в его дневнике продолжает встречаться столь же часто и с тем же общим эмоциональным отношением, что и ранее. Мало того: к весне 1910 года относится начало знакомства Кузмина со Всеволодом Князевым, а к лету этого года — всепоглощающее увлечение им, что вряд ли оставляло место для каких бы то ни было эмоциональных расчетов с Гумилевым. Да и вообще, сколько мы можем судить на основании дневника, отношения Кузмина с людьми противоположной ему сексуальной ориентации вполне могли быть дружелюбными и даже дружескими, если не касались непосредственно его страстных увлечений (чего в случае с Гумилевым, повторим, никогда не было).

Но вряд ли можно согласиться и с другим предположением о прототипе Щетинкина, который «представляет собой тип художника, творчески и человечески близкий автору настолько, что в характеристиках, даваемых ему Кузминым, выглядит как alter ego писателя»<sup>63</sup>. Прежде всего здесь, конечно, надо сказать, что в подобной определенной идеологической прозе, к которой несомненно принадлежит и «Высокое искусство», человек сугубо гетеросексуальной ориентации не мог стать для Кузмина собственным alter ego. Вспомним тех героев, которые несут в себе явный отпечаток каких-либо черт личности самого Кузмина: Ваня Смуров, Демьянов, Иосиф Пардов, Орест Пекарский и другие — все или ищущие, или уже нашедшие ту истинную дорогу в любовных отношениях, какой она видится автору. Но не менее важно и то, что Щетинкин в рассказе формально отделен от повествователя, причем с таким расчетом, что здесь вполне могут быть употреблены пушкинские строки:

Всегда я рад заметить разность  
Между Онегиным и мной.

В «Высоком искусстве» жизнь повествователя не только прямо списана с жизни самого автора, но специально для непонятливого читателя добавлено: «Уезжал и племянник мой С. Ауслендер во Флоренцию», а повествователь наделен именем Михаил Алексеевич. Если бы автору нужно было фиктивное сходство повествователя с самим собой, он бы, вероятно, этим и ограничился, ибо уже эти прямые

указания безусловно отождествляют реального человека и литературного героя. Но он намеренно добавляет еще довольно много специфических подробностей, которые ничего не говорят читателю, не погруженному в интимные стороны жизни самого Кузмина, однако полностью, в малейших деталях совпадают с его реальной биографией или, по крайней мере, с той видимостью биографии, какую он создавал в это время для своих ближайших знакомых. К таким подробностям относятся, например, следующие: «...я только и выходил, что к больному приятелю, лежавшему в военном лазарете, да по вечерам поднимался к жившему по той же лестнице дружественному семейству...», что явно соотносится с реальными фактами биографии Кузмина: в зиму 1907—1908 годов, названную в рассказе, в лазарете военного училища долгое время лежал В. А. Наумов, в которого Кузмин был влюблен, а по той же лестнице в доме по Таврической, 25 находилась знаменитая «башня» Вяч. Иванова, куда Кузмин почти каждый вечер поднимался из квартиры художницы Званцевой, где он тогда жил. На основании дневника даже хронология рассказа может быть определена более точно, чем просто названная там зима 1907—1908 годов: первое после довольно долгого перерыва посещение Кузминым театра (опера Моцарта «Дон-Жуан») произошло 22 января 1908 года<sup>64</sup>, однако, конечно, в дневниковой записи не фигурирует никто, хотя бы отдаленно напоминающий чету Щетинкиных.

Для близких знакомых Кузмина не составляло труда угадать, хотя бы приблизительно, кого он описал в следующей фразе: «...я пошел к своему старинному другу, известному художнику, где собрались несколько самых разнокалиберных, но близких лиц: еще один писатель, двое художников, музыкант, чиновник при министерстве двора и три молодых офицера...»

Несомненным автобиографическим признанием было упоминание каноника Мори (не называя его имени), хорошо известного, между прочим, и читателям «Крыльев». Столь же явным для знающего, но ничего не говорящим постороннему фактом стала фраза: «...уже в конце июня я отправился в Новгородскую губернию, где оставался до глубокой осени, предполагая даже зазимовать там». Действительно, Кузмин уехал в Окуловку Новгородской губ., где жил у сестры, 29 июня 1908 года и с редкими наездами в Петербург прожил там почти до конца года. Придание повествователю столь определенных автобиографических черт явно отделяет Щетинкина от реального писателя Михаила Алексеевича Кузмина.

Думается, что сделано это тоже с глубоким расчетом, ибо ситуация рассказа должна, как нам кажется, проецироваться не на литературные споры 1907—1908 годов, а на ситуацию в литературе, обозначенную датой, стоящей под рассказом, то есть августом 1910 года. Напомним, что именно 1910 год был годом наиболее известной из всех дискуссии о символизме. 17 марта Вяч. Иванов выступил с до-

кладом «Заветы символизма» в Москве, в «Обществе свободной эстетики», 26 марта повторил этот же доклад в петербургском «Обществе ревнителей художественного слова», 1 апреля состоялось обсуждение этого доклада, а 8 апреля там же с докладом «О современном состоянии русского символизма» выступил Блок. В майско-июньском номере «Аполлона» эти выступления в оформленном для печати виде были опубликованы, в июльско-августовском номере того же «Аполлона» на них возражал Брюсов. Наша гипотеза состоит в том, что рассказ Кузмина представляет собою прямой ответ на выступления Иванова и Блока, почему и посвящен Н. С. Гумилеву, одному из тех, кто выступил с резкой полемикой на обсуждении доклада Иванова, а 2 сентября сообщал В. Я. Брюсову: «Ваша последняя статья в Весах <ошибка Гумилева. — Н.Б.> очень покорила меня, как впрочем и всю редакцию»<sup>65</sup>, то есть прежде всего «молодую редакцию» журнала, в которой видную роль в то время играл Кузмин.

Конечно, те принципы, которые провозглашает в рассказе Горбунова, могут быть восприняты как общие места символизма в целом. Напомним их суть: «...все мы — «безумцы», «пророки» и еще кто-то»<sup>66</sup> и <...> поэтому будто бы мы не вправе жить, одеваться, говорить, поступать как все...» Реализация же этих взглядов в поэме Щеткина определяется так: «Тема была крайне возвышенна, полутеософская и отвлеченная...» Как параллель к этим словам Г. А. Морев указывает строфу из стихотворения Д. С. Мережковского:

И любовь и вера святы,  
Этой верою согреты  
Все великие безумцы,  
Все пророки и поэты.

Однако при обращении к статьям Блока и Иванова мы без труда можем найти не менее близкие текстуальные параллели. Так, в той самой главе, которая неминуемо должна была привлечь особое внимание Кузмина, поскольку в ней Иванов полемизировал с его статьей (отчасти подсказанной самим же Ивановым) «О прекрасной ясности»<sup>67</sup>, содержалась ивановская формула, определяющая суть «первого момента» в развитии русского символизма, то есть того, который послужил тезой в движении к новому синтезу и тем самым воспринимается автором статьи в качестве верного начального пункта. Антитеза его — «парнассизм» и «прекрасная ясность», добавляющая лишь некоторые дополнительные штрихи к грядущему искусству: «Слово-символ обещало стать священным откровением или чудотворною «мантрой», расколдовывающей мир. Художникам предлежала задача цельно воплотить в своей жизни и в своем творчестве (непрерывно и в подвиге жизни, как в подвиге творчества!) мирозерцание мистического реализма или — по слову Новалиса — мирозерцание «магического идеализма»; но раньше им должно было выдержать религиозно-нравственное испытание «антитезы» — и раз-



лад, если не распад, прежней фаланги в наши дни явно показывает, как трудно было это преодоление и каких оно стоило потерь... Мир твоей славной, страдальческой тени, безумец Врубель!...»<sup>68</sup> Еще более наглядные для нашей цели параллели находим в иллюстрирующем положении Иванова докладе Блока, там, где характеризуется эпоха «антитезы»: «Что же произошло с нами в период «антитезы»? Отчего померк золотой меч, хлынули и смешались с этим миром лилово-синие миры, произведя хаос? <...> Произошло вот что: были «пророками», пожелали стать «поэтами» <...> Так или иначе, лиловые миры захлестнули и Лермонтова, который бросился под пистолет своею волей, и Гоголя, который сжег себя самого, барахтаясь в лапах паука; еще выразительнее то, что произошло на наших глазах: безумие Врубеля, гибель Коммиссаржевской <...> Но именно в черном воздухе Ада находится художник, прозревающий иные миры»<sup>69</sup>. Если прибавить к этому, что, по справедливому наблюдению Г. А. Морева, «уроды» в тексте Кузмина восходят к названию повести Л. Д. Зиновьевой-Аннибал «Тридцать три урода», то аналогии рассказа со статьей Иванова и «иллюстрирующей» ее статьей Блока становятся очевидными.

Но даже более того: в качестве пророчества о будущем искусства Иванов выдвигает понятие «большой стиль», выделяя эти два слова разрядкой и поясняя: «Родовые, наследственные формы «большого стиля» в поэзии — эпопея, трагедия, мистерия: три формы одной трагической сущности»<sup>70</sup>. Судя по всему, поэма, сочиняемая Щетинкиным, вполне может быть определена как мистерия, а само сочетание «большой стиль» с роковой неотвратимостью напоминает заключенное в иронические кавычки название рассказа Кузмина.

Полагаем, сказанного достаточно для того, чтобы быть уверенным в том, что «Высокое искусство» есть в значительной степени полемика Кузмина с выступлениями Иванова и Блока. Но полемика эта не случайно выглядит зашифрованной и не случайно отнесена к персонажу, несущему отчетливое внешнее подобие З. Н. Гиппиус. Литературная позиция Кузмина была такова, что он стремился до последнего момента сохранять добрые отношения со всеми враждебными друг другу литературными группировками. Так, в годы активного противоборства «Весов» и «Золотого руна» Кузмин оказался едва ли не единственным автором, систематически печатавшимся в обоих журналах на протяжении 1907—1909 годов. Так же, на наш взгляд, действовал он и здесь. Отдавая неприемлемые для него взгляды, пропагандировавшиеся Ивановым, персонажу, отождествимому с Гиппиус, и перенося действие в 1907—1908 годы, когда противостояние круга Мережковских и круга Иванова было чрезвычайно острым<sup>71</sup>, Кузмин приглушал непосредственную полемичность по отношению к Иванову, портить отношения с которым ему явно не было резона. И для того, чтобы еще более эту полемичность сгладить, Кузмин добавляет несколько штрихов, по-

казывающих, что он учитывал и оговорки Иванова, касающиеся применимости его теорий к жизни.

Напомним, Иванов заканчивает свою статью увещанием к молодым поэтам, то есть к поколению «Щетинкиных»: «В поэзии хорошо все, в чем есть поэтическая душевность. Не нужно желать быть «символистом»; можно только наедине с собой открыть в себе символиста — и тогда лучше всего постараться скрыть это от людей. Символизм обязывает»<sup>72</sup>. Именно это положение развивает Кузмин, когда изображает Щетинкина «надувающим» свое дарование, желающим стать символистом, не имея для того никаких оснований. Не только само по себе «высокое искусство» ведет к гибели (хотя, конечно, оно — в первую очередь), но также и искусственное желание творить в «большом стиле», не обладая для этого необходимым талантом.

И все же, отнюдь не делая героя своего рассказа собственным alter ego, Кузмин сообщает ему некоторые качества, которыми хотел бы быть представлен в общении с тем же Ивановым. Вспомним запись в дневнике Иванова, относящуюся к 1 августа 1909 года, о личности Кузмина: «С ним можно говорить о поэзии, филологии, музыке, католичестве, старообрядцах, иконах, романтизме, 18, 17 и т.д. веках, о древности — с исключением всякой идеологии и даже обобщений слишком далеких. Поэтому изящная культура без остроумничанья и скепсиса, культ ясной формы, и мудрость чистой феноменологии, и эстетика прагматизма. <...> Его общество полезно. Он не знает *taedium phaenomeni*, терпелив и прилежен ровно»<sup>73</sup>. Всего через неделю в том же дневнике появится известная запись: «Я выдумал для Renouveau (В. Ф. Нувеля. — Н.Б.) проект союза, который окрестил «кларистами» (по образцу «пуристов») от «*clarté*»<sup>74</sup>. Термин «кларизм» будет подхвачен именно Кузминым, а не Нувелем, человеком, практически внелитературным, и, вполне возможно, кузовское истолкование понятия заставило Иванова переменить сделанный им первоначально вывод: «Мне кажется, что пора мистического общения не была для него (Кузмина. — Н.Б.) неплодотворна»<sup>75</sup>. Лишенный прямых автобиографических коннотаций, образ Щетинкина для Кузмина становится отчасти рупором тех идей, которыми автор хотел быть представлен в круге Иванова.

Роман (или большая повесть) Кузмина «Нежный Иосиф» (1908—1909) не принадлежит к числу наиболее популярных его произведений, он практически не входит в сферу внимания критики и литературоведения. Между тем вряд ли случайно Б. М. Эйхенбаум назвал его «особенно характерной вещью»<sup>76</sup>, а Вяч. Иванов занес в дневник свои впечатления от финала романа такими словами: «...Кузмин принес дописанные им сегодня заключительные главы Иосифа. Читая сцены с Мариной, я не мог удержаться от слез. «Роман» в конце было неожиданностью. Кузмин не только исполнил хорошо, что я ему советовал относительно последних глав, долженствовавших со-

брать и углубить роман (к сожалению, в начале испорченный несколькими пошлыми анекдотами), но и превзошел все мои ожидания. Что касается содержания выраженных идей, — можно подумывать, что я диктовал ему их»<sup>77</sup>. И несколькими днями позже: «Кузмин читал Чулкову конец своего романа. Я сказал много сердечного Кузмину об этом религиозном деле»<sup>78</sup>.

Действительно, завершающие главы романа представляют собою редкостное по художественной силе описание подлинной религиозной жизни человека, по существу полностью не принадлежащего ни к одной церкви и в то же время пытающегося объять то подлинное содержание, которое входит и в старообрядчество различных согласий, и в православие, и в католичество. Даже весьма иронически описанное собрание последователей лорда Редстока<sup>79</sup> не лишено в романе некоторого положительного смысла. Не случайно в нем принимает участие и вызывающая глубокое сочувствие автора Соня. Поиски истинной веры всегда оправданны, пусть даже на заведомо ложном пути. Отметим, что подобным же образом в «Плавающих путешественниках» Кузмин описывает теософское общество, хотя сам он к теософии отнесился определенно отрицательно.

Описание свободы перехода от одной конфессии к другой начинается со внешне случайной реплики Андрея Фонвизина: «Друзья мои, нам придется еще подождать и ехать не в скиты, но в место, может быть, еще более святое — в Рим». И далее он же произносит речь, особенно значимую потому, что принадлежит едва ли не самому важному идеологическому герою романа (если не считать загадочного писателя Адвентова): «Слышали ли вы в церквях поминанья и не казалось ли вам, что все эти неизвестные: «Иваны, Иваны, Петры, Павлы, Иваны»<sup>80</sup> плотно живут толпою, предстоят с нами пред Богом? Видели ли вы святцы, где собор ангелов, пророки, мученики, апостолы, преподобные, праведники, благоверные цари, девы и столпники в славе стоят, и не казалось ли вам, что блистающим клиром обстоит они нас в церкви? Святые, мы и ушедшие — одну составляют церковь, во всех живую и действенную». И, наконец, наиболее полное свое выражение это чувство получает в заключительном описании мыслей и переживаний Иосифа: «...Иосиф подошел к окну и, смотря на уходящий ряд крыш и домов, кресты далеких и близких церквей, широкое небо, стал твердить «Roma, Roma», пока звуки не утратили для него значенья и что-то влилось в душу огромное, как небо или купол церкви, где и ангелы, и мученики — блистающий клир, и какие-то папы и начетники <так!>, и милая Марина, и бедная тетушка, и Соня, и Виктор, и сам Иосиф, и он, Андрей, как архангел, и снег на горах, и трава на могиле, и кресты на далеких, чудных и близких, с детства знакомых церквях».

Можно полагать, что содержание и формулировки этой части романа были Вяч. Иванову так близки именно потому, что за ними отчетливо провиделся собственный опыт обретения веры, а не абстракт-

тные рассуждения, какими бы правильными они ни выглядели. Об этом, как кажется, свидетельствуют суждения Иванова, зафиксированные дневником. Так, 5 сентября 1909 года он записывает: «Мы говорили о его (Кузмина. — *Н.Б.*) религиозном синкретизме александрийской эпохи, напечатлевшемся в ряде на половину подлинных видений этого цикла. Я советовал ему дать очерк своего религиозного развития или изложить свою *profession de foi* в проповедях, аллегориях и видениях. Мы должны все знать, как выросла в нем эта душевная гармония, как далось ему сочетать в своей душе Розу и Крест»<sup>81</sup>. И несколькими днями ранее, 2 сентября: «Вечер был посвящен мною воспитанию Бородаевского посредством Кузмина. Между прочим я сказал: «вы видите в нем эту религиозную гармонию, вместо которой в вас раскол?» Б. сказал: «вижу и завидую». Я в ответ: «завидовать нечего, это достижимо, средство простое, — его нельзя назвать вслух». И намекнул: «непрестанная молитва». Сумма молитвы в жизни К. так велика, что сделала его цветочным и плодоносящим. Молитва — это дыхание. Обилие и непрерывный ритм любви, благорастворение воздуха, в котором он живет»<sup>82</sup>.

Меж тем собственно автобиографический аспект в романе, как представляется читателю, отсутствует; во всяком случае, нет никаких указаний на то, что действующие лица несут в себе какие-либо черты личности самого Кузмина, за исключением того общелитературного претворения собственной биографии в художественную плоть произведения, которое существует всегда.

Однако обращение к дневнику Кузмина позволяет увидеть некоторые моменты, буквально перенесенные из действительности в роман. Вспомним один эпизод, прося прощения за непомерную величину цитаты (необходимость этого выяснится из дальнейшего): «...сам он (Иосиф. — *Н.Б.*) сидел в почетном углу с Виктором, как-то старичком, глухим на одно ухо, и матерью Броскина, генеральскою нянькою. <...> Гости были уже не трезвы и говорили шумно и откровенно, и степенные рассказы генеральскою няньки о детстве Саши, о попугае, хозяйских детях, — доносились как сквозь воду. <...>

Наклонясь через стол к Пардову, <Броскин> продолжал, — хор цыганок позвольте пригласить? Они безобразничать не будут. <...>

Вошедшие три женщины были встречены общими криками. Две, толстые, были в капотах с голыми руками, третья, гладко прилизанная, в темной юбке и белой блузочке — барышней.

— Таня, Люба и Верочка, прошу любить и жаловать! <...> Толстая Танька, перестав пить, вплотную подошла к Пардову, говоря: — Голубчик, отчего Вы меня не поцелуете? — Пошла, дрянь! Нашла с кем целоваться? Знаешь ли, кто это? — закричал на нее Саша и добавил, обнимая Иосифа. — Дайте я вас лучше поцелую.

— Я очень рад, — бормотал тот, когда Броскин, навалившись всем телом, поцеловал его в губы. <...>

От Саши пахло пивом, он икал и готов был уснуть. Мария Ильинична вошла и заговорила сразу истерически:

— Вы простите, вы простите нас. Вы для нас — как Бог, я руки Ваши целую (и она действительно их поцеловала), что вы, зная, кто я, кто Шура, пришли к нам. Я знаю, вы — скромный, вы — женатый, вы — дворянин, и пришли к нам от души. Шурка тут не причем, все я, все я, чтобы не знал горя мой Саня. Не навек же это. Вот справимся, бросим эту квартиру, уедем в провинцию, займемся торговлею, мы не пропадем, а пока простите нас.

Саша вдруг заснул, положив голову на колени соседа и скрежеща зубами. Женщина заволновалась:

— Саня, что ты? Ляг на постель!

Не открывая глаз, тот отвечал:

— Я не сплю, у меня гости — друг мой Иосиф Григорьевич.

— И он ляжет, ляг, ляг! Лягте, — обратилась она уже к Иосифу, — на минуту: он сейчас совсем заснет.

Она проворно положила к стене две из четырех высившихся подушек, и Иосиф лег, будто сквозь дым видя, как взгромоздил Саша на кровать и свое ослабевшее, белое, пьяное тело. Иосифову руку хозяин держал крепко и временами скрипел зубами. В кухне кто-то шумел, ища свой кошелек. Ильинична поспешила туда, и смутно слышал Иосиф хлопанье дверьми, шаги, далекие крики на дворе: «Он ее зарезал насмерть! Она не дышит!» — кричала прислуга по коридору. «Дворник, дворник!» — опять хлопанье дверями, крики, возня. Саша спал, лампы пылали; через двор в окне зажгли зеленую лампу и сели за стол писать два человека. Там тихо, спокойно, целомудренно! Хозяйка вернулась и, приставив стулья, взяла одну из подушек и легла по ту сторону мужа.

— Кого это у вас зарезали? — спросил Иосиф шепотом.

— Так, зевала Наташка, никого не зарезали. Повезло этой Таньке: то в бане чуть не утопили, то мичман кортиком в живот колот, теперь немец чуть не зарезал. Хороший она человек, да к мужчинам больно липка. Как она на Саньку зарилась, да как задала я ей рвань, что плешива ходит, так только рядом посидеть смеет...

И Марья Ильинична снова заговорила о своей любви к мужу, как-то нелепо и задушевно; потом заснула. Лампы пылали, через двор зеленела лампа. <...> Иосиф привстал; рука Саши крепко держала его и была влажна и тепла. Пардов осторожно провел другой рукою по руке и груди спящего, они были теплы, почти горячи под ситцевой рубахой. <...> Саша, проснувшись, прошептал, глядя в открытые глаза Иосифа: «недреманное Око Господа Нашего Иисуса!» — и снова заснул. Когда Пардов хотел освободить свою руку, спящий его оцарапал и пытался укусить.

Вдруг кто-то истошным голосом прокричал: «Андрей, Андрей!» — и затих. Иосиф свободною рукою разнял пальцы Броскина и, перескочив через обоих спящих, вышел в кухню».

Казалось бы, в данном отрывке нет ничего особенного, он естественно входит в полуавантюрную структуру романа. Однако чтение дневника показывает, что эти приключения Иосифа не только буквально списаны с натуры, но даже сохраняют имена действующих лиц. Единственное существенное расхождение — соединение событий, происходивших в разные дни, 7 февраля и 4 апреля 1906 года. Записи от этих чисел мы позволим себе процитировать столь же подробно, как и текст романа, чтобы наглядно продемонстрировать совпадения не просто буквальные, но и свидетельствующие, что скорее всего при создании текста «Нежного Иосифа» перед Кузминым лежал дневник.

Итак, первая запись: «В комнате, тесно уставленной комодом, кроватью с пуховиком, сундуками, с лампадами перед иконами, с 5-ю канарейками, жаркой, были: Броскин без пиджака, его мать, генеральская нянька, жена, толстая, белая и маленькая, и женщина с ребенком, спящим на кровати. <...> Как у всех, показывал мне Александр альбом, разговаривали о Казаковых, о прошлом, о деревне; генеральская нянька говорила о господс<ких> детях, о попугае, коте, о молодости Саши...»

Гораздо более подробно и значительна запись вторая, сделанная в день празднования Пасхи: «Зашел к Саше <...> Пришла его жена, полная обиды на Степана, на Казакова, говорила истерически: «Как мы боялись, чтобы вы не узнали; мы ведь не знали, что вам все известно... и вы пришли все-таки... я знаю, вы скромный, вы дворянин и, зная, кто я, что у нас за квартира, пришли к нам<sup>83</sup>. Я целую Ваши руки — (и она правда поцеловала их) — и вот, перед иконой, верьте: Саня тут не при чем. Всё я, всё я... и для того, чтобы иметь при себе моего Саню <...> Он без дела, но Бог даст, всё переменится, развяжусь с этой квартирой, уедем в провинцию, и мы не пропадем» <...> Саша — тотчас пришел, сел против меня и заснул у меня на коленях, скрежеща зубами. Потом стал валиться; в кухне кто-то кого-то бил по лицу и говорили: «А, сволочь, будешь меня дразнить? будешь?» Плакали. Саша проснулся; спросил позволения позвать хор цыганок. Пришла большая Танька с коровьими глазами в розовой кофте <...> женщина тихо плакала и потом сказала: «Голубчик мой, почему вы не хотите меня поцеловать» — и опять привстала. Саша закричал: «Разве ты, блядь, можешь целовать Мих<аила> Ал<ексеевича>, дайте, лучше я вас поцелую. Ты знаешь, что такое современная музыка?» И, взяв мой затылок, опять поцеловал раз пять и потом мою руку.<...> Саша не хотел спать, буянил, женщина говорила: «Ляг, ляг, и Мих<аил> Ал<ексеевич> ляжет с тобою». — «Как он уснет, можете уйти». Саша согласился и, положив меня к стенке, лег, обнявшись и опять целуя меня; я плохо сознавал, что это не кошмар и здесь сидит его жена и тоже целовал его. Он уснул, я задремал; на кухне кто-то кричал, где его кошелек, ругались, хлопали дверями и долго по лестнице, под воротами слышались дикие крики. В комнате пылала лам-

пада. Саша тихо храпел, я не мог высвободить руки из-под его головы и другую из его рук и когда я сделал усилие, он оцарапал мне руку и хотел укусить. Проснувшись и увидав меня с открытыми глазами, он пробормотал: «Недреманное око Господа<sup>84</sup> нашего Иисуса» и, снова поцеловав меня, заснул. Пришла хозяйка, примостила стулья и, спросив у меня подушку, легла с другой стороны Саши, и через спящего мы откровенно и как-то нелепо разговаривали; она жаловалась, хвалила меня, говорила о своей жизни, любви к Саше, его характере. Прибежала Наташа: «Александр Ильичична», там у Таньки немец все перебил и ее чуть не задавил». Та горошком скатилась. «Дворник, дворник», опять хлопанье дверями, крики, драка. В коридоре раздирательно кричала Аннушка: «Задержите его, задержите его, он ее совсем убил, она не дышит». Шлепание ног, тихо, далеко за двором на улице крики. Лампада пылала. Саша спит, прижавшись к моему плечу; в окне через двор зажгли зеленую лампу; как мирно, целомудренно сидеть с ней и заниматься, быть чистым! Хозяйка вернулась. «Оживела, как воду-то вылили на нее. Повезло этой роже на праздники: вчера чуть в бане не утопили, сегодня чуть не задавили. Хороший она человек, да уж к мужчинам больно липка. Ох, в Саньку моего как была влюблена, да как задали ей рвань, что плешивая ходит, так только рядом смеет посидеть». Она заснула, сколько прошло времени, я не знаю. Тихонько встав, я не мог их добудиться. Поцеловав Сашу, перелезши через Александр Ильичичну, я одел кафтан и ушел. Было четверть десятого».

Поразительное совпадение не только хода событий, но и самого стиля романа с дневниковыми записями несомненно свидетельствует, что Кузмин непосредственно, лишь внеся некоторые незначительные коррективы в расположение эпизодов, перенес их из дневника в текст романа, тем самым, незаметно для читателя, отождествив себя на некоторое время с героем романа. Тем самым текст получил добавочное личностное измерение, вряд ли уловимое глазом непосвященного человека, однако чрезвычайно существенное для самого писателя и ряда его ближайших друзей, которые были посвящены в его жизнь и довольно регулярно слушали чтение дневника (к этим людям относился и Вяч. Иванов). Не лишним, видимо, будет отметить, что для этого круга людей неизбежно должно было процариваться на события романа и то эротическое напряжение, которое присутствует в описаниях свиданий с Броскиным на дневниковых страницах. Напомним, что о гомосексуальных контактах Броскина открыто говорится в романе<sup>85</sup>.

Соединение в структуре произведения идейной насыщенности религиозного поиска, отчасти совпадающего с направлением духовного развития Вяч. Иванова (и, что еще важнее, осознаваемого именно как сугубо идеологический текст, где не столь трудно заметить аналогии с учением Владимира Соловьева), с автобиографизмом, буквальным перенесением реальных эпизодов и даже фамилий

в текст, позволило Кузмину сделать представляющийся первоначально чисто любовно-авантюрным роман повествованием об исканиях духа одного человека, проходящего через массу искусов и обращающегося в конце концов к истинной полноте веры. Именно личностность и тем самым особая искренность, пусть даже не ощутимая читателем-современником в полном объеме, придавали последним главам романа смысл откровения и поучения.

Таким образом, рассмотрение автобиографических элементов в раннем творчестве Кузмина (конечно, далеко не полное) позволяет даже при первом взгляде на проблему констатировать постоянное перемещение акцентов в принципах построения сюжета, стиля и пр., а особенно образа автора, колеблющихся от полной идентификации с действительным автором (как в «Высоком искусстве») до безличности и растворенности в героях произведений. Читатель вовлекается в сложную игру повествовательных возможностей, обнажающих не менее сложную структуру самого текста, внешне кажущегося типичным образцом «прекрасной ясности». Вне осознания этой сложности построения невозможна, на наш взгляд, более или менее адекватная интерпретация раннего творчества М. Кузмина.



## ИЗ КОММЕНТАРИЯ К СТИХАМ ДВАДЦАТЫХ ГОДОВ

### 1

*В. Ф. Маркову*

Комментируя (совместно с Дж. Мальмстадом) стихотворения Кузмина, В. Ф. Марков придумал замечательную аббревиатуру «эпрбуирт», расшифровываемую: «Это предоставляется разгадывать более удачливым и расторопным толкователям»<sup>1</sup>. И вряд ли можно признать случайным, что появилась она применительно к поздней поэзии Кузмина, одной из наиболее загадочных во всей русской литературе.

Дело здесь даже не в объеме и изысканности знаний Кузмина, восходящих еще к годам юности (сохранившиеся в РГАЛИ и еще ждущие публикации записные книжки Кузмина ранних лет пестрят самыми разнообразными названиями книг), но и в том, что для него не существовало принципиальной границы между литературой (и — шире — культурой) «высокой» и «низкой», расстояние меж «стихами» и «сором» (по известной ахматовской формуле) было самым минимальным. С такой же легкостью, как в его стихи входило «житейское», в них попадали и события политической повседневности, и обрывки услышанных мелодий, и мимолетные уличные разговоры, и прочитанное в каком-нибудь «Синем журнале» или «Аргусе». И нельзя сказать, чтобы это происходило «на фоне» увлеченности исключительно серьезными проблемами, как бы случайно. Нет, для творчества Кузмина была в высшей степени характерна ориентированность на принципиальное неразграничивание «высокого» и «низкого», как и самых различных культурно-исторических эпох.

Очевидно, такое отношение к источникам собственного творчества в значительной мере сформировалось у Кузмина еще в юности под влиянием бесед и переписки с Г. В. Чичериным. Позволим себе привести весьма характерный пример из письма Чичерина к Кузмину от

18/31 января 1897 года: «Кстати об александрийско-римском мире: ты не оставил мысли о Kallista, помнишь? в газетах я часто читал большие похвалы Chansons de Bilitis (Pierre Louÿs), это подражание антологиям того времени; иногда, говорят, грязновато, в общем очень хвалят, какой-то ученый немецкий историк написал книгу о них, я не заметил его имени, это было в дороге. У P. Louÿs также — роман «Aphrodite», — говорят, очень грязно. — Если ты захочешь читать «Pistis Sophia», вот полное заглавие: «P<istis> S<ophia>, opus gnosticum e codice manuscripto coptico latine verti» Schwartz ed. Статья Köstlin о ней очень верна, потому что суммирует в одну картину рассыпанное (K<östlin>. Das gnostische System des Buches P<istis> S<ophia>, Theolog. Jahrbücher, B. XIII, 1854). Кажется, мы решили взять оттуда для «Памфилы» только воззвания P<istis> S<ophia> (в виде как бы литании), без отнош<ения> к ее метафизике, а чудную, идеальную картину мира из нее выделить для чего-нибудь особого (эта картина суммирована у Köstlin). Я очень, очень рад, что ты стал видеть и былины — этот удивительно широкий эпос, какового не знают германцы, величавый, мировой, сияющий как полдень. Лучший сборник — «Онежские былины» Гильфердинга, он попал в самый центр былинных традиций; былины у него расположены по певцам, в начале каждого певца — его характерист<ика>; пробежав ее, сейчас видно, ценные ли образцы у этого певца; в предисловии сборника (очень ценном вообще при ознакомлении с былинами) названы кое-кто из лучших певцов. Я продолжаю разбирать Врхлицкого, а относит<ельно> Словацкого не теряю надежды со временем, когда сам с ним хорошенько познакомлюсь (теперь я в него только взглянул и увидел все его богатство), познакомить с ним тебя; мне трудно объяснить, в чем, но я чувствую, что это один из тех, к кот<орым> ты наиболее близок — ближе гораздо, чем к колоритным или мраморным Flaubert, Leconte de Lisle (с ними ты сходишься только по излюбл<енным> предметам, по эстет<ическим> вкусам в общем смысле), — ближе, чем к Калидасе, с кот<орым> ты имеешь нечто общее, интенсивно ароматное и упоенное (Врхлицкий в эпосе, по роскоши, profusion упоительных образов иногда напоминает индийскую поэзию; близость славянства и Индии часто в мистич<еских>, созерцат<ельных>, пессимистич<еских> наклонностях»<sup>2</sup>.

Известна реакция Кузмина на извещение о «Песнях Билитис»<sup>3</sup>, но для нас в данном случае важна не она, а сам стиль и дух отношения Чичерина (выступающего в данном случае, как и в большинстве других, наставником Кузмина) к различным явлениям мировой культуры, когда в одном ряду стоят «Pistis Sophia» и ее научные разборы, русские былины (также оцененные с профессионально фольклористических позиций), поэзия Я. Врхлицкого и Ю. Словацкого, газетные известия о произведениях П. Луиса. Переплетаясь, все это создает особый, неповторимый колорит как переписки Кузмина и Чичерина, так и вообще всего стиля жизни и мышления корреспондентов.

Исходя из этого общего представления о стиле поэтического мышления Кузмина, попробуем проанализировать два его стихотворения, оставленные в «Собрании стихов» практически без комментария и даже без «эпрбуирт», но определенно между собою связанные как образными ассоциациями, так и общим подтекстом.

Сначала о подтексте. Еще в конце XIX века А. Н. Пыпин опубликовал рукопись из собрания Императорской Публичной библиотеки, где его (как и наше) внимание особенно привлек раздел «О философических человечках, — что они суть в самом деле и как их рожать?». Вот текст этого раздела.

«Сие происходит следующим образом: возьми колбу из самого лучшего хрустального стекла, — положи в оную самой чистой майской росы, в полнолуние собранной, одну часть, две части мужской крови и три части крови женской; но заметить должно, чтоб сии особы, если только можно, были целомудренны и чисты; потом поставь стекло оное с сею материею, покрыв его слепою крышкою, сохранно на два месяца для гниения в умеренную теплоту, — и тогда на дне оною ссядется красная земля. После сего времени процеди сей менструм, который стоит наверху, в чистое стекло и сохрани его хорошенько; потом возьми одну грань тинктуры из царства животных, — положи оную в колбу, поставь ее паки в умеренную теплоту на один месяц, — и тогда в колбе сей подыметя кверху пузырек. Когда ты усмотришь, что покажутся жилки, — то влей туда немножко твоего процеженного и согретою менструм и сохрани поспешно колбу, закупорив ее крепко, старайся токмо, чтобы не много шевелить оную, оставь ее паки бродить целый месяц, то оный пузырек будет делаться от часу большим; по прошествии 4-х недель паки влей туда немного оною менструм, — и сие делай четыре месяца сряду; однако ж всякой раз вливай более менструм, нежели вначале. После сего времени, когда услышишь нечто шипящее и свистящее, то подойди к колбе, — и, к великой радости и удивлению твоему, ты увидишь в ней две живые твари.

Здесь примечай. Ежели кровь, из коей приготовлен Оссег и из которой выросли сии муштинка и женщина, взята из людей нецеломудренных, то муштинка будет половина зверь, — также и женщина будет снизу ужасного вида. Ежели же кровь сия взята от особ целомудренных и чистых, то ты будешь радоваться ими и взирать на них с сердечным веселием, сколь любезными естество их составило; но они будут не выше одной четверти аршина; однако ж шевелятся и движутся, ходят взад и вперед в колбе; в середине же вырастет дерево, украшенное всякими плодами.

Ежели ты хочешь сохранить их и желаешь, чтоб они паче и паче возрастали, то возьми две грани астрального камня прежде, нежели оный увеличится, и столько же камня растений, сотри хорошенько обе тинктуры в твоем сохраненном менструм, налей оные несколько в колбу чрез трубочки, долженствующие быть на стороне колбы, да-

бы не было нужды часто открывать оные и не входил бы в нее воздух, который вреден для сих тварей, — и налей на самое дно оные, а потом заткни трубочки оные накрепко, и тогда вскорости начнут произрастать всякие травы и древа; однако ж ты должен каждый месяц подливать сим образом; и так можешь ты сохранить целой год. А по прошествии сего времени ты от них узнаешь все то, что тебе захочется знать из природы; они будут тебя бояться и чтить, — но более шести лет жить они не могут, на седьмом году исчезают (кончаются).

Сие представляет тебе ясно, как первые наши прародители были в раю и как произошло их падение; ибо после шести лет ты увидишь, что сии твари, которые до сего времени от всего ели, исключая того цвета, который в самом начале показался в середине колбы, теперь начинают иметь желание и от сего вкусить! И сего ради вверху гелма<sup>4</sup> составляется чад из облака (туман), который становится час от часу сильнее, наконец делается красен, как кровь, и даже огонь начнет из себя выбрасывать; в сие время оба человека ползают и стараются сокрыться, — и сие видеть весьма жалостно; но и сие паки переходит; однако ж, как скоро ты усмотришь в колбе сей знак, то не вливай более в колбу того менструм, которым ты сохранял доселе жизнь тварей твоих; засим последует в колбе великая засуха, все растлится, а человеки и умрут даже. По сем разверзется земля, начнет и огонь ниспадать сверху. Ужасно видеть сие! При сем случае, ежели колба мала, разрывается в куски и великой вред причиняет. — Сего ради колба должна быть твердая и толстая, и чем больше, тем лучше, фигура же ее должна быть круглая. И так сие изрыгание огня продолжится целой месяц, потом настанет тишина, и все вместе стопится: ты увидишь в колбе четыре части, одна над другою ссевшиися; на верхнее не можно будет глядеть по причине великого сияния и цветов; в середине хрустальная часть, за сею следует красная, как кровь, — и в самом низу черной дым, беспрестанно курящийся.

Верхнее в колбе со многими красками представляет небесный Иерусалим со всеми его жителями; следующее за сим хрустальное изображает стеклянное<sup>5</sup>, третье показывает красное великое стеклянное море, чрез которое должны проходить и очищаться те, кои в сей жизни не сотворили истинного покаяния<sup>6</sup>. Внизу представляется вечное осуждение, мрачное жилище диаволов и нечестивцев, — и хотя б сто лет стояла у тебя земля сия, то беспрестанно б она курилась; но ежели землю сию положишь в реторту и дашь ей в печке огонь постепенной, то воздымется огненный горящий сублимат, который легко все возжигается; если же, напротив того, выбросишь вон сию землю, то делается она илом, наподобие жабы, и ползет в землю<sup>7</sup>.

Следует заметить, что вообще этот текст не прошел мимо внимания русских поэтов начала XX века. Его законспектировал Блок, и в некоторых его стихотворениях не без оснований усматриваются отдаленные параллели с данными строками<sup>8</sup>. Однако несомненно, что

наиболее значительное воздействие было им оказано на два стихотворения Кузмина: «Адам» из сборника «Нездешние вечера» (написано 14 июля 1920 г.<sup>9</sup>) и «Искусство» из книги «Параболы» (май 1921 г.).

Хронологическая близость и композиционная симметрия расположения стихотворений в книгах («Адам» — третье стихотворение от конца «Нездешних вечеров», а «Искусство» — четвертое от начала «Парабол») лишний раз указывают на неслучайность их связей с общим источником и, следовательно, через его посредство — друг с другом.

Однако обратим внимание, что исходный текст довольно последовательно распределяется между двумя стихотворениями: в «Адаме» — история грехопадения и тем самым самоуничтожения двух го-мункулусов, а в «Искусстве» — сам процесс их создания из «тумана и майской росы» (характерно, что в источнике рецепт иной — майская роса и кровь; туман появляется лишь в конце, уже перед гибелью Адама и Евы, не принимая никакого участия в их сотворении; может быть, излишне будет сказать, что кровью кончается предшествующее «Искусству» стихотворение «Легче пламени, молока нежней...»: «А кровь все поет глуше и гуще»). При этом ни о каких го-мункулусах в «Искусстве» речи нет, они оставлены за рамками повествования. Но восстановление первоначального контекста заставляет нас воссоединить эти два стихотворения и попробовать отыскать в них то, что в замысле поэта их объединяло.

Прежде всего, как нам представляется, речь должна идти о поэтическом творчестве как точной аналогии с Божественным сотворением мира. В стихотворении «Искусство» об этом нет ни слова, в нем искусство уподоблено алхимическому деланию, когда метаморфозы вещества лишь подчеркивают «неуничтожаемость» единого поэтического замысла:

Кора и розоватый цвет, —  
Все восстановлено из праха.  
Кто тленного не знает страха,  
Тому уничтоженья нет.

Видимо, и метафорический «ветра буйный конь» в следующей после процитированного нами четверостишия строке достаточно очевидно связан с тремя конями из Апокалипсиса, неспособными качнуть «верхушки легкой» (в дополнение к широко распространенному мнению о легкости поэзии Кузмина процитируем дневниковую запись от 18 апреля 1921 года: «О.Н. <Арбенина> передавала мнение Гумма о легкости моего пера»<sup>10</sup>).

Необходимо сказать, что, вопреки установившемуся мнению (и в некоторые периоды — вполне подтверждающемуся документально), дневник Кузмина за эти годы показывает его самый пристальный ин-

терес к политическим событиям, вызванный, в частности, и тем, что они были способны самым прямым образом коснуться его жизни и жизни наиболее близкого ему тогда человека — Ю. И. Юркуна. После ареста и довольно продолжительного заключения Юркуна в «казармах на затонном взморье», вспомнутых впоследствии в пропущенном стихотворении из «Северного веера», Кузмин имел все основания опасаться нового ареста как во время Кронштадтского восстания, так и позже, в грозовой атмосфере конца весны и всего лета 1921 года. И на это накладывалась тревога по поводу не столь уж давно (на Новый год) начавшегося романа Юркуна с О. Н. Арбениной, дневниковая запись о котором отнесена к 16 мая. Сильнейшее внутреннее беспокойство катаргически разрешается в стихотворении уверенностью в неизменности истинного бытия в искусстве, для которого не страшны никакие превращения.

Этот семантический слой стихотворения достаточно ясен, и дополнительные соображения, приводимые нами, лишь уточняют его, позволяя опереться на конкретные факты жизни Кузмина этого времени. Однако обращение к розенкрейцерскому тексту, процитированному выше, выявляет еще одну безусловную аналогию: поэт с помощью алхимического делания не просто творит ряд превращений, но прежде всего становится Демиургом, творцом людей. И это возвращает нас к «Адаму» с его повествованием о колбе и живущих в ней Адаме и Еве. Их история в точности повторяет описанную в старой рукописи, с тем, однако, изменением, что она заключена в композиционную рамку, являющуюся наиболее содержательно важной для стихотворения:

В осеннем кабинете  
Так пусто и бедно  
.....  
По-прежнему червонцем  
Играет край багет,  
Пылится острым солнцем  
Осенний кабинет.

Именно жизнь этого кабинета, а не жизнь внутри колбы, уже заранее известная по библейскому преданию, интересует в первую очередь поэта. Не только те двое, что находятся в колбе и в очередной раз проигрывают навеки предуказанную историю, но и наблюдающие за ними обречены жестокой судьбе:

О, маленькие душки!  
А мы, а мы, а мы?!  
Летучие игрушки  
Непробужденной тьмы.

Творец малого мира сам оказывается в положении искусственных Адама и Евы, сам подвержен действию высшей силы, с которой

боротся бесполезно, пусть даже она является «непробужденной тьмой» (а скорее — именно потому, что она ею является).

Если опять-таки обратиться к дневнику Кузмина, то записи, предшествующие созданию «Адама», не менее выразительны, чем записи 1921 года. Так, например, 24 марта н.ст.: «Боже мой, Боже мой! где все? где? Теперь и скромная жизнь, смиренным швейцаром<sup>11</sup> исчезла, даже монастырь, даже нищими. Я не говорю про Альберовскую жизнь, но где Нижний, Окуловка, зять, даже Евдокия, даже лавка, даже Ландау, даже советский хлеб Зиновия?<sup>12</sup> Где Пасха, пост, весна, кладбище? Неужели головой в прорубь? <...> Печально я думал о тепле, не то пчельнике, не то яблочном саду. Неужели и там большевики все засрала?»; 27 мая: «Я не считаю себя пупом земли, но внешняя жизнь такова, что отсекает разные земные пристрастия. Сначала половые, направляя все на еду. А теперь и еду. Я думал сначала, что это импотенция, но нет. Просто поставлено на десятое место. Конечно, большевики тут не при чем и все равно прокляты и осуждены. Но подневольный режим делает свое дело. Жестокое, но, м<ожет> б<ыть>, благотельное»; 7 июня: «Ховина рассказывала, что Брик поступил в Ч.К. Это и не удивительно. Лили Юрьевна контролирует заводы. Эльза живет с мужем на Таити. Там у них кокосовые плантации, дома повар-китаец, five o'clock'и и т.п.». И, наконец, через три дня после создания стихотворения, 17 июля: «Разговоры такие, что все с большей тревогой и сомнением задаешь себе вопрос, не новые ли это формы жизни, черт бы их побрал!»

Не будем утверждать, что содержание всех этих записей непосредственно отразилось в стихотворении, однако настроение поэта в дни, предшествовавшие его созданию, они рисуют достаточно ясно. Становление новых форм советской жизни вызывает у него глубокую тревогу, тем более своим зачастую противополоственным слиянием с формами прежними (запись о Бриках и Эльзе Триоле). Поэтому и жизнь «кабинета» в стихотворении, несмотря на внешнюю устойчивость, в любой момент оказывается подверженной самым неожиданным и ужасным испытаниям, которые должны закончиться тем же, что и история гомункулических Адама и Евы:

Все — небо, эмбрионы  
Канавкой утекло.

Но, однако, за всем этим оказывается возможным провидеть и некую духовную опору, о которой менее чем через год будет сказано в «Искусстве». Вопросы одного стихотворения находят ответы в другом, а оно, в свою очередь, разрешается ассоциациями с первым. Таким образом, они составляют своего рода «двойчатку», замкнутую в себе и обладающую единой семантической системой, связанной с общим источником.

Думается, такой вывод должен несколько скорректировать то представление о поэзии Кузмина, которое создается после блестяще-

го анализа стихотворения «Конец второго тома», проделанного О. Роненом, где демонстрируется кузминское «карнавальное травести-рование сакральной темы»<sup>13</sup> с беглым указанием, что она может трактоваться и серьезно, как в стихотворении «Рождество» из тех же «Парабол». Как представляется нам, игровая и карнавализованная трактовка эсхатологических тем, о которой применительно к Кузми-ну говорит О. Ронен, находится на уровне гораздо более поверхност-ном, чем тот, что оказался затронут нами. Действительно вольно об-ращаясь со многими священными текстами в целом ряде стихотворе-ний (и не только поздних, о которых идет речь и у нас, и у Ронена, но и достаточно ранних), Кузмин в подтексте решительно сохраняет верность тому, что внешне десакрализирует. Дополнительным сообра-жением на этот счет может служить следующее: не лишено вероя-тия, что Кузмин узнал о процитированном нами тексте не непосред-ственно из книги (или первой публикации статьи) Пыпина, а из гораздо более популярного источника. А. В. Семяка в статье «Русское масонство XVIII века» пересказал достаточно близко к тексту если не ту же, то аналогичную рукопись (не ссылаясь при этом на Пыпина)<sup>14</sup>. Если спра-ведливо предположение, что Кузмин читал статью Пыпина и/или Се-меки, то вряд ли он мог пропустить еще одно соображение, находящее-ся неподалеку: «По своим идеалам розенкрейцеры происходили от гно-стиков II и III века, стремившихся проникнуть в тайны Божества»<sup>15</sup>. Достаточно вспомнить, какое значение придается гностицизму в миро-воззрении Кузмина вообще, что уподобление своей эпохи — прежде всего пореволюционных годов — второму веку нашей эры содержится в «Чешуе в неводе», чтобы по достоинству оценить эту параллель. Соот-ветственно, должна выстраиваться цепочка: розенкрейцерство — гно-стицизм — современность, и тем самым мы получаем возможность рас-сматривать два этих стихотворения в гораздо более широком контексте, что, однако, уже выходит за рамки наших задач.

## 2

В первой части статьи мы уже делали отсылку к проведенному О. Роненом анализу стихотворения «Конец второго тома» (май 1922<sup>16</sup>). Продемонстрировав целый ряд параллелей этого стихотворения (осо-бо отмеченного тем, что оно практически завершает текст сборника: после него идет лишь небольшая поэма «Лесенка») как с библейски-ми легендами (2-я Паралипоменон, гл. 32; Даниил, гл. 5; Откр., 8, 6—13; Иоанн, 19, 27, а также очевидные отсылки к книге Бытия), так и с произведениями русской поэзии (прежде всего со 2-м томом лирики Блока), французской прозы (Ретиф де ла Бретон и Ан. Франс), эсхатологическими пророчествами, гностической легендой и пр., исследователь описывает его как травести-рование эсхатологиче-ских мотивов, столь популярных в русской поэзии того времени.



Вовсе не думая отрицать снижения (и тем самым остранения) сакральных тем в стихотворении, обратим все же внимание на то, что для Кузмина важно в первую очередь не это. «Конец второго тома», то есть конец царства Второго завета и неминуемое за этим пришествие Третьего<sup>17</sup>, для Кузмина лишь внешне становится предметом иронии и насмешки, на самом же деле глубоко волнует его и будучи частью личного опыта.

Глубинная связь с современностью подчеркнута в стихотворении не только текстуально («И было это будто до войны <...> и вдруг мне показалось, Что я иду уж очень что-то долго: Неделю, месяц, может быть года»), но и рядом подтекстов. Наиболее очевиден из них тот, который скрывается за превращением «чернобородого ассирийского царя» в Пугачева (сначала он делается на него «точь-в-точь похож», но затем уже прямо говорится: «От Пугачева на болоте пятак Одна осталась грязная»). Единственный признак, по которому определяется сходство ассирийского царя и Пугачева, — черная борода, что определенно указывает на источник Кузмина — «Капитанскую дочку». Не развивая очевидных возможностей, вытекающих из определения этого подтекста (и прежде всего — параллелей со сном Гринева), отметим лишь неизбежность ассоциации со знаменитой фразой, многократно повторявшейся в эти годы: «Не приведи Бог видеть русский бунт — бессмысленный и беспощадный». Связь переворота 1917 года с пугачевщиной была столь явной, что фразу можно было всерьез использовать, лишь вынеся посредующие звенья в подтекст.

На аналогичном принципе построена фраза: «На персях же персидского Персея Змея свой хвост кусала кольцевидно». Очевидно, что Персей здесь должен быть отождествлен со святым Георгием<sup>18</sup>, что влечет за собой и прочие ассоциации с воителем, воспринимавшимся как отмститель за унижение и уничтожение России:

Он близко! Вот хруст перепончатых крыл  
И брюхо разверстое Змия...  
Дрожи, чтоб Святой и тебе не отмстил  
Твои блудодействия, Россия!

(З. Гунтуц)

Но вместо змия у него «на персях» оказывается змея, которая здесь скорее выглядит не как гностическая змея, а как змея, символизирующая вечное возвращение. Плавное перетекание одного смыслового строя в другой обнажает пересечение семантических пластов, несущих не только один-единственный строго заданный смысл, но целую вереницу, расшифровываемую в зависимости от читательских потенций.

Еще один очевидный смысловой пласт стихотворения открывается в связи со сделанным Роненом более чем вероятным отождествлением «жирных птиц» с пингвинами из «Острова пингвинов» Анатоля Франса. И сама по себе отсылка к травестирированной истории, содер-

жащейся в романе, оказалась бы весьма выразительной, но еще более открытой выглядит она, если мы обратимся к предисловию Кузмина, сопровождавшему одно из изданий «Острова пингвинов». Это предисловие было опубликовано в 1919 году и вряд ли могло быть написано ранее, поэтому имеет смысл особенно присмотреться к его тексту, несущему на себе явный отпечаток переживаемых событий (напомним, что в 1919 году Кузмин написал свой наиболее открыто контрреволюционный цикл «Плен»). Основным тезисом этого предисловия является фраза: «Менее, чем у кого угодно, у Анатоля Франса следует искать, чтобы его произведения поражали оторванностью своею от исторической и литературной последовательности»<sup>19</sup>. Но далее это утверждение конкретизируется как обращением к тексту романа, так и явно ощутимыми параллелями с кузминской современностью: «Но сущность «Острова пингвинов» <...> это не только история происхождения и развития французской буржуазной республики, но схема всех демократических эволюций. <...> Человеку, пожелавшему шаг за шагом, страница за страницей сличать французскую историю с повествованием Франса, встретились бы немалые затруднения, и пришлось бы прибегнуть к совершенно не оправдывающим себя натяжкам. <...> После изображения социальной революции, свидетелями которой мы были<sup>20</sup>, в самом конце Франс вдруг пользуется фигурой умолчания, очень для него характерной. После наступления анархии он предсказывает одичание, запустение и снова тот же путь постепенного, сначала ошупью, как впотьмах, прогресса. Выходит вроде сказки про белого бычка»<sup>21</sup>.

Но наиболее скрытым в анализируемом стихотворении оказывается сугубо личный смысл его, который почти не различим за многочисленными ассоциациями, и представляется, что «я» первой строки — чистая фикция, введенная лишь для того, чтобы внешне объединить все дальнейшее. Однако, как нам представляется, существует самая непосредственная и существенная связь между «Концом второго тома» и открыто личными переживаниями самого поэта.

Одним из лейтмотивных слов стихотворения является имя «Элиза», появляющееся трижды:

...Читая про какую-то Элизу  
Восьмнадцатого века ерунду...  
Элизиум<sup>22</sup>, Элиза, Елисей...  
Я продолжал читать, как идиот,  
Про ту же всё Элизу, как она,  
Забыв, что ночь проведена в казармах,  
Наутро удивилась звуку труб<sup>23</sup>.

По мнению О.Ронена, Элиза происходит из не названного им романа Ретиф де ла Бретона. Довольно длительные поиски того произведения, которое Ронен имеет в виду, не привели нас к успеху (что совсем не отменяет справедливости указания), но, как кажется,

можно пойти и совсем по иному пути, обозначенному явно присутствующей пушкинской темой стихотворения. В «Графе Нулине» читаем:

Она сидит перед окном;  
Пред ней открыт четвертый том  
Сентиментального романа:  
*Любовь Элизы и Армана,*  
*Иль переписка двух семей* —  
Роман классический, старинный,  
Отменно длинный, длинный, длинный,  
Нравоучительный и чинный,  
Без романтических затей.

Конечно, отождествление только на основании имени можно было бы счесть произвольным, если бы не отмеченная уже комментаторами отсылка к названию читаемого Натальей Павловной романа в заключительном стихотворении «Прерванной повести», которое имеет смысл процитировать целиком:

Что делать с вами, милые стихи?  
Кончаются, едва начавшись.  
Счастливы все: невесты, женихи,  
Покойник мертв, скончавшись.  
  
В романах строгих ясны все слова,  
В конце — большая точка;  
Известно — кто Арман, и кто вдова,  
И чья Элиза дочка.  
  
Но в легком беге повести моей  
Нет стройности намека,  
Над пропастью летит она вольней  
Газели скока.  
  
Слез не заметит на моем лице  
Читатель плакса.  
Судьбой не точка ставится в конце,  
А только клякса.

Если принять наше отождествление романа из стихов Кузмина с романом из пушкинской поэмы, то не трудно заметить, что содержание его каждый раз выглядит различным, но в равной степени не связанным с пушкинским описанием. Поэтому, очевидно, можно считать, что для автора важно не то, что происходит в фиктивном романе XVIII века, а то, как он соотносится с жизнью его самого. Автобиографический подтекст «Прерванной повести» был очевиден для читателей, и возвращение через пятнадцать лет к наиболее откровенному стихотворению из этого цикла не могло означать ничего иного, кроме обнажения глубоко интимной связи событий «сюрреалистического» стихотворения из «Парабол» с событиями жизни самого поэта.

Резюмируя все сказанное, следует заметить, что при таком прочтении стихотворение превращается в художественное описание той самой проблемы, которая столь волновала Кузмина в те годы. Для него было очевидно, что его время есть какой-то аналог того, что происходило в совсем иную эпоху: «Наше время — горнило будущего. Позитивизм и натурализм лопнули, перекинув нас не в третью четверть XVIII века, когда они начинались, а в гораздо далее <более?> примитивную эпоху. Примитивизм. Живопись, Дебюсси, реакция против Вагнера. Всякое начало, желая самодовлеть, упирается в тупик, оставляя то ценное (на что не обращалось внимания), что несло с собою. Похоже на 2-ой век, может быть, — еще какие-нибудь. Хлебников высчитал бы»<sup>24</sup>.

Если оставить в стороне сведение общей идеи к частному случаю искусства, то параллель между собственным временем и II веком от Рождества Христова заставляет увидеть во взглядах Кузмина вполне явные размышления о том новом времени Третьего Завета, который может реализоваться в современности<sup>25</sup>. Травестирование сакральных текстов, относящихся к Первому и Второму заветам, аналогии с современностью, литературные параллели и, наконец, вполне ощутимые личные переживания (помимо указанного нами подтекста из «Прерванной повести», сюда относится, конечно, возникающая в конце стихотворения грубовато-гомосексуальная тема) выливаются в общее представление о своем времени как о «горниле будущего», где есть ничуть не выпадающие из поля зрения омертвляющие тенденции, но есть и потенциальная возможность будущего перерождения. Реализуется она или нет — вопрос исторического развития, который не может быть решен на основании только моментального переживания. В зависимости от складывающейся ситуации будущее может предстать полным уничтожением нынешнего ужаса («Не губернаторша сидела с офицером...») или необходимостью пройти через этот ужас («Лазарь»), но в любом случае возможность трансформации черного карнавала в нечто новое<sup>26</sup> существует, и отказать от этого поэту кажется невозможным.

## «ОТРЫВКИ ИЗ ПРОЧИТАННЫХ РОМАНОВ»

Не менее пятнадцати лет в среде исследователей творчества М. Кузмина известно то, что, по признанию самого поэта, на сюжет одного из самых популярных его стихотворных циклов «Форель разбивает лед» (1927) сильно повлиял изданный в том же году роман австрийского писателя Густава Майринка<sup>1</sup> «Ангел Западного окна». Печатно это было зафиксировано в воспоминаниях В. Н. Петрова (правда, без конкретного указания, что роман воздействовал именно на данный цикл): «Кафку, кажется, он не знал, а особенно любил Густава Мейринка — впрочем, не “Голем”, которого все читали в тридцатых годах, а другой роман, никогда не издававшийся по-русски, — “Ангел западного окна”»<sup>2</sup>. Через три года после появления этого свидетельства Ж. Шерон опубликовал письмо Кузмина к О. Н. Арбениной, по архивному оригиналу уже довольно давно известное ряду литературоведов. В письме этом содержится прямое утверждение: «Я написал большой цикл стихов: «Форель разбивает лед», без всякой биографической подкладки. Без сомнения, толчком к этому послужил последний роман Меуринка <так!> «Der Engel vom westlichen Fenster». Прекрасный роман. Непременно прочтите его, когда приедете. Оказал большое влияние на мои стихи»<sup>3</sup>. Из дневника Кузмина известно, что 13 июля 1927 года он получил роман в подарок, до того страстно желая его прочесть, а 19-го начал писать «Форель»<sup>4</sup>.

Однако ни один из исследователей, анализировавших цикл или комментировавших его<sup>5</sup>, даже констатируя влияние, не излагал сколько-нибудь подробно сложные пересечения сюжетной и образной структуры цикла с романом Майринка. Очевидно, причиной тому стала как редкость книги в русских библиотеках, так и общее представление о том, что влияние чьей-то прозы на стихи Кузмина, как правило, не является сколько-нибудь материально выраженным, а скорее существует лишь опосредованно.

Не так давно роман Майринка появился в русском переводе<sup>6</sup>, и уже первое чтение продемонстрировало, что самый текст романа не

просто открывает некоторые параллели к до сих пор не вполне ясному сюжету и ассоциативной структуре текста кузминского цикла, но восстанавливает многие опущенные связи, давая новые ключи к прочтению этого произведения.

Не претендуя на сколько-нибудь полную интерпретацию цикла под этим углом зрения, мы хотели бы предложить ряд наиболее бесспорных параллелей между романом и стихотворениями. События «Ангела Западного окна» совершаются в двух временных планах. В плане современном главным героем романа является глубоко заинтересованный старинными бумагами и предметами барон Мюллер, от имени которого и ведется повествование. Не могло не привлечь внимание Кузмина то, что в окружение Мюллера входят многочисленные выходцы из России: старый барон Михаил Арангелович Строганов (показательное совпадение имени и вполне бессмысленного отчества с именем святого Кузмина, часто возникающим в строках его стихов, — архангелом Михаилом!), антиквар Сергей Липотин (видимо, вполне оправданно автор предисловия к русскому изданию связывает его фамилию с Липутиным из «Бесов»), а также черкесская княгиня Асайя Шотокалунгина. Помимо этих персонажей важную роль в повествовании играют давний друг Мюллера доктор Гертнер, сделавшийся профессором химии и погибший в волнах океана, а также его довольно загадочная домоправительница фрау Иоганна Фромм, каким-то таинственным образом оказывающаяся с ним связанной, становящаяся его любовницей и погибающая в неравной борьбе с княгиней Шотокалунгиной.

Однако в первой половине романа гораздо более значимые события группируются вокруг фигуры реального исторического персонажа, сэра Джона Ди (1527—1608). Как пишет сам автор в краткой статье, посвященной роману и помещенной в книгу как предисловие, «...он был фаворитом королевы Елизаветы Английской. Это ему она обязана мудрым советом — подчинить английской короне Гренландию и использовать ее как плацдарм для захвата Северной Америки. <...> Однако в последнюю минуту капризная королева передумала и отменила свое решение. <...> И вот, когда все его честолюбивые планы потерпели крушение, Джон Ди понял, что неправильно продолжил курс, ибо, сам того не ведая, стремился не к земной «Гренландии», а совсем к другой земле, именно ее-то и надо завоевывать». Эта страна открывается ему при помощи алхимии — «не той сугубо практической алхимии, которая занята единственно превращением неблагородных металлов в золото, а того сокровенного искусства королей, которое трансмутирует самого человека, его темную, тленную природу, в вечное, светоносное, уже никогда не теряющее сознание своего Я существо» (С. 33, 32).

История Джона Ди становится известна Мюллеру из пачки разрозненных бумаг, доставшихся ему по наследству от погибшего вскоре после войны кузена, последнего прямого наследника Джона Ди.

Из этих бумаг становится очевидно, что в молодости сэра Джон был связан с шайкой религиозных бунтовщиков ревенхедов, был заключен в тюрьму и там столкнулся с одним из вожаков ревенхедов Барлетом Грином, поведавшем ему о своем мистическом опыте и перед смертью отдавшим магический кристалл (который также оказывается в руках Мюллера). После освобождения Джон Ди становится одним из советников королевы Елизаветы Английской; их любовно-враждебный поединок королева завершает тем, что женит его на одной из своих приближенных. Однако после провала плана присоединения Гренландии и смерти жены Джон Ди посвящает себя алхимии, полностью отходя от государственной деятельности. Его соратник Гарднер, признававший лишь сакральную (в том смысле, как это толкуется вышеприведенной цитатой) алхимию, видя уклонение сэра Джона от истинного пути, покидает его, а ему на смену приходит отвратительный медиум Эдвард Келли, для которого алхимия является лишь способом добывать золото и добиваться различных жизненных удовольствий. Но в то же время он — единственный, кто может вызвать могучего Ангела Западного окна, способного помогать в трансмутировании не только вещества, но и человеческой природы. Раздираемый противоречием между профанным и сакральным смыслом великого делания, Джон Ди покидает Англию и отправляется в Богемию, к великому алхимику императору Рудольфу Второму. Грандиозные планы, однако, заканчиваются ничем: Ангел лишь изредка и в незначительной степени помогает его великой задаче; истощивший терпение императора Келли гибнет, а Джон Ди возвращается в Англию и на руинах собственного замка лихорадочно пытается восстановить свое прежнее могущество.

Два этих повествовательных плана связывает воедино идея метемпсихоза: Липотин в одном из своих прежних воплощений был современником Джона Ди и не раз упоминается в его записях; Мюллер постепенно все больше и больше переселяется в душу и даже отчасти тело своего дальнего предка; фрау Фромм оказывается современной ипостасью второй жены Джона Ди Яны; доктор Гертнер (в инобытии — лаборант Гарднер и загадочный дряхлый садовник, ждущий неведомого хозяина) оказывается носителем изначального возвышенного знания, а княгиня Шотокалунгина — воплощением богини Исаис Черной, покровительницы черной магии и профанной алхимии.

Этот довольно пространственный пересказ (который, однако, не является сколько-нибудь подробным изложением сюжета) отчасти восстанавливает важные для нас сюжетные линии. Опираясь на него, попробуем проследить, как в тексте «Форели» отразился текст романа «Ангел Западного окна».

Прежде всего, конечно, необходимо сказать, что роман этот является далеко не единственным источником, к которому при создании цикла обращался Кузмин. Формула, взятая нами как заглавие статьи, принадлежит самому Кузмину и действительно обозначает

полигенетичность очень многих образов цикла, с чем еще придется столкнуться. В то же время далеко не все стихотворения каким-либо образом соотносятся с «Ангелом Западного окна», но именно сюжетная основа всего цикла испытывает сильнейшее воздействие романа австрийского писателя.

Уже в «Первом ударе» звучат слова, становящиеся лейтмотивом всего стихотворного цикла: «Зеленый край за паром голубым». А. В. Лавров и Р. Д. Тименчик вслед за Б. М. Гаспаровым считают эти слова перифразой слов Тристана из первого акта оперы Рихарда Вагнера: «Там, где зеленые луга предстают взору еще голубыми»<sup>7</sup>. Однако обращение к «Ангелу Западного окна» открывает гораздо более очевидный (особенно если иметь в виду дальнейшее развитие образа: «Луна как будто с севера светила: Исландия, Гренландия и Тулэ, Зеленый край за паром голубым...») источник. Комментаторы романа сообщают, что Гренландия в сознании современников Джона Ди идентифицировалась с Тулэ древних римлян, то есть самым дальним севером Европы, а была она открыта норвежским викингом Эйриком Рыжим, причем отправился он в Гренландию от берегов Исландии (см. с. 500, 466).

Выше мы уже приводили цитату из статьи Майринка, дающей краткую характеристику романа, о смысле поисков Джоном Ди Гренландии. А вот как рассказано об этом в самом романе: «...вновь и вновь задаю я себе вопрос: земная ли Гренландия истинная цель моей гиперборейской конкисты? <...> Этот мир еще не весь мир <...> Этот мир имеет свой реверс с большим числом измерений, которое превосходит возможности наших органов чувств. Итак, Гренландия тоже обладает своим отражением, так же как и я сам — по ту сторону. Гренланд! Не то же ли это самое, что и *Grüne Land*, Зеленая земля по-немецки? Быть может, мой Гренланд и Новый Свет — по ту сторону?» (С. 157—158). «Зеленый край», «Зеленая земля», таким образом, становятся не конкретным географическим указанием, а обозначением страны по ту сторону человеческого сознания, в каком-то ином измерении, которое может открыться лишь в результате волшебного превращения, путь же к нему способны проложить или трансмутация, или медиумическое, сомнамбулическое сознание<sup>8</sup>.

Так, с помощью неких парапсихических сил фрау Фромм в романе переносится в странную страну: «Я называю это Зеленой землей. Иногда я бываю там. Эта земля как будто под водой, и мое дыхание останавливается... Глубоко под водой, в море, и все вокруг утоплено в зеленой мгле...» (С. 247).

Изо всей «Форели» наибольшую популярность получил «Второй удар»: как известно, его ритмической и строфической схемой воспользовалась А. Ахматова для создания строфы «Поэмы без героя». Именно это объясняет пристальное внимание многих исследователей к данному стихотворению и тщательный поиск его источников. Среди них наиболее очевидным представляется стихотворение Блока



«Было то в темных Карпатах...»<sup>9</sup> и широкий спектр его подтекстов, установленных А. В. Лавровым: «Страшная месь» Гоголя и реминисценции этой повести в блоковских статьях «Безвременье» и «Дитя Гоголя»; романы Жюль Верна «Замок в Карпатах», Брэма Стокера «Дракула», Жорж Санд «Консуэло» и «Графиня Рудольштадт». Для Кузмина сюда почти наверняка подключался знаменитый кинофильм режиссера Ф. Мурнау «Носферату — симфония ужаса», поставленный по мотивам «Дракулы»<sup>10</sup>, а также послужившие источниками отдельных образов «Евгений Онегин» и оперетта И. Кальмана «Графиня Марица»<sup>11</sup>.

Между тем значительная часть действия «Ангела Западного окна» протекает, как и во «Втором ударе», именно в Богемии, и наиболее поражающий наше внимание в связи со строками Кузмина эпизод объединяет и богемские леса, и скалы, и смерть Эдварда Келли, кровного брата Джона Ди. Обряд кровного братания, центральный во «Втором ударе», в романе не описан, но сама обстановка с достаточной степенью близости напоминает описания Майринка, особенно если иметь в виду, что герои цикла — не только кровные братья, но и смертные (см. у Кузмина: «Я — смертный брат твой. Помнишь, там, в Карпатах?»).

Следующий момент, привлекающий внимание читателей Кузмина, — совпадение имени героини-разлучницы цикла с именем одной из героинь романа. Первую жену сэра Джона зовут Элинон Хантгитон (в стихах имя пишется с двумя «л»). Как в стихах Элинон разлучает двух мужчин, так в романе Элинон становится препятствием между королевой Елизаветой и сэром Джоном. Элинон и Елизавета связаны давними отношениями (весьма напоминающими лесбийскую любовь), и брак героя с леди Элинон представляется для него заведомым несчастьем, которого невозможно избежать, поскольку инициатором его выступает сама королева.

Напомним, что любовному треугольнику кузминского цикла (двое мужчин и ставшая между ними Эллинон) соответствует целый ряд прототипических треугольников, имевших место в жизни самого Кузмина и сложным образом переплетавшихся, нашедших то или иное, более или менее явное для посторонних читателей, отражение в стихах и прозе Кузмина. К этим треугольникам относятся в первую очередь связи Кузмин — С. Ю. Судейкин — О. А. Глебова, Кузмин — Вс. Князев — О. А. Глебова-Судейкина, а также совсем недавний и явно маскируемый в письме к Арбениной («без всякой биографической подкладки») Кузмин — Ю. Юркун — Арбенина. Прибавление к ним треугольника из «Ангела Западного окна» добавляет еще одну характерную черту прототипических для «Форели» ситуаций<sup>12</sup>.

Едва ли не наиболее существенную роль в формировании подтекста стихотворного цикла играет переключка романа с «Шестым ударом», снабженным подзаголовком «баллада». В первую очередь эта баллада ориентирована на «Легенду о Старом Моряке» С. Т. Коль-

риджа, которую незадолго до того переводил Гумилев. То, что Эрвин Грин — моряк, его описание «северной земли», ритмическая организация стихотворения — все это связывает баллады Кольриджа и Кузмина. Однако здесь обращает на себя внимание еще одно обстоятельство — совпадение фамилий героя баллады Эрвина Грина и предводителя шайки ревенхедов в романе Майринка, Бартлета Грина. Дальнейшее же рассмотрение сюжета баллады, как кажется, дает еще больше оснований для того, чтобы спроецировать ее сюжет на сюжет романа.

Прежде всего это касается странного поведения Эрвина Грина, которого его молодая жена спрашивает: «Уж не отвергся ли ты, друг, Спасителя Христа?» Ведь Бартлет Грин из романа именно отвергается Христа: «Закипая, поднималась во мне безумная ненависть против Того, Кто там, над алтарем, висел предо мною распятым, и против литаний — не знаю, как это происходило, но слова молитв сами по себе оборачивались в моем мозгу, и я произносил их наоборот — справа налево. Какое обжигающее неведомое блаженство я испытывал, когда эти молитвы-оборотни сходили с моих губ!» (С. 79).

Для окончательного отпадения от Христа Бартлету Грину придется пройти через ужасающий ритуал «тайгерм» (о чем будет речь далее), и в результате этого обряда его ранее ослепший «белый глаз» прозревает духовным зрением и видит картины, очень напоминающие (хотя, конечно, не буквально) описания «северной земли» в балладе Кузмина:

Там светит всем зеленый свет  
На небе, на земле,  
Из-под воды выходит цвет,  
Как сердце на стебле,  
И все ясней для смелых душ  
Замерзшая звезда...

См. в романе: «...я увидел странный мир: в воздухе кружились синие, неведомой породы птицы с бородами человеческими лицами, звезды на длинных паучьих лапках семенили по небу, куда-то шествовали каменные деревья, рыбы разговаривали между собой на языке глухонемых, жестикулируя неизвестно откуда взявшимися руками...» (С. 84).

Далее в балладе становится ясно, что ее герой, Эрвин Грин, есть своеобразное воплощение умершего в юности в горном замке баронета. Но ведь герой романа Майринка именуется «сэр Джон Ди, *баронет* Гледхилл», его родовое поместье находится в шотландских горах (что нелишне отметить в связи с общим шотландским колоритом цикла Кузмина), а его вторую жену зовут Яна (ее современное воплощение, госпожа Фромм, названа Иоганной, что вряд ли случайно отразилось в имени героини кузминской баллады *Анны Рэй*). А далее Кузмин еще более усложняет схему: имя его героя — Эрвин, что на-

поминает имя Эдварда Келли, недостойного и тем не менее единственно возможного ассистента Джона Ди, в то время, когда у него появилась надежда на осуществление истинного делания. Одним из залогов такого осуществления является требование Ангела Западного окна: «Вы принесли мне клятву в послушании, а потому восхотел я посвятить вас наконец в последнюю тайну тайн, но допрежь того должно вам сбросить с себя все человеческое, дабы стали вы отныне как боги. Тебе, Джон Ди, верный мой раб, повелеваю я: положи жену твою Яну на брачное ложе слуге моему Эдварду Келли, дабы и он вкусил прелестей ее и наслаждался ею, как земной мужчина земной женщиной, ибо вы кровные братья и вместе с женой твоей Яной составляете вечное триединство в Зеленом мире!» (С. 312).

Таким образом, Эрвин Грин отождествляется до известной степени и с баронетом (Джоном Ди), и с Бартлетом Грином, и с Эдвардом Келли (намекы на это отождествление есть у Майринка, хотя нигде впрямую это и не утверждается<sup>13</sup>). Это придает особый смысл заклинанию в конце «Девятого удара» «Форели»:

А голос пел слегка, слегка:  
— Шумит зеленая река,  
И не спасти нам челнока.  
В перчатке лайковой рука  
Все будет звать издалека,  
Не примешь в сердце ты пока  
Эрвина Грина, моряка.

Отчасти этот смысл разъясняется в «Восьмом ударе», где впервые появляется «ангел превращений». Собственно говоря, эта загадочная для комментаторов фигура<sup>14</sup> и есть «ангел Западного окна», способный осуществить трансмутацию высшего порядка. Но помимо смысла алхимического и мистического Кузмин вкладывает в понятие трансмутации еще и смысл откровенно эротический, который, очевидно, может быть возведен, хотя бы отчасти, к пророчеству эксбриджской ведьмы в романе, сделанному ею королеве Елизавете, когда та была еще принцессой (следует отметить, конечно, что эротические коннотации вообще являются частой составной частью алхимических текстов):

«Привет тебе, королева Елизавета! Смелей зачерпывай, ибо во здравие пьешь!» — воскликнула Матерь превращений.

.....  
Едины будьте в ночи!

.....  
В таинстве моего эликсира двое станут одним.

.....  
Брачное ложе и раскаленный горн! (С. 53).

«Ангел превращений», легко ассоциируемый с «ангелом Западного окна», придает всем событиям цикла «высший смысл», тогда как

без ангела этот смысл теряется. При этом появление и исчезновение ангела превращений теснейшим образом оказывается связанным с отношениями младшего героя и Эллинор:

Забывчивость прощительна при счастье,  
А счастье для меня то — Эллинор,  
Как роза — роза, и окно — окно.  
Ведь, надобно признаться, было б глупо  
Упрямо утверждать, что за словами  
Скрывается какой-то «высший смысл»<sup>15</sup>.

Счастье с Эллинор непременно влечет утрату ангела превращений. Для того чтобы сказать: «Да, ангел превращений снова здесь» («Одиннадцатый удар»), необходимо отвергнуть ее любовь и любовь к ней, то есть стать «близнецом», прежде всего трансмутировать самому.

И вывод, заключенный в последних словах цикла:

И потом я верю,  
Что лед разбить возможно для форели,  
Когда она упорна. Вот и все, —

на другом уровне оказывается параллелен итогу завершающих страниц романа, когда на вопрос Джона Ди, кем же был ангел Западного окна, он получает ответ: «Эхо, ничего больше! <...> Все, исходящее от него: знание, власть, благословение и проклятие, — исходило от вас, заклинавших его. Он — всего лишь сумма тех вопросов, знаний и магических потенциалов, которые жили в вас, но вы о них и не помышляли» (С. 451). Стук хвоста форели об лед откликается двенадцатью ударами часов в новогоднюю ночь, но гораздо более значимое эхо — явление ангела превращений, возвращение героев в ту стихию любви, которая единственно может придать «высший смысл» их существованию в мире. А роль поэта здесь в известной степени может быть уподоблена новой, потусторонней роли Джона Ди — Мюллера: «Здесь ты будешь готовить золото своей страсти — золото, имя которому — солнце! Умножающий свет пользуется среди братии особыми почестями» (С. 450).

Вряд ли нужно особо напоминать, что для Кузмина солнце всегда было источником того божественного тепла, которое при любых условиях оставалось наиболее священным в его мире и даже в самые тяжелые моменты жизни помогало сохранить надежду на то, что ангел превращений здесь, рядом, и в любую минуту поможет изменить мир<sup>16</sup>.

Впрочем, произнося последние слова, мы уже вступаем в ту сферу сугубо интерпретационных построений, от которых намеренно уклонились в начале работы, поставив своей целью лишь изложение основных фактов, позволяющих говорить о сближениях между «Ангелом Западного окна» и «Форелью».

В заключение следует добавить еще одно размышление. В книге (а не в цикле) «Форель разбивает лед» есть еще по крайней мере одно место, нуждающееся в проецировании на текст «Ангела Западного окна». В цикле «Для августа» читаем:

А ну, луна, печально!  
Печатать про луну  
Считается банально,  
Не знаю, почему.

А ты внушаешь знанье  
И сердцу, и уму:  
Понятней расстоянье  
При взгляде на луну.

И время, и разлука,  
И тетушка искусств, —  
Оккультная наука...

Этими строками Кузмин откровенно заявляет о том, что в цикле «Для августа» необходимо обратить внимание не только на постоянное присутствие луны (два стихотворения так и называются «Луна»), но и на определение ее роли в смысловой структуре текста, безусловно связанной с пространственно-временными характеристиками и с потаенными проявлениями «тетушки искусств». Оставляя опять-таки подробные анализы интерпретаторам, позволим себе отметить, что строки из того же самого стихотворения должны быть восприняты в непосредственном сопоставлении с эпизодом из «Ангела Западного окна». Мы имеем в виду четверостишие:

Тебя зовут Геката,  
Тебя зовут Пастух,<sup>17</sup>  
Коты тебе отплата  
Да вороной петух.

Дешифровать эти стихи можно, конечно, и без обращения к тексту Майринка: Геката — богиня Луны; по остроумному предположению Дж. Малмстада и В. Маркова, «пастухом» Луну зовут по старинной поговорке: «Поле не мерено, овцы не считаны, пастух рогат» (небо, звезды, месяц), коты и черный петух связаны с Гекатой как с хтонической богиней.

Однако, не упуская из виду эти подтексты, следует иметь в виду и следующий отрывок из романа Майринка, когда Бартлет Грин рассказывает Джону Ди во время их совместного пребывания в тюрьме о начале своего мистического опыта: «...однажды в полночь — опять было первое мая, друидический праздник, и полная луна уже пошла на ущерб — какая-то невидимая рука, вынырнув из черной земли, схватила меня за руку с такой силой, что я и шагу не мог ступить... <...> Потянуло каким-то нездешним холодом, казалось, он шел из

круглой дыры прямо у меня под ногами; этот ледяной сквозняк пронзил меня с головы до пят, а так как я чувствовал его и затылком, то медленно, всем моим окоченевшим телом, обернулся... Там стоял Некто, похожий на пастуха, в руке он держал длинный посох с развилкой наверху в виде большого эпсилона. За ним стадо черных овец. <...> Далее (эти слова уже принадлежат Мюллеру. — Н.Б.) — сплошь обугленные страницы. Судя по тем обрывочным записям, которые каким-то чудом уцелели, пастух раскрыл Бартлету Грину некоторые тайные аспекты древних мистерий, связанных с культом Черной Богини и с магическим влиянием Луны; также он познакомил его с одним кошмарным кельтским ритуалом, который коренное население Шотландии помнит до сих пор под традиционным названием «тайгерм»» (С. 80—81). Далее слово опять переходит к Грину: «...Сказанное пастухом о подарке, который со временем сделает мне Исаис Черная<sup>18</sup>, я понял лишь наполовину — да я и сам был тогда «половинка»<sup>19</sup>, — просто никак не мог взять в толк, как возможно, чтобы из ничего возникло нечто осязаемое и вполне вещественное! Когда же я его спросил, как узнать, что пришло мое время, он ответил: «Ты услышишь крик петуха» <...> И вот, когда я наконец услышал крик петуха — он восходил по моему позвоночному столбу к головному мозгу, и я услышал его каждым позвонком, — когда исполнилось предсказание пастуха, и на меня, как при крещении, с абсолютно ясного безоблачного неба сошел холодный дождь, тогда в ночь на первое мая, в священную ночь друидов, я отправился на болота <...> со мной была тележка с пятьюдесятью черными кошками — так велел пастух. Я развел костер и произнес ритуальные проклятия, обращенные к полной Луне; неопишуемый ужас, охвативший меня, что-то сделал с моей кровью: пульс колотился как бешеный, на губах выступила пена. Я выхватил из клетки первую кошку, насадил ее на вертел и приступил к «тайгерму». Медленно вращая вертел, я готовил inferнальное жаркое, а жуткий кошачий крик раздирали мои барабанные перепонки в течение получаса...» (С. 81—83).

В результате страшного тайгерма слепнет здоровый глаз Бартлета Грина, зато прозревает ранее ослепший, что меняет характеристики окружающего его пространства и времени: «...далекие леса и горы куда-то пропали, меня окружала крошечная безмолвная тьма<sup>20</sup> <...> Для меня больше не существовало «до» и «после», время словно соскользнуло куда-то в сторону...» (С. 84).

В порядке самой предварительной догадки выскажем предположение, что Луна в этом цикле Кузмина является освободительницей человека от демонов безумия, страха, боли и похоти, как она явилась освободительницей для Бартлета Грина: «...на оклик Великой Матери та, что спала во мне, подобно зерну, проснулась, и я, слившись с нею, дочерью Исаис, в единое двуполое существо, пророс в жизнь вечную. Похоти я не ведал и раньше, но отныне моя душа стала для нее неуязвимой. Да и каким образом зло могло бы проникнуть в того,

кто уже обрел свою женскую половину и носит ее в себе!» (С. 85). В стихах Кузмина именно похоть («Что надо вам, легко б могли найти В любом из практикующих балбесов»<sup>21</sup>) оказывается изжитой, хотя, естественно, и совсем иным способом.

Конечно, эти рассуждения нуждаются в изрядном количестве оговорок, однако основная направленность текста, как кажется, несомненна, как и его связь с романом Майринка.

Все приведенные текстуальные совпадения стихотворений Кузмина и романа Майринка делают несомненной необходимость тщательного исследования внутренней связи текстов, для чего пока что представлен лишь самый предварительный материал.

## ВОКРУГ «ФОРЕЛИ»

В том сложном конгломерате бытийного, литературного, историко-культурного, который является основой большинства произведений позднего Кузмина, не должна быть упущена одна важнейшая сторона, определяющая многие генетические корни его творчества: сторона бытовая, непосредственно связанная с первой реакцией на увиденное, услышанное, прочитанное, моментальные отклики на события внешней жизни. Иногда это довольно легко выявить, как, например, выявление связи между циклом стихотворений, посвященных Л. Л. Ракову (не только «Новый Гуль», но и нескольких других), и немецким кинематографом, а отсюда и немецкой культурой вообще<sup>1</sup>, но иногда становится делом не самым простым.

Характерна в этом смысле ошибка, происшедшая с автором весьма интересной статьи о пьесе Кузмина «Смерть Нерона», уверенно писавшей: «1928 год был началом самодержавия Сталина», — и после перечисления ряда событий этого времени заключавшей: «Таков актуальный политический фон, на котором Кузмин обратился к сюжету о римском императоре-тиране Нероне»<sup>2</sup>. Однако реальная история создания пьесы (следует отметить, что, конечно, М.-Л. Ботт не виновата в недостаточной точности своих утверждений, поскольку доступные нам сейчас материалы в то время, когда писалась ее статья, находились под строгим запретом) не позволяет принять это утверждение и непосредственно следующие из него умозаключения. Пьесу Кузмин начал писать в январе 1927 года<sup>3</sup>, а актуальный политический подтекст ее замысла вообще заставляет по-иному осмыслить саму суть произведения. 28 января 1924 года Кузмин записывает в дневнике: «После похорон погода утихла и смягчилась: все черти успокоились. Какое сплошное вранье и шарлатанство все эти речи. Даже не «повальное безумие», а повальное жульничество, принимающее такие масштабы, что может сойти за безумие. До и масштабы не самоутверждение ли? Весь мир через пьяную блевотину — вот мироустройство коммунизма. <...> Придумал написать “Смерть Нерона”».



Здесь мы попытаемся проследить на основании дневника историю цикла «Форель разбивает лед», которая также восходит к достаточно давнему времени. Не будем специально говорить о том, каким образом оживлены в цикле события давно прошедшего времени, — это достаточно очевидно и не раз делалось предметом изучения, — а остановимся на тех событиях, которые образуют непосредственную подпочву художественного переосмысления действительности.

Как известно, «Форель» помечена 19—26 июля 1927 года, что подтверждается и уже упоминавшимся списком произведений, и дневником. Однако генезис этого цикла не может не быть возведен ко времени предшествующему, начиная по крайней мере с февраля 1923 года, когда Кузмин впервые посмотрел «Кабинет доктора Калигари» — фильм, по общему признанию исследователей, послуживший одним из важнейших источников «Форели». 12 февраля он записывает: «Поместили нас наверху, в ложе, все искривлено, но для этой картины очень идет такой «Греко». Упоительное лицо у сомнамбулы. Но такие вообще лица, сюжет, движения, что пронизывают и пугают до мозга костей». 2 марта Кузмин еще раз смотрит «Калигари» и фиксирует свои впечатления уже значительно более развернуто: «Замечательная картина. И никакого успеха. Меня волнует, будто голос рассказчика: «Городок, где я родился», и неподвижная декорация под симфонию Шуберта. Все персонажи до жуткого близки. И отношения Калигари к Чезаре. Отвратительный злодей, разлагающийся труп и чистейшее волшебство. Почет, спокойствие, работу, все забросить и жить отребьем в холодном балагане с чудовищным и райским гостем. Когда Янне показывают Чезаре, так непристойно, будто делают с ней самое ужасное, хуже чем изнасилование. И Франциск — раз ступил в круг Калигари, — прощай всякая другая жизнь. Сумасшедший дом — как Афинская школа, как Парадиз. И дружба, и все, и все глубочайше и отвратительнейше человеческое. И все затягивает, как рассказ Гофмана. У меня редко бывал такой шок».

В этих записях привлекает внимание многое: и особая оптика, связанная у Кузмина с первым впечатлением от фильма, и сама подробность записи, свидетельствующая о небывало сильном впечатлении, произведенном фильмом, и соединение «непристойного» (вспомним пародийное перефразирование начала «Пятого удара», функция которого в общей структуре цикла неясна) с необыкновенно родным, и сближение кинематографического экспрессионизма с творчеством Гофмана, что повторится в написанном через год стихотворении «Ко мне скорее, Теодор и Конрад...», где Теодор — Гофман<sup>4</sup>, а Конрад — Фейдт, — все это потом в различной степени откликнется в тексте интересующего нас цикла. Но особо хотелось бы отметить, что фильм оживляет в некоем искривленном, неравном самом себе виде как давние переживания поэта, так и его судьбу в настоящем и будущем. Особенно существенно в данном контексте для нас воспоминание. Тема прежней жизни фатально сопровождает пере-

живания Кузмина начала двадцатых годов. Вот, к примеру, запись от 21 ноября 1922 года: «...письмо от Ауслендера, очутившегося уже в Москве; издает журнал со Слезкиным и Кожебаткиным. Новости печальные: обе сестры мои умерли, а брат застрелился. Старый уже человек. Один я остался вымирать». А за несколько дней до первого похода на «Калигари» воспоминания впрямую скрещиваются с кинематографом: «Пошли на «Доротею». Довольно плохая нем<е>цкая> фильма из XVIII в., но герой фатально похож на Павлика Маслова и очень мил».

Вряд ли в кругу источников «Форели» может быть пропущен и еще один, возможно, откликающийся в сквозной английской/шотландской теме: «Азов преинтересно рассказывал об ирландце Джойсе» (2 апреля 1923 г.). В дальнейшем Кузмин мог получить сведения об «Улиссе» как из рассказов знакомых, так и из опубликованного в 1925 году перевода монолога Молли Блум<sup>5</sup>.

С осени 1923 года все окружающее было для Кузмина как бы покрыто пеленой от начавшегося романа с Раковым, в чисто физическом смысле весьма кратковременного, но сильно воздействовавшего на творческое сознание. На его фоне даже теряется знакомство (16 марта 1924 г.) с «мистиком-футуристом» А. Введенским, вскоре ставшим завсегдатаем у Кузмина и, возможно, отчасти спровоцировавшим появление в его творчестве «предобэриутских» произведений типа «Печки в бане» и «Пяти разговоров и одного случая»<sup>6</sup>.

Однако уже в конце апреля и в начале мая 1924 года появляются некоторые записи, которые могут быть восприняты как предвестие движения к будущей «Форели»: «Подмывает меня начать стихи противогульные» (30 апреля 1924 г.); «Неожиданно, как с того света, явился Ауслендер» (1 мая 1924 г. Подчеркнуто нами).

Далее следует отметить записи 1926 года, имеющие самое непосредственное отношение к нашей теме. 13 января Кузмин вновь смотрит «Кабинет доктора Калигари», 19 января — еще раз, регулярно общается с «чинарями» (причем с Введенским гораздо больше и чаще, чем с Хармсом), 12 марта пишет «Печку в бане», в июле читает Фрейда, что вызывает бесспорно важную для «Форели» запись 14 июля: «Прилег, и сразу сон и толкование по Фрейдю. Конечно, он грязный жид и спекулянт, но касается интересных вещей. <...> На Фонтанке купаются мальчишки. Зады у них развиваются раньше другого. В детск<их> сновид<ениях> они равноценны полов<ым> органам».

И менее чем через месяц, 4 августа 1926 года в дневнике появляется запись, фиксирующая случай, явно послуживший основой знаменитого «Второго вступления» к «Форели»: «Вчера страшный сон. Комната новая, большая, но очень уединенная, ничего ни извне, ни из нее не слышно. Я один. Но тишина полна звуков. Двери ужасно маленькие и далеко. Музыка. Вдруг куча мышей и зарезавшийся балетчик Литовкин, лилипутом, играет на флейте, мыши танцуют. Я

смотрю с интересом и некоторым страхом. Стук в дверь. Мыши исчезли. К нам почти никто не ходит. Гость. Незнакомый, смутно что-то вспоминаю. Обычное «Вы меня не узнаете, мы встречались там-то и там-то». Чем-то мне не нравится, внушает страх и отвращение. Еще стук. «Наверное, Сапунов», — говорит. Ужас. Действительно, Сапунов. Юр. уже тут каким-то чудом. Ник<олай> Ник<олаевич> тот же, только постарел и немного опух. Я в крайнем ужасе крещу его: «Да воскр<еснет> Бог» и «Отче наш». Он весь перекопился от злости. — Однако вы любезно, Мигуэль, встречаете старых друзей. — Вот еще, будут ко мне таскаться всякие покойники! — Теперь я ясно знаю, что и первый — умерший. Юр. вступается. — Что вы, Майкель, тело Ник.Ник. не найдено, он мог и быть в живых. — А что вы боитесь креста? — Да ханжество-то это пора бы бросить. Удовольствия мало. — Успокаиваюсь, преодолевая отвращение целую холодного Сапунова, знакомлю с Юр. Садимся как гости на тахту. Заваливаемся. Да, еще в пылу спора он вдруг предлагает мне 1000 рублей. Вытаскивает пачку. Я помню, что если снится покойник, от него ничего брать, ничего ему давать не следует, отказываюсь. Тот понял мою мысль, перекопился и спрятал деньги. «Ну, как хотите». Новый гость. Заведомый покойник. Симпатичный какой-то музыкант. Все они плохо бриты, платья помяты, грязноваты, но видно, что и такой примитивно приличный вид стоил им невероятных усилий. Все они по существу злы и мстительны. У Сапунова смутно, как со дна моря, сквозит личное доброжелательство ко мне, хотя вообще-то он самый злокозненный из трех. Расспросы о друзьях. «Да, мы слышали от того-то и того-то (недавно умерших)». Как они там говорят, шепчутся, злобствуют, ждут, манят. «У нас вас очень ценят». Будто о другой стране. Загробная память еще при жизни. Собираются уходить. — Как хорошо посидели. Приятно вспомнить старину. Теперь осталось мест шесть-семь, где можно встретиться. Боже мой, они будут ко мне ходить! Выхожу проводить их. На лестнице кто-то говорит: «И к вам повадились. Это уж такая квартира, тут никто и не живет». Пили ли они или ели, я не помню. Курить курили. Не изображение ли это нашей жизни, или знак?»

Истолкование этой записи может быть многообразно, однако совершенно очевидно, что именно этот сон послужил первотолчком к созданию основной концепции цикла. Время от времени являвшиеся тени из прошлого соединились теперь в отчетливом облике утонувшего на глазах Кузмина художника Н. Н. Сапунова и его компаньонов, погибших такой же неестественной смертью и теперь время от времени посещающих немногие сохранившиеся квартиры старых друзей (вряд ли на основании слов: «Теперь осталось мест шесть-семь, где можно встретиться» — следует говорить о том, что здесь имеются в виду «несоветские» салоны Ленинграда двадцатых годов, как то полагает М. Г. Ратгауз<sup>7</sup>).

Сцепление реальных обстоятельств жизни Кузмина как в прошлом, так и в настоящем и в будущем, с уже созданными другими

авторами культурными моделями становится тем ключом, который позволяет более или менее адекватно прочесть текст «Форе́ли», причем намеренное наложение подтекстов входит, судя по всему, в систему художественного мышления Кузмина, где становится принципиально все равно, на что именно опираться — на Пушкина или на «Дракулу», «Графиню Марицу» или «Кабинет доктора Калигари». Таким образом в структуре произведения отражается случайность человеческой жизни, в которой рядом стоят «высокое» и «низкое», воспоминание и реальность, жизнь и искусство.

Однако все вышесказанное еще не позволяло Кузмину создать произведение, объединенное каким-то общим принципом построения. Речь, конечно, идет не о внешнем обрамлении: двенадцать ударов часов в новогоднюю ночь, соответствующих двенадцати месяцам одного года, — а о каком-то подтексте, дающем смысловой ключ к образной системе произведения. 3 марта 1927 года в дневнике впервые упоминается второй важнейший источник «Форе́ли» — увиденный в витрине книжного магазина новый роман Г. Майринка «Ангел Западного окна». Кузмин еще даже не знает его названия, но уже заранее заинтересован. 7 июля запись специально об этом: «С вождением смотрю каждый день на книжку Meyrink'a, боясь, не пропадет ли она. Теперь прочел ее название: "Der Engel vom westlichen Fenster"». 13 июля он получает роман этот в подарок от отца утонувшей балерины Лидии Ивановой<sup>8</sup> и 19-го записывает: «Начал писать сегодня стихи, хотя хотелось писать прозу». На следующий день он читает не оконченную еще вещь поэтессе А. Д. Радловой, которая просит посвятить стихи ей, 26-го следует запись об окончании работы над циклом, а через месяц — ретроспективная оценка всего этого произведения: «Отрывки из «Форе́ли» мне самому кажутся чужими и привлекают каким-то давно потерянным голосом, страстным, серьезным и мужественным. Будто после крушения какого-то очень значительного романа, о котором вспомнишь, и сердце обольется кровью».

К этому же времени относится и недатированное письмо Кузмина к О. Н. Арбениной, которое в значимой для нашей темы части мы цитируем в статье «Отрывки из прочитанных романов». Обратим внимание, как настойчиво Кузмин повторяет: «без всякой биографической подкладки», «выдуманной истории». За этим явно кроется желание спрятать концы в воду, что ему отчасти и удалось. 18 сентября 1927 года он записывает: «О.Н. все намекает, что «Форе́ль» стянута у Мейринка и Юр<куна>». Намеренная утаенность биографического подтекста, который должен был бы быть очевидным хотя бы Арбениной, находившейся в центре одного из тех любовных треугольников, которые в преображенном художественным опытом автора виде переплетаются в стихах, очевидно начинает требовать соответствующего разъяснения, которое мы и попытались дать этими строками.

**Часть третья**

**МАТЕРИАЛЫ**



## ВХОЖДЕНИЕ В ЛИТЕРАТУРНЫЙ МИР

О ранних годах жизни и творчества Михаила Кузмина создана масса легенд. Часть из них рассеяна, часть рассеять пока что не представляется возможным. Так, например, мы очень плохо знаем, что происходило с ним в годы страстного увлечения старообрядчеством. Согласно легендам, он подолгу жил в скитах и стал человеком древнего благочестия (в некоторых интерпретациях старообрядчество вообще считается наследственным в его семье, чего быть никак не могло). В позднейших автобиографических документах Кузмин намеренно вуалирует свои занятия этого времени. По едва ли не единственным сохранившимся свидетельствам — письмам к ближайшему другу юности Г. В. Чичерину — выясняется, что Кузмин изучал старинную русскую культуру, сохраненную старообрядцами в быту, прятельствовал со многими из них, старался демонстрировать им свое понимание и приятие самого уклада их быта, подумывал о том, что неплохо было бы сделаться начетчиком, но, судя по всему, никаких практических шагов к обращению в старообрядчество не делал<sup>1</sup>. И все же истинных подробностей его жизни в эти годы мы не знаем и вряд ли когда-либо узнаем.

Есть некая загадочность и в том, как Кузмин входил в литературу. Общеизвестная легенда гласит: «Музыкальный критик В. Каратыгин где-то услышал игру Кузмина и ею пленился. В качестве музыканта Кузмин и вошел в петербургский поэтический круг — а там уж распознали его настояще призвание. Стихам Кузмина «учил» Брюсов. <...> Брюсов учил тридцатилетнего начинающего «подбирать рифмы». Ученик оказался способным»<sup>2</sup>.

По внешности картина, здесь нарисованная, кажется верной: действительно, Кузмин первоначально вошел в музыкальный круг столичных эстетов, стал известен в небольшом кружке «Вечера современной музыки», где немаловажную роль на самом деле играл В. Г. Каратыгин, и в конце 1905 года, «современники» устроили его концерт. До этого тридцатитрехлетний композитор находился практически в полной безвестности.

Почти одновременно с этим он читает тому же самому кругу людей свой «роман» — точнее было бы сказать «повесть» — под заглавием «Крылья». И Брюсов столкнулся не с робким учеником, а с литератором, обладающим уже сформировавшимся техническим мастерством и собственными принципами подхода к жизни. Каким бы изменениям эти принципы ни подвергались впоследствии, нечто главное оставалось непоколебленным. Кузмин мог писать лучше или хуже, быть более или менее доступным для читателя, но всегда в его творчестве оставалось некое целостное ядро, позволяющее отличить даже самые «халтурные» произведения, типа военных рассказов или стихотворений, от аналогичных поделок других авторов. Видимо, выявление такого смыслового и стилистического ядра произведений Кузмина является делом будущего, но констатировать его присутствие можно и нужно уже сейчас.

Думается, что представление нескольких документов, относящихся к начальному этапу творчества Кузмина, когда он становился известен не считанным друзьям и сочувственникам, а сравнительно широкой петербургской художественной элите, может внести в этот вопрос некоторую ясность. Документы, имеющиеся в виду, разнообразны, однако весьма выразительны.

Стихотворные тексты, печатаемые по автографам РГАЛИ (Ф. 232. Оп. 1. Ед.хр. 17), были положены Кузминым на музыку и стали тем, что он сам упорно называл «песенки».

Вообще долгое время Кузмин писал стихи, подавляющее большинство которых предназначалось именно для пения. Несомненно, были среди них и написанные независимо от музыки (таково одно из первых известных нам его стихотворений, написанное в 1897 году<sup>3</sup>), но подавляющее большинство замышлялось как заведомо несамостоятельные. Это и написанные в 1903 году «XIII сонетов», которые первоначально, в подражание Петрарке, назывались «II Canzoniere»; это цикл стихотворений 1904 года «Харикл из Милета», это писавшиеся в 1904—1908 годах «Александрийские песни», волею судеб ставшие наиболее известными из произведений Кузмина. Таковы же и «Духовные стихи», опубликованные лишь в 1912 году<sup>4</sup>, но написанные гораздо ранее, еще в 1901—1902 годах. Конечно, «песенки» продолжали писаться и позднее. Так, например, был положен на музыку цикл «Мудрая встреча» (о котором пойдет речь в публикуемых письмах), довольно много песенок вошло в сборники «Глиняные голубки» и «Эхо», вокально-музыкальными произведениями являются кантата «Святой Георгий» (сборник «Нездешние вечера») и отдельно изданный в 1923 году «Лесок» (предполагалось и второе его издание, с нотами, которое осуществить не удалось) и др. Но в общем доминанту поэтического творчества Кузмина можно было бы определить так: первоначально он преимущественно пишет собственные тексты для музыки, а начиная с лета 1906 года начинает все активнее писать стихи, не предполагающие музыкального сопровождения. Первым



таким циклом, сколько мы можем судить, является открывающий «Сети» цикл «Любовь этого лета», созданный под влиянием не только мимолетного любовного приключения, но и регулярного общения с Вячеславом Ивановым, «современниками», участниками «Вечеров Гафиза». О том, что послужило причиной перехода от творчества музыкально-поэтического к собственно стихотворному, мы можем только догадываться, но тем важнее ввести в оборот тексты, написанные в непосредственном предшестве «Любви этого лета» и являющиеся как бы соединительным звеном между еще полностью музыкальными «Александрийскими песнями» и уже полностью ориентированными на восприятие без музыки стихами лета 1906 года.

Об исполнении этих песенок сохранилось упоминание в дневнике Кузмина 5 мая 1906 года: «Был Иванов, моя музыка, по-видимому, ему нравится, в восторге от детских песен. Слова «равнодушные объятья» и «обладанье без желанья» нашел очень моими. Небрежность слов и внутренняя грация». Видимо, «небрежность слов и внутренняя грация» на какое-то время стали эмблематичными как для самого Кузмина, так и для его читателей-слушателей.

Читая эти «песенки», необходимо иметь в виду и еще одно: Кузмин этого времени внешне был совсем не таким, каким мы привыкли его себе представлять. Вместо петербургского денди с легендарными разноцветными жилетами на каждый день, перед знакомыми представлялся человек, одетый в особое русское платье. Уже цитировавшееся описание Кузмина в поддевке, сделанное А. М. Ремизовым, относится им к осени 1906 года; если за тридцать лет память не изменила ему, мы можем восстановить дату их знакомства еще точнее: Кузмин побрился и снял русское платье в начале сентября 1906 года. 9 сентября он, по всей вероятности, сбрил бороду, 10-го получил от портного пальто и снял поддевку, 13-го записал в дневнике об Ивановых: «Переменой костюма не слишком были недовольны», и в тот же день написал К. А. Сомову: «Теперь я хожу в европейском платье, хотя предвижу сожаление друзей, любовь к которым не стала другой от изменения костюма»<sup>5</sup>. Значит, к тому времени все его жизненное поведение было еще ориентировано на создание облика человека древнего благочестия, случайного пришельца в мир петербургской богемы из повенецких лесов и скифов Керженца. Тем разительнее должен был быть контраст между печатаемыми здесь «песенками» и внешностью, «александрийством» и «русскостью». Пройдет не так уж много времени, и Кузмин решительно изменится: «...уж Кузмин давно снял вишневою волшебную поддевку, подстригся, и не видали его больше в золотой парчевой рубахе навывпуск; были у него редкие книги старопечатные (Пролог) и рукописные, и знаменитые крюки (ноты) — все спустил, все продал, и голос не тот, в «Бродячей собаке» скричал»<sup>6</sup>. Изменится и его репертуар. Уже в октябре 1906 года он запишет в альбом Ремизова песенку, которая на какое-то время

станет новой эмблемой его творчества: «Если бы ты был небесный ангел...»<sup>7</sup>, а еще через несколько лет сочинит песню «Дитя, не тянися весною за розой...», которая приобретет широчайшую по тем временам популярность. Ее будет исполнять уже не только сам Кузмин, но и другие певцы, и доживет она в живом исполнении по крайней мере до тридцатых годов. В лагерных воспоминаниях Т. Аксаковой-Сиверс упоминается авторитетный вор с гитарой, из уст которого звучит кузминское: «Помни, что летом фиалок уж нет...»<sup>8</sup>.

Вторая группа текстов, связанных со становлением Кузмина как литератора, — несколько писем 1907-го и самого начала 1908 года, то есть относятся ко времени несколько более позднему, когда Кузмин переживал первую свою славу.

Почти с самых начальных шагов своей литературной деятельности Кузмин был связан с издательством «Скорпион» и журналом «Весы». О том,<sup>9</sup> как он вошел в круг их сотрудников, уже говорилось в печати, поэтому вряд ли имеет смысл еще раз об этом напоминать. Однако следует отметить, что довольно часто сношения с Брюсовым шли не впрямую через обращения к мэтру, а через посредников, главным из которых был Михаил Федорович Ликиардопуло (1883—1925). В героический период существования «Весов» он был секретарем редакции журнала и чрезвычайно активно входил не только в деловые перипетии, но и в обстоятельства литературной жизни<sup>10</sup>.

Из весьма обширной их переписки нам сейчас известно девять его писем к Кузмину и одно ответное<sup>11</sup>. По большей части письма Ликиардопуло носят характер чисто деловой и не представляют живого интереса для читателя, специально не занимающегося историей кузминских публикаций. Однако среди них выделяются три письма лета 1907 года, более значительные по своему содержанию, поскольку касаются литературных отношений этого времени, журнальной борьбы и роли Кузмина в ней.

Для того чтобы понять смысл и контекст появления этих писем, необходимо обрисовать положение, занимаемое в то время Кузминым в литературе, а также напомнить общую литературную ситуацию, сложившуюся внутри русского символизма.

Как хорошо известно, впервые произведения Кузмина были опубликованы в «Зеленом сборнике стихов и прозы», вышедшем 20 декабря 1904 года<sup>12</sup>. Эта публикация не прошла незамеченной (среди прочих ее рецензировали Блок и Брюсов), однако и после ее появления Кузмин продолжал чувствовать себя стоящим вне литературы. Даже публикация «Александровских песен» в «Весках» (1906, № 7) прошла по большому счету незамеченной, и лишь напечатанные там же в одиннадцатом номере «Крылья» создали атмосферу литературного скандала, в котором приняли участие не только писатели-символисты (с резким осуждением повести выступили Андрей Белый и Зинаида Гippiус, а поддержал Кузмина Брюсов), но и самая

вульгарная критика. Кузмин сразу стал заметной фигурой в литературных кругах<sup>13</sup>.

Однако его дневник и письма лета 1907 года свидетельствуют, что и тогда, через год после своего дебюта в популярном журнале, он особенно тщательно фиксирует всякие, даже самые малые упоминания своего имени в газетной хронике, обращает внимание на пародии, всякого рода «ругань», даже на неконкретизированные выпады, которые могли бы относиться (но вовсе не обязательно относились) к нему. Никогда впоследствии подобного не происходило (см. статью «Литературная репутация и эпоха», а также переписку с В. Ф. Нувелем). Очевидно, именно лето 1907 года сформировало у него сознание профессионального литератора, следящего за критикой, откликающегося на полемику, отстаивающего свое место в литературной борьбе и пр., но не обладающего еще выработанным впоследствии хладнокровием по отношению к симптомам нарастающей популярности.

Письма Ликиардопуло свидетельствуют прежде всего о том, что редакция «Весов» уже в эти месяцы смотрит на Кузмина как на авторитетного и популярного писателя, привлечение которого в собственный лагерь способно принести определенные дивиденды. Именно в эти дни Брюсов так характеризовал положение в литературе в письме к отцу, несколько, естественно, упрощая картину, но зато делая ее более рельефной: «Среди «декадентов», как ты видишь отчасти и по «Весам», идут всевозможные распри. Все четыре фракции декадентов: «скорпионы», «золоторунцы», «перевальщики» и «оры» — в ссоре друг с другом и в своих органах язвительно поносят один другого. Слишком много нас расплодилось и приходится поедать друг друга, иначе не проживешь. Ты читал, как мы нападаем на «петербургских литераторов» («Штемцелеванная Калаша»): это выпад против «Ор» и в частности против А. Блока. Этот Блок отвечает нам в «Золотом Руне», которое радо отплатить нам бранью на брань. Конечно, не смолчит и «Перевал», в ответ на «Трихину». Одним словом, бой по всей линии!»<sup>14</sup>. В подобной ситуации естественная логика подсказывала возможный выход: для увеличения подписки привлечь в свой журнал как можно больше популярных и широко читаемых авторов. То, что только что начинавший свою литературную деятельность Кузмин оказался среди них, должно было немало льстить его самолюбию. Именно поэтому Ликиардопуло всячески подстрекает это самолюбие: регулярно предлагает ему присылать на склад «Скорпиона» издания для распространения, извещает о движении тиража «Крыльев» и пр. В то же время литературная политика заставляла «весовцев» требовать от авторов, печатавшихся в их журнале, решительного отказа от участия в других изданиях. Таким актом применительно к Кузмину было, к примеру, письмо художника Н. П. Феофилактова, который настоятельно просил поэта не участвовать в новообразованном журнале «Перевал», так как «этот журнал социалистический и очень безвкусный»<sup>15</sup>. Совершенно очевидно, что такой

ход был предпринят по инспирации Брюсова, а не по собственной инициативе Феофилактова.

Весна и лето 1907 года были временем самого решительного размежевания «Весов» и «Золотого руна», и письма Ликиардопуло отражают борьбу, которую «Весы» вели за одного из высоко ценимых ими авторов. Сначала осторожное прощупывание, потом требование решительного поступка, а затем благодарное облегчение — вот основная тональность публикуемых писем. Вместе с тем они помогают понять и настроение самого Кузмина, который, только что окунувшись в бурю литературной войны, сразу же оказался на ее переднем крае и притом — в очень сложном положении. Дело в том, что его средства в это время были довольно ограничены. Долгое время тянувшееся дело о разделе вологодского имения, принадлежавшего деду Кузмина, так ни к каким ощутимым для него результатам не приводило<sup>16</sup>. После смерти матери Кузмин получал от Г. В. Чичерина ежемесячно по 100 рублей<sup>17</sup>, однако этой суммы для него было явно недостаточно. К тому же не очень ясно, получал ли он деньги после 1 сентября 1907 года<sup>18</sup>, так что очевидно, что литературные доходы постепенно становились все более и более существенным источником потребных для жизни средств. Кузмин почти всегда писал легко и много, а мест, где бы его охотно печатали, не хватало, тем более что «Весы» предъявляли к своим авторам достаточно серьезные требования.

Показательный эпизод произошел в сентябре 1907 года, то есть как раз в то время, когда борьба за то, чтобы Кузмин принадлежал единственно к лагерю «Весов», вероятно, еще не была завершена. 26 сентября Брюсов пишет Кузмину: «Нам очень хотелось бы дать в октябрьской книжке «Весов» Ваш рассказ. У нас есть Ваша рукопись «Кушетка тети Сони». Нам этот рассказ не кажется на уровне Ваших лучших произведений. Поверьте, это вовсе не «редакторское» замечание. После «Александрйских песен», «Любви этого лета», «Элевзиппа» и мн. и мн. — Вы приобрели себе право решать самовольно, что должно напечатать из Ваших вещей, что нет. Мои слова — только дружеский совет или, еще того вернее, дружеский вопрос. Мы только еще раз спрашиваем Вас: настаиваете ли Вы, что «Кушетку» напечатать должно?»<sup>19</sup>. Однако для Кузмина по не вполне понятным нам причинам этот рассказ был принципиально важен<sup>20</sup>. Получив несохранившийся ответ Кузмина, Брюсов написал ему: «Так как Вы настаиваете на «Кушетке» или так как Вам дорог этот рассказ, мы поместим его непременно в № 10»<sup>21</sup>. Кузмин в ответном письме рассыпался в благодарностях: «...я не настаивал, я только признался в пристрастии, м<ожет> б<ыть>, незаслуженном, к этой вещи. Но я и радуюсь в глубине. Моя искреннейшая просьба — не оставлять меня и впредь такими дружескими советами, потому что если не Вам, то кому же мне и верить?»<sup>22</sup>. Совершенно очевидно, что подобная снисходительность могла быть обусловлена единственно желанием Брюсова прочнее привязать Кузмина к «Весам».

Сам же Кузмин вовсе не собирался, несмотря на все излияния в письмах, хранить журналу непоколебимую верность. Для него было важно иметь как можно больше возможностей публиковаться, потому он вел сложную игру, позволявшую ему оставаться сотрудником принципиально враждовавших изданий. Поддавшись первому искушению принять сторону «Весов», он через несколько дней уже пошел на попятный и вернулся (конечно, не думая порывать с «Весами») в «Золотое руно»; несколько ранее началось и активное сотрудничество с «Перевалом». Печатаясь в разнородных изданиях, Кузмин как бы готовился к тем годам, когда он решительным образом переместится в журналы далеко не самого высокого пошиба, охотно публикуясь в «Ниве», «Огоньке», «Аргусе», «Лукоморье», «Синем журнале» и тому подобных. Пока же он только пробует силы, оставаясь в пределах первоначально избранного поприща.

Вернемся, однако, на некоторое время назад. В дневнике Кузмина особо фиксируются приметы своеобразной популярности «Крыльев» среди никому не известных поклонников. При этом Кузмина интересовало и то, что многим читателям, разделяющим его сексуальные предпочтения, интересна в повести была прежде всего та сторона, которая могла бы быть названа «физиологическим очерком».

Вообще говоря, художественная природа «Крыльев», несмотря на внешнюю их простоту, довольно сложна. С одной стороны, повесть представляет собою «роман воспитания», повествующий о том, как душа совсем молодого человека, Вани Смурова, старается обрести крылья, найти выход своим неясным еще желаниям. С другой — это философский роман, имеющий своим аналогом не только произведения XVIII века (типа вольтеровских философских повестей или «Ардингелло» В.Хайнзе), но и непосредственно платоновский «Пир»<sup>23</sup>. Но помимо всего этого, «образованные», как их называет Кузмин, искали и находили в «Крыльях» описание своего собственного быта, духа сугубо мужской любви, демонстративное отвержение любви женской. Конечно, преувеличивать эту сторону повести не следует, но преуменьшать ее нельзя. Именно она послужила причиной того, что к Кузмину тянулись самые разные люди, по большей части ему совершенно неинтересные, но некоторые из них на какое-то время занимали в его жизни определенное место.

Одним из таких людей был Владимир Владимирович Руслов.

В специальной статье А. Г. Тимофеев тщательнейшим образом проследил, как уже незадолго до своей смерти, последовавшей в 1929 году, Руслов организовал в Москве вечер бедствующего Кузмина, ориентированный на сугубо «нашу» публику. Попутно из этой переписки выясняется много любопытных фактов, рисующих литературный и артистический быт середины двадцатых годов, да и просто способы существования определенного, достаточно замкнутого круга людей, объединенных не только своими сексуальными предпочтениями, но и в какой-то степени — той старой культурой, которая все

решительнее вычеркивалась из жизни формируемого советского общества<sup>24</sup>.

Однако еще более важны ранние письма Кузмина к Руслову, относящиеся к 1907—1908 годам и раскрывающие состояние Кузмина в момент его первой известности, еще не превратившейся в устойчивую славу, которая была уже не за горами.

Первоначальное знакомство было заочным. 1 сентября 1907 года. Кузмин сделал в дневнике запись, которую мы уже приводили выше, но здесь имеет смысл напомнить ее часть: «Дягилев ужасно мил. <...> Рассказывал про гимназиста Руслова в Москве, проповедника и *cassetête*, считающего себя Дорианом Греем, у которого всегда готовы человек <ек> 30 товарищей *par amour*, самого отыскавшего Дягилева *etc.*». 1 ноября того же года (очевидно, при посредстве Дягилева) Кузмин получает от Руслова письмо, на которое тут же отвечает в самом теплом и нежном тоне. Поводом для переписки послужила история с повестью «Картонный домик», однако вся совокупность писем оказывается гораздо значительнее и интереснее, чем просто обсуждение сиюминутных литературных и литературно-издательских проблем.

Уже первый серьезный биограф Кузмина Г. Г. Шамаков обратил внимание на эти письма и привел отрывки из них, характеризующие литературные и художественные вкусы Кузмина<sup>25</sup>. Однако необходимо обратить внимание не просто на подбор имен, а на то, каким образом эти имена сочетаются между собой и вписываются автором писем в общий рассказ о себе и своих вкусах.

Литература и искусство становятся для Кузмина неотъемлемой частью самой жизни, взятой как некое единое целое, где нет ничего неважного. Самые прихотливые вкусы, соединяясь в личности одного человека, обретают внутреннюю закономерность, пусть даже они изменчивы и недолговечны. В раннем творчестве Кузмина такое отношение оправдывалось тем, что автор прежде всего воспринимался как лирический поэт. Не случайно Блок воскликнул в письме к нему: «Господи, какой Вы поэт и какая это книга! Я во все влюблен, каждую строку и каждую букву понимаю...»<sup>26</sup>. От лирического поэта невозможно было требовать последовательности взглядов, а цельность мировоззрения полностью определялась тем образом мира, который возникал из отдельных стихотворений, так что остававшееся незаполненным пространство каждый читатель мог заполнить по собственному выбору.

Когда Кузмин станет в сознании читателей гораздо более определенной литературной личностью, его мировоззрение будет представляться современникам более загадочным, чем на первых порах. Выше уже говорилось, что Ахматова считала Кузмина одним из тех людей, за обликом которых скрывается сам Дьявол. Несомненно, что поводом для такого представления послужили не только и не столько человеческие взаимоотношения между двумя поэтами, сколько те истории, что ходили про Кузмина в Петербурге-Ленинграде.

Безусловно, самая известная из них касается взаимоотношений Кузмина и молодого гусара Всеволода Князева. Молва обвиняла в самоубийстве Князева не только бессердечие его возлюбленной, Ольги Афанасьевны Глебовой-Судейкиной<sup>27</sup>, но и Кузмина, который долго покровительствовал младшему поэту, а потом бросил его на произвол жестокой судьбы. Когда дневник Кузмина будет опубликован полностью и любопытные читатели примутся искать там ответа на вопросы, заданные ахматовской «Поэмой без героя», они наверняка будут удивлены, что на деле все обстояло не так, как в поэме.

Все два с половиной года, что Кузмин и Князев были связаны, в дневнике регулярны жалобы на князевский «палладизм». Термин этот происходит от имени Паллады Олимповны Богдановой-Бельской, чья фигура стала неременной принадлежностью петербургской литературно-артистической хроники, попадая в воспоминания и даже в художественные произведения в качестве типичном и одновременно — полуанекдотическом<sup>28</sup>. Для Кузмина же ее поведение было свидетельством не только забавной эксцентричности, но в первую очередь очевидной безнравственности, тем более отвратительной, что она касалась людей, Кузмину близких, и разрушала иллюзию полного единства во взглядах на отношения между мужчинами. И Князев в его восприятии выглядит неким мужским аналогом Паллады, человеком, на которого нельзя положиться ни на секунду, от которого в любой момент можно ожидать измены, причем измены самой непоправимой, то есть с женщиной<sup>29</sup>.

Потому-то Кузмин и Князев порвали отношения в сентябре 1912 года, больше чем за полгода до самоубийства Князева. Потому-то Кузмин и делал перед окружающими вид, что смерть и похороны Князева его совершенно не волнуют, так как для него весь этот эпизод остался далеко позади. Нечто подобное описано в финале «Картонного домика», который не появился в печати, но, как увидим далее, распространялся среди чем-то близких Кузмину людей. Надеть маску полного равнодушия для Кузмина выглядело естественным, но для окружающих становилось весьма вызывающим.

Такое отступление может показаться излишним. Но это только на первый взгляд. На самом же деле попытки разобраться в том, как Кузмин относился к людям и как он представлял это отношение сторонним наблюдателям, приводят к неизбежному выводу, что он постоянно стремился затушевать, скрыть от чужого глаза то внутреннее единство личности, которое несомненно было.

Собственно говоря, не только Кузмин поступал так. Достаточно вспомнить, скажем, Леонида Канегиссера, прятавшего мучительные переживания под маской петроградского сноба, чтобы понять, насколько широко был распространен такой тип жизненного поведения в кругу Кузмина и как он был связан с личностью самого мэтра.

Выяснение же подлинной позиции поэта должно выявляться из максимально широкого круга источников, доступных на сегодняш-

ний день. Конечно, одной из первостепенных задач является издание полного текста дневника<sup>30</sup>, но не менее важно ввести в поле читательского внимания его переписку. Здесь прежде всего речь должна идти о таких значительных комплексах материалов, как переписка с Г. В. Чичериным<sup>31</sup>, В. Я. Брюсовым<sup>32</sup>, В. Ф. Нувелем<sup>33</sup>, но интересны и менее пространные массивы, содержащие, однако, важнейшую информацию, касающуюся жизни и творчества Кузмина в определенные периоды.

Письма к Руслову, печатаемые здесь, привязаны к хронологически весьма незначительному периоду его жизни, но по своей насыщенности они превосходят многие другие группы документов, охватывающие гораздо более продолжительное время.

Конечно, делая сопоставления разнородных документов, следует помнить, что одним из принципиальных свойств Кузмина и как человека, и как творца было стремление к постоянной неоднозначности облика, его непрестанному умножению — двоению, троению и т.д. Для дневниковых страниц (которые могли, как известно, становиться достоянием не только его самого, но и других, часто не очень близких людей) он строил один облик, для писем — другой, для литературы — третий, для частного личного общения, видимо, четвертый (а в зависимости от ситуации и собеседника — и пятый, и шестой, и так далее). Где же подлинный Кузмин? Очевидно, в переплетении всех этих обликов, в их взаимоналожении и взаимопроникновении. Ни одним из них нельзя пренебречь.

Именно под этим углом зрения следует читать прилагаемые письма.

Для Руслова Кузмин создает образ денди, блестящего эстета, верящего прежде всего в искусство, долженствующее запечатлеть круг «посвященных» (прежде всего в смысле сексуальных предпочтений) и легкость/жизни тех, кто в этот круг входит. Роман с В. Наумовым, о котором в дневнике пишется как о мистическом событии, который предстает в посвященных Наумову стихах как непрестанно сакрализующийся эпизод, в письмах изображается обыденным любовным приключением со всей подобающей случаю терминологией. Кузмин избегает вообще каких бы то ни было слов о глубине и серьезности переживаний, вместо этого речь идет о смене светских удовольствий, сменяющихся добровольным унылым отшельничеством, чем-то похожим на чаемое, но недостижимое уединение в зимней деревне (характерно, что Кузмин представляет эту деревню дворянской усадьбой, тогда как на самом деле все было гораздо прозаичнее). Одним словом, перед нами тот Кузмин, который меняет жилеты каждый день и для которого расцветка галстука (даже скорее *галстуха*) значит более, чем вся премудрость, столь ценимая Вячеславом Ивановым.

Вспомним уже приводившуюся фразу из письма к Брюсову о том, что «Комедия о Евдокии» вовсе не является «мистерией всенародного



действия». Но ведь очевидно, что здесь — все та же рассчитанная игра, когда мистериальность и фривольность, манерность и сакральный смысл должны восприниматься одновременно, как и то, что Кузмин пишет в одни и те же дни Руслову, другим корреспондентам, на страницах дневника. Литературный облик и облик человеческий начинается сознательно выстраиваться как облик неоднозначный, где сквозит то дьявольское начало, воспринятое Ахматовой, то почти ангельское очарование, зафиксированное Цветаевским «Нездешним вечером», то удивительная простота и естественность, о которой вспоминали многие посетители Кузмина<sup>34</sup>.

И в этом смысле Кузмин — безусловный человек позднего символизма, одновременно борющийся с ним на уровне идей и отношения к слову, но и разделяющий самые основания его мировосприятия, его «невыразимого».

Конечно, перед ним еще лежит долгий путь художника, художника до мозга костей, творца неповторимых ритмов, и облик его будет еще не раз меняться, но тем важнее для нас уловить начало его создания, что помогают сделать публикуемые стихи и письма.

МИХАИЛ КУЗМИН

## ЧЕТЫРЕ СТИХОТВОРЕНИЯ

\* \* \*

Равнодушные объятья,  
Поцелуй без любви.  
Отчего же пробегает  
Огонь в крови?

Незнакомая улыбка,  
Незнакомые черты.  
Отчего же вопрошаю:  
«Не это ль ты?»

Разве средства раньше цели,  
Разве ночь в начале дня?  
Отчего ж так все пылает  
Внутри меня?

Безучастно поцелуешь,  
Равнодушно обоймешь,  
Вдруг все станет так открыто  
И все поймешь:

Что и ключ к ларцу подходит,  
И одежда по тебе,  
И давно уж эти очи  
Носил в себе.

*30 декабря 1905 г.*

\* \* \*

Обладанье без желанья  
И желанье без конца.  
В этом таинство слиянья  
В дивной вечности кольца.

Прикоснешься, не гадая,  
И утратишь сам себя.  
И теряя, и страдая,  
Ты блаженствуешь, любя.

Без желанья взяв, желаешь,  
И мутится бурно кровь,  
И желаешь, и пылаешь,  
И клянешь, любя, любовь.

И не ждешь себе прощенья,  
И чертишь за кругом круг;  
Отвращенье, возвращенье,  
То палач, то нежный друг.

Видишь таинство слиянья  
В дивной вечности кольца;  
Обладанье без желанья  
И желанье без конца.

*10 января <1906>*

\* \* \*

Две пары глаз  
У нас, мой друг, с тобой,  
И всякий раз  
Они вступают в бой.

Твои моим:  
«Для нас разлуки нет!»  
Мои твоим:  
«Я чужд иных планет,

Я астролог,  
Читающий вперед:  
“Любви залог  
Твой взор в моих найдет”».

Так тихо бой  
Ведут две пары глаз,  
Когда с тобой  
Сойдемся в страстный час.

12 января <1906>

\* \* \*

С сердцем своим я вел разговор  
«Кто, скажи, сердце, твой покой украл?» —  
«Серые глаза были тот вор,  
Что мой покой, мой покой украл».

«Много бы дал я, сердце мое,  
Чтобы вернуть, вернуть мой покой!»  
«Разве ты не видишь, что счастье твое —  
В том, чтобы всегда терять мой покой?»

«Серые глаза, ненавистный вор,  
Что мое сердце, сердце обокрал!» —  
Сердце молчало, забыв разговор,  
Думая о милом, что его обокрал.

16 января <1906>

## ПИСЬМА М.Ф.ЛИКИАРДОПУЛО К М.А.КУЗМИНУ

1

Москва, 1.VI.<19>07  
<Именной бланк М. Ф. Ликиардопуло  
с адресом:>  
Малый Харитоньевский пер.,  
д. Котова, кв. 16.

Дорогой Михаил Алексеевич!

Получил Ваше письмо, «Приключения Эме Лебефа» и «Три пьесы»<sup>1</sup>. В восторге от книжечек. Все так стильно и выдержанно и внешне и внутренне. «Эме Лебеф» даже прочитал уже два раза. Очень мне понравилась также и Ваша мистерия в «Орах»<sup>2</sup>. Это лучшая вещь всей книги.

Теперь несколько слов о делах: если Вы заинтересованы в распространении Ваших книг, то пришлите нам на склад какое-нибудь количество (100 экз<емпляров>, скаж<ем>) и также сообщите цену на них, чтобы мы могли Вам сделать объявление в «Весах»<sup>3</sup>.

Сергей Александрович<sup>4</sup> из Крыма все еще не возвратился — думаю, вернется к 15 — и до тех пор ничего не могу Вам сказать определенного о «Александрийских песнях», кроме того, что это издание решенное<sup>5</sup>.

У «Золотого Руна» дела очень неважные, никак дальше № 3 не могут пойти<sup>6</sup>. Говорят, что Ряб<ушинский> собирается ликвидировать дело и «рассчитать» или, вернее, «уволить» своих сотрудников<sup>7</sup>. Т<ак> к<ак> надежд на возобновление «Руна» в прежнем его виде, по-видимому, нет никаких<sup>8</sup> и ввиду слухов о появлении в след<ующем> № «Руна» (если он появится) весьма бранной статьи (написанной Рябушинским пополам с Тастевеном) против «Весов» и, кажется, Брюсова в частности<sup>9</sup>, — небольшая группа москвичей: Брюсов, Балтрушайтис, Белый, я и Сергей Соловьев, а также, по всей вероятности, З. Гиппиус — решили демонстративно выйти из состава сотрудников «Золотого Р<уна>». Т<ак> к<ак> Вы не мало подвергались «немилости» Рябушинского<sup>10</sup> и ввиду того, что надежд на возобновление беллетристики в прежнем своем виде — нет, то, может быть, и Вы к нам примкнете? Если согласны, то уполномочьте или меня, или В. Я. Брюсова в случае нашего коллективного ухода из «Руна» присоединить и Ваше имя<sup>11</sup>.

Пишите, как Вы живете и что теперь делаете.

Вас любящий

*М. Ликиардопуло*

РГАЛИ. Ф. 232. Оп. 1. Ед. хр. 268 (там же хранятся остальные письма).

1. Речь идет о книжках Кузмина «Приключения Эме Лебефа» (СПб., 1907) и «Три пьесы» (СПб., 1907). В «Весах» обе эти книги рецензировал В.Я.Брюсов (1907. № 7), а первую — и сам Ликиардопуло (Столичное утро. 1907, 1 сентября; подп.: М. Л — о).

2. Комедия о Евдокии из Гелиополя, или Обращенная куртизанка // Цветник Ор: Кошница первая. СПб., 1907.

3. Объявление о книгах Кузмина было напечатано в шестом номере «Весов», что он специально отметил в дневнике: «Прислали «Весь»; бранят Чулкова, но и Иванова и Блока, объявляют мои книги».

4. Поляков С.А. (1874—1942) — переводчик, критик, меценат издательства «Скорпион» и журнала «Весь».

5. Речь идет о задуманном еще в 1906 г. отдельном издании «Александрийских песен» с рисунками Н.П.Феофилактова. См. в письме Феофилактова от начала октября 1906 г.: «Я пленен Вашими «Александрийскими песнями» и скоро начну оканчивать к ним рисунки» (РНБ. Ф. 124. № 4488. Л. 2 об).

6. Четвертый номер «Золотого руна» появился только в начале лета (Кузмин в дневнике отметил его получение 26 июня). Запоздание, очевидно, было вызвано денежными затруднениями издателя Н. П. Рябушинского.

7. Эти слухи, по всей видимости, были вызваны скандальным разрывом фактически заведовавшего литературным отделом «Золотого руна» А. А. Курсинского с Рябушинским. Отношение последнего к своим сотрудникам характеризует фраза, произнесенная им в разговоре с Брюсовым: «Неужели я не могу *отказать* своей *кухарке* без того, чтобы в это дело не вмешались «Весы»?» (Письмо В.Я.Брюсова к Ф.Сологубу от 31 августа 1907 г. / Публ. В.Н.Орлова и И.Г.Ямпольского // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского дома на 1973 год. Л., 1976. С. 110).

8. Сведения об этом, циркулировавшие весной 1907 г., зафиксированы в переписке заинтересованных лиц (см.: *Лазров А.В.* «Золотое руно» // Русская литература и журналистика начала XX века. 1905—1917. Буржуазно-либеральные и модернистские издания. М., 1984. С. 155). Однако радикальной перестройки журнала не состоялось.

9. См.: *Эмпирик*. Причины одной литературной метаморфозы // Золотое руно. 1907. № 4. С. 79—80. Ответ Брюсова см.: *Р.* «Золотому руно» // *Весы*. 1907. № 6. С. 75—76. *Тастевен* Генрих Эдмундович (1880—1915) — журналист, литературный критик, секретарь редакции «Золотого руна».

10. В начале 1907 г. Рябушинский отказался печатать в «Золотом руно» «Прерванную повесть» и пастораль «Два пастуха и нифма в хижине» (Дневник Кузмина, 12 января и 15 марта). Еще ранее не были приняты в «Золотое руно» «Крылья».

11. В письме Кузмина особенно взволновали именно эти слова. 2 июня он записал в дневнике: «Письма от Лемана, Ликиардопуло, Павлика (П. К. Маслова, которому адресован цикл «Любовь этого лета». — *Н.Б.*). В Москве опять распри с «Руном», собираясь выходить из которого приглашают и меня присоединиться. Что же, лишивши меня «Перевала», хотят лишить и «Руна»?» См. также в письме к В. Ф. Нувелю от 15 июня: «"Скорпионы", ожидая ругательной статьи против них, предлагают и мне участвовать в их демонстративном выходе из «Руна». Думаю отмолчаться».

## 2

19 июля 1907

<Именной блак М. Ф. Ликиардопуло>

Дорогой Михаил Алексеевич!

Простите, что не ответил на целый ряд Ваших писем, но случилось, что я уезжал на несколько дней в деревню под Москву и только недавно вернулся.

«Жар-Птицы» не посылал Вам еще, так как обложка Сомова еще не готова, а она-то именно представляет для Вас интерес<sup>1</sup>. Стихи Ваши В<алерий> Я<ковлевич> получил, но об этом он Вам сам на-

пишет <sup>2</sup>. Рассказ Ваш взял для прочтения С. А. Поляков, и когда он его вернет мне — не премину сообщить Вам о результатах <sup>3</sup>. Скоро же окончательно решится и вопрос о «Алекс<андрейских> Песнях» <sup>4</sup>. Вот, кажется, все дела. Как проводите лето, что теперь пишете? Неужели конец «Картонного Домика» погиб безвозвратно? <sup>5</sup> Что за гадости выкидывают Петербургские газеты! Я не знаю, как охарактеризовать выходку г. О. Л. Д'Ора (кто это?) в приложении к «Руси», кот<орый> сочинил нехватющие главы и подписал их Вашим именем. Это больше наглости, это форменное хулиганство <sup>6</sup>. Кстати, вспомнил еще «дело»: ради бога, убедите Гржебина <sup>7</sup> немедленно выслать нам 25 экз<емпляров> «Эме Лебефа» и «Пьес». У нас их до сих пор нет, а после объявления в «Весах» поступают запросы. Только, пожалуйста, как можно скорее. Можно ли нашим подписчикам делать 15 % скидки? «Крылья» одно время было окончательно «стали», но теперь опять «пошли». Осталось экземпляров 300 всего <sup>8</sup>. Скидка не была помечена в объявлении, т. к. я не знал, можно ли делать на издания Гржебина.

Мне очень понравилась «Прерванная повесть» <sup>9</sup>. Когда я купил «Белые Ночи», я сейчас же ее прочитал Брюсову, Белому и Эллису, кот<орые> были все в восторге. Отзыв о «Белых Ночах» написал для «Весов» Белый, приблизительно в том же духе, как и о «Орах» <sup>10</sup>. С «Руном» мы прекратили всякие сношения, хотя еще не выжили.

Про себя мало что могу написать, — работы, как всегда, по горло. Жду не дождусь сентября, когда уеду на месяц в мой любимый «Город», как мы, греки, называем Константинополь <sup>11</sup>. А пока приходится томиться в Москве, читать корректуры, ругаться с типографией и т.д.

Пока до свидания.

Любящий Вас

*Мих. Лукиардопуло*

1. *Бальмонт К.* Жар-Птица: Свирель славянина. М., 1907.

2. См. в письме Кузмина к Брюсову от 17 июля: «Посылаю Вам «Ракеты», новые 9 стихотворений, Ваше мнение о которых мне бы крайне важно было знать. Если Вы найдете их достаточно удачными и если в «Весах» 1908 г. найдется место для моих стихов, то, может быть, это и могут быть «Ракеты»?» (РГБ. Ф. 386. Карт. 91. Ед.хр. 12. Л. 13—14 об). Ответ Брюсова нам не известен, однако «Ракеты» были напечатаны (Весы. 1908. № 2).

3. По всей вероятности, речь идет о рассказе «Кушетка тети Сони», отправленном 12 июня Брюсову (о судьбе этого рассказа см. в нашей преамбуле).

4. См. примеч. 5 к письму 1. Ср. в письме Брюсова к Кузмину от 26 сентября 1907 г.: «...не думаете ли Вы об издании сборника Ваших стихов, ибо издание «Александрейских песен» тормозится медленностью Ник<олая> Петр<овича> Феофилактова?» (*Cheron G.* Letters of V. Ja. Brjusov to M. A. Kuzmin // Wiener slawistischer Almanach. Wien, 1981. Bd. 7. S. 73).

5. Повесть «Картонный домик» была опубликована в альманахе «Белые ночи» без последних четырех глав, затерянных в типографии. Кузмин извещал об этом в письме в редакцию «Весов» (1907. № 6. С. 74). Г. И. Чулков, деятельно участвовавший в издании «Белых ночей», далеко не сразу вернул найденное окончание рукописи автору.

6. Речь идет о публикации: О. Л. Д'Ор. «Картонный домик» (Окончание) // Русь: Ил. приложение. 1907. № 227 (16 июля). С. 381—382. Под текстом стояла подпись «М. Кузмин», а после нее — «Сообщил О. Л. Д'Ор». О. Л. Д'Ор — псевдоним Осипа (Иосифа) Львовича Оршера (1878—1942). Сам Кузмин отозвался об этой публикации так: «В «Руси» опять какая-то пошлость, даже не смешная, о “Картонном домике”» (Дневник, 18 июля).

7. *Гржебин* Зиновий Исаевич (1868—1929) — художник, издательский деятель, выпустивший указанные выше книги Кузмина.

8. Речь идет о первом отдельном издании повести «Крылья» (М., 1907). 26 сентября Брюсов сообщил Кузмину: «“Крылья” — распроданы по крайней мере, те экземпляры, что остались в Москве» (*Cheron G. Op.cit. S.73*. Печ. с исправлением по рукописи: РНБ. Ф. 124. № 675).

9. «Прерванная повесть» — цикл стихотворений Кузмина, опубликованный вместе с «Картонным домиком» в альманахе «Белые ночи» и связанный с повестью сюжетными линиями и прототипической основой (см. ст. «Автобиографическое начало в раннем творчестве Кузмина»).

10. См.: *Весы*. 1907. № 7. С. 71—74. Рец. на «Цветник Ор» // *Весы*. 1907. № 6. С. 66—70.

11. Эта фраза была особо отмечена в дневниковой записи Кузмина от 21 июля: «Известия из «Весов» и «Руна», «Филлида» (повесть «Тень Филлиды». — *Н.Б.*) принята, из «Весов» более личное и дружеское. Ликардопуло осенью едет в Константинополь, и воспоминанье об этом незабвенном, очаровательном городе наполняет меня почти какою-то тоскою».

### 3

<7 августа 1907><sup>1</sup>

<Бланк издательства «Скорпион»>

Дорогой Михаил Алексеевич!

Ваше письмо меня бесконечно обрадовало, но должен признаться — я именно и ждал от Вас такой ответ<sup>2</sup>. Мы никогда не сомневались в том, что Вы наш, но за последнее время нам пришлось не раз ошибиться, вдруг открыв, что люди, которых мы привыкли считать своими, — становились нашими противниками. И я лично, более всех отставивший Вашу верность «Весам», вынужден был получить от Вас определенное, окончательное заявление. Вы просите дать Вам каких-либо инструкций? Пока — мы с петербуржцами еще не порвали окончательно и не приходится предпринимать никаких шагов. Вот только «Руно». Мы недавно сделали последнюю попытку снова стать с ними

в дружеских отношениях — предложили им составить редакционную комиссию, куда вошли бы из москвичей Брюсов и Белый, но вместо этого пришлось выслушать кучу дерзостей, и к тому же вышла новая грязная история — на этот раз с Белым. Подробности Вы найдете в прилагаемой вырезке из «Столичного Утра»<sup>3</sup>. После этой нахальной выходки «Руна» оставаться в нем нет возможности. Сегодня мы получили согласие на коллективный выход от Д. Мережковского и З. Гиппиус, т<ак> ч<то> составляется большая группа: 2 Мережковских, Брюсов, Балтрушайтис, Соловьев, я и, надеюсь, Вы. Если Вы сейчас рассчитались с Рябушинским и согласны присоединиться к нашей демонстрации, то, пожалуйста, пошлите или прямо в «Руно» (или нам, а мы передадим со всеми остальными, одновременно) заявление о Вашем выходе, и уполномочьте нас присоединить Вашу подпись к различным заметкам и письмам, которые мы пошлем в разные газеты<sup>4</sup>. Не пишу Вам сейчас больше, т<ак> к<ак> <1 слово неразборчиво> у нас собирается сейчас публика (в «Весах»). Ожидая Ваш скорый ответ, остаюсь искренно любящий Вас

*Мих. Ликиардопуло*

P.S. «Эме Лебеф» и пьесы получены и уже разосланы заказчиком. На днях напишу об одном плане — для будущего — котор<ый> имеет предложить Вам «Скорпион»<sup>5</sup>.

1. В оригинале письмо не датировано. Кузмин получил его, согласно дневнику, 9 августа: «Дома ждало письмо из «Весов» о выходе из «Руна» Брюсова, Мережковского и т.д.». Так как письма из Москвы обычно приходили в Окуловку, где Кузмин проводил лето, на второй день, то, по всей видимости, оно было написано 7 августа.

2. Письма Кузмина и к Кузмину, касающиеся проблем выхода из числа сотрудников «Золотого руна», сохранились не полностью. Однако последовательность и содержание переписки оказывается возможным восстановить. 1 августа Кузмин получает письмо от Ликиардопуло и пишет в дневнике: «От Ликиардопуло письмо, чреватое новостями: раскол с Петербургом, я — москвич, Брюсов будет хвалить «Эме», Белый пошадит меня в «Белых ночах», статью Гиппиус парализует послесловие редакции» (Речь идет об уже упоминавшейся рецензии Брюсова на «Приключение Эме Лебефа» и «Три пьесы», о редакционном [написанном Брюсовым] послесловии к статье З. Гиппиус [подписанной «Антон Крайний»] «Братская могила» [Весы. 1907. № 7. С. 55] и переменах в тексте рецензии Андрея Белого на альманах «Белые ночи», о чем Кузмин писал В. Ф. Нувелю еще 16 июля: «В корректурах, когда временно Брюсова не было в Москве, было: «К сожаленью, он напечатал плохо отделанный, очевидно наспех написанный роман “Крылья”». После прибытия Валер<ия> Яковл<евича> это обратилось в скобки («Мне не нравятся его «Крылья»), поставленные, как объясняют, в оправдание перемены Белого сравнительно со статьей в “Перевале”»). На следующий день Кузмин получает письмо от В. Ф. Нувеля, находившегося в Москве и беседовавшего с Брюсовым, Белым, Ликиардопуло, Поляковым, Эллисом, с последними сообщения-



ми о распре московских и петербургских символистов (см. ниже, в публикации этой переписки). 5 августа до Кузмина доходит письмо Брюсова, о котором в дневнике записано: «Ответ от Брюсова, сдержанный, но крайне благоприятный. В дипломатии литературы большой важности». В этом письме Брюсов говорил: «В июльском № «Весов», который Вы получили на днях, Вы найдете краткую заметку, написанную мною о Ваших книгах. Я очень извиняюсь за беглость своих суждений, но моей целью было установить ту *точку зрения*, с которой, кажется мне, должно смотреть на Ваше творчество. Во всяком случае, при всех несовершенствах этого «опыта критики», Вы увидите из него, как неизменно люблю я и чту Вашу поэзию <...> М. Ф. Ликиардопуло читал мне отрывки из некоторых Ваших писем к нему. Мне кажется, что Вы совершенно верно определяете и свое значение как писателя и свое место в ряду современных литературных школ. Вне всякого сомнения, Вы душою, психологически, принадлежите нам, к нашему поколению, к нашему отряду, к созидателям, а не разрушителям. Мы тоже разрушаем, — но оковы, мешающие нам свободно двигаться, и стены, закрывающие нам дороги. Но мы не имеем и не можем иметь ничего общего с теми «молодыми», которым хочется сокрушать античные статуи за то, что это статуи, и поджечь дворцы за то, что это дворцы. Конечно, и в варварстве, *как во всем в мире*, есть своя прелесть, но я не колеблясь поставлю скорострельную пушку для защиты Эрмитажа от толпы революционеров, предводительствуемой Сергеем Городецким... Впрочем, утешение в том, что наши «молодые» разрушители ничего разрушить в действительности не в силах и что Сергей Городецкий никакой толпой революционеров не предводительствует и предводительствовать не будет» (Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского дома на 1990 год. С. 49—50 / Публ. А.Г.Тимофеева). Хотя Брюсов прямо не требовал от Кузмина никаких практических шагов, в день получения этого письма тот отвечал: «В моих словах М.Ф.Ликиардопуло о безусловной преданности Вам, о готовности быть *scientiae cadaver* нужна поправка: это — не готовность, это — пламенная просьба, сокровеннейшее желание. Но кроме необходимости руководящих инструкций для внешних действий в этой области мне изредка нужны будут несколько дружеских слов, как связь с далекой и любимой «митрополией» <так!>, как благословение Рима» (РГБ. Ф. 386. Карт. 91. Ед.хр. 12. Л. 15—16 об.). Очевидно, именно на это письмо Кузмина и отвечает Ликиардопуло.

3. Суть этой истории в следующем: после опубликования статьи Андрея Белого «Против музыки» (Весы. 1907. № 3; подпись: Борис Бугаев), на нее последовал ответ Э.К.Метнера «Борис Бугаев против музыки» (Золотое руно. 1907. № 5; подпись: Вольфинг). Белый решил обратиться с письмом в редакцию «Золотого руна», однако условием напечатания письма Рябушинский поставил возвращение Белого в число сотрудников журнала, что заставило Белого написать открытое письмо в газету «Столичное утро» (5 августа; именно эту вырезку Ликиардопуло и посылал Кузмину, хотя при письмах она не сохранилась). О дальнейших перипетиях взаимоотношений см.: *Лааров А. В.* Цит. соч. С. 160—163; Русские советские писатели: Поэты. Библиографический указатель. М., 1979. Т. 3, ч. 1. С. 144.

4. Результатом этого письма и прочих переговоров штаба «Весов» с литераторами явилась публикация 21 и 22 августа в «Столичном утре» пи-

сем — сначала о выходе из числа сотрудников «Золотого руна» Мережковских и Брюсова, а на следующий день — Ю.Балтрушайтиса, Кузмина и Ликиардопуло. Однако, по всей вероятности, уже в августе Кузмин восстановил отношения с «Золотым руном». 22 августа он записал в дневнике: «Письмо от Рябушинского, смешное до трогательности. Нувель ждет меня. Рябушинский пишет, что человек с черными глазами, духами, по всем направлениям не может делать некрасивых поступков, и вдруг бойкот и т.д.» В самом начале сентября Рябушинский был в Петербурге, встречался с Кузминым, заказал ему стихи, а его портрет — К.А.Сомову, что свидетельствовало о возобновлении отношений. Впрочем, это возвращение на некоторое время пытались замаскировать: в том самом «венетиановском» номере «Золотого руна», где были напечатаны и заказанное Рябушинским стихотворение «В старые годы», и повесть «Тень Филлиды», следовало примечание от редакции: «Помещаемые в текущем № с разрешения г. Кузмина произведения были приняты до выхода автора из числа сотрудников» (Золотое руно. 1907. № 7/8/9. С. 160). Официальное возвращение Кузмина в «Руно» произошло в июле 1908 г., о чем см. в недатированном письме Г.Э.Тастевена, секретаря «Золотого руна», к Г.И.Чулкову: «Кузмин официально возобновляет сотрудничество. Он уже прислал цикл стихов с любовным письмом Николаю Павловичу, где заявляет, что его решение возобновить сотрудничество в «Руне» неизменно» (РГБ. Ф. 371. Карт. 4. Ед.хр. 70. Л. 5).

5. См. в дневнике 19 августа: «Предложение «Скорпиона» есть издание вместе «Картонного домика», «Крыльев», «Красавца Сержа». Планировавшаяся повесть из современной жизни «Красавец Серж» написана Кузминым не была, о судьбе же предложения см. в письме Брюсова от 3 октября (текст письма Кузмина, на которое Брюсов отвечает, нам неизвестен): «Ваше соображение — что несправедливо лиц, имеющих «Крылья» и желающих иметь «К<артонный> Домик», заставлять покупать «Крылья» вторично — очень важно и убедительно. Нам теперь кажется всего лучше просто переиздать «Крылья». К набору мы приступим теперь же, а М.Ф. <Ликиардопуло> (который сегодня вернулся в Москву) напишет Вам о подробностях «условий»» (*Cheron G. Op. cit. S. 73*). В результате «Картонный домик» так и остался при жизни Кузмина не изданным в целостном виде.

## ПИСЬМА КУЗМИНА К В. В. РУСЛОВУ

### 1

Многоуважаемый

Владимир Владимирович,  
предполагая быть в Москве, я имел главной целью познакомиться с Вами, о котором я слышал от моего друга С. П. Дягилева<sup>1</sup>. И вот я получаю Ваше письмо, которое Вы будете добры позволить мне считать получудесным случаем к исполнению этого желания. Я Вам посылаю переписанным для Вас конец повести<sup>2</sup> с надеждой получить ответ.

Я несказанно благодарен Вам за Вашу «смелость», так совпавшую с моими желаниями.

Уважающий Вас и благодарный

*М. Кузмин*

14/1 ноября 1907

Прилагаемый конец «Картонного Домика» переписан исключительно для Вас; другого списка, кроме черновика, нет ни у кого и не будет<sup>3</sup>.

Я бы Вас просил не давать делать списки, а быть единственным обладателем. Это мне будет приятно.

*М. Кузмин*

Письма хранятся: ИМЛИ. Ф.192. Оп. 1. Ед.хр. 19—20. Приносим глубокую благодарность Е. Ю. Литвин, чрезвычайно способствовавшей работе над подготовкой писем к печати.

1. *Дягилев* Сергей Павлович (1872—1929) — один из крупнейших деятелей русского искусства. Сколько мы можем судить, его отношения с Кузминым не были особенно дружескими, хотя существовала обоюдная приязнь, основанная, видимо, в первую очередь на гомосексуальных интересах обоих.

2. Имеется в виду повесть «Картонный домик». Подробнее об истории с ее последними главами см. письмо М. Ф. Ликиардопуло № 2, примеч. 5; Литературное наследство. М., 1982. Т. 92, кн. 3. С. 286. Список, посланный Кузминым Руслову, сохранился (ИМЛИ. Ф. 192. Оп. 1. Ед.хр. 3). Именно по этому списку окончание повести было впервые напечатано: *Кузмин Михаил*. Проза. Berkeley, 1990. Т. VIII.

3. Здесь Кузмин не вполне искренен: помимо черновика, местонахождение которого нам неизвестно, сохранился наборный оригинал повести, вызволенный после настойчивых просьб Кузмина из типографии Г. И. Чулковым. По этому оригиналу повесть печатается: *Кузмин М.* Плавающие путешественники: Роман, повести, рассказы (Изд. «Московский рабочий», в печати).

## 2

Многоуважаемый

Владимир Владимирович,

был обрадован Вашим милым письмом, разбирая его безукоризненно ясно, хотя Ваш почерк мне и внове и я не имею еще счастья быть лично из числа Ваших друзей. Вчера опять говорил о Вас с только что приехавшим А. П. Воротниковым<sup>1</sup>, который привезет в Москву для передачи Вам от меня самые горячие и нежные приветствия. Дягилев меня заинтересовал главным образом общими сведениями о Вас и о молве, Вас окружающей (для Вас это — новость или нет?), личные же впечатления другого человека, хотя бы и друга, хотя бы и нежно ценимого мною <Сергея> Павловича для меня не так важны<sup>2</sup>.

Не желая быть нескромным, спрошу только: отрицательные отзывы могли ли бы возбудить во мне желание с Вами познакомиться?

И мне тем досаднее откладывание из-за множества личных и литературных дел и романов<sup>3</sup> моей поездки в Москву, где Вы позволите мне непременно отыскать Вас. Остановлюсь я по привычке в «Метрополе»<sup>4</sup>. Это будет, вероятно, скоро, но когда именно — не знаю решительно.

Я не вижу причины, чтобы Вы не читали конца «Домика» тем из Ваших друзей, которые им интересуются, но мне желателен факт, что список будет у Вас одних, что больше, кроме меня, ни у кого не будет. Я не делаю из этого литературного секрета. Продолжайте мне писать о себе: это мне гораздо интересней историко-литературных опытов<sup>5</sup>.

Надеюсь, что Вы также не будете составлять обо мне мнения по рассказам других лиц и не откажетесь при случае встретиться.

Не напрасно Вы любите Дориана<sup>6</sup>, сами, говорят, будучи Дорианом *gedivivus* (Вы еще не забыли Вашей латыни?) только без необходимости иметь портрет, чтобы сохранять молодость, только еще начатую Вами.

Дружески Ваш

М. Кузмин

21/8 ноября 1907

1. *Воротников* Антоний Павлович (1857—1937) — драматург, беллетрист, журналист. Был литературным и театральным рецензентом журнала «Золотое руно». Его переписка с Кузминым хранится в РГАЛИ. См. в дневнике Кузмина: «...приехал Воротников из Москвы. Толстый, *une tante gachée*, знает и Руслова, и его товарищей (Колю Фирсова, Лари), Судейкина, etc» (7 ноября 1907).

2. См. в дневнике: «Дягилев говорит, что Руслов некрасив, но мне часто нравятся рожи больше красавцев» (5 ноября 1907).

3. Основным романом Кузмина в это время были довольно платонические отношения с В. А. Наумовым, учившимся в юнкерском училище. Одновременно влюбленное настроение овладевало им в присутствии гимназистов, ставивших «Куранты любви» (см. далее в письмах, а также в статье «Кузмин осенью 1907 года»). Наумову посвящены многие стихотворения второй и вся третья часть сборника «Сети». К сожалению, о его жизни нам практически ничего не известно. Последний встречавшийся документ — письмо Кузмину с фронта от 14 апреля 1915 г. (ЦГАЛИ С.-Петербурга).

4. Гостиница «Метрополь» в Охотном ряду. Для Кузмина она была удобна не только своим европейским комфортом, но и тем, что в том же здании помещалось издательство «Скорпион» и редакция журнала «Весы», где Кузмин печатался. Поездка в Москву, о которой он неоднократно говорил в письмах, так и не состоялась.

5. Ранние историко-литературные опыты Руслова нам неизвестны, но незадолго до смерти он участвовал в книге: А.Блок. Неизданные стихи. История одного письма. Тифлис, 1927.

6. Имеется в виду герой повести О. Уайльда «Портрет Дориана Грея». Отношение Кузмина к Уайльду колебалось от заинтересованности (см. в

письмах далее) до почти полного отвержения. См. запись в дневнике от 6 июня 1906 г.: «В. Иванов ставит этого сноба, лицемера, плохого писателя и малодушнейшего человека, запачкавшего то, за что был судим, рядом с Христом — это прямо ужасно».

### 3

Я не слышал, дорогой Владимир Владимирович, что Вы не смелы, что Вы — буржуазны, что Вы — скучны, что Вы — некрасивы, что собираетесь жениться. Я не слышал этого про Вас — какие же еще ужасы для нас я мог знать? Все, что я слышал, только усиливало желание сблизиться с Вами и даже, признаюсь, порождало смелые надежды, что в союзе с Вами (*Hopny soit qui mal у репсе*<sup>1</sup>) мы могли бы создать очень важное и прекрасное — образец. М<ожет> б<ыть>, Вы и один это можете сделать, но жизнь одна, не запечатленная в искусстве, не так (увы!) долговечна для памяти.

Я абсолютно не боюсь разочарования, я Вас будто знаю отлично.

В отплату напишите и Вы мне басни, слышимые Вами обо мне. Меня удерживают, конечно, романы практические, ибо писать я могу везде одинаково. У меня сеть историй, из которых главная столь непривычно классична, вроде романов Ричардсона в 6 томах, что только не особенная увлеченность и присутствие тактики, стратегии и т.п. делают ее интересной<sup>2</sup>. Притом в этой игре замешано 5 человек — все близких мне<sup>3</sup>. Но я думаю после 15 (17, 16) декабря быть в Москве, чтобы на обратном пути провести праздники в деревне<sup>4</sup>. По литературе я пишу современную повесть «Решение Анны Мейер»<sup>5</sup> и путешествие XVII в. в роде «Эме»<sup>6</sup>, посвящаемое Брюсову<sup>7</sup>. Стихи: «Ракеты» будут в феврале «Весов», «Обманщик обманувшийся» и теперь «Радостный путник»<sup>8</sup>. Летом я написал еще священный фарс: «Комедия о Мартиньяне» или «Беда от женщин», который будет в 2-ом Цветнике «Ор»<sup>9</sup>. Кроме того, я писал разную музыку.

Я бы мог бесконечно писать о моих вкусах, особенно в мелочах. Это напоминало бы любимую мною в юности игру в вопросы и ответы. Но так многое любишь в известной обстановке, что легче писать, чего определено и всегда не любишь. Я не люблю молочных блюд, анчоусов и теплого жареного миндаля к шампанскому, я не люблю сладковатых вин (Барзак, Икем), я не люблю золота и брильянтов, я не люблю «бездн и глубинности»<sup>10</sup>, я не люблю Бетховена, Вагнера<sup>11</sup> и особенно Шумана, я не люблю Шиллера, Гейне<sup>12</sup>, Ибсена<sup>13</sup> и большинство новых немцев (искл<ючая> Гофманстала, Ст.Георге и их школы), я не люблю Байрона<sup>14</sup>. Я не люблю 60-е годы и передвижников. Я почти не люблю животных, я не люблю запах ландыша и гелиотропа, я не люблю синего и голубого цвета, я не люблю хлебных полей и хвойных деревьев, я не люблю игру в шахматы, я не люблю сырых овощей. Правда, это очень интересно? В следующих

10 письмах я буду писать, что я люблю. Я люблю Ваши письма и Ваш почерк. Дягилев вчера уехал в Париж, я был у него довольно долго, но у него была куча народа и какие-то все счета перед отъездом, так что мы мало говорили интимно<sup>15</sup>.

Я рад, что Вы скучаете, а то бы мои письма не были для Вас ценны. Т<ак> к<ак> в Москве я буду очень недолго, Вы устройте, чтобы уделить мне достаточно времени. Это очень важно.

Сердечно Ваш

*М. Кузмин*

*28/15 ноября 1907*

1. Французская фраза — девиз ордена Подвязки. Он цитируется также в стихотворении Кузмина «Ангел благовествующий» (цикл «Плен»).

2. Речь идет об отношениях Кузмина с В. А. Наумовым (см. примеч. 2 к письму 2).

3. В отношении Кузмина с Наумовым были посвящены товарищ Наумова по юнкерскому училищу М. Л. Гофман (впоследствии поэт и литературовед), поэт Б. А. Леман (писавший под псевдонимом Б. Дикс), В. Ф. Нувель, претендовавший на взаимность Наумова, и Вяч. Иванов.

4. Имеется в виду Парахино близ ст. Окуловка Новгородской губ., где муж сестры Кузмина П. С. Мошков был управляющим на фабрике. В Парахине Кузмин часто жил, в том числе и зимой.

5. Опубликована — Весы. 1908. № 1.

6. Повесть Кузмина «Приключения Эме Лебефа». Имеющееся здесь в виду «путешествие XVII в.» — повесть «Путешествие сэра Джона Фирфакса по Турции и другим примечательным странам», завершенная значительно позже (первая публикация — Аполлон. 1910. № 5).

7. О посвящении см. письмо Кузмина к Брюсову от 17 июля 1907 г.: «Я осенью или зимою хотел бы написать «Путешествие» в стиле рассказов баснословных и adventureux, род, но другой, «Эме Лебефа». Не позволите ли Вы мне думать при писании его, что я могу его Вам посвятить? Это была бы лучшая шпора и лучшая узда мне, и было бы, хотя неполное, бедное и слабое, выражение моей безусловной преданности к Вам» (РГБ. Ф. 386. Карт. 91. Ед.хр. 12. Л. 13). Однако 12 ноября 1908 г. Кузмин сообщил ему: «Вы согласились, так любезно, на принятие от меня посвящения одного из моих произведений, но так как предполагаемое тогда «Путешествие» сильно затормозилось и «Подвиги Александра» будут готовы несомненно раньше, то не согласитесь ли Вы позволить мне посвятить и эту вещь Вам как явному учителю?» (Там же. Ед. хр. 13. Л. 7). В итоге Брюсову были посвящены «Подвиги великого Александра» (Весы. 1909. № 1), а «Путешествие... Фирфакса» — С. Ауслендеру.

8. Названные циклы опубликованы: «Ракеты» — Весы. 1908. № 2 (как и планировалось); два других в целостном виде — в книге «Сети» (М., 1908).

9. Второй альманах «Цветник Ор» в свет не вышел, и «Комедия о Мартиньяне» (без второй части заглавия) была впервые опубликована в книге Кузмина «Комедии» (СПб., 1908).

10. Слова, заключенные в кавычки, представляют собою общие места раннего русского символизма и его эпигонов в девятисотые годы. Ср. в дневнике Кузмина 20 июля 1907 г.: «Хотелось и в авторах и в себе иметь только легкое, любовное, блестящее, холодноватое, несколько ироническое, без *au delà*, без порывов вдале, без углубленности».

11. О сложном отношении Кузмина к Вагнеру см. подробную статью Г. Г. Шмакова «Михаил Кузмин и Рихард Вагнер» (Studies in the Life and Works of Mixail Kuxmin / Ed. by John E. Malmstad. Wien, 1989 / Wiener slawistischer Almanach. Sonderband 24).

12. Ср. начало стихотворения Кузмина: «Ведь это из Гейне что-то, А Гейне я не люблю» (сб. «Нездешние вечера»). Возможно, упоминание имени Гейне в данном письме можно возвести к конкретному эпизоду. 19 августа 1907 г. Кузмин записал в дневнике: «Читаю пасквили и инвективы Гейне, называемые его «критическими статьями»; чем это лучше Белого и Гиппиус? Он очень закрыт для меня, даже как поэт». Сравнение с Белым и Гиппиус вызвано их резко критическими суждениями о прозе Кузмина.

13. Ранее мнение Кузмина об Ибсене см. в письме к Г. В. Чичерину от 21 мая 1893 г.: «Сначала он мне казался тяжеловатым, но теперь я в восторге. Отчасти он мне напоминает Вагнера, что-то сильное, мрачное, до крайности нервное и экзальтированное. Но иногда он все-таки сер и тяжел» (РНБ. Ф. 1030. № 19).

14. Отметим, что в тридцатые годы Кузмин переводил байроновского «Дон-Жуана» для издательства «Асадепта». См.: *Гаспаров М.Л.* Неизвестные русские переводы байроновского «Дон-Жуана» // Известия АН СССР. Серия литературы и языка. 1988. Т. 47. № 4.

15. В дневнике Кузмина ничего не говорится об этом посещении Дягилева (запись о вечере у него относится лишь к 8 ноября), так что вполне возможно, что сведения, сообщаемые Руслову, вымышленны.

#### 4

Дорогой и многоуважаемый

Владимир Владимирович,

простите меня за невозможную задержку с ответом; поверьте, что совершенно внешние причины виною этого. Мне очень жалко, что Ваше письмо я получил сегодня, когда я собирался Вам писать, и Вы можете подумать, что без него я стал еще бы медлить. Ваш открытый, насмешливый и острый ум меня пленил еще более.

Конечно, мы увидимся.

Признаюсь, Ваше смущение и некоторая непонятливость, отчего так важно нам увидеться, меня слегка смутили и кольнули. Но я отнюдь это к той же игре ума и вгю и думаю, что Вы и сами знаете, почему это важно. Если же Вы не знаете, то объяснять я Вам сейчас не буду, м<ожет> б<ыть>, и вообще не буду.

Возможно, что я ошибаюсь и увлекаюсь пустыми мечтами. Почему-то мне кажется, что нет. Я был очень тронут Вашим преискуран-

том и очень благодарю Вас и Ваших компаньонов гг. Галкина, Гинева и Туранова за память и внимание <sup>1</sup>.

К сожалению, едва ли я смогу исполнить Ваше желание относительно «Литургии мне», т.к. у Сологуба у самого ее нет и у меня также <sup>2</sup>.

Я очень спешу: думаю, что завтра Вы получите еще письмо и не накажете меня молчанием в отплату.

Я это время был очень занят музыкой к пьесе Ремизова у Коммиссаржевской <sup>3</sup> и постановкой своих «Курантов Любви» на одном вечере, где они провалились <sup>4</sup>. Репетиции etc. очень много отнимают времени, хотя воздух кулис меня гипнотизирует всегда. Тем более, что ставил «Куранты» очень милый новоявленный художник Дмитриев <sup>5</sup> (еще гимназист), картины которого нравятся даже ворчливым генералам А. Бенуа и Сомову, моим приятелям <sup>6</sup>. Мои романы ведутся то медленно, то быстро, то «veni, vidi», то «терпенье», но достаточно верно. Я удивляюсь Вашей прозорливости или осведомленности относительно военной сферы (в данном случае) в моем увлечении. Вы безукоризненно угадали.

Это Вы — блондин и очень бледны, говорите с отяжкой, волосы волнистые, а я extra-брюнет, правда с мушками, и росту скорей ниже среднего.

До завтра.

Искренне дружеский Вам

*М. Кузмин*

*14/1 XII 1907*

1. См. запись в дневнике от 20 ноября 1907 г.: «Письмо из Москвы от Руслова и еще 3-х господ из ресторана, написанное на преискуранте».

2. «Литургия Мне» — мистерия Ф. Сологуба (М., 1907).

3. Речь идет о пьесе А. М. Ремизова «Бесовское действие» в театре В. Ф. Коммиссаржевской (режиссер Ф. Ф. Коммиссаржевский, художник М. В. Добужинский, премьера 4 декабря 1907 г.). О постановке см. специальную статью: *Дубнова М.Я.* А.М.Ремизов в Драматическом театре В.Ф.Коммиссаржевской // Памятники культуры: Новые открытия: Письменность. Искусство. Археология. Ежегодник 1992. М., 1993. Ср. запись в дневнике Кузмина: «Ездил в театр; даже без костюмов «действие» жутко».

4. Имеется в виду постановка вокально-музыкального цикла Кузмина «Куранты любви» силами компании гимназистов, с которыми Кузмин близко сошелся осенью 1907 г. (подробнее см. в статье «Кузмин осенью 1907 года»).

5. Из списка писем Кузмина 1907—1910 гг. следует, что этого художника-гимназиста звали Всеволодом Александровичем и жил он по адресу: Университет, кв. Трофименко (ИРЛИ. Ф. 172. Ед. хр. 321).

6. См. запись в дневнике от 26 ноября: «Бенуа сказал, что эскизы Дмитриева ему не понравились, но что Локкенберг их поправит. Это еще что за контроль?»



Дорогой

Владимир Владимирович,  
опять пишу Вам, чтобы Вы не думали, что мои мысли, мои планы изменились.

У нас наступили тоже ясные холода. Эта неделя очень тяжка по театрам: старинный театр, пьеса Ремизова, Айседора Дёнкан, балет — каждый день <sup>1</sup>.

Топятся печи, вечера прозрачны и красны, думается о Москве. На улицах все закутаны и с красными носами — что мало украшает. Маменьки и папеньки меня боятся и крестят своих сыновей, если знают их идущими ко мне.

Мне отчего-то очень скучно; пишу очень мало, мало читаю и только курю, напевая и смотря на горящие уголья. Впрочем, так мало времени дома и один: друзья, романы, скучные, важные старые знакомые родителей, общество, где нужно вертеться. С радостью уехал куда-нибудь бы, но не один. Я бывал зимой в усадьбах: не одному, с письмами, книгами, лошадьми и поваром, с запасом вина не очень надолго — это очаровательно.

Вчера провел вечер у Фокина, нового балетмейстера <sup>2</sup>, с художниками и танцорами, с примой Павловой 2-ой <sup>3</sup> и др<ругими>, но скучны они, голубчики, когда не красивы. И как веселее было накануне после «Курантов», когда мы с Сомовым и «моими гимназистами» ужинали у Палкина <sup>4</sup>. Правда, я пишу будто сквозь сон? Читали ли Вы «Кушетку тети Сони» <sup>5</sup> и как она Вам понравилась? Я сам питаю большую нежность к этой вещи.

Хотели ли бы Вы иметь «Эме» и «Крылья» <sup>6</sup>, кроме находящихся у Вас, с dedicac<e>'ом?

Я мог бы послать или передать при свиданьи.

Пожалуйста, ответьте скоро, чтобы я не думал у Вас «зуба» против меня; я обещаю быть аккуратным и не буду писать уже, что я люблю, «mes amours», после неудачи с «mes haines». Ведь все это так условно и изменчиво, исключая основного. До свиданья.

Ваш искренне

М. Кузмин

Поклонитесь тем, кто меня любит, если таковых знаете.

2 декабря 1907

1. См. запись в дневнике 30 ноября: «Накупил билетов на Duncan и старинный театр». Старинный театр — предприятие Н. В. Дризена и Н. Н. Евреинова, возникшее в декабре 1907 г. (см.: Рудницкий К. Л. Русское режиссерское искусство 1908—1917. М., 1990. С. 19—24; Дризен Н. В. Старинный театр (Воспоминания) // Столица и усадьба. 1916. № 71). Пьеса Ремизова — «Бесовское действо» (см. письмо 4, примеч. 3). См. о ней в дневнике за 4 декабря: «Свистали и хлопали, вызывали больше Добужинского, мне скорее не понравилось; есть какая-то немощь, а в постановке аккурат-

ность Билибина». Первый спектакль А. Дункан в ее гастроль состоялся 5 декабря, однако Кузмин на нем не был. См. в дневнике: «Билет на Дёнкан отдал деве», т. е. одной из учениц художественной школы Е. Н. Званцевой.

2. *Фокин* Михаил Михайлович (1880—1942) — танцовщик и знаменитый балетмейстер. См. запись в дневнике за 1 декабря: «У Фокина были Павлова, Рутковская, разные господа. Молодой балетчик читал реферат дифирамбический Фокину...»

3. *Павлова* Анна Павловна (Матвеевна, 1881—1931) — знаменитая русская балерина.

4. См. запись в дневнике, приведенную выше, на с. 112.

5. Рассказ Кузмина (Весы. 1907. № 10).

6. Имеются в виду отдельные издания повестей «Приключения Эме Лебефа» (СПб., 1907) и «Крылья» (М., 1907).

## 6

Спасибо, дорогой Владимир Владимирович, за письмо.

Простите не моментальный опять ответ и короткий: клянусь, сегодня ночью пишу Вам подробно; буду спорить и защищать «Кушетку»<sup>1</sup>, писать часть «mes amours» и пр. и пр. 1-ое издание «Крыльев» у меня только свой трепанный экземпляр. Хотите его? он мне не ценен. Достать же их нельзя, как видно.

В Москву приеду не позже 17, но не 15-го. Это зависит не от романов, а от дел.

Итак, до вечера, до ночи.

Искренне Ваш

*М. Кузмин*

8 декабря 1907

1. См. примеч. 5 к письму 5.

## 7

8—9 декабря 1907

Желая соревновать в точности и я, усталый, вернувшийся часа в три после долгого позднего обеда, вечера, где в частном обществе танцевала Дункан<sup>1</sup>, после rendez-vous я пишу Вам, дорогой Владимир Владимирович, опять, скажу, в полусне очень обыкновенном, а не «ическом».

Жду с нетерпением отчета о Вашем вечере.

Относительно нашей встречи — Вы безукоризненно правы, и так да будет: Вы получите телеграмму 17-го или 18-го. Вы не уезжаете ведь? Да, с Сомовым я не только отлично знаком, но это один из бли-

жайших моих друзей <sup>2</sup>, которых, как это ни странно, больше между художниками, чем писателями и особенно музыкантами.

О Москве я скорее мечтаю, чем вспоминаю, т.к. хотя «розовый дом» и в Москве, но происходил он в Петербурге <sup>3</sup>. Все эти дни, несмотря на видимую заполненность, я все-таки скучаю. М<ожет> б<ыть>, я просто неблагодарное существо, хотя благодарность — почти единственная из добродетелей, ценимая и практикуемая мною.

Я сам «Мартиньяна» люблю менее «Евдокии» и «Алексея» <sup>4</sup>, хотя он свободней и забавней, но он куцоват и несколько незакончен. Но мне там кажется грубоватый оттенок морских идиллий и насмешки. Он слишком эпизодичен и, м<ожет> б<ыть>, слишком Оффенбах. Относительно же «Кушетки» <sup>5</sup> я буду спорить, не боясь показаться в смешном виде собственного защитника. Технически (в смысле ведения фабулы, ловкости, простоты и остроты диалогов, слога) я считаю эту вещь из самых лучших, и, видя там Ворта и Сергея Павловича <sup>6</sup> (надеюсь, Вы не подумали, что это действительно — он: время и лета это опровергают), не вижу пастушка и Буше. Это современно, и только современно, несмотря на мою манерность. Как слог считаю это — большим шагом и против «Домика», и против, м<ожет> б<ыть>, «Эме» <sup>7</sup>, не говоря о других.

«Куранты», по слухам, будут в «Весах», хотя, лишенные моей же музыки, они значительно теряют <sup>8</sup>. «История рыцаря д'Алесслио» напечатана в «Зеленом сборнике» <sup>9</sup>, и м<ожет> б<ыть>, сумею его отыскать, хотя это вещь очень слабая и «зеленая» и тактичнее было бы для меня ее не найти.

Теперь, кроме летних стихов «Ракеты», написал 2 цикла: «Обманщик обманувшийся» и «Радостный путник», из которых последним особенно доволен. Конечно, я все привезу в Москву и, если это Вас не устрашает, прочитаю Вам.

С утра меня все время отрывали от не оконченного ночью письма, так что пришло и другое, так незаслуженно милое письмо от Вас, повергнув меня в стыд и радость. Притом я очень устаю. Вчера приехал Дягилев из Парижа, теперь на более продолжительный срок.

«Куранты» не имели успеха отчасти (и очень отчасти) от исполнителей очень «сознательных», старавшихся осмыслить все мои бессмыслицы и певших чрез меру серьезно. Притом дамы были толсты, а кавалеры безобразны. Декорация была очаровательна. На репетициях я не бывал сначала, когда можно было изменить, теперь при повторении «Курантов» целиком (исполняли только «Весну» и «Лето») я настою на самодержавном управлении меня и художника во всем. Самодержавие, как почти и везде, оказывается незаменимым <sup>10</sup>. Матерьяльный же успех был блестящ: <sup>3</sup>/<sub>4</sub> желающих без билетов, высокие чрезмерно цены, барышники, блестящая публика — но это касается устроителей, а не меня.

Я люблю в искусстве вещи или неизгладимо жизненные, хотя бы и грубоватые, или аристократически уединенные. Не люблю морали-

зирующего дурного вкуса, растянутых и чисто лирических. Склоняюсь к французам и итальянцам. Люблю и трезвость, и откровенную нагроможденность пышностей. Итак, с одной стороны, я люблю итальянских новеллистов, французские комедии XVII—XVIII в., театр современников Шекспира, Пушкина и Лескова<sup>11</sup>, с другой стороны, некоторых из нем<ецких> романтических прозаиков (Гофмана, Ж.П.Рихтера, Платена), Musset, Merimée, Gautier<sup>12</sup> и Stendhal'я, d'Annunzio<sup>13</sup>, Уайльда и Swinburn'а. Я люблю Рабле, Дон Кихота, 1001 ночь<sup>14</sup> и сказки Perrault, но не люблю былин и поэм. Люблю Флобера, А.Франса и Henry de Regnier<sup>15</sup>. Люблю Брюсова, частями Блока и некоторую прозу Сологуба. Люблю старую французскую и итальянскую музыку, Mozart'а, Bizet, Delibes'а и новейших французоз (Debussy, Ravel, Ladmiraull, Chausson<sup>16</sup>); прежде любил Berlioz'а, люблю музыку больше вокальную и балетную; больше люблю интимную музыку, но не квартеты. Люблю кэк-уоки, матчиши и т.п. Люблю звуки военного оркестра на воздухе.

Люблю балеты (традиционные), комедии и комические оперы (в широком смысле; оперетки — только старые). Люблю Свифта и комедии Конгрива и т.п., обожаю Апулея<sup>17</sup>, Петрония и Лукиана, люблю Вольтера.

В живописи люблю старые миньютюры, Боттичелли, Бердслей, живопись XVIII в., прежде любил Клингера и Тома (но не Бёклина и Штука), люблю Сомова и частью Бенуа, частью Феофилактова<sup>18</sup>. Люблю старые лубочные картины и портреты. Редко люблю пейзажи.

Люблю кошек и павлинов.

Люблю жемчуг, гранаты, опалы и такие недорогоценные камни, как «бычий глаз», «лунный камень», «кошачий глаз», люблю серебро и красную бронзу, янтарь. Люблю розы, мимозы, нарциссы и левкой, не люблю ландышей, фиалок и незабудок. Растения без цветов не люблю. Люблю спать под мехом без белья.

До свиданья.

Ваш М. Кузмин

1. См. в дневнике 6 декабря: «Заезжала Волохова с т-те Блок звать меня к Озаровской, где будет Дункан, петь «Куранты» в греческом костюме. Черт знает что за ерунда». Однако 8 декабря он записывает: «Вечер у Озаровских сегодня, но я не поеду...» Впрочем, далеко не все события дня Кузмин записывал в дневник.

2. С К. А. Сомовым Кузмин был не только знаком, по крайней мере, с осени 1905 г., но у них осенью 1906 г. был даже кратковременный роман. В 1916 г. Кузмин написал о Сомове превосходную пронизательную статью.

3. «Розовый дом с голубыми воротами» — первая строка стихотворения Кузмина «Мечты о Москве», входящего в цикл «Прерванная повесть». Это стихотворение навеяно рассказами С. Ю. Судейкина о его жизни в Москве, тогда как действие самого цикла происходит в Петербурге.

4. «Комедия о Евдокии из Гелиополя, или: Обращенная куртизанка» — Цветник Ор: Кошница первая. СПб., 1907; «Комедия об Алексее человеке Божьем, или: Потерянный и обращенный сын». — Перевал. 1907. № 11.

5. Рассказ «Кухнетка тети Сони» (см. примеч. 5 к письму 5).

6. *Ворт* — лицо, нам неизвестное. *Сергей Павлович* — имя и отчество одного из героев рассказа, Павликина, совпадающее с именем и отчеством Дягилева.

7. Повести «Картонный домик» и «Приключения Эме Лебефа».

8. Цикл «Куранты любви» был действительно напечатан в «Весак», хотя и много позже (1909. № 12; отдельные издания с нотами — М., 1910; М., 1911). Цикл написан осенью 1906 г.

9. Речь идет о первой публикации произведений Кузмина в «Зеленом сборнике стихов и прозы» (СПб., 1905), куда вошли цикл стихов «XIII сонетов» и оперное либретто «История рыцаря д'Алесслио».

10. Несмотря на полушутливый тон, Кузмин выражает свое подлинное убеждение начала века, с особенной яркостью выявившееся в дневниковых записях осени 1905 г., когда он завоевал довольно прочную репутацию «черносотенца».

11. Произведения Н. С. Лескова были на протяжении всей жизни любимейшим чтением Кузмина. «Рассказал однажды, как любит читать Лескова: “Прочту всего — начинаю сначала, и так из года в год”» (*Басалаев И.М. Записки для себя // Искусство Ленинграда. 1991. № 3. С. 105*).

12. В письме к Г. В. Чичерину от 18 февраля 1892 г. Кузмин писал: «Я недавно разговорился с мамой о старине и нашел, что Th. Gautier — мой родственник, конечно, пустяки, но все-таки приятно» (РНБ. Ф. 1030. № 17).

13. См. в дневнике: «Как в эпоху Шекспировских сон<етов>, Алекс<андрийских> песен я полон был европеизма и модернизма, почему-то соединявшегося у меня с d'Annunzio, к которому я и теперь не охладел, м<ожет> б<ыть>, из чувства благодарности» (21 июня 1925 г.).

14. Чтение сказок «Тысячи и одной ночи» регулярно упоминается на страницах дневника 1907 г. Три газеллы в книге «Осенние озера» представляют собою вольное переложение стихов из этих сказок.

15. Произведения Ан. Франса и А. де Ренья Кузмин переводил и редактировал переводы других авторов. См. о первом в письме к Г. В. Чичерину от 28 июня 1901 г.: «Я его очень люблю; конечно — это последователь и подражатель Флобера, но т.к. Флобер касался далеко не всех миров, и те, которых касался, далеко не вполне исчерпывал, то An. France от подражательности не так уж много проигрывает; притом он несомненно утонченнее и ученее Флобера, а его слог в последних вещах достигает таких виртуозных высот, что я даже не могу представить возможности соперничества» (РНБ. Ф. 1030. № 21). В одном из более поздних ответов на анкету он говорил о писателях, оказавших на него особое влияние: «Старые французские романисты, Франс и Лесков» (РГАЛИ. Ф. 1068. Оп. 1. Ед.хр. 84).

16. Поль *Ладмиро* (1877—1944) и Эрнест *Шоссон* (1855—1899) — французские композиторы. О первом из них, гораздо менее известном, см. в дневнике 25 сентября 1907 г.: «У Медема были современники, игравшие скучного Duparc'a и милого Ladmirau<1>».

17. Об Апулее Кузмин написал стихотворение (В мире искусств. 1907. № 13/14), а в 1929 г. перевел его «Метаморфозы». Этот перевод считается классическим и перепечатывается до наших дней.

18. Николай Петрович *Феофилакт* (1878—1941) — один из ведущих художников журнала «Весы», энтузиаст «Александрийских песен» (посвященных ему), автор обложки к книге «Сети» и иллюстратор (вместе с С. Ю. Судейкиным) книги Кузмина «Куранты любви» (М., 1910). См. выше о проекте издания «Александрийских песен» с иллюстрациями Феофилактова.

## 8

Дорогой Владимир Владимирович, конечно, я очень виноват перед Вами таким невозможно долгим молчанием и совершенным неисполнением всех своих обещаний. Я не только уже в Петербурге, но я никуда и не уезжал. Если бы я мог уехать, то, конечно, только в Москву и только чтобы познакомиться с Вами.

Я полтора месяца никуда не выхожу, исключая Вяч. Иванова, который живет надо мною <sup>1</sup>, где никого не бывает и где очень тихо и семейно, и еще езжу ежедневно в одно и то же место под вечер <sup>2</sup>. Как Иоанн Златоуст, могу сказать: «Мы знали только 2 дороги: из дому в школу и из школы домой» <sup>3</sup>. Меня посещали не забывшие меня и новые, желающие знакомства, но звать я никого не звал.

Теперь я понемногу выползаю снова в свет <sup>4</sup>.

Я здоров, весел, светел, тих и счастлив, как никогда не был, как только может быть человек. Сплетни относительно моего затворничества ходят невероятные <sup>5</sup>. Я написал кучу стихов, довольно много музыки и готовлю длинную повесть из XVII в. во Франции <sup>6</sup>.

Надеюсь исполнить все свои обещания, только бы Вам не наскучило ждать и вообще возиться со мною. Но я Вас прошу не забывать меня, т.к. Ваши письма очень мне отрадны и приятны.

Последнее время я запустил корреспонденцию, но теперь снова в состоянии, не нарушая своего счастья, быть верным корреспондентом, везде являться, быть веселым товарищем и т.п.

Я не снимался года 4, и у меня ни одной фотографии не осталось. Как только снимусь, пришлю Вам со страхом и трепетом <sup>7</sup>, но если Вы на меня не сердитесь и хотите баловать, как балуете своими милыми письмами, Вы мне пришлете Ваше изображение. Я очень прошу этого.

Мушки черные я имел вырезанные Сомовым, потом сам вырезал по трафаретам его и Сапунова. Золотые были не мушки, а просто раскраска на щеке по этим трафаретам. Формы: сердце, бабочка, полумесяц, звезда, солнце и фаллос. На боку большой Сомовский Чертик <sup>8</sup>.

<Приписка:> До свиданья. Не сердитесь, милый Вл<адимир> Вл<адимирович>, и пишите мне, и пришлите, пожалуйста, карточку. Относительно маневров Вы, м<ожет> б<ыть>, правы, только осада кончилась гораздо ранее декабря.

Ваш М. Кузмин

20 января 1908

1. В то время Кузмин жил на Таврической, 25, в квартире художницы Е. Н. Званцевой, где размещалась и ее художественная школа. Вяч. Иванов действительно жил на своей «башне» по той же самой лестнице.

2. Имеются в виду посещения В. А. Наумова, лежавшего в то время в госпитале.

3. При тщательном просмотре сочинений Иоанна Златоуста этих слов обнаружить не удалось.

4. См. выше, в статьях «Кузмин осенью 1907 года» и «Автобиографическое начало в раннем творчестве Кузмина».

5. См. в дневнике от 24 декабря: «Встретил m-те Бенуа, звавшую на елку, но отказался. Там, оказалось, Нувель напропалую сплетничал обо мне и моем отшельничестве».

6. В декабре 1907-го и начале 1908 г. была написана большая часть стихов из циклов «Мудрая встреча», «Вожатый» и «Струи», музыка к «Мудрой встрече». О какой повести идет речь — не вполне ясно; возможно, о планировавшейся, но так и не написанной повести из жизни мадам Гюйон.

7. См.: 2-е Кор., 7, 15; Фил., 2, 12. Этими словами Кузмин начал рецензию на «Cor ardens» Вяч. Иванова.

8. Записи о мушках в дневнике относятся к лету 1906 г.: «Сомов хочет нарисовать мне чертика для мушки под мышкой» (16 июня); «Приехал Сомов, привез мушки и чертики <...> Налепили мне к глазу сердце, на щеку полумесяц и звезду, за ухо небольшой фаллос, но, выйдя на улицу, я снял со щеки...» (21 июня).

## 9

Дорогой Владимир Владимирович, послал Вам книги и с уезжавшим вчера Андреем Белым «Per alta». Принимая в соображение его звание поэта и заботясь о исполнении Вашего желания, а не о судьбе флакона, прошу Вас упомянуть, получили ли Вы его и книги, и в достаточно ли удовлетворительном виде<sup>1</sup>.

Напрасно Вы иронизируете над моим желанием знакомства с Вами, это очень искренне и непреложно, и, я думаю, Ваше счастье не изменило Вашего такого же желания, как мое этого не сделало.

Всегда уча учишься, и разве в любви всегда учителя и ученики?

Моя святость очень относительная и условная, а сплетни, по крайней мере про меня, всегда однообразны и, право, мало интересны.

Я пробую выходить в свет, но это мне еще очень трудно и неприятно. М<ожет> б<ыть>, мои письма теперь для Вас недостаточно остры (я не говорю, что они были раньше такими, но теперь еще менее) и занимательны, но я прошу Вас не прекращать этого милого обычая переписки, сделавшейся для меня очень сладкой.

Я благодарю Вас за подарок и обещание фотографии, которой жду с нетерпением.

Не бросайте, пожалуйста, мысли, что мы увидимся. И не так скоро, я думаю. Имея намерение послать Вам 2 цикла стихов, посылаю Вам постепенно; не давайте их списывать, но читать, если пожелаете, читайте тем, кто меня любит. До свиданья. Ваш

М. Кузмин

29 января 1908

К письму приложены стихотворения из цикла «Мудрая встреча»: 1. «Стекла стынут от холода...»; 2. «О, плакальщики дней минувших...»; 3. «Окна плотно занавешены...».

1. См. в дневнике 28 января 1908 г.: «...пришел Белый, долго сидел, духи отдал ему для передачи». 30 января Белый сообщал Кузмину из Москвы: «Многоуважаемый, дорогой Михаил Алексеевич! Поручение Ваше исполнил. Почему-то хочется мне отсюда еще раз Вас поблагодарить за «Мудрую встречу» и за музыку. Музыка помню. Вы были так любезны, что обещали мне прислать слова и мелодию» (РНБ. Ф. 124. № 387; опубликовано: *Malmstad John E. Mikhail Kuzmin: A Chronicle of his Life and Times // Кузмин М. Собрание стихов. München, 1977. Т. III. С. 129, с неточным комментарием*). Письма Кузмина к Белому — РГБ. Ф. 25. Карт. 18. Ед.хр.8 (подготовлены нами к печати).

## 10

Дорогой Владимир Владимирович, благодарю Вас за Ваше письмо. Не сейчас ответил, имея вывихнутым палец на правой руке; теперь прошло. Непременно перепишу Вам и «Куранты» и что-нибудь для пения, только не обещаю очень скоро. «Мудрая встреча» посвящена Вяч. Иванову<sup>1</sup>, т.к. ему особенно нравится, но по-настоящему посвящается, как и все с весны 1907 г., тому лицу, имя которого Вы прочтете над «Ракетами» и над «Вожатым». Я кольца очень люблю, хотя давно их уже не ношу.

Виньетки к «Эме Лебефу» у Сомова и никому не принадлежат; ничего не выставлял на выставках, занятый заказами для 2-х нем<ецких> книжек нецензурных иллюстраций<sup>2</sup>. Портрет для «Руна» Рябушинский заказал Сомову, если только за мою верность «Весам» не вздумает меня наказывать и не лишит портрета<sup>3</sup>. Белого я благодарил за себя и за Вас. Впрочем, вот его адрес: Арбат, Никольский, д. Новикова.



Борису Николаевичу Бугаеву.

Вы мне сделаете большое удовольствие, если не будете считать себя должным за посылку; стихи переписываю охотно, а сам пишу в переплетенных тетрадах, так что пересылать неудобно.

Всего хорошего. Рука еще побаливает. Пожалуйста, пишите.

Ваш М. Кузмин

6 февраля 1908

<Далее переписаны стихотворения: 4. «Моя душа в любви не кается...»; 5. «Я вспомню нежные песни...» 6. «О, милые друзья, дорогие костыли...»; 7. «Как отраднo, сбросив трепет...»; «Легче весеннего дуновения...»>

Последний №<sup>4</sup> и «Вожатый» — в следующем письме. Всего хорошего.  
Нежно Ваш

М. Кузмин

1. См. запись в дневнике: «Наверху <у Вяч. Иванова. — Н.Б.> у меня нашли вид Аббата и Шарлатана, пел, новые стихи посвятил Вяч.Иван.» (14 декабря 1907 г.). В беловом автографе цикла посвящение выглядит так: «Посвящается навсегда дорогому Вячеславу Ивановичу Иванову» (ИРЛИ. Ф. 527. Оп. 2. Ед.хр. 16).

2. Книга Кузмина «Приключения Эме Лебефа» (СПб., 1907) была издана с обложкой и виньетками работы К. А. Сомова. В 1907 г. художник работал над иллюстрациями к немецкому изданию прославленной «Книги маркизы».

3. По заказу издателя журнала «Золотое руно» Николая Павловича Рябушинского Сомов писал ряд портретов современных писателей. 2 сентября 1907 г. Кузмин упомянул в дневнике о визите Рябушинского: «...Заказал мой портрет Сомову». Этот портрет был написан, однако, только в 1909 г. (два варианта хранятся в Гос. Третьяковской галерее). Кузмин сомневается в желании Рябушинского оплачивать работу Сомова, так как отношения писателя с «Золотым руном» строились не без осложнений, связанных с тем, что он хотел печататься в двух враждующих журналах (подробнее см. в примечаниях к письмам М. Ф. Ликиардопуло).

4. Стихотворение «Двойная тень дней прошлых и грядущих...».

## ПЕРЕПИСКА С В. Ф. НУВЕЛЕМ

«Михаил Александрович любит и умеет писать письма, и это еще не лучший образец, что Вы мне так любезно показали» — так говорит Сомов-Налимов Мятлеву-Судейкину в «Картонном домике». Если чуть-чуть изменить отчество, то фразу эту можно в полном ее виде применить не к художественной реальности повести, а к реальной действительности.

Вообще многие писатели начала века, особенно связанные с символизмом, часто, охотно и помногу писали письма. Среди эпистолярных комплексов этого времени есть такие, без которых невозможно представить себе литературу: переписка Блока и Белого, Белого и Иванова-Разумника, Брюсова и Нины Петровской, Вячеслава Иванова с женой, известные нам почти всегда только односторонне письма Зинаиды Гиппиус... На этом фоне письма Кузмина и к Кузмину представляют собою почти всегда материалы сравнительно небольшие (за исключением переписки с Г. В. Чичериным), но это вовсе не означает, что ими можно пренебречь. Скорее наоборот: сжатость придает этим письмам особую насыщенность, понять которую можно только при тщательной расшифровке, требующей большого комментария, вовлекающего в свою орбиту известные биографические документы, газетные и журнальные публикации, воспоминания современников, переписку третьих лиц, — все идет в дело, чтобы по-настоящему понять то, что хотели сказать друг другу корреспонденты.

В охватывающей ранний период жизни до 1905 года краткой биографической хронике «Histoire édifiante de mes commencements» Кузмин писал: «Через Верховских я познакомился с «Вечерами современ<енной> музыки», где мои вещи и нашли себе главный приют. Один из членов, В. Ф. Нувель, сделался потом из ближайших моих друзей»<sup>1</sup>. И именно переписку с этим человеком мы решили опубликовать полностью, исходя из того, что в ней сохранились очень многие принципиально важные подробности жизни Кузмина, особенно 1906—1908 годов. Это стало понятно довольно давно, и фрагменты переписки уже публиковались с содержательным комментарием<sup>2</sup>. Но

все же нужно создать целостное представление об этой переписке, ибо содержащиеся в ней сведения позволяют выстроить не только картину жизни Кузмина, но и вообще картину культурной жизни России с довольно неожиданной точки зрения.

О Вальтере Федоровиче Нувеле (1871—1949), насколько нам известно, не существует специальных работ, но в мемуарах, связанных с историей русского искусства, его имя встречается с симптоматичной регулярностью. Мы, естественно, не будем пересказывать информацию вполне доступную<sup>3</sup>, а постараемся ограничиться лишь тем, что принципиально важно для его характеристики. И здесь едва ли не самым характерным нам кажется отрывок из письма А. Н. Бенуа к К. А. Сомову: «Валичка! да это перец, без которого все наши обеды были бы просто хламом, да не только перец, или не столько перец, сколько маленькая грелка, ставящаяся под блюда; положим, горит в нем спирт, а не смола, но все же горит, все же пламя есть, а пламя как в ночнике, так и на солнце — все же пламя, т.е. животворящее начало, свет и жар; и спичка может поджечь город и бесконечные пространства леса или степей — и я кланяюсь перед спичкой, перед зажженной. Я вовсе не хочу этим сказать, что я Валичку мало уважаю и отношусь к нему покровительственно; *das sei ferne*. Но я этим хочу сказать, что Валичка не костер, каким был Вагнер, и не солнце, как Будда <...> что в Валичке мало материи, которая горит <...> но что есть, то горит и может поджечь, и я, как истый огнепоклонник, кланяюсь ему и заклинаю его, чтобы он бережно обращался с собой, чтоб не потушить себя...»<sup>4</sup>

Действительно, в Нувеле было немного собственного огня, собственного творческого начала, которое позволило бы ему стать музыкантом (ибо именно этим он был известен среди друзей), но зато разлетающихся во все стороны искр — сколько угодно. Кажется, ни один из вспоминавших Нувеля не обошелся без каких-либо фраз в таком духе: «Сам «Валечка» Нувель был признанный *Magister elegantiarum*. Но скорее его можно было назвать «потрясателем основ», столько у него было ядовитого и сокрушительного скептицизма. Но все это выражалось в таких забавных и блестящих, порою весело-циничных выходках и так было тонко и умно, что обезоруживало и было в нем всегда привлекательно»<sup>5</sup>. Впрочем, никакой цинизм и блеск остроумия не мешал Нувелю вести чрезвычайно насыщенные серьезным содержанием разговоры, провоцируя не только фейерверк шуток и разного рода «эскапад», но и обсуждение философских, религиозных, психологических проблем<sup>6</sup>.

Едва ли не все, писавшие о раннем периоде «Мира искусства», были вынуждены говорить — пусть чаще всего и с чужих слов, поскольку современниками событий не были, а собственных текстов Нувеля до нас дошло всего ничего, — что именно ему принадлежит одна из самых важных ролей в создании этого знаменитого общества

и его журнала, что он постоянно находился в центре художественных переживаний, хотя и горя чужим светом, но все же горя. И в кружке «Вечера современной музыки» он был одним из самых деятельных участников, и Религиозно-философские собрания без него не обходились, и трудно было отыскать театральное предприятие, о котором он не был бы наслышан, а то и сам принимал в нем участие. Конечно, наиболее известны были его контакты с Дягилевым, ближайшим другом и соратником которого он был<sup>7</sup>, но и другие театральные предприятия находили в нем тонкого ценителя.

Но время, когда Кузмин и Нувель общались наиболее тесно, внесло особые обертоны в характер последнего. Тот же Бенуа с заметным неудовольствием вспоминал о 1908 годе: «...от оставшихся еще в городе друзей — от Валечки, от Нурока, от Сомова я узнал, что произошли в наших и в близких к нам кругах поистине, можно сказать, в связи с какой-то общей эмансипацией довольно удивительные перемены. Да и сами мои друзья показались мне изменившимися. Появился у них новый, какой-то более развязный цинизм, что-то даже вызывающее, хвастливое в нем. <...> Особенно меня поражало, что из моих друзей, которые принадлежали к сторонникам «однополой любви», теперь совершенно этого больше не скрывали и даже о том говорили с оттенком какой-то «пропаганды прозелитизма». <...> И не только Сережа <Дягилев> стал «почти официальным» гомосексуалистом, но и к тому же только теперь открыто пристали и Валечка и Костя <Сомов>, причем выходило так, что таким перевоспитанием Кости занялся именно Валечка. Появились в их приближении новые молодые люди, и среди них окруживший себя какой-то таинственностью и каким-то ореолом разврата чудачливый поэт Кузмин...»<sup>8</sup>.

Несомненно, и эта репутация пропагатора (как сказали бы в XIX веке) гомосексуализма сближала Кузмина с ним, но, видимо, дело не ограничивалось только этой стороной. Живейший обмен художественными мнениями, впечатлениями от прочитанного и увиденного, сплетни и известия о действительных происшествиях, наполняющие эти письма, делают их бесценными для историка русской культуры, стремящегося представить ее не только как перечень уже давно известного, но и пытающегося восстановить дух происходившего в давние годы. При этом Кузмин довольно часто стусевывался, предпочитал рассказывать о своих душевных переживаниях, тогда как Нувель часто и со вкусом рассуждал о литературе и искусстве, давая недвусмысленные оценки только что появившемуся и рассуждая о возможных перспективах «нового искусства», к которому чувствовал свою ближайшую причастность.

Письма Кузмина к Нувелю публикуются по оригиналам, хранящимся в РГАЛИ (Ф. 781. Оп. 1. Ед.хр. 8), письма Нувеля к Кузмину — РГАЛИ. Ф. 232. Оп. 1. Ед.хр. 319 (за исключением писем 20, 27, 28, 55, 61 и 70, хранящихся: ЦГАЛИ С.-Петербурга. Ф. 437. Оп.1.

Ед.хр.94). В приложениях мы сочли целесообразным опубликовать несколько писем, имеющих прямое отношение к возникающим в переписке Кузмина и Нувеля сюжетам. Письмо 1 приложения 1 хранится: РГАЛИ. Ф. 232. Оп. 1. Ед.хр. 520, письмо 2 — РГБ. Ф. 109. Карт. 32. Ед.хр. 5. Приложение 2 — РГБ. Ф.371. Карт. 2. Ед. хр. 46.

1

НУВЕЛЬ — КУЗМИНУ

*Вторник <14 февраля 1906><sup>1</sup>*

Многоуважаемый

Михаил Алексеевич.

Согласно уговору, зайду за Вами завтра около 10-ти час<ов> вечера. Приду я вместе с Каратыгиным<sup>2</sup>, который также пожелал побывать у Вячеслава Иванова<sup>3</sup>.

Весь Ваш

*В. Нувель*

Появление этого письма, очевидно, связано с событиями предыдущей субботы, 11 февраля, так описанными в дневнике Кузмина: «Был у Нувель, читал «Елевсиппа», были Дягилев, Нурок, Сомов и Бакст, ели померанцевое варенье». Однако дружеское оживление сменилось у Кузмина упадком сил, так описанным в дневнике именно за 14 февраля: «Тоска, гнетившая меня с утра, в сумерки, когда особенно хочется задушевно поговорить, зайти на минутку, достигла до такого предела, что я серьезно подумывал пойти к Саше после обеда...» (упомянутый в записи Саша — банщик, любовник Кузмина).

1. Письмо датируется по очевидной связи с письмом 2.

2. *Каратыгин* Вячеслав Гаврилович (1875—1925) — музыкальный критик и композитор, один из основателей кружка «Вечера современной музыки», родственно был связан с семьей Верховских, близких знакомых Кузмина.

3. Речь идет об очередной «среде» у В. И. Иванова (1866—1949), которая должна была состояться 15 февраля. Кузмин обычно воспринимается как завсегдатай «сред», однако на первых порах это было далеко не так. 14 января 1906 г., когда его впервые должны были вести к Иванову, он написал в дневнике: «Чудная погода с утра была для меня отравлена мыслью идти к Ивановым» (Опубл. К. Н. Суворовой // Литературное наследство. М., 1981. Т. 92, кн. 2. С. 151). Регулярным посетителем вечеров у Иванова он становится лишь с апреля. Подробнее о «средах» см. в очерке Н. А. Бердяева «Ивановские среды» (Русская литература XX века / Под ред. С. А. Венгерова. М., 1916. Т. III).

КУЗМИН — НУВЕЛЮ

Дорогой

Вальтер Федорович,  
 вопреки нашему с Вами уговору, я в среду к Вяч<еславу>  
 Ив<ановичу> раздумал идти, о чем и извещаю. До ближайшего, на-  
 деюсь — близкого свиданья.

Ваш

*Михаил Кузмин**1906 г. Февраль 14. Вторник*

КУЗМИН — НУВЕЛЮ

Дорогой

Вальтер Федорович,  
 ну вот, я пишу прямо: не можете ли Вы дать мне на этих ближай-  
 ших днях 31 р. А те, если уже нельзя в полном объеме, то хоть мень-  
 ше, хотя тогда будет не так действительно, ибо 1500 — это не вздор,  
 это только крайняя необходимость, лучше, чем ничего; а разве не-  
 возможны быть известными (не знакомыми) Вам и такие люди? И  
 это не вздор, а спасение. Я не буду говорить о моем положении, что-  
 бы Вы не подумали и правду, что я Вас пугаю, но это очень серьезно.  
 Деньги на днях можно прислать с посыльным, лучше 2—6 ч. дня. По-  
 жалуйста, Вальтер Федорович<sup>1</sup>. Я так уже обнажился, что почти не  
 прошу извинения, что опять обращаюсь к Вам, чтобы уж Вы один име-  
 ли не особенно приятное удовольствие видеть меня в таком штатании.

Весь Ваш

*Михаил Кузмин**26 февраля 1906. Воскресенье*

1. Кузмин, насколько мы можем проследить, всегда испытывал острую  
 нужду в деньгах, но особенно усилилась она после смерти матери в 1904 г.  
 Ста рублей в месяц, которые давал ему Г. В. Чичерин, постоянно не хватало,  
 и просьбы о займах, регулярно встречающиеся в письмах, следуют в отно-  
 шениях не только с Нувелем, но и со многими другими людьми. Ситуация,  
 описанная в данном письме, по всей видимости, вырисовалась 16 февраля,  
 когда Кузмин записал в дневнике: «У меня есть план на Нувеля, но осущест-  
 вим ли он?» Можно предположить, что речь идет именно о той ситуации,  
 которая отразилась в письме. Очевидно, о том же идет речь в записи от  
 23 февраля: «После обеда заехал Нувель, известия не особенно утешитель-  
 ные, не знаю, как и быть, было что-то XVIII в. в нашем разговоре, в ясной  
 заре, в моем положении и в моих авантюрах». Состояние Кузмина в эти дни

отражено также в записи от 27 февраля, на следующий день после письма: «Сегодня в первый раз, все собой заслоняя, определенная и желанная своей исходностью, у меня явилась мысль о смерти, о самоубийстве. Сидя на окне и смотря на ярко освещенные дали за церковью М<алой> Охты, я думал, как стащу у Пр<окопия> Ст<епановича> револьвер, напишу всем письма и застрелюсь. <...> Будет панихида, кто-нибудь из «современников», похороны весной. <...> Проехал к Н<иколаю> В<асильевичу> попросить денег, но он не дал; от Нувеля ответа нет ни на одно, ни на другое. Что делать?» (В записи упоминаются: П. С. Мошков, второй муж сестры Кузмина Варвары Алексеевны, в первом браке Ауслендер; с ними Кузмин жил в то время на одной квартире; — а также Н. В. Чичерин, брат Г. В. Чичерина. «Современниками» Кузмин называл членов общества «Вечера современной музыки».)

4

НУВЕЛЬ — КУЗМИНУ

28/II <19>06

Дорогой

Михаил Алексеевич!

Посылаю Вам 31 р. Не мог их доставить раньше, т.к. у меня их не было, пришлось занять.

Что же касается Вашей главной просьбы, то, к моему большому огорчению, все попытки устроить это дело окончились неудачей, и у меня положительно нет больше никого, к кому бы я мог обратиться.

Вы можете себе представить, как мне это неприятно, и Вы поверите, с каким удовольствием я исполнил бы Вашу просьбу, если б она зависела только от меня.

Но я вообще не деловой человек, особенно в денежных вопросах, и Вы, быть может, среди Ваших знакомых найдете более подходящее лицо, способное осуществить Ваше желание. Мне кажется, Вам следовало бы обратиться просто к ростовщику, но я ни одного не знаю.

Зато я всячески стараюсь трубить о Вас в кружках, причастных к «Руну», и очень надеюсь, что в конце концов роман будет помещен, хотя ответа от Соколова<sup>1</sup> я до сих пор еще не имею. В таком случае можно было бы обратиться к Рябушинскому с просьбой уплатить Вам гонорар авансом<sup>2</sup>.

Простите, мой милый Михаил Алексеевич, что не удалось Вам оказать столь важную услугу, и не сетуйте на любящего Вас, искренне преданного и горячего поклонника.

Ваш В. Нувель

Получение письма отмечено в дневнике: «... от Нувеля посланный принес немного денег и извещение, что то дело не состоялось, он говорит, что, хотя Соколов ответа еще не дал, он почти уверен, что «Крылья» будут взяты и тогда можно будет попросить денег авансом. Было это очень неутешитель-

но, но мне все равно, имея исход в виду» (28 февраля). Речь в записи и в письме идет о возможности опубликовать в журнале «Золотое руно» повесть Кузмина «Крылья», законченную незадолго до этого и читавшуюся в кругу участников «Вечеров современной музыки».

1. *Соколов* Сергей Алексеевич (псевд. Сергей Кречетов, 1879—1936) — поэт, владелец издательства «Гриф», издатель журнала «Перевал». В это время был секретарем журнала «Золотое руно».

5

КУЗМИН — НУВЕЛЮ

Дорогой

Вальтер Федорович,  
спасибо Вам большое за присланное Вами. Отдам, как только буду мочь. Что ж делать? Я очень тороплюсь, и обрадован, и огорчен, и потому нескладно пишу. Еще раз за все спасибо. М<ожет> б<ыть>, и уладится все.

Ваш

*М. Кузмин*

*28 февраля 1906 г.*

6

НУВЕЛЬ — КУЗМИНУ

*7/IV<19>06*

Мой милый Михаил Алексеевич,

Хотелось бы прийти к Вам в среду или в четверг вечером на будущей неделе. Напишите, который из этих дней Вам удобнее. Предвкушаю удовольствие провести с Вами несколько часов в интимной беседе. Надеюсь — *la glâce sera gônne*.

Любящий Вас

*В. Нувель*

Очевидным поводом для письма послужила состоявшаяся накануне встреча Кузмина и Нувеля после довольно долгого перерыва, описанная в дневнике так: «Был Нувель. «Крылья» мои не приняты. Я зачем-то, кажется даже сам, предложил ему прочитать свой дневник. Ведь, лишенный всякого общественного и общего интереса, он занят только узко интересующимся моею личностью. Ну, все равно». 8 апреля Кузмин с некоторым удивлением отметил в дневнике получение этого письма: «Нувель прислал письмо, извещающее почему-то с большою душевностью, что он будет в среду».



## КУЗМИН — НУВЕЛЮ

Дорогой

Вальтер Федорович,

буду очень рад ждать Вас в среду в 8 час. до 1 часу. Боюсь, что Вы будете разочарованы или обмануты в ожиданиях, но этот риск не уменьшает удовольствия Вас видеть.

Ваш

*Михаил Кузмин**8 апреля 1906 г. Суббота*

Встреча состоялась действительно в среду 12 апреля. См. о ней запись в дневнике Кузмина (частично процитирована в статье «Петербургские гафизиты»): «Нувель приехал поздно, пьеса, кажется, понравилась; читали дневник, потом он был несколько откровенен, рассказывал, как был на содомистском bal masqué у парикмахера etc, удивлялся моей надежде на собственную верность. Под большим секретом сообщил, что Вяч. Иванов собирается устраивать Hafiz-Schenken, но дело первое за самими Schenken, причем совершенно серьезно соображают, что у них должно быть обнажено, кроме ног. Это как-то смешно». Здесь впервые фиксируется замысел «вечеров Гафиза», о которых подробнее см. в статье «Петербургские гафизиты».

## НУВЕЛЬ — КУЗМИНУ

*Четверг <20 апреля 1906>*

Дорогой

Михаил Алексеевич.

Жду Вас непременно в понедельник вечером около 9-ти. Будет один только Сомов<sup>1</sup>. Захватите, если можно, дневник. Он очень рассчитывает, что Вы из него почитаете. Надеюсь, Вы не уехали<sup>2</sup>. Не повидавшись со мной, — это было бы жестоко. Пожалуйста, ответьте. А то напрасно ждать — так скучно.

Душевно Ваш

*В. Нувель*

1. С. К. А. Сомовым Кузмин познакомился еще в 1905 г., однако особенно сильное впечатление на него произвела встреча 18 апреля, так описанная в дневнике: «Были у Ивановых; Сомов писал его портрет; редко человек производит такое очаровательное впечатление, как Сомов, все его жесты, слова, вещи так гармонируют, так тонки, так милы, что самый звук «Сомов» есть что-то нарицательное». Близкая дружба Кузмина с Сомовым была закреплена любовной близостью (хотя и недолгой) осенью 1906 г. Творчеству Сомова посвяще-

на специальная статья Кузмина (см.: Константин Андреевич Сомов: Мир художника. М., 1979. С.470—473; там же — некоторые письма Сомова к Кузмину. В полном объеме переписка Сомова с Кузминым приготовлена нами к печати). О встрече, предложенной Нувелем, см. письмо 9, примеч. 3.

2. Подробнее см. в примеч. 1 к письму 9.

9

КУЗМИН — НУВЕЛЮ

Дорогой

Вальтер Федорович,

я не уехал и в самом ближайшем будущем не собираюсь, проводив своего друга вчера<sup>1</sup>. Я непременно с крайним удовольствием в понедельник увидаю Вас и Сомова, дневник захвачу, хотя боюсь, чтоб это не было нехорошо. Но, вероятно, Сомов будет последним искушением читать свой дневник<sup>2</sup>. Конечно, я несколько расстроен отъездом Броскина, но думаю, что к понедельнику скорее приободрюсь, чем обратно<sup>3</sup>.

Весь Ваш

*Михаил Кузмин*

*21 апреля 1906*

1. Речь идет об отъезде знакомого Кузмина по старообрядческой среде Александра Михайловича Броскина. Реальных данных о нем мы не имеем, однако почти полное совпадение известных из дневника сведений с текстом романа «Нежный Иосиф», где один из персонажей назван Сашей Броскиным, позволяет думать, что описанная в романе его биография имеет немало сходства с действительной: «Москвич, веселым и расторопным мальчиком поступил он к купцу Жолтикову, торговавшему древними иконами и всяческой другой стариной. Вдовый хозяин, женившийся второй раз, седым уже, на молодой женщине, брал в свои дальние поездки за стариной пригожего Сашу, и вскоре тот сделался почти главным помощником, не считая косоного Зыкова, старшего приказчика <...> Даже когда старик Жолтиков умер и молодая вдова вышла за Зыкова, Броскин продолжал служить у них по старой памяти, пока дело, поднятое родственниками покойного, не заставило его оставить темную лавку с древностями. Молодая Зыкова оправдалась в отравлении мужа и мирно затрговала с новым супругом, но Саша, бывший главным свидетелем на суде, был уволен. Он тотчас женился на Марье Ильиничне (в действительности ее звали Александрой Ильиничной. — Н.Б.), отдававшей комнаты не строгим девицам и состоявшей их руководительницею, переехал в это тихое пристанище, продолжая, уже на своей страхе, торговлю вразнос иконами по знакомым». 20 апреля 1906 г. Броскин, в которого Кузмин был влюблен, уехал с женою в провинцию, куда вместе с ним предполагал отправиться и Кузмин, однако в последний момент сдал билет. Письмо от Броскина с приглашением приехать к ним со-

хранилось: «Много уважаемый Михаил Алексеевич по получении нашего письма просим вас приезжайте пожалуйста к нам в Гости поскорее будем ждать с нитерпением, а новой дорогой нам не понравилось я вам советую ехать через Рыбинск. Устроились мы очень хорошо и будем ждать с нетерпением у нас очень весело. Известный вам *Александр Броскин*» (РГАЛИ. Ф.232. Оп.1. Ед.хр.128. Особенности орфографии и пунктуации подлинника сохранены).

2. См. в дневниковой записи Кузмина от 21 апреля: «В согласии читать свой дневник есть какое-то бесстыдство». Однако чтения дневника продолжались на протяжении многих лет, а в начале двадцатых годов Кузмин даже предпринял попытку напечатать его.

3. Встреча действительно состоялась в понедельник 24 апреля. См. ее описание в дневнике: «Поехал к Нувель в 10-м часу. Они сидели у открытого окна и поджидали меня. Вальт<ер> Фед<орович> читал свой дневник, очень интересно, по-моему. Вообще, было очень, очень славно. И я прочел Сомову дневник, он говорил, что он — ahugi, что это бьет по голове, говорил, что, кроме интереса скандала, некоторым он мог бы быть толчком, и даже <исправлением?>; намечал Иванова и Бенуа. Кажется, и действительно ему понравилось, хотя я менее всего думал, пиша дневник, о том, чтобы это нравилось кому-нибудь. Возвращался на свете, и с другой стороны полная луна в широком желтом сиянии и беловатое небо отражалось в каналах; так тепло, так пахнет распускающимися листьями, а Саши нет и деньги тощакот. Из дневника Нувеля я узнал и касающееся меня кое-что неизвестное. Да, Сомов нашел, что впечатление дневника бодрящее, что чувствуется любовь к жизни, к телу, к плоти, никакого нытья».

10

НУВЕЛЬ — КУЗМИНУ

*Пятница <28 апреля 1906;  
открытка с почтовым  
штемпелем 29.IV.1906>*

Дорогой Михаил Алексеевич! Только что получил известие от Сомова, с просьбою Вам его передать, что Hafiz-Schenke у Ивановых откладывается с субботы на ближайший вторник<sup>1</sup>. В среду я к Ивановым не попал, а потому и за Вами не мог зайти, о чем жестоко скорбел<sup>2</sup>. Надеюсь, вы согласитесь, чтобы я зашел за Вами во вторник; если не удастся увидеться раньше, — зайду и, в крайнем случае, прибегну к силе, т.е. в том случае, если Вы найдете нужным сопротивляться. Ваше присутствие прямо необходимо<sup>3</sup>. Дружески жму Вашу руку.

Ваш В. Нувель

1. См. в цитированной уже записи от 24 апреля: «Нафиз-Schenken предполагается в субботу, гостей 8 чел., но, к сожалению, с дамами и без Schenken».

2. Описание среды 26 апреля см. в дневниковой записи Кузмина, процитированной выше, на с. 70:

3. Описание первой «вечери Гафиза» также см. выше, на с. 71.

11

НУВЕЛЬ — КУЗМИНУ

*Среда <10 мая 1906;  
открытка с почтовым  
штемпелем 11.V.1906>*

Не забудьте, мой милый и драгоценнейший Михаил Алексеевич, что я жду Вас завтра вечером, если возможно, — не позже 9-ти.

Весь Ваш

*В. Нувель<sup>1</sup>*

1. См. в дневнике за 11 мая: «Утром получил известие от Нувель, что он меня ждет сегодня вечером; мне казалось, что он мне ничего не говорил в понедельник. <...> Нувель не было дома, я стал просматривать «Mercure musical». Там интересно о старой итальянской музыке. Чтение дневника вызвало у В<альтера> Ф<едоровича> замечание, что я пишу менее ярко, чем покуда я не читал, но мне кажется, что это неправда, что такое впечатление оттого, что многое читалось вместе, а не кусочками. Я даже не знаю, почему меня это задело, я редко бывал в таком разложенном состоянии, как теперь. Был Сомов и Бакст; много спорили о Нафиз'е вчера; говорят, было скучно. Бакст все-таки предлагает некоторую ритуальность и символичность».

12

КУЗМИН — НУВЕЛЮ

Дорогой Вальтер Федорович, как жалко, что понедельник расстроился<sup>1</sup>, тем более, что если не в среду (на которую у меня уже есть билет, что, впрочем, по опыту знаю, ни к чему не обязывает), то в самом начале 20-х чисел я уеду<sup>2</sup>. Я так огорчен и этим, и нездоровьем драгоценного Вячеслава Ив<ановича>, что даже впал в тоску. Когда мы все увидимся? Я хочу с Вами посоветоваться. Брюсов на днях писал Верховскому, что мои вещи будут напечатаны в июльской или, самое позднее, в августовской книжке<sup>3</sup>. Теперь мне присылают из «Весов» желание присоединить одно стихотворение с музыкой для «Весов», чтобы воспроизвести факсимиле фототипией. Просят ответ<sup>4</sup>. Если это все, что выйдет из планов Феофилактова, то это очень грустно; или это помимо<sup>5</sup>? Можно ли в официальном ответе (писал мне секретарь «В<есов>» Ликиардопуло) говорить об предполагаемом

издании нот как о вещи решенной<sup>6</sup>? Если помещать не из тех, что выбраны, то какое? из первой серии нельзя, т.к. слова не посланы для печати. Как бы нам скоро увидеться?

Если кого увидите, передайте мой сердечный привет.

Весь Ваш

*Михаил Кузмин*

*14 мая 1906. Воскресение<sup>7</sup>.*

Эта отсрочка Гафиза прямо для Ваших ужасных штанов!

1. См. в дневнике Кузмина от 11 мая: «От Диотимы <Л. Д. Зиновьевой-Аннибал. — Н.Б. > отказ Гафиза». Очевидно, речь идет об отмене собрания, планировавшегося на понедельник 15 мая.

2. Речь идет об отъезде Кузмина вместе с семьей сестры В. А. Мошковой на лето в Васильсурск. Отъезд семьи состоялся действительно 17 мая, но Кузмин, как и предполагал, в тот день не уехал.

3. *Верховский* Юрий Никандрович (1878—1956) — поэт и литературовед, близкий друг Кузмина, особенно в эти годы. Письмо, о котором идет здесь речь, нам не известно. Кузмин был у Верховских 12 и 13 мая.

4. Речь идет о публикации стихотворений из цикла «Александрийские песни» (Весы. 1906. № 7). См. в дневнике 11 мая: «Из «Весов» просьба прислать музыку одного романса для помещения фототипией. Если это все, что выйдет из наших планов, то это очень печально. Если же помимо, то лестно и шикарно». План этот осуществлен не был.

5. О планах *Феофилактова* см. в дневнике Кузмина от 23 февраля 1906 г.: «Да, Нувель говорил, что молодые московские художники: Феофилактов, Кузнецов, Милиоти, Сапунов, пришли в дикий восторг от моей музыки и Феофил <актов> находит возможным уговорить Полякова <владельца издательства «Скорпион». — Н.Б. > издать ноты с его, Феофил <актова>, виньетками».

6. О *М. Ф. Ликиардопуло* см. в публикации его писем к Кузмину. Имеющееся здесь в виду письмо его к Кузмину нам не известно.

7. О событиях, последовавших в результате этого письма, см. запись Кузмина в дневнике 15 мая: «...я не зашел; от Нувель записка, что он с Сомовым будут у меня сегодня, я был ужасно ошастливлен этим <...> Приехали Сомов и Нувель, об «Весях» советуют отказать <...> Сомов опять пел «Consolati», эта ария положительно мне кажется роковою, чем-то пророческим. Читали 2 сказки из «1001 ночи», досидели до света». 16 мая Кузмин, Сомов и Нувель вместе были у выздоровевшего Вяч. Иванова.

Милый Вальтер Федорович,

мне бы не хотелось, чтобы Вы даже в шутку подумали, что я не желаю вас без К.А.<sup>1</sup>; Вы же знаете, какая это неправда. Я вас обоих оди-

наково люблю, хотя à force d'en parler и может выйти иначе. И я Вас непременно жду в пятницу; только я буду совершенно один (даже без Сережи<sup>2</sup>, уезжающего в Петергоф); если Вы боитесь скуки, я мог бы позвать Каратыгина, что ли?

Ваш

*Михаил Кузмин*

*17 мая 1906*

1. К.А. — Сомов. Содержание письма, как и ответа Нувеля на него (см. письмо 14), по всей видимости, связано с вечером у Ивановых 16 мая, о котором Кузмин записал: «Сережа в восторге, получив ответ из «Руна», куда послал своего «Колдуна». Это, конечно, отлично, что первый шаг именно здесь. Нувель предложил и ему идти навестить Вяч<еслава> Ив<ановича>. Там уже был Сомов. Диотима сейчас же попросила Сережу сходить за хлебом; было очень уютно и почему-то весело <...> Сережа читал свой рассказ и стихи. Нашли, что он моей школы и что это симптом моей старости. Много разговоров вызвал рассказ Лид<ии> Дм<итриевны> «33 уroda», полнейшего романтизма и написанный по-дамски <...> Сомов стал пьянеть, но был еще мил, перешли на французский, потом на итальянский, потом на английский. <Ал. Н.> Чеботаревскую носили на руках и клали на колени. Под флейты я с Нувелем плясали, потом я один, все целовались. Мне стало вдруг скучно, что я никого здесь не люблю (так особенно не влюблен), и, главное, меня никто не любит, и что я какой-то лишней соглядатай. Я вышел в комнату с зеркалом и прислонился к стене с флейтой в руках, в красной бархатной рубашке <...> Сомов свободен, помимо Гафиза, только на будущей неделе».

2. *Сережа* — Сергей Абрамович Ауслендер (1886 или 1888 — 1943), племянник Кузмина, известный впоследствии писатель, только начинавший свою литературную деятельность.

14

НУВЕЛЬ — КУЗМИНУ

*Среда <17 мая 1906>*

Я верю Вам, дорогой Михаил Алексеевич, и, разумеется, только шутил или, скорее, кокетничал. Но я не понимаю, на что Вам нужен Каратыгин. Вяч<еслав> Гавр<илович> премилый человек, но в данном случае эта combinaison à trois, признаюсь, не особенно меня прельщает. Отчего Вы прибегаете к угрозе, говоря, что «à force d'en parler может выйти иначе»? И потом, что значит «иначе»? Ведь Вы знаете, мне не может быть скучно с Вами и, мне кажется, Вы придумали Каратыгина, чтобы Вам не скучать со мною. Надеюсь, Вы на деле опровергнете эту последнюю инсинуацию<sup>1</sup>.

Ваш

*В. Нувель*

Не лучше ли, si Vous у tenez, позвать Гришу<sup>2</sup>?

1. Получение письма отмечено в дневнике: «Нувель пишет на мое 2 предложение пригласить Каратыгина, что если я стою за combinaison à trois, лучше уж позвать Гришу; какие глупости!» Встреча Кузмина с Нувелем и Сомовым действительно состоялась в пятницу 19 мая и так описана в дневнике: «Нувель пришел совершенно неожиданно с Сомовым. Я был тем более рад, что это было нежданно. Время провели по как будто установленной программе, мне было очень приятно, но я боюсь, что именно однообразие времяпрепровождения у меня наскучит моим гостям. Сомов привез мне несколько мемуаров XVIII в., я думаю прикупить для топографии Бедекер по Парижу и книжку о том ремесле, которое я дам герою <Речь идет о замысле повести «Приключения Эме Лебефа». — Н.Б.>. Я могу летом писать. Но я люблю так сидеть и divaguer, и говорить все, что думаешь, без стеснения, и слушать беседы о любви, еще более интимные, чем на Гафизе. Только бы я не надоел моим друзьям».

2. *Гриша* — Григорий Васильевич Муравьев, любовник Кузмина в 1905—1906 гг., молодой человек из простой среды (по кажущемуся вероятным предположению М. В. Толмачева, он послужил прототипом банщика Федора в повести «Крылья»).

15

#### НУВЕЛЬ — КУЗМИНУ

*Среда <5 июля 1906>*

Дорогой Михаил Алексеевич,

Как жаль, что Вы не были вчера ни у меня, ни у Нурока!<sup>1</sup>

Завтра собираюсь к Ивановым. Хочу зайти за Вами около 4-х часов, чтобы идти к ним вместе<sup>2</sup>. Надо будет сговориться, какую сказку им рассказать про последний вечер в «Славянке»<sup>3</sup>. Очень надеюсь, что Вы будете дома, в противном случае прошу оставить записку с указанием, когда я мог бы Вас застать.

Ваш

*В. Нувель*

1. *Нурок* Альфред Павлович (1860—1919) — музыкант-любитель, член «Мира искусства» и «Вечеров современной музыки». Довольно долгий перерыв в переписке связан с тем, что с 5 июня Кузмин жил в одной квартире с Нувелем. Получение данного письма отмечено в дневнике Кузмина 6 июля.

2. См. в дневнике Кузмина за это число: «Приехал Нувель с письмом от Сомова, что он нас целует, уже соскучился, если в субботу будет эскапада, пусть выпишем его. Думаем, не поехать ли в Сестрорецк; в пятницу на «Роберта Дьявола». Вячеслав ничего не пишет. Не застав Ивановых, зашли в большой Таврический, смотрели на играющих в теннис <...> В <альтер> Ф <едорович> поехал к себе, я домой. Напился чаю, переоделся и отправился в Тавр <ический>. Павлик пришел один, скучноватый; приехал Нувель, все искал, кого пригласить в Сестрорецк, но встретив старую любовь, vivandier'a, которого он имел года 2 тому, удалился с ним aux pays chauds».

3. Речь идет о поездке Кузмина и Нувеля в компании двух молодых людей в загородный ресторан, состоявшейся 3 июля: «Поехали на 2-х извозчиках. На пароходе под дождем сговаривались, как написать апокрифическую страницу дневника, чтобы заинтриговать Ивановых. Нувель хотел сесть на верхние балконы, где он когда-то был счастлив с Колей Зиновьевым, но там было ветрено; внутри устройство, как, вероятно, было в загородных ресторанах 60-х годов, каморки, зальца, кухня, шкапы. Народу не было. Сомову, кажется, нравилось. Ели, пили и Шабли, и глинтвейн, и кофе без цикория. Поехали все вчетвером на одном извозчике под капотом и все целовались, будто в палатке Гафиза. Сомов даже сам целовал Павлика, говорил, что им нужно ближе познакомиться и он будет давать ему косметические советы. Нашел, что его fort — это нос, очень Пьерро et bien taille, что приметные на ощупь щеки, и что губы, так раскритикованные Нувель, умеют отлично целовать. Нашел, что я как целовальщик pas fameux, но я поцеловал его несколько лучше. «Mais c'est déjà beaucoup mieux et vous n'êtes qu'un orgueilleux qui cache ses baisers». Доехали до нас, а сами поехали к Нувель. Павлик был до утра. Утром на силу его добудился».

См. также запись от 6 мая: «Утром письмо от Нувель и от Юши. В<альтер> Ф<едорович> пишет, что когда пойдет к Ивановым, то зайдет ко мне»; в следующей записи, датированной 7—9 мая, Кузмин сообщает о встречах с Нувелем: «Пришел Нувель в проливной дождь. Поехали к Ивановым, там все готовятся к отъезду, понемногу емоншипируются <...> На следующий день было предположено съездить в Сестрорецк. Сошлись на «поплавке» с Сомовым и Нувель, но Павлик не пришел в 3 ч., будучи дежурным, а прямо ко мне в 6-м часу. Ехать было слишком долго. Обедали, слушали музыку, после, на берегу, составивши корзины для сиденья, устроили палатку Гафиза. Сомов был предприимчив с Павликом, но я почему-то меньше его ревную к Сомову, чем к Нувель. Но все-таки я вышел и стал плакать, ходя по темному берегу вдоль шумящего моря, а Нувель меня утешал. В вагоне спали, Павл<ик> у меня на коленях. Ехать было холодно, Павлик без пальто совсем замерз, покраснел нос; придя, мы выпили вина, и было как-то горестно и еще слаще прижиматься к теплому нежному телу в холодной комнате перед скорым отъездом».

16

КУЗМИН — НУВЕЛЮ

18 июля 1906

Милый Вальтер Федорович,

вот исполнено некогда высказываемое Вами желание видеть меня в Васильсурске<sup>1</sup>. Но если бы Вы видели меня, чувствовали себя на моем месте, Вы бы удивились жестокости Ваших желаний. Что я могу здесь сделать, что написать? Если Вы меня любите, пишите мне чаще, хотя лучше всего было бы, если бы как можно скорее не стало надобности этого делать. Напишите мне нежные вести о Ваших свиданьях, о pays du tendre<sup>2</sup>, о друзьях, о Павлике<sup>3</sup>. Ви-



дите ли Вы его? грустен ли он? весел ли? или как апрельский день? побледнел ли или все так же персиков? вспоминает ли обо мне? где бывает? с кем? какие у него новые галстуки? не видеть всего, его милых глаз, круглых плеч! какое тут писанье!? Что я Вам могу рассказать? что есть на свете, что не было бы далеко от меня?

Кланяюсь друзьям: Иванову, Баксту и милому Сомову. Напишите мне. Целую Вас. Адрес: Васильсурск Нижегородской губ., дом Юшковой.

*Мих. Кузмин*

1. Кузмин уехал в Васильсурск 13 июля. Причиной отъезда было в первую очередь его хроническое безденежье, но ехать он решительно не хотел, постоянно обвиняя друзей, прежде всего Нувеля, в том, что они его насильно отправляют из Петербурга, заставляя расстаться с Масловым. См. в дневнике от 18 июля: «Написал письма, очень скучаю не только о Павлике, но вообще обо всем». Днем ранее он сообщал Сомову: «...покуда я могу только написать, что я доехал, скучно, но благополучно, все здесь хорошо и расположено как только может быть, но что я адски скучаю по всем Вам, конечно, по Павлике более всего, но я чувствую себя несчастным и без Вашего милого серьезного голоса, и без изводов Нувель, и без несколько нелепого Поэта» (ГРМ. Ф. 133. № 231).

2. Страна нежности (*франц.*). Так в общении небольшого круга Кузмина и его друзей обозначался Таврический сад.

3. *Павлик* — Павел Константинович Маслов, любовник Кузмина в это время. Ему посвящен цикл стихов «Любовь этого лета». О нем и его жизни (к сожалению, его профессия нам неизвестна) см. в дневнике: «Еврейчик положительно неприятен, даже противен, но во втором, несмотря на явную некрасивость и желтизну сегодня лица, есть что-то, что заставляет подозревать лучшее. <...> Мои ожидания вполне оправдались, он оказался очень веселым и милым, и даже лицо, некрасивое, когда разгорается и смеется и на подушке, и видно голое тело, прямо мне нравилось. Но он извивался и возился, как уж, замирая в самых невозможных и изыскан<ных> позах. Я вообще был очень доволен: с ним можно говорить, он не лежит безучастной колодой, он владеет своим искусством и равнодушен (конечно, не ко мне, но к ласкам), и потом он мне просто-напросто понравился даже своим безобразным лицом. Между прочим, нашел, что у меня «ебливые» глаза, вот о чем я, по правде, не думал» (12 июня); «Павлик был, конечно, очень мил, хотя его фасончики меня не так уже поражали, как первый раз. Он нет еще 2-х лет, как в Петербурге, из Вологодской губернии. Меня удивило, когда он смотрел мои галстуки, знание названий цветов и материй...» Беспокойство Кузмина о нем, часто прорывающееся в письмах, связано с тем, что Маслов нравился и Нувелю, и Сомову.

22/ VII. 1906

Антиной<sup>1</sup> дорогой!

Как я был рад, получив Ваше письмо, но увы! такое грустное и с намеком на упрек, будто всему виною я. Чем утешить Вас? Известиями о Павлике? Вот они. Простившись с Вами, я отправился на rendez-vous (не особенно меня удовлетворившее), а оттуда в Pays du Tendre, где должен был быть Павлик. (В данном случае вышло à rebours: voyage des pays chauds au pays du Tendre). Павлик был грустен. На мой вопрос, кто ему больше нравится из нас, он отвечал — Мих<аил> Алекс<еевич>! Затем видел Павлика в прошлую субботу в Тавриде с Костей Сомовым. В этот день я опять совершил путешествие à rebours, т.к. приехал в pays du Tendre после свидания с Вячеславом<sup>2</sup>. Наконец, в последний раз видел его в четверг, третьего дня, опять там же. Он удивлялся, что не получал еще писем от Вас, и сказал, что, не имея известий, написал Вам первый.

Он показался мне слегка похудевшим в лице, но все таким же свежим, как прежде. Много говорили о Вас. Он сказал, между прочим, что Вы способны любить, а я — нет, что, пожалуй, верно, по крайней мере сейчас.

Два дня провели у Коровиных<sup>3</sup> на даче. Было мило, но утомительно. К концу совсем обалдели. Иванову прочитал свой дневник (с пропусками, конечно<sup>4</sup>). Он остался очень доволен. Вчерашний вечер опять провели у него<sup>5</sup>. Вспоминали Вас. Вяч<еслав> уверяет, что последние дни перед Вашим отъездом он чувствовал к Вам прямо какую-то влюбленность<sup>6</sup>. Сегодня обедаю с Костей и Бакстом у Коровиной. C'est sa fête<sup>7</sup>.

Не тоскуйте, мой милый друг. Ведь Вы фаталист. Так примите настоящее за неизбежное. Возможно, что ценою этого испытания Вам дана будет новая радость. Мне кажется, Павлик к Вам серьезно привязался, и когда Вы снова вернетесь, радость будет еще живее после долгой разлуки.

Иванов в письме к Рябушинскому горячо рекомендует Вашу Александрийскую повесть<sup>8</sup>. Где она? Нельзя ли мне ее получить, чтобы отправить в «Руно»?

Передайте Сереже<sup>9</sup>, что римский Император ему кланяется и скоро назначит центурионом в Рим<sup>10</sup>.

Пишите чаще.

Душевно Ваш

В.Нувель

1. Антиной — имя Кузмина по «вечерам Гафиза».

2. Вячеслав — любовник Нувеля в это время. См. в дневнике Кузмина от 24 апреля: «Вячеслав — фельдшер какого-то полка, с которым он познакомился в Таврическом». По не очень точным записям Кузмина можно предположить, что его фамилия — Фогель.

3. *Коровины* — по всей видимости, семья художника К. А. Коровина.

4. См. в письме (фактически являющемся частью дневника) Вяч. Иванова к жене от 20 июля 1906 г.: «Вечером <18 июля> пришел Repouveau <имя Нувеля на «вечерах Гафиза»>, тебя очень приветствующий, и читал свой дневник. Мы до двух часов сидели так в нашем Олимпе и угощались белым вином с бисквитами. Дневник его очень интересен, подробен и многосторонен. Он ведет его *son atome* и создает также *opus* — не поэтический, как Антиной, а иной, где много жизни, ума и эпохи» (РГБ. Ф. 109. Карт. 10. Ед. хр. 3. Л. 15; далее эти письма цитируются без ссылок на место хранения и листы). Дневник Нувеля, к сожалению, нам не известен.

5. Посещение Нувеля также отмечено в письме Иванова к жене от 23 июля.

6. Об отношениях Иванова и Кузмина летом 1906 г. свидетельствуют записи в дневниках Иванова и Кузмина. В письме к жене от 13 апреля Иванов сообщал: «Потом брат и сестра <К. А. Сомов и А. А. Михайлова> очень мило пели. Я слушал под окнами, а в окне рисовалась голова пригорюнившегося Антиной, в которого я не замедлил влюбиться». Кузмин же днем ранее записал: «Иванов более абсурден, чем всегда, сначала стал говорить, что мой настоящий роман с Сережей, который будто бы в меня влюблен, потом сам мне признался в любви. <...> На извозчике В<ячеслав> И<ванович> долго, неловко и нелепо объяснялся мне в *форменной любви*».

7. См. открытку Нувеля к Сомову от 20 июня: «Только что получил приглашение от Коровиной обедать у них в эту субботу здесь в Петербурге. Она очень просит и тебя приехать к обеду, просила передать приглашение. Приезжай. Будет весело» (РГАЛИ. Ф. 869. Оп. 1. Ед. хр. 59. Л. 28 об).

8. Имеется в виду «Повесть об Елевсиппе, рассказанная им самим» (Впервые: Золотое руно. 1907. № 7/9).

9. С. А. Ауслендер, также находившийся в это время в Васильсурске с матерью.

10. Намек не вполне ясен. Возможно, имеется в виду желание Ауслендера напечататься в журнале «Весы», и тогда под «римским Императором» имеется в виду В. Я. Брюсов.

25 июля 1906

Милый Вальтер Федорович.

В моей ссылке Ваше письмо с известиями о Павлике было настоящим праздником, хотя я и ранее имел некоторые сведения о Вас и о

милом Сомове из письма самого Павлика. Каждая строчка Вашего письма — стрела мне в сердце: «А я — не с ними!» Но пишите мне еще и еще, я буду читать, как и первое письмо, десятки раз, приманиваемый этими мелкими бисерными строчками, где мелькает, гуляя, волнуя самыми очертаниями букв, милое имя. Как я благодарен всем моим друзьям, которые сделали эту весну и лето так незаслуженно, так неожиданно прекрасными и солнечными. Вы, конечно, — первый и более близкий, если не более влюбляющий из друзей. И теперь эти письма, далекие лучи того рая, утешают меня перед, увы! неизбежною бедою, которою грозит мне осень. Это не *enfantillage*, это — не шантаж, не запугиванье: до этого ли мне!? Только бы на время, недели две, ну, полторы прожить с Вами со всеми по-прежнему. Неужели все устроится еще раз, и еще раз я не окажусь обреченным? Я ничего не пишу, кроме еле-еле дневника и двух стихотворений, которые переписываю Вам<sup>1</sup>. Сообщите их Сомову и Вяч<еславу> Ив<ановичу>. «Елевсиппа»<sup>2</sup> посылаю завтра; я думаю, возможно послать не переписывая. Ваше письмо меня подбодрило, т.к. здесь в одиночестве все мне представляется более безвыходным и фатальным, а Вы пишете так, будто все благополучно.

Целую Вас.

*М. Кузмин*

Нувель получил письмо 28 июля. См. его открытку к К. А. Сомову: «Собираюсь к тебе в воскресенье с 3-х часовым поездом. Имею рассказать кое-что интересное. От Кузмина сегодня получил письмо» (РГАЛИ. Ф. 869. Оп. 1. Едхр. 59. Л. 27 об).

1. К письму приложены переписанные стихотворения «Зачем луна, поднявшись, розовеет...» и «Мне не спится, дух томится...», входящие в цикл «Любовь этого лета».

2. См. письмо 17, примеч. 8.

19

КУЗМИН — НУВЕЛЮ

*30 июля 1906*

Милый Вальтер Федорович, сообщите мне, пожалуйста, если можете, что значит упорное молчание Павлика на мое бомбардирование его письмами<sup>1</sup>. Ваше письмо в этом отношении было такое успокоительное, обнадеживающее, что я решительно не знаю, чем себе объяснить все это. Я Вас считаю моим лучшим другом и потому скажу Вам историю моей переписки с Масловым. Дело в том, что при отъезде, взяв у меня в последнюю минуту несколько денег, он получил от меня совет, чтобы без меня в крайнем случае попросил у Вас, сказав, что я осенью Вам отдам вместе со старым долгом, что Вы очень

добры и для меня, м<ожет> б<ыть>, и сделаете это. Потом он мне пишет 2 письма, где между прочим очень скромно и стыдливо, но опять просит денег, не получив еще ответа, что у меня ни гроша нет. После этого ответа — ни звука. Может быть, это — простое совпадение; дай Бог. Но страннее всего, что он пишет, что ни за что не обратится к Вам, и умоляет меня не говорить, не проговориться перед Вами обо всем этом. Что это значит? Вы, пожалуйста, не давайте вида, что знаете что-нибудь, но если что-нибудь понимаете во всем этом, то напишите мне. Я так перерасстроился, что сделался просто сух и не знаю, что вместо меня приедет в Петербург. И я буду ждать Вашего ответа о Павле Константиновиче и Вашего совета, от этого будет зависеть и время моего приезда, и самый приезд. Я пишу какие-то глупости, но я ничего почти не понимаю. Скажите Павлику это, т.е. не то, что я не понимаю, а что как я люблю его, ну все, хорошо? Мне кажется, я дурно сделал, поехавши сюда. Я все вижу слишком не по-своему, слишком трагически, слишком романтично. И мне кажется, что мне никого из Вас не увидать. Я не ревную теперь его ни к Вам, ни к Сомову, хотя я знаю, что он был с вами, и я люблю его больше, чем прежде, больше, чем думал, больше, чем кого-нибудь прежнего. Я живу монашески, это смешно. Мне до сих пор кажется, что мои руки пахнут им, ну, Павликом. Я, вероятно, скоро приеду куда-нибудь! Пишите скорее, скорее, скорее, а то телеграфируйте — в каждом углу нас ждет беда. Целуйте Павлика хорошенько и за меня. Скажите ему, как знаете, то, что знаете, как я любил его. Скорее.

*Антиной*

<Сверху карандашом, рукой Нувеля, приписано:> 5-я Рождественская, 38, кв. 2. Ремизовы. <Приписка Кузмина на первом листе письма> А Сомов тоже — ни слова.

1. См. запись в дневнике от 30 июля: «От Павлика писем нет. Больше ничего не хочу помнить. Что это значит?» 29 июля Кузмин писал Сомову: «Я имею известия от Repouveau и от нашего «целованного» Павлика, где есть сведения и о Вас, но все же напишите хоть строчку и Вы, мой дорогой друг, который мне еще дороже тем, что не желали меня никуда отсылать, не желая моих изменений, принимали и любили меня таким, как я был, не возлагали надежд, что Поволжье меня куда-то вернет, от чего-то излечит. <...> Конечно, я не считаю, что Нувель меня «услал», но он желал этого и был рад, когда я уехал (за меня, конечно), и когда он уже знал, что я здесь ужасно тоскую; я имею griefs и против Вяч<еслава> Ив<ановича>, что он считает мою привязанность к Павлику если не avilissant, то самообманом или изменой себе» (ГРМ. Ф. 133. № 231). На следующий день последовало письмо ему же: «Что с Павликом? напишите хоть Вы про него и побраните (не забудьте, что он меня забывает и так долго не пишет. <...> Я в полнейшей прострации, меланхолии, скуке и полон мрачнейших предчувствий и черных взглядов на будущее» (Там же).

НУВЕЛЬ — КУЗМИНУ

31/VII 1906. Телеграмма

Павлик здоров пишу. Нувель

КУЗМИН — НУВЕЛЮ

31.7.1906. Телеграмма

Телеграфируйте что с Павликом. Кузмин

НУВЕЛЬ — КУЗМИНУ

1/VIII &lt;19&gt;06

Мой милый друг,

Простите, что так долго отвечал на Ваше письмо. Почти целую неделю я прожил в Петергофе и потому не мог видеть Павлика. Писать же Вам, не упоминая дорогого имени, было бы жестоко — и я ждал встречи с ним.

Наконец, третьего дня, видел его в Тавриде<sup>1</sup>. К сожалению, я не мог долго беседовать с ним, т.к. я был не один, но могу сказать, что он такой же, как и прежде. И нос Пьеро, и лукавые глаза, и сочный рот<sup>2</sup> — все на месте (остального я не рассматривал). Конечно, вспоминали Вас и сочувствовали Вашей тоске. Но почему, дорогой мой, такие мрачные мысли? Я понимаю Ваше теперешнее настроение, что вокруг Вас пустыня и нечем утолить жажду. Но впереди ведь возвращение, а с ним и новое свидание, которое будет тем слаще, чем дольше и тяжелее была разлука<sup>3</sup>. Понятно, я не стану Вас утешать Куропаткинским терпением<sup>4</sup>, но ведь скоро Вы приедете (надеюсь!), и тогда все преобразится.

Вчера вечером мы были у Иванова: Сомов, Бакст и я<sup>5</sup>. Вячеслав<sup>6</sup> был очень мил. Много говорили о Вас. Эль-Руми<sup>6</sup> чувствует к Вам большую нежность, чем когда-либо, и очень жалеет, что некоторые фразы его письма могли Вас огорчить<sup>7</sup>.

Ваше письмо меня чрезвычайно тронуло. Но встревожили меня Ваши трагические перспективы. Почему, зачем? Где причина? Объясните, ради Бога! Где же та легкость жизни, которую Вы постоянно отстаивали? Неужели она может привести к таким роковым последствиям? Тогда все рухнет, и Вы изменили «цветам веселой земли»<sup>8</sup>. И нос Пьеро, и Мариво, и «Свадьба Фигаро»<sup>9</sup> — все это только временно отнято у Вас, и надо разлюбить их окончательно, чтоб потерять надежду увидеть их вновь и скоро.

Чувствую, что мои слабые утешения не разгонят Вашей грусти, но ради тех же любимых мелочей<sup>10</sup>, умоляю Вас, не падайте духом, тем более, что конец пытки близок.

Что Вам сказать про себя? Мой Вячеслав на маневрах, других эскапад у меня нет. В Петергофе было скучно. И здесь теперь не особенно весело. К тому же физически я чувствую себя не совсем здоровым.

Ваши стихотворения мне понравились, хотя в первом чувствуется некоторая искусственность, а второе (первые 2 строфы очень хороши) написано несколько небрежно; мне не нравится тавтология: *не могу я, мне невмочь*, а «Паладин» нарушает стиль<sup>11</sup>.

В назидание, как нужно писать стихи, переписываю Вам гениальное произведение Рябушинского, прочитанное с гордостью Вяч<еславу> Ив<анови>чу:

Она идет,  
Как снег идет,  
Когда весною тает лед.  
Она цветет,  
Как пруд цветет,  
Когда трава со дна встает.  
Она лежит,  
Как сторожит (?),  
Обнажена и вся дрожит!!<sup>12</sup>

С нетерпением жду «Элевсиппа». Его перешлет Иванов, для пущей важности. Пишите. Жду.

Душевно Ваш

*В. Нувель*

См. записи в дневнике от 2 и 3 августа: «Сегодня ждал писем от Павлика и Нувель — их нет. Все остальные мои денежные дела, мои писанья, мои мысли об отъезде — всё затмевается этой мыслью — Павлик меня забыл. Но отчего это так терзает меня? На меня находит какое-то равнодушие, мысль о смерти все привычнее»; «Получил письма от Нувеля и Сомова, но не от Павлика, про Павлика очень мало, и я решительно не знаю, чем себе это объяснить и как поступить, ехать ли, ждать ли, телеграфировать ли». Письма от Сомова, упоминаемые в этой записи, опубликованы: Константин Андреевич Сомов... С. 94—95.

1. *Таврида* — петербургский Таврический сад.

2. Отсылки к стихотворению Кузмина «Где слог найду, чтоб описать прогулку...»: «Твой нежный взор, лукавый и манящий <...> Твой нос Пьеро и губ разрез пьянящий...».

3. Скрытая отсылка к завершению одной из «Александрийских песен», не вошедшей в основной текст (см. письмо 26, примеч. 2).

4. От фамилии генерала Алексея Николаевича Куропаткина (1848—1925), главнокомандующего армией в Маньчжурии во время русско-японской войны.

5. О вечере 31 июля см. в письме Иванова к жене от 1 августа в статье «Петербургские гафизиты». В приписке к письму от 31 июля, сделанной 1 августа, Сомов сообщал Кузмину: «Вчера провели очаровательнейший вечер у Иванова — он, Бакст, Валечка и я. Вячеслав не мозгологствовал совсем. Говорили много и интересно. Читали присланные последние Ваши стихи. Я бы их очень хотел иметь» (Константин Андреевич Сомов... С. 94—95; печ. с уточнением по автографу: РНБ. Ф. 124. № 4084).

6. *Эль-Руми* — гафизическое прозвище Вяч. Иванова.

7. Имеется в виду письмо Иванова к Кузмину от 24 июля 1906 г. (Wiener slawistischer Almanach. Wien, 1986. Bd. 17. S. 438 / Публ. Ж. Шерона). См. о нем в дневнике Кузмина за 26 июля: «Письмо от Иванова, милое, но отвлеченное и туманное, и чем-то меня раздражившее».

8. Цитата из стихотворения Кузмина «Где слог найду, чтоб описать прогулку...»: «Ах, верен я <...> Твоим цветам, веселая земля!»

9. Отсылка к тому же стихотворению:

Твой нежный взор лукавый и манящий, —  
Как милый вздор комедии звенящей  
Иль Мариво капризное перо.  
Твой нос Пьеро и губ разрез пьянящий  
Мне кружит ум, как «Свадьба Фигаро».

10. Отсылка к тому же стихотворению: «Дух мелочей, прелестных и воздушных...»

11. Имеются в виду следующие строки:

Сердце бьется, сухи руки,  
Отогнать любовной скуки  
Не могу я, мне невмочь.  
  
Прижимались, целовались,  
Друг со дружкой сплетались,  
Как с змеею Паладин...

(Цитируется по автографу Кузмина, приложенному к письму 18. Критикуемое Нувелем сочетание слов было изменено (в окончательном тексте: «Я не в силах, мне невмочь...»).

12. 27 июля Вяч. Иванов сообщал жене: «Курьез. Рябуш<инский> сказал, что пишет стихи! И сказал одно стихотв<орение>, которое так поразительно, что я запомнил его наизусть. Кажется, что страницы «Руна» им украсятся. Если дело пойдет так, придется воздерживаться от сотрудничества». В письме от 1 августа он говорит, что 31 августа на вечере «...были импровизов<аны> очень веселые вариации на тему Рябушинского...».



18/5 VIII 1906

Дорогой Вальтер Федорович,

я рискую подвергнуться Вашим насмешкам. Дело в том, что, получив Ваши письма и особенно письмо от бесценного Павлика, я значительно успокоился<sup>1</sup> даже до того, что в более спокойном ожидании моего скорого теперь отъезда я написал вступление к дневнику: «Histoire édifiante de mes commencements»<sup>2</sup>. Это очень кратко (страничек 40 дневника), но мне кажется достаточным, и во всяком случае лучше, чем ничего. Написал до того 2 стихотворения, из которых первое послал К<онстантину> Андреевичу<sup>3</sup>. Павлик это время несколько закутил с гр. Шереметьевым <так!>, что он подробно и описывает, кроме того, мое одно письмо оказалось недошедшим, а другие идут страшно долго, вот и все причины его молчания, показавшиеся мне здесь таким чреватым бедствиями. Относительно осенних затруднений, — они совершенно другого характера и вроде того, что было весной, когда я к Вам обращался<sup>4</sup>. Но я теперь крепко надеюсь на чудо, на судьбу, как-то всегда меня хранившую до сих пор. И потому, м<ожет> б<ыть>, превратности крайне интересны, я даже отчасти жалею, что у моих больших кредиторов нет векселей, чтобы меня посадить в долговую тюрьму. Только бы вы все не уехали зараз куда-нибудь. Этого бы я не перенес, такой мороки <?>.

Я думал, что молчание Павлика, с такой чрезмерной трагичностью истолковываемое мною, перспектива осенних дел так подействует на мое усилившееся здесь малодушие, что я что-нибудь выкину такое, что лишило бы нас возможности увидеться когда бы то ни было, но теперь, видя тщетность этих опасений, приветствую хотя бы скользкую, хотя бы en république беззаботную жизнь и весело предаюсь на волю случая и судьбы. Сомов упомянул в письме великое, во что я всегда верил и не знаю в каком ослеплении которое позабыл: l'Imprévu<sup>5</sup>. Не непредвиденной ли была и встреча с Павликом, и неожиданно для меня самого загоревшаяся любовь к нему, и многое, если не все, в моей жизни. Мы ждем, принимаем и благодарим, хотя бы делали движения людей действующих. После последнего, кажется, довольно «бешеного» письма Вам смешно читать такие рассуждения, не правда ли?

Мы скоро увидимся, надеюсь, так же дружески, как и расстались. Мне жаль, что эти три недели пропали в бесплодных трагичностях, хотя жалеть ничего не надо.

Неизменно Ваш

Михаил Кузмин

Целым ли получили Вы «Елевсиппа»?

1. См. в дневниковой записи 3 августа: «Утешения Сомова несущественны, хотя и прочувствованны и дороги мне. Вся моя путанность положения чисто материальная, отнюдь не психологическая и не сердечная. Но, м<ожет> б<ыть>, я все предоставлю на волю Божию, векселей нет. Но Павлик меня изумляет ужасно. Мне кажется в письме Нувель что-то скрытым и чем-то оно холоднее, чем первое. Что будет завтра? Я долго ходил по комнате, снова перечитал моих милых друзей и потихоньку запел дуэт из «Figaro». Умереть? из-за денег? не малодушие ли это? Предоставлю все на волю Божию. Все весело принять — и бедность, и долги, и неплатеж, и даже бегство (как Вагнер), скажем, тюрьму (хотя векселей у меня нет), и даже, вероятно, несуществующую забывчивость Павлика, даже невозможность его иметь! В возбуждении я перечитывал планы «Aimé Le Voeuf». Завтра же писать! О жизнь! А в XVIII в. не убивали себя люди? А Вертер? Милые, милые, благословенные мои друзья, как я люблю вас! Долго еще ходил и весело лег спать».

2. Этот текст (опубликован С. В. Шумихиним // Михаил Кузмин и русская культура XX века. Л., 1990. С. 146—155; сокращенный вариант — Встречи с прошлым. М., 1990. Вып. 7) был создан по настоянию К. А. Сомова (см. его письмо от 31 июля 1906 г. // Константин Андреевич Сомов... С. 94), написан 4 августа, однако в дневнике оказался лишь в ноябре 1906 г., что, вероятно, объясняется тем, что Кузмин записал его где-то в конце дневниковой тетради, а потом, по мере ее заполнения, текст оказался в середине ноября.

3. Имеется в виду стихотворение «Из поднесенной некогда корзины...», входящее в цикл «Любовь этого лета», посланное К. А. Сомову в письме от 5 августа 1906 г. (ГРМ. Ф.133. № 231).

4. См. письма 3-5 и коммент. к ним.

5. Имеется в виду письмо К. А. Сомова от 31 июля: «Зачем мрачные мысли, что мы не увидимся, что осень принесет Вам какую-то беду? Я уверен, что мы все, любящие друг друга, проведем следующую зиму так же фантастично, дружно и весело, как и эту весну, которую Вы так хвалите. Почему Вы в это не верите? Ну, а если что изменится, то есть возможность l'Imprévu. В нее я верю, а я, наверно, не счастливее Вас, я очень грустен, в моей жизни много непоправимого и навсегда ушедшего!» (Константин Андреевич Сомов... С. 94; печ. с исправлениями по автографу: РНБ. Ф. 124. № 4084). Кузмин отвечал на это письмо: «Получив Ваши письма, я долго ночью ходил по комнате и будто какие-то легкие крылья у меня вырастали, и с желанием Вас всех видеть смешивалась уверенность в благополучный исход всего, в радостное приятие чего бы то ни было. Я вытащил далеко уже запрятанный план Aimé Leboeuf, а покуда написал краткое вступление (40 стр.) к дневнику «Histoire édifiante de mes commencements» (ГРМ. Ф. 133. № 231).

#### КУЗМИН — НУВЕЛЮ

Милый Вальтер Федорович,  
я завтра или послезавтра выеду<sup>1</sup> и буду в Петербурге в субботу или воскресенье. Я жду не дождусь, когда я вас всех увижу, теперь

уже настроился на отъезд и думаю, что не буду дожидаться семьи сестры, которая думает вернуться в 20-х числах. Скоро ведь и Диотима<sup>2</sup> придет. Я недавно послал Вам письмо в ответ на Ваше, не такое «бешеное», как предыдущие. Поцелуйте наше «fatalité»<sup>3</sup>, как я об нем соскучился! кто бы мог это подумать?! Отчасти я жду еще одного письма, чтобы спокойно ехать. Надеюсь, Вы продолжали дневник. Какое пиршество — Вас всех видеть. Как я люблю вас всех и милого, трижды бесценного Павлика! Что «Весы»: вышли или еще нет<sup>4</sup>? Если не лень, м<ожет> б<ыть>, ответите; мне перешлют. Кланяюсь всем; всего ужаснее, если бы все разом куда-нибудь уехали.

Ваш

*Мих. Кузмин*

*21/8 августа 1906*

Письмо является ответом на не дошедшее до нас письмо Нувеля, полученное Кузминым 8 августа.

1. Планы уехать из Васильурска были отложены. Кузмин отправился в Петербург вместе с семьей сестры 17 августа.

2. *Диотима* — прозвище жены Вяч. Иванова Лидии Дмитриевны Зиновьевой-Аннибал (1866—1907). В это время она была в Швейцарии и вернулась 21 августа.

3. «*Фатальность*» — прозвище П. Маслова; впоследствии в дневнике Кузмина слово стало обозначать процесс близости с ним.

4. Кузмин с нетерпением ожидал выхода 7-го номера «Весов» с публикацией «Александрйских песен».

25

КУЗМИН — НУВЕЛЮ

Мой дорогой Renouveau<sup>1</sup>,

вероятно, Вы, если что-нибудь думаете обо мне, то воображаете меня уже летящим в Петербург к Вам и к бесценному Павлику. Но я еще здесь и выеду хотя на ближайших днях, но неизвестно когда. Сегодня или завтра приезжает не бывший здесь во время меня зять, и сестра говорит, что уезжать накануне его отъезда, тем более сделавши и в Петербурге такую же вещь, — значит иметь вид избегающего его встреч, чего нет на самом деле<sup>2</sup>. Успокоенный письмами крайне задушевными и мильми Павлика, я могу видеть и другие человеческие отношения и поэтому согласился подождать дня три. Как только будет известен определенный день моего отъезда, я извещу. Несмотря на некоторое успокоение, я все же рвуь всем своим существом к Вам ко всем, и каждый лишний час в разлуке все же тяжел мне. От Павлика я получил 2 письма через 2 дня: они меня очень обрадовали, так же, как Ваши с Сомо-

вым меня снова поставили в число живущих<sup>3</sup>. Получили ли вы «Елевсиппа» и в неиспорченном ли виде? Как Вы все поживаете? Если по-старому, — значит, прелестно. Я от души приветствую всех. Теперь до скорого свиданья, милый друг, целую и благодарю Вас.

Ваш

*Михаил Кузмин*

*23/20 августа 1906*

1. *Renouveau* — «гафизическое» прозвище Нувеля.

2. См. в дневнике 9 и 10 августа: «...сестра обижается, что я уеду как раз накануне приезда зятя, не дождавшись, будто я его избегаю и т.д. И это действительно может иметь такой вид. Успокоившись за Павлика, я могу и подождать, и деньги подойдут, быть может»; «С «Кавк <азом> и Мерк <урием>» приехал зять; солдат, обняв за шею обеими руками другого, долго напутствовал его разными поручениями. Писем не было; наши едут 17-го, долго рассказывались разные новости. Неладно с письмами-то, вероятно *Renouveau* Павлика не увидел. Теперь, впрочем, это не первостепенно важно, раз я имею известие от самого него».

3. Имеется в виду письмо Сомова от 10 августа (Константин Андреевич Сомов... С. 95—96), а письма от Маслова пришли 5 и 8 августа.

26

КУЗМИН — НУВЕЛЮ

Бесценный и верный друг,  
я Вам признателен за Ваше старанье, за Ваше участие, но отчего некоторый еле уловимый привкус кислоты есть в Ваших письмах последних двух? Я Вам завидую: окруженный друзьями, имея под рукою при желаньи веселые эскапады, занимаясь музыкой, живя в прелестном Петербурге, Вы могли бы делать по-прежнему из своей жизни — прекраснейший паутинный узор. Впрочем, м<ожет> б<ыть>, Вы это и делаете. Вероятно, Вы уже получили мое письмо с извещением о некотором успокоении. Сомову я писал тогда же и еще раньше со стихами «Каждый вечер я смотрю с обрывов», которое мне было бы жаль считать в числе пропавших<sup>1</sup>. Павлик после долгой лакуны пишет мне более или менее аккуратно, что позволяет мне спокойнее дожидаться все более и более приближающегося отъезда. Embarcation!

Как сладок весны приход  
После долгой зимы,  
После разлуки — свиданье!<sup>2</sup>

Пройдя первую радость успокоения, я несколько закип по врожденной склонности окисляться в одиночестве, так что писать ничего не пишу, но, конечно, это менее опасно, чем то состояние, в котором я был только что. Стремлюсь всем существом ко всем Вам и считаю часы, оставшиеся до свиданья. Что Вы пишете о «Сев<ерном> Гаф<изе>», меня живейше радует и интересует, только замысел печатанья справа налево мне кажется несколько неудобным для чтения<sup>3</sup>.

Я смешной человек: мне кажется скрываемая Вами какая-то перемена отношенья к моей любви к Павлику и к нему (не в смысле эскапад, конечно, а, м<ожет> б<ыть>, он дал повод считать себя более недостойным: не знаю, шантажистом, навязчивым, — что я знаю?). М<ожет> б<ыть>, это — вздор, который я выскреб из своего подозрительного и незанятого теперь воображенья? Вы пишете: «Пишите — я так люблю Вас читать». Но письма мои теперь — разве это чтение какое-нибудь? Я не могу их представить со стороны. По-моему, это — однообразное нытье и тревожная без оснований лирика, на которую я решительно не способен. Целую Вас и всех.

Ваш

*М. Кузмин*

25/12 VIII 1906

Письмо является ответом на не дошедшее до нас письмо, полученное Кузминым 11 августа. См. в дневнике за это число: «Письмо от нежного Павлика, от верного Repouveau. Гафизиты выдаются у Сомова, был и Городецкий. Лететь бы скорей! Нежный Павлик пишет хотя просто и бесхитростно, но еще любовнее прежнего: вероятно, он получил уже мое самое сердитое письмо. Нувель пишет, что живет монахом по довольно серьезной причине. Триппер, что ли, у него?»

1. Имеется в виду письмо К. А. Сомову от 30 июля 1906 г. (ГРМ. Ф. 133. № 231). Стихотворение вошло в цикл «Любовь этого лета».

2. Из стихотворения Кузмина «Что ж делать, что ты уезжаешь...», первоначально входившего в цикл «Александрийские песни», но исключенного из окончательной редакции. Полный текст см.: *Кузмин М.А.* Собрание стихов. München, 1977. Т. III. С. 445. Автограф — РГАЛИ. Ф. 232. Оп. 1. Ед. хр. 10.

3. Имеется в виду замысел альманаха «Северный Гафиз», о котором Кузмину сообщал К. А. Сомов (См. письмо Кузмину от 10 августа // Константин Андреевич Сомов... С. 95). Подробнее об этом замысле см. статью «Петербургские гафизиты».

## НУВЕЛЬ — КУЗМИНУ

*Понедельник <28 августа 1906>  
<Открытка со штемпелем:  
29.8.<19>06>*

Не забудьте, дорогой Антиной, что я жду Вас завтра вечером. Приходите к 9-ти и принесите дневник<sup>1</sup>. Музыка к «Александрийским песням» я просмотрел и отправил в Москву сегодня<sup>2</sup>. Завтра напишу Феофилактову.

*Петроний<sup>3</sup>*

Кузмин вернулся в Петербург 21 августа, однако Нувеля в городе не было. Встреча состоялась лишь 24 августа. См. в дневнике: «Зашёл к Нувелю, чтобы оставить записку, приглашающую его вечером, но застал его самого. Он говорил, что очень рад меня видеть, прочитал часть дневника, где история с болезнью, разочарование и Сомова и Renouveau в Павлике, отзывы о нем (после подозрения заражения), как «хорошенькой штучке», пошлом, грубом и глупом (мнение Сомова) меня очень огорчили. Я почти жалел, что писал летние письма и думал не читать дневника, чтобы мое положение, в лучшем случае, не показалось жалким, если не смешным. К Renouveau почувствовал холодок и неприязнь, тогда как еще утром стремился к нему с открытой душой».

1. Встреча состоялась 29 августа. Кузмин записывал о ней в дневнике: «...я, заехавши в парикмахерскую, отправился к Нувель. Он сидел и играл увертюру к «Предосторожности», — эlegantная, веселая и блестящая, по-видимому. Феофил< актов > хочет изобразить Дягилева, Алешу Маврина, Нувеля, меня в «Александр<ийских> песнях». Пришел Сомов. <...> Из дневника Вальт< ера > Фед< оровича > узнал, что Эль-Руми влюблен в Городецкого, у которого недавно родилась дочь, что [посвятителем] крестным Сомова был, кажется, сам Renouveau; потом долго, откровенно, отчасти зло, болтали; мне казалось, что ко мне переменились, не считают меня «своим», сговариваются быть у Ивановых без меня, читают мне наставления. Это, вероятно, было наказание за то, что днем у Иванов< ых > мое тщеславие было крайне польщено тем, что я, по их словам, malfamé».

2. Имеется в виду неосуществившееся издание «Александрийских песен» с нотами в издательстве «Скорпион», оформлять которое должен был Н.П.Феофилактов. См. записи в дневнике Кузмина 24 и 25 августа: «Феофилактов просит нот, будто дело издания и вправду осуществится»; «Весь день переписывал ноты для Москвы».

3. *Петроний* (так же, как Renouveau и Корсар) — гафизитское прозвище Нувеля. Имя это использовано в заглавии стихотворения Вяч. Иванова, ему посвященного.

## НУВЕЛЬ — КУЗМИНУ

*Четверг <23 ноября 1906>  
<Открытка со штампом  
23.XI.1906>*

Дорогой Михаил Алексеевич,  
Не забудьте, что в субботу я Вас жду, если ничего не будет у Коммиссаржевской<sup>1</sup>. И Судейкину<sup>2</sup>, пожалуйста, напомните. Во всяком случае, предупредите, если не будете, т.к. я могу не получить приглашения к Коммиссаржевской.

Ваш

*В. Нувель*

1. Имеются в виду устраивавшиеся в театре В. Ф. Коммиссаржевской субботы с чтением новых произведений. Последняя состоялась 28 октября, так что 25 ноября вечер у Кузмина был свободен и он провел его у Нувеля. См. описание в дневнике: «У Нувель был Бакст, только что из-за границы, и Сомов, потом, совсем потом явился милый Судейкин. Нувель приятно изводил, рассказывая, как мы являемся и удаляемся вместе, что я имею успех у женщин и т. д. Мы сидели рядом и редко, чинно говорили. Потом Бакст ушел, говорили о театре будущего».

2. *Судейкин* Сергей Юрьевич (1882—1946) — художник, в то время работал для театра Коммиссаржевской. Осенью 1906 г. разворачивался бурный роман Кузмина с ним, описанный в повести «Картонный домик». Подробнее см. в статье «Автобиографическое начало в раннем творчестве Кузмина».

## НУВЕЛЬ—КУЗМИНУ

*16/29 апр<еля><sup>1</sup> <1>907.  
Paris, Hôtel de Hollande,  
Rue de la Paix.*

Мой драгоценный друг.

Моя первая открытка — Вам. Всю дорогу перечитывал Ваше стихотворение, мечтая о Петербурге. Жалко, что, не имея рояля, не могу переложить его на музыку. Людмилы<sup>2</sup> еще не видел. Заходил к Смирнову<sup>3</sup> и встретил Мережковских. Пишите, ради Бога! Вы знаете, что всем сердцем я с Вами и с теми, кто с Вами.

Ваш

*В.Н.*

Получение «картолины от Renouveau» помечено в дневнике Кузмина 19 апреля. В тот же день, что и Кузмину, Нувель писал Сомову: «С нетерпе-

нием жду известий из Петербурга. Виделся с Шурой <Бенуа> <...> До сих пор нигде еще не был, даже Людмила не видел» (РГАЛИ. Ф. 869. Оп. 1. Ед. хр. 59. Л. 37 об).

1. Дата в оригинале — 16/19.

2. *Вилькина* Людмила Николаевна (1873—1920) — поэтесса, переводчица, жена поэта Н. М. Минского. Была дружна с Кузминым, Нувелем и особенно с Сомовым (с которым состояла в интенсивной переписке).

3. *Смирнов* Александр Александрович (1883—1962) — в те годы начинающий литературный критик, впоследствии известный кельтолог и шекспировед. С Мережковскими был знаком по редакции журнала «Новый путь». С Нувелем состоял в интимно-дружественной переписке в 1906 г. (РГАЛИ. Ф. 781. Оп. 1. Ед. хр. 15).

30

КУЗМИН — НУВЕЛЮ

19 апр<еля> 1907

Мой милый друг,  
сегодня получил Ваш адрес, спасибо за открытку. Я верю, что Вы ждете новостей отсюда, но, увы, так мало их могу сообщить. Я не видел Н.<sup>1</sup>, но имел 2 письма, где говорится, что ко мне придут в понедельник (я так назначил по просьбе о дне и часе<sup>2</sup>), не без кокетства, очень дружественные, более нежной терминологии. В понедельник Вам напишу о свиданьи. Другой несчастный юноша бомбардирует меня из Финляндии по 2 раза в день, несмотря на болезнь глаз<sup>3</sup>. Что из этого выйдет — неизвестно. Сам я очень скучаю, ничего не пишу и чувствую себя не перворазрядно. Павлик все в той же мизерии и изводит меня, продолжающего быть в прогаре, невероятно. Он слышал от Юсина<sup>4</sup> об интересной книжке «Крылья»<sup>5</sup>. По-моему, ее надо бы продавать в Таврическом саду, открывающемся 23-го. Гржебин<sup>6</sup> бы это сделал. «Эме Лебеф» не раньше мая<sup>7</sup>. «Белые ночи» лопнули, как и нужно было ожидать от этой Чулковской затеи<sup>8</sup>. Он теперь рассчитывает увлечь «Картонным Домиком» Гогу Попова, чтобы тот дал денег на издание<sup>9</sup>. Оказывается, этот саврас только и мечтает о грамотности<sup>10</sup> и дерзновении. Дерзновение, *ou veut-il donc se nicher?* А на вопрос из «Весов», куда я дал повесть и не пришла ли им, я ответил, что отдал ее Чулкову. Такая досада!<sup>11</sup> «Альманах Ор» выйдет в начале мая. Там теперь и Пяст, и Allegro, и Юраша, и Волошин (Вакс Калошин), и первое действие (!) комедии Аннибал ритмической прозой!<sup>12</sup> Там на башне провожают Сабашникову,<sup>13</sup> у которой такой вид, будто ее кто-нибудь сосал, злы и капризны<sup>13</sup>. Диотима вчера распила с Чулковым бутылку водки вдвоем, после чего могла его целовать, пока Вяч<еслав> Ив<анович> спал в соседн<ей> комнате<sup>14</sup>. В субботу были втроем (увы! уже не вчетвером) на Английской



до 5-го часа<sup>15</sup>. Завтра хотим в таком же составе ужинать у Albert'a<sup>16</sup>. Сомова выдаю редко. Только что был у Бакста вместе с Потемкиным<sup>17</sup>, который сегодня уезжает на праздники. Был у меня Мейерхольд, очень заинтересован «Евдокией»<sup>18</sup>, на будущий год обязательен cabaret и т.п.<sup>19</sup>. Блок уехал<sup>20</sup>. Чулков, кажется, и Серафима Павл<овна><sup>21</sup> пускают сплетню про меня и Н. Я слышал это уже из очень далеких рук. Основываются на том, что мы везде (!) появляемся вместе<sup>22</sup>. Но сплетня о небывшем часто служит пророчеством и причиной факта, оправдывающего бы ее. Я говорю, конечно, авес restriction, только блюда Ваши интересы. Ответьте, чтобы я мог кланяться.

Душевно Ваш верный друг и заместитель

*М. Кузмин*

<Приписка на первом листе письма> Конечно, поклон Людмиле. Студента<sup>23</sup> нигде никто не видит.

1. *Н.* — юнкер Виктор Андреевич Наумов, в которого были одновременно влюблены Кузмин и Нувель, хотя он не отвечал взаимностью ни тому, ни другому. Ему посвящено несколько циклов в первой книге Кузмина «Сети».

2. В понедельник, 23 апреля, Наумов действительно был в гостях у Кузмина, о чем см. запись в дневнике: «Ждал Наумова, который, пришедши с верховой езды в рейтузах и старом мундире, имея проект к сдаче в среду, даже не хотел раздеваться, но потом просидел часа 2. Был мандеж, кокетство etc. Имел роман он в лагерях, м<ожет> б<ыть>, и теперь любит кого-нибудь из товарищей. Он сидел очень близко и раз положил мне руку на плечо. Говорил: «Можно бы недурно провести время, будучи другом Уайльда». Я провожал его далеко и думаю все о нем...»

3. Имеются в виду письма от поэта Бориса Алексеевича Лемана (1880—1945), писавшего под псевдонимом Б. Дикс. См. в дневнике от 18 апреля: «Утром был разбужен 2-мя письмами: от милого Наумова и несчастного Лемана. Первый сообщает, когда придет, второй ликует, получивши мое письмо». Получение писем от него отмечено 6, 15, 18, 19 апреля, а также в последующие дни.

4. *Юсин* — гомосексуалист-проститутка, приятель П. Маслова, с которым Кузмин познакомился в Таврическом саду.

5. 2 апреля Кузмин получил первый экземпляр отдельного издания повести «Крылья» (М.: Скорпион, 1907) и собирал разные сведения о том, как повесть принимается читателями. См. запись в дневнике от 16 апреля: «Адамов выписал мои «Крылья», про которые Юсин, видевший их, говорил Павлик <у>, как про интересную книгу. Удивился, что это — я. Приходит ли это третья известность?»

6. *Гржебин* Зиновий Исаевич (1869—1929) — художник и издатель, со-владелец издательства «Шиповник». В то время увлекался произведениями Кузмина и часто общался с ним.

7. Речь идет о повести Кузмина «Приключения Эме Лебефа» (СПб., 1907). Первоначально предполагалось выпустить ее в «Шиповнике», но затем Гржебин решил издать ее на собственные деньги. Кузмин получил первые экземпляры повести 22 мая.

8. «*Белые ночи*» — «петербургский альманах», идея которого принадлежала Г. И. Чулкову. К участию в альманахе было привлечено много петербургских литераторов, в том числе и Кузмин, отдавший повесть «Картонный домик», а несколько позже — и цикл стихов «Прерванная повесть». В середине апреля, однако, выяснилось, что издателей ждут материальные трудности, что отразилось в письме Кузмина и в дневниковой записи от 18 апреля: «"Белые ночи" лопнули, как и нужно было предполагать». Однако в конце концов альманах (хотя не без скандала) был все же издан. Подробнее см.: Литературное наследство. М., 1982. Т. 92, кн. 3. С. 280 и далее.

9. *М. Попов* (по прозвищу «Гога»), как вспоминал Г. И. Чулков, «кажется, владелец книжного магазина на углу Невского» (Литературное наследство. Т. 92, кн. 3. С. 280). См. в дневниковой записи Кузмина от 18 апреля: «...теперь Чулков надеется на Гогу Попова, думая соблазнить его моим произведением. Оказывается, Попов желает быть «дерзающим». Дерзание, *ou veut-il se nicher, donc?*». Ср., однако, запись от 6 мая: «У нас был Чулков; Гога лопнул, издает «Вольная типография», без гонорару, конечно».

10. Под «грамотностью» Кузмин понимал гомосексуальную ориентацию человека.

11. О предложении отдать «Картонный домик» в «Весы» см. запись в дневнике от 14 апреля: «Письмо от Ликиардопуло; статья принята, просят «Картонный домик», разные новости. Мне повеселело несколько».

12. Альманах «Цветник Ор. Кошница первая» был выпущен в домашнем издательстве Вяч. Иванова «Оры» и вышел в свет в середине мая (Кузмин получил экземпляры 17 мая). Среди участников альманаха действительно были поэты Владимир Алексеевич *Пяст* (Пестовский, 1886—1940) и *Allegro* (Поликсена Сергеевна Соловьева, 1867—1924). *Юраша* — Ю.Н.Верховский. *Вакс Калошин* — популярное в Петербурге прозвище М. А. Волошина. Было там напечатано и первое действие комедии Л. Д. Зиновьевой-Аннибал «Певучий осел» (впрочем, написанной, в подражание Шекспиру, не ритмической прозой, а частью белым пятистопным ямбом, частью — простой прозой). Кузмин внимательно следил за эволюцией замысла альманаха, далеко не всегда его устраивавшей. Так, 8 апреля он записывал: «В «Орах» будет и Брюсов, и Сологуб, и Юраш, и Аннибал (!)». Впрочем, прослушав комедию Зиновьевой-Аннибал, он несколько изменил свое скептическое мнение: «Диотима читала «Осла» — лучше, чем ее прежние, проще, более по-шекспировски, но страшно длинно, сумбурно и чем-то непристойно» (25 апреля 1907 г.).

13. *Сабашикова (Волошина)* Маргарита Васильевна (1882—1973) — художница, поэтесса, мемуаристка, первая жена М. А. Волошина. О сложных отношениях, связывавших ее с Ивановым, см. примечания О. А. Де-

шарт к циклу «Золотые завесы» (*Иванов Вяч.* Собрание сочинений. Брюссель, 1974. Т. II. С. 764-767) и дневник Волошина «История моей души» (*Волошин Максимилиан.* Автобиографическая проза. Дневники. М., 1991; существенная в этом отношении купюра восстанавливается по первой публикации: Искусство Ленинграда. 1989. № 3. С. 98 / Публ. В. П. Купченко). См. в дневнике Кузмина 18 апреля: «У Ивановых Маргарита отмывалась после прощальных лобзаний; побыл минут 15».

14. См. в дневниковой записи от 18 апреля: «Мне было лестно, что Чулков считает меня черносотен <цем> из-за хорошего тона и думает, что я бы сумел взойти на гильотину. Вчера он вдвоем с Диотимой распили бутылку водки, после чего целовали друг друга. Не очень поздравляю Георгия Ивановича».

15. Очевидно, имеется в виду квартира Минских на Английской набережной, 62. В 1907 году Нувель, Сомов и Кузмин часто встречались с Л. Н. Вилькиной, З. А. и И. А. Венгеровыми, называя эти встречи «оргиями». См. запись от 14 апреля: «Напившись чаю, поехал к Венгеровым, мы все трое съехались, будто в плохом водевиле. Было не плохо. Сомов пел стариков и из «Meistersinger». Книги у Венгеровой меня как-то пьянят, все новинки и <старики?>, культура прошлого, разговоры о <коммерции?>, роскоши меня утешают. Просидели до утра».

16. О встрече 20 апреля см. в дневниковой записи: «Вечером отправился к Зинаиде, встретил Бакста на лестнице. Сомов прислал отказ, Изабелла опоздала, пошли пешком к Albert'у; в кабинете было довольно уютно, ели закуски, ruzatto, рокфор, пили отличное Chablis Mouton и Curasao. Проводя Зинаиду, вернулся домой в духе».

17. *Потемкин* Петр Петрович (1886—1926) — поэт, историю отношений которого с Нувелем рассказал А. М. Ремизов (см.: *Ремизов А. М.* Встречи: Петербургский буерак. Париж, 1981. С. 70—74).

18. «Комедия о Евдокии из Гелиополя, или Обращенная куртизанка» — пьеса Кузмина, впервые опубликованная в альманахе «Цветник Ор». В апреле Кузмин очень активно читал ее знакомым, 5 апреля он записал в дневнике: «...после обеда хотел пройти к Ивановым и потом к «современникам», как вдруг письмо от Иванова: «Присылайте немедленно «Евдокию» для набора». Пошли с Сережей; там был Чулков, читали стихи Блока, Сологуба. Георгий Ив<анович> говорит, что Блоку теперь очень нравится «Евдокия». В. Э. Мейерхольд предполагал поставить комедию в театре В.Ф. Комиссаржевской, однако «главная актриса» решительно отказалась. Подробнее см.: *Мейерхольд В. Э.* Переписка 1896—1939. М., 1976. С.103. Упоминаемое в дневниковой записи письмо Иванова полностью звучит так: «Дорогой, дорогой Михаил Алексеевич. Пожалуйста, перешлите мне немедленно рукопись «Евдокии» для набора. Горячий привет. Ваш Вяч. Иванов» (РНБ. Ф. 124. № 1792)

19. См. запись в дневнике от 16 апреля: «Я оделся идти к Жеребцовой, как вдруг приехал Мейерхольд от Иванова, только что вернувшийся из Бер-

лина. Говорил о планах на будущее, обязателен cabaret etc., звал к себе гостить, расспрашивал об «Евдокии» <...> Мейерхольд говорит, будто Брюсов приписывает подписку большую на «Весы» в некоторой мере «Крыльям». Tant mieux». Об осуществлении кабаре в конце 1908 г. вспоминал А. Н. Бенуа (см.: *Бенуа А.Н. Мои воспоминания*. М., 1990. Кн. четвертая, пятая. С. 475—477).

20. Вероятно, речь идет о переезде Блока на квартиру матери в Гренадерских казармах, поскольку его письма ближайших дней помечены Петербургом.

21. *С.П. Ремизова-Довгелло (1876—1943)* — жена А. М. Ремизова.

22. Эта сплетня весьма занимала Кузмина долгое время. 8 апреля он записывает: «Поехал на «Религиозно-фил<ософское> собрание». Там была куча знакомых. Все время сидел с Наумовым, и Гофман издал бросал взгляды. Серафима Павл<овна> спрашивала: «Это и есть?..» Я продолжал игру...» 18 апреля появляется предположение о роли Чулкова: «Зашли к Филиппову, Чулков вдруг говорит: «За Вами стоит тот юнкер, с которым вы были на рел<игиозно>-ф<илософском> собр<ании>». Это был не Наумов, но теперь я знаю, откуда сплетня». 23 апреля это предположение получило окончательное подтверждение: «На Невском встретили Чулкова, с которым и отправились в «Вену». Там были «современники» и Верховские, Гржебин и т. п., приятно пили Шаблы, банановый ликер, кофей. Чулков признался, что сплетню про Наумова пустил он, и спрашивал: «Что он — прекрасный, этот юнкер?»».

23. Речь идет о студенте, которого Кузмин регулярно видел на улицах Петербурга и который ему очень нравился. Даже после долгожданного свидания с Наумовым он записывал в дневнике: «... думаю все о нем, хотя студент мне представляется более желанным».

*8 mai <19>07*  
*Бланк Hôtel de Hollande*

Милый друг!

Как я Вам благодарен за Ваше письмо! С каким нетерпением буду ждать отчета о понедельник! Признаюсь, ужасно Вам завидую и даже немножко ревную.

Дела по концертам отымают у меня массу времени. Видел Людмилу только один раз. Были вместе в *bag Maurice*. Минский<sup>1</sup>, кажется, поражен свободой нашего обращения с нею и начинает побаиваться за целостность и сохранность ее *demi-virginité*. В субботу обедаю с ними. Смирнов, пытавшийся устроить оргию наподобие петербургских<sup>2</sup>, наткнулся на упорное противодействие со стороны Минского. Не знаю, с чьей стороны он видит опасность. Не с нашей же?

У Мережковских был тоже всего один раз<sup>3</sup>. Вел очень тонкую политику, приведшую к тому, что они должны были признаться, что я со своей точки зрения «вполне последователен и прав». Отношения хорошие. В субботу буду у них на «товарищеском»<sup>4</sup> five o'clock'e.

Романических приключений никаких. Наоборот, если можно так выразиться, т.е. изобразил два раза klein Walter. Была, правда, одна встреча, сулившая приятные последствия, но — ничего не вышло. Удивительно, что здешние красоты на меня совсем не действуют и чувствами я весь в Петербурге. Уж не влюблен ли я на самом деле?

Пишите мне, дорогой друг, как можно чаще. Не забывайте. Ви-дел «Саломею» и «Ariane»<sup>5</sup> на генеральной репетиции. Интересно. При встрече расскажу подробнее. В четверг иду слушать «Пеллеаса»<sup>6</sup>. Сегодня — второй раз «Саломею».

Мережковские ругательски ругают всех наших поэтов и писателей — Сологуба, Иванова, Блока, Городецкого, Ремизова, Вас, словом, решительно всех, за исключением одного — как бы Вы думали? — Сергеева-Ценского!<sup>7</sup>

Кланяйтесь, кланяйтесь без конца милому Н. Если можно, поцелуйте, — несколько раз!!

Всем друзьям сердечный привет. Скучаю без вас. Скоро ли снова будем бросаться апельсиновыми корками<sup>8</sup>?

Любящий Вас

В. Нувель

Получение этого письма отмечено в дневнике 28 апреля: «Нувель пишет новости о Людмиле, что Мережковские ругательски ругают Сологуба, Иванова, Блока, Ремизова, Городецкого, меня, щадя только Сергеева-Ценского. Все думает об Н <аумове>. Не коварно ли я с ним поступаю? Но я поступаю по вдохновению чувства, которое редко обманывает».

1. Николай Максимович *Минский* (Виленкин, 1855—1937) — поэт, муж Л. Н. Вилькиной.

2. См. письмо 30, примеч. 15-16.

3. Об отношениях Нувеля с Мережковскими во время парижского визита см.: *Собалев А.Л.* Мережковские в Париже (1906—1908) // Лица: Биографический альманах. М.; СПб., 1992. Вып. 1. С. 358-359 (цитируется, среди прочего, и данное письмо).

4. Т.е. имеющем «левый» и даже социал-демократический характер.

5. «Саломея» — опера Р. Штрауса (1905). «Ariane» — опера П. Дюка на сюжет М. Метерлинка «Ariane et Barbe-Bleue» (преьера состоялась в парижской Opera Comique 10 мая 1907 г.). Появление этой оперы было отмечено в хронике «Золотого руна» (1907. № 6. С. 66) как свидетельство влияния русской музыки на французскую оперу.

6. «Пеллеас и Мелизанда» — опера К. Дебюсси (1902).

7. Об отношении Мережковских к С. Н. Сергееву-Ценскому см.: Пахмус Т. Сергеев-Ценский в критике З. Гиппиус // Грани. 1967. № 63.

8. О бросании апельсинными корками см. в дневнике Кузмина 31 марта: «Леман пришел, когда мы были втроем в темной комнате. Пришел Бакст, Нувель, Потемкин, опять читали «Евдокию», Нувель просил посвятить ее ему; потом возились, бросались апельсинами, пели, галдели...»

32

КУЗМИН — НУВЕЛЮ

27/14 мая <1>907

Милый друг,

я очень виноват таким невозможно долгим молчанием, но никаких тут ужасных и грозящих бедствием причин нет. Самая неприятная новость — это та, что, вероятно, я уеду в Окуловку вместе с нашими, т.е. числа 21—24 мая<sup>1</sup>, так что может случиться, что мы не увидимся до середины июля, когда я вернусь. Я бы, конечно, предпочел пробыть июнь и уехать на июль и август, но force majeure — мои финансы меня принуждают поступать не совсем сообразно своим желаниям. Наумова с Пасхи я видел раз пять, и один раз он не застал меня<sup>2</sup>. Он завтра уходит в лагерь и был вчера прощаться. Экзамены он выдержал, каждый раз спрашивает о Вас и кланяется Вам, так же мил и дружелюбен, но я думаю, что ко мне он в известном отношении равнодушен, так же, как я не особенно enflammé, так что опасности для Вас, si Vous y tenez encore, нет. Но отношения и хождения очень упрочились и участились, чего, собственно, Вам и нужно было. Я очень скучаю по Вас, занятый все какими-то не своими полуроманами<sup>3</sup>. Но часто бывает очень весело и смешно, что Вы узнаете вскоре из дневника. Часто довольно выдаюсь с друзьями; в Таврическом ничего интересного, все те же теткы и тапеткы<sup>4</sup>. Чудесные белые ночи, но ах! с кем их проводить!? На днях выйдет «Цветник Ор» с «Евдокией» и «Белые ночи» с «Картонным» домиком». «Эме» весь напечатан и в цензуре, но в последний момент Сомов сделал полный погром с обложкой, клише и т.п., так что неизвестно, когда он выйдет<sup>5</sup>. Кланяйтесь Людмиле, пусть она не злится, поклонитесь Сергею Павловичу<sup>6</sup>, к которому я чувствую «почтительное обожание». До свидания. Вас приветствует Наумов.

Ваш верный

М. Кузмин

Пишу «Комедию о Алексее»<sup>7</sup>.

Ответ на не дошедшее до нас письмо Нувеля, полученное Кузминым 12 мая.

1. Кузмин уехал в Окуловку Новгородской губ., где его зять работал на бумажной фабрике, 26 мая.

2. Согласно дневнику, с Пасхи (которая приходилась на 22 апреля) Кузмин виделся с Наумовым 23 апреля, 3, 13 и 14 мая, а 9 мая Наумов, не оставив Кузмина, оставил ему записку.

3. Вероятно, имеются в виду отношения с Г.М. фон Штейнбергом, о которых подробнее см. в статье «Литературная репутация и эпоха».

4. На жаргоне гомосексуалистов — обозначение активного и пассивного педераста.

5. О выходе этих книг см. письмо 30, примеч. 7 и 12. 1 мая Гржебин писал Сомову: «На этой же неделе Вам пришлют из типографии для утверждения обложку Кузмина, а в субботу обе книжки будут готовы. Мы с Кузминым получили из типографии письменное обязательство в этом» (РГАЛИ. Ф. 869. Оп. 1. Ед. хр. 26. Л. 1). О недовольстве Сомова, делавшего обложку и виньетки к «Приключениям Эме Лебефа», см. в дневнике 10 мая: «В типографии Сомов произвел полный погром». В день написания комментируемого письма Сомов обращался к З. И. Гржебину: «А что обложки для «Эме Лебефа»? Попросите типографию. Тоже нужно кончить до лета!» (РГАЛИ. Ф. 869. Оп. 1. Ед. хр. 2).

6. Сергей Павлович *Дягилев* (1872—1929) — крупнейший деятель русского искусства начала XX века, близкий друг Нувеля.

7. «Комедия о Алексее человеке Божьем» была начата 3 мая 1907 г., опубликована впервые: Перевал, 1907, № 11.

33

НУВЕЛЬ — КУЗМИНУ

30/17 мая <19>07.  
<Открытка>

Спасибо, мой дорогой друг, за милое письмо, очень обрадовавшее меня. С грустью узнал, что к моему приезду Вас не будет в Петербурге. Неужели нельзя Вас чем-нибудь задержать? Приеду я в среду 23-го утром и очень прошу Вас, если только возможно, не уезжать до этого дня. В среду же я непременно зайду к Вам между 5-ю и 6-ю часами и твердо рассчитываю Вас застать. В противном случае оставьте швейцару или наверху записку с адресом и необходимыми разъяснениями. Стремлюсь в Питер, Париж надоел.

Ваш

*В. Нувель*

253

Письмо было получено Кузминым 20 мая. Нувель действительно прибыл 23 мая, о чем Кузмин записал в дневнике довольно подробно: «Приехал Сомов и потом Нувель из Парижа, бодрый и оживленный. В «Figaro» и «Correspondent» упомянуто обо мне, как о музыканте нов<ой> фракции, за что «Новое время» собир<ается> ругаться, вероятно думая, что Дягилев подкупил газеты (ему-то что?); расспрашивал о Наумове, был, кажется, не очень доволен. <...> я все-таки поехал к Нувелю. Были в «Вене», где он рассказывал о Париже».

34

КУЗМИН — НУВЕЛЮ

<31 мая 1907>

Бесценный Repouveau,  
как грустно мне, покинувшему Вас, дорогих друзей, лишенному возможности видеть милого нам Н. От последнего я получил 2 письма; между прочим, он выражает желание меня видеть и просит в случае приезда в Петербург на несколько дней известить его заранее, чтобы он мог свои отпускные дни не занимать загородом и пробыть со мною в городе<sup>1</sup>. Но, вероятно, этого не будет. Летом так запустишься, задичаешь, что в несколько дней не справишься. Послали Вы ему письмо, получили ли ответ? видели ли? Вообще, что делаете, кого выдаете, бываете ли в Тавриде? что — Сарга?<sup>2</sup> Здесь народу много, есть два молодых немца, но неинтересных, исключая, конечно, простого народа, где всегда есть что-нибудь, но сплошная необразованность<sup>3</sup>.

Живу как полагается, пью молоко, катаемся, читаю, скучаю, играю в крокет, пишу письма. Пишу «Алексея» и цикл стихов «На фабрике», написал 2<sup>4</sup>. Но hoppy soit qui mal у pense. От Брюсова получил Высочайшее одобрение за «Эме»: «Благодарю особенно за самый роман, читаю с истинным наслаждением. Это именно то, что я больше всего люблю в прозе. Не забывайте “Весы”»<sup>5</sup>. Вот. Пишите, дорогой друг, все, все. Вы знаете сами, как это важно мне. Кланяйтесь и целуйте всех. Адрес: Окуловка Ник<олаевской> ж<елезной> дор<оги>, контора Пасбург.

Ваш

*М. Кузмин*

Особенно о Н. Поклон Павлику, адреса, впрочем, можете и не давать, как хотите. Сомова целую.

Датируется на основании списка писем Кузмина и к нему (ИРЛИ. Ф. 172. Ед. хр. 321).

1. См. в дневнике Кузмина 31 мая: «Письмо от милого Наумова, просит, если я приеду летом в Петербург, известить его заранее, чтобы он мог эти дни пробыть со мной, не уезжая за город».



2. Обладатель этого прозвища нам неизвестен; судя по дневниковым записям, это кто-то из гомосексуальных проституток из Таврического сада.

3. См. в дневнике от 31 мая: «С утра толклись Бене, затеяв пикник после обеда на озере. Пришел и старший Вилли. <...> На пикнике было 23 человека, присутствие 2-х молодых немцев все же делало прогулку приятной; все время почти идти по жилью; под деревьями на берегу пили чай и бегали в горелки; был вид *plaisirs champêtres*».

4. Стихотворения из цикла «На фабрике» были впервые опубликованы: Перевал. 1907. № 10.

5. См. в дневнике от 30 мая: «...от Брюсова письмо с похвалой «Эме», оно меня очень ободрило». Текст этого письма нам не известен. В тот же день, 30 мая, Кузмин написал Брюсову ответное письмо: «Вы не можете представить, сколько радости принесли мне Ваши добрые слова теперь, когда я подвергаюсь нападкам со всех сторон, даже от людей, которых искренно хотел бы любить. По рассказам друзей, вернувшихся из Парижа, Мережковские даже причислили меня к мистическим анархистам, причем в утешение оставили мне общество таких же: Городецкого, Потемкина и Ауслендера <...> Я Вам так благодарен за Ваше письмо, за эти несколько строк <...> Я далек от мысли забывать «Весь», считаемые мною своею родиною, быть достойным которой составляет все мое честолюбие» (РГБ. Ф. 386. Карт. 91. Ед. хр. 12. Л. 7—8).

### 35

#### НУВЕЛЬ — КУЗМИНУ

*Павловск, 3/VI<19>07*

Мой милый друг.

И я тоже скучаю — в настоящую минуту в Павловске, где бываю довольно часто, но провожу время крайне однообразно, по большей части лежа в гамаке и глядя в безоблачное небо. За исключением большого количества белых кителей, вызывающих скорее зависть, нежели более интересные чувства, — здесь мало хорошего.

В Петербурге лучше, но и там скучаешь в разлуке с милыми друзьями. У Сомова еще не был. Собираюсь к нему в среду вместе с Аргутоном и Боткиным<sup>1</sup>.

Книжку Вашу я послал Н. и написал ему просьбу зайти ко мне, прося предупредить заранее о дне и часе. В ответ получил очень милое письмо, в котором, к сожалению, не говорит определенно, когда он зайдет ко мне, а ограничивается общим обещанием «постараюсь» и т.д., которое, увы! звучит как простая любезность, ни к чему не обязывающая<sup>2</sup>. Долго колебался, продолжать ли переписку, и в конце концов решил не отвечать. К чему настаивать?

Был у Ивановых. Лидия Дмитриевна была больна. Вячеслав Иванович бодр и весел. Прочел мне стихотворения, посвященные

• Вам и мне. Ваше «Анахронизм», мое — «Петроний» с намеком на «тепидарий»<sup>3</sup>. Лидия Дм<итриевна> не утерпела и, несмотря на усталость, прочла вторую часть «Певучего осла», где осмеивается более или менее удачно целый ряд общих знакомых<sup>4</sup>.

Бывал в Тавриде, где тоже мало интересного. Сарга продолжает прогуливаться, но уже не *decolletée*, а *en robe montante*, что для нее не особенно выгодно. Там же встретил Павлика, гулявшего с каким-то господином ростом в полтора аршина и с наглыми глазами. По торжественному заявлению Павлика, это «любовник графа Коновницына».

Встреча с Павликом обошлась мне, к сожалению, в 3 рубля. Возвращаясь в 3 часа ночи от Ивановых, встретил у «Вены» Потемкина и страшно ему обрадовался. В среду он придет ко мне.

Пишите, милый друг, и посоветуйте, отвечать ли Наумову, указать, например, часы, когда меня можно застать? Я, право, не знаю.

В его письме многое меня обрадовало, но боюсь, что все это только официальная любезность и больше ничего. Кстати, почерк его удивительно похож на почерк Птички<sup>5</sup>. Это меня утешает. Не забывайте!

Ваш

*В. Нувель*

<Приписка на первом листе письма> *Пришлите, пожалуйста, «Три пьесы»!*<sup>6</sup>

«Перун» мне мало нравится. Зато очень хороши его стихи в «Цветнике». Не знаете ли, где теперь сам Китоврас?<sup>7</sup>

Поклон Сереже Ауслендеру. Слышал очень лестные отзывы о его последних рассказах, которых я, к сожалению, не знаю.

Письмо Кузмин получил (отметив это в дневнике) 5 мая.

1. *Аргутон* — кн. Владимир Николаевич Аргутинский-Долгоруков (1874—1941), коллекционер живописи, друг многих художников-мирискусников. *Боткин* Сергей Сергеевич (1859—1910) — профессор Военно-медицинской академии, коллекционер живописи.

2. Имеются в виду «Три пьесы». См. в упоминаемом письме Наумова к Нувелю от 28 мая 1907 г. из Усть-Ижор: «Многоуважаемый Вальтер Федорович. Спешу поблагодарить Вас за ту любезность, которую Вы оказали мне, прислав «Три пьесы» Михаила Алексеевича. Был бы крайне рад Вас видеть, а потому весьма благодарен за Ваше милое приглашение. К сожалению, я совершенно не ориентирован в своих свободных днях, — возможны занятия в праздники и свободные будни — что не дает мне, к сожалению, возможности знать, когда я мог бы зайти к Вам. Во всяком случае, еще раз благодарю Вас и постараюсь воспользоваться Вашим приглашением. Надеюсь, что Михаил Алексеевич порадует нас своим скорым приездом. Искренно преданный В. Наумов» (РГАЛИ. Ф. 781. Оп. 1. Ед. хр. 10).

3. Обращение к Нувелю называется «*Petronius redivivus*» (обыгрывая два гафизических прозвища Нувеля — Петроний и *Renouveau*). Оно заканчива-

ется: «...сладоострастный тепидарий — Не похоронный саркофаг». Появление малоизвестного слова «тепидарий», видимо, связано с оценкой дневника Кузмина Ивановым: «Это душный тепидарий; в его тесном сумраке плещутся влажные, стройные тела, и розовое масло капает на желтоватый мрамор» (*Иванов Вячеслав. Собр. соч. Т. II. С. 749*).

4. См. письмо 30, примеч. 12. Во втором действии «Певучего осла» в карикатурном виде изображены Г. И. Чулков, В. Я. Брюсов, А. А. Блок и, вероятно, Ф. Сологуб.

5. Судя по дневнику Кузмина, это — прозвище Фогеля, любовника Нувеля.

6. Только что вышедшая книга Кузмина. Подаренный Нувелю экземпляр хранится в университете штата Индиана. Инскрипт воспроизведен: *Кузмин М. Театр. Berkeley, 1994. Т. 1. С. 217*.

7. «Перун» — вторая книга стихов Городецкого. 27 июня Кузмин записал о ней: «Прислали «Перуна», ровнее «Яри», но тусклее и менее свежо». «Цветник» — альманах «Цветник Ор». *Китоврасом* назвал Городецкого Вяч. Иванов в стихотворении, так и названном (вошло в цикл «Эрос»).

#### КУЗМИН — НУВЕЛЮ

Дорогой Renouveau,

благодарю Вас за письмо. Относительно Н. я знаю от него самого, что вы «мило» его приглашали, но он не знает, удастся ли ему. Эту неделю он в Кабаловке; я думаю, настаивать Вам не следует, хотя я думаю, что данный персонаж очень благосклонно к Вам расположен; писем я получил от него 3 за это время. Ваше письмо, напомнив мне Петербург, друзей, Сарг'у, несколько встревожило меня, т.к. тут я лишен всего этого. Павлик писал, что видел моего студента на стрелке<sup>1</sup>. Н. просит опять предупредить его, когда я приеду, чтобы пробыть этот день со мною (вот был бы пир, с Вами [Вы бы, конечно, нашли возможность освободиться] и с ним, целый une folle jougnée!<sup>2</sup>). Но вряд ли это осуществимо. Кончил «Алексея», собираюсь писать рассказ «Кушетка тети Сони»<sup>3</sup> и пишу стихи. Посмотрите, пожалуйста, в газетах за четверг 7-го и субботу 9-го объявления о «Эме Лебефе»<sup>4</sup>. Кланяйтесь всем милым друзьям и знакомым. Книжечку пошлю на днях<sup>5</sup>. Целую Вас.

Ваш

*М. Кузмин*

7 июня 1907

<Приписка на первом листе письма> Сережа<sup>6</sup> Вам кланяется.

1. См. в дневнике 2 июня: «Павлик пишет, что видел того студента на «стрелке», прозвизв меня этим словом».

2. «Безумный день» — отсылка к названию комедии Бомарше.

3. Рассказ «Кушетка тети Сони» впервые опубликован: Весы, 1907. № 10. Запись о работе над ним в дневнике Кузмина сделана как раз 7 июня. Подробнее см. в статье «Вхождение в литературный мир».

4. Таких объявлений в газетах нам обнаружить не удалось.

5. См. предыдущее письмо.

6. *Серезжа* — С. А. Ауслендер.

37

НУВЕЛЬ — КУЗМИНУ

Мой милый «анахронизм»!

Спасибо за письмо. От Н. ни духа, ни слуха. Конечно, настаивать я не буду. Оно и невыгодно. Как жаль, что Вы не можете приехать! Как хорошо было бы провести вместе *une folle journée!* А так приходится скучать, и даже очень. На днях был у Сомова на даче. Он весел, в духе. На вид все молодеет. Он занят порнографическими рисунками для немецкого издания<sup>1</sup>. Приехал Бенуа. Я его еще не видел. Иду к нему сегодня. В Павловске ужасно неинтересно. Только один «сафирчик» лет 16-ти почему-то волнует мое воображение. Но я не чувствую себя созданным для *détournement de mineures*. В Тавриде тоже пустота. Неизбежный Павлик, встреч с которым я отнюдь не ишу с тех пор, как он заявил, что он поступает в департамент полиции, — много старых теток, словом, *beaucoup de bougreaux et point de victimes*.

Псылаю Вам просвещенную заметку «Руси» об «Эме Лебеф»<sup>2</sup>. Очень жаль, что книжка плохо прокорректирована, много опечаток.

Потемкин надул, не пришел ко мне. К Ивановым собираюсь на будущей неделе.

Пишите, дорогой друг, не пришлете ли новых стихотворений? Пишите об Н. Держите меня *au courant*.

Ваш

*В. Нувель*

9/VI <19>07

Псылаю Вам еще статейку из «Товарища», имеющую отношение и к Вам<sup>3</sup>.

1. Вероятно, имеется в виду работа Сомова над немецким вариантом «Книги маркизы». 20 августа 1907 г. художник писал А. П. Остроумовой-

Лебедевой: «Мне жаль, что я не решусь показать Вам многое из оконченных рисунков, они сделаны для издания, которое не будет продаваться открыто и будет печататься в небольшом количестве экземпляров. Как моему верному и тонкому судье, я их должен был бы Вам показать, но показывать их Вам, «даме», было бы непростительно» (Константин Андреевич Сомов... С. 101).

2. См. хроникальную заметку: «Автора нашумевшей повести «Крылья» в среде его близких приятелей в шутку называют «*maître*» <...>. В только что вышедшей маленькой, чрезвычайно изящно изданной книге его «Приключения Эмиля Эбефа» галантно обрисованы веселые нравы средневековья» (Русь. 1907. 6/19 июня). К тому времени Кузмин уже прочитал эту заметку, что отметил в дневнике: «В «Руси» пишут, что мои друзья декаденты-эстеты зовут меня *maître*».

3. Имеется в виду заметка: *Бой-Кот*. С другой стороны // Товарищ. 1907. 9 (22) июня. В ней писалось: «Кто теперь не демоничен, не модерничен, не оргиастичен? Ученые педанты зрелых лет уже «три года и день один» рассуждают о преимуществах однополой любви над двуполой <...> дебелие матроны, прямое назначение которых — печь пироги, перекроившие капот на греческий хитон и мечтающие о Лесбосе... и вся эта компания бредит афинским духом, насаждает культ эллинской красоты».

38

НУВЕЛЬ — КУЗМИНУ

14/VI <19>07

Дорогой друг!

Посылаю Вам еще одну вырезку из «Руси» об «Эме Лебеф» и других Ваших произведениях<sup>1</sup>. С величайшим наслаждением читаю «Весы» и сердечно радуюсь все яснее образующейся ненависти «стариков» к молодым. Белый, взывающий к старым богам, прямо великолепен<sup>2</sup>. Как это они (молодые) посмели идти по иному пути, чем предназначенный им «учителями»!! Наивность этого гнева — уморительна. Антон Крайний гораздо осторожнее, и первая часть ее критики о «Жизни человека» даже очень недурна, но дальше она уж не выдерживает и тоже обрушивается на «модернистов»<sup>3</sup>. При этом все сваливается в одну кучу, все — «мистические анархисты». А бедный Чулков! И поделом!<sup>4</sup>.

Пишите, дорогой. Без Вас скучно, так хотя бы письмами порадуйте.

Ваш

В. Нувель

Ваша заметка о театре К<оммиссаржевской> мне понравилась. Умно и... осторожно<sup>5</sup>.

Письмо Кузмин получил 15 июня.

1. Очевидно, имеется в виду заметка в хронике: «М. Кузьмин <так!>, автор столь нашумевших «Крыльев» и недавно вышедшей, изящно изданной новеллы «Приключения Эме Лебефа», теперь пробует свои силы и в другой форме. Напечатав в «Кошнице Ор» мистерию «Комедия о Евдокии из Гелиополя», молодой писатель теперь заканчивает “Комедию об Алексее, человеке Божиим” (Русь. 1907. 13 (26) июня).

2. См.: *Бугаев Борис*. На перевале. VII. Штемпелеванная калаша // *Весы*. 1907. № 5. С. 49—52.

3. См.: *Крайний Антон [З.Н. Гунциус]*. О Шиповнике. I. Человек и болото; II. На острове // Там же. С. 53—61.

4. «Мистические анархисты» — течение внутри петербургской фракции символизма, одним из главных деятелей которого был Г. И. Чулков. Нувель имеет в виду заметку: *Товарищ Герман [З.Н. Гунциус]*. Трихина // Там же. С. 68—70.

5. См.: *Кузмин М.* О театре Комиссаржевской: Сезон 1906—1907 г. // Там же. С. 97—99. Эта заметка была специально заказана Кузмину Брюсовым, и 4 апреля 1907 г. Кузмин писал ему: «...буду очень счастлив, если Вы не найдете эту заметку окончательно плохой и ничтожной: я совсем не умею писать таких вещей, у меня совершенно нет интересности мыслей и способа их излагать, и все мне кажется известным, ненужным, неинтересным» (РГБ. Ф. 386. Карт. 91. Ед. хр. 12. Л. 5).

#### КУЗМИН — НУВЕЛЮ

Милый Renouveau,

благодарю Вас за память; *entrefilet* в «Руси» я читал, получая ее здесь; вообще «Русь» занялась декадентами — тем лучше<sup>1</sup>. В «Руне» 5-ом № будут помещены мои «Предки» и «“Люблю”, — сказал я, не любя»<sup>2</sup>, просят очень прислать еще, между тем как «Скорпионы», ожидая ругательной статьи против них, предлагают и мне участвовать в их демонстративном выходе из «Руна». Думаю отмолчаться<sup>3</sup>. Кончил «Алексея» и написал рассказ «Кушетка тети Сони» (стр. 8-12 печатных), который направил в «Весы»<sup>4</sup>. Дело в том, что, кончивши «Мартиньяна» (очень короткого, всего 2 картины)<sup>5</sup>, я буду лишен возможности осуществлять далее мои планы, требующие подготовки, хоть приниматься за «Красавца Сержа» по дневнику Валентина<sup>6</sup> — так впопору. Но это вещь большая и имеющая шокировать всякую цензуру (мир — натурщиков, шантажистов, тапеток, хулиганов). Сегодня вместе с Вашей запиской получил письмо от Н., он долго был не в Ижоре, на праздники поедет в Меррекюль, пишет много, мило, *mais pas trop amougeusement*; мечтает о зиме, когда всех увидит. М<ожет>

б<ыть>, я сообщаю уже для Вас запоздалые новости и Ваш взгляд направлен в другую сторону? Мне бы хотелось написать что-нибудь из юнкеров (а?). Мейерхольд мечтает поставить всю «трилогию» (т.е. 3 комедии, ничем не связанные между собою) в один вечер. Дай Бог, чтобы одну-то поставили бы<sup>7</sup>. Вообще можно надеяться на постановку только после первого представления. Что Вам сказать еще? живу тихо, мирно, без романов и воздыханий, скачаю о Вас, жду терпеливо осени... Да, Н. с Модестиком<sup>8</sup> в очень незначительной и редкой переписке, так что даже не знает его крымского адреса, что знаю я. Что Ивановы, Чулков, «Белые ночи», Сомов? Бенуа? (я его несколько боюсь, думая, что он меня не любит, будучи из Парижа<sup>9</sup>) Что эскапады etc? Вы — отличный друг: Вы пишете письма. А что Бакст? когда он приедет? Я всем кланяюсь, мужской пол целую и остаюсь

Ваш

*М. Кузмин*

Если выйдут «Комедии» отдельно, «Евдокия» посв<ячена> Вам, «Алексей» — Потемкину и «Мартиньян», думаю, — Ремизову<sup>9</sup>. Ауслендер Вам кланяется.

*М. Кузмин 15 июня 1907*

1. См. письмо 38, примеч. 1. Говоря, что ««Русь» занялась декадентами», Кузмин, очевидно, имеет в виду и только что появившуюся заметку в хронике этой газеты (14 (27) июня), где говорилось о деятельности издательства «Оры», содержании очередного номера «Весов», полемике в лагере символистов.

2. См. в дневнике 9 июня: «Стихов в «Руно» вышло 22 строчки. Это оплатит долг Рябушинскому, если он его не забыл, на что я надеюсь». Стихотворения опубликованы: Золотое руно. 1907. № 5.

3. Речь идет о резкой полемике между «Весами» и «Золотым руном» (подробнее см.: *Лавров А. В.* «Золотое руно» // Русская литература и журналистика начала XX века. 1905—1917: Буржуазно-либеральные и модернистские издания. М., 1984. С. 137—166, а также в разделе «Вхождение в литературный мир»). 2 июня Кузмин записывал: «В Москве опять распри с «Руном», собираюсь выходить из которого приглашают и меня присоединиться. Что же, лишивши меня «Перевала», хотят лишить и «Руна»?» — что было ответом на письмо М. Ф. Ликиардопуло от 1 июня; 8 июня он отмечает: «Написал письмо в «Весы», на следующий день с облегчением записывая: «...письмо от Тастевена, мои стихи приняты, просят сотрудничества. Хорошо, что я написал Ликиардопуле так неопределенно».

4. Окончание «Комедии о Алексее...» отмечено в дневнике 4 июня; рассказ «Кушетка тети Сони» был окончен 11 июня и 12 июня отправлен Брюсову (см.: РГБ. Ф. 386. Карт. 91. Ед. хр. 12. Л. 9), сообщившему Кузмину в

письме от 3 августа: «Размер Ваш я передал С. А. Полякову, который беллетристической заведует лично» (Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского дома на 1992 год. СПб., 1993. С. 50 / Публ. А. Г. Тимофеева). Совершенно очевидно, что в опубликованном тексте письма неправильное чтение или опечатка, следует читать «рассказ».

5. 14 июня Кузмин записал в дневнике: «Составил план “Мартиньяна”». «Комедия о Мартинияне», законченная лишь в июне 1908 г., впервые опубликована в книге «Комедии» (СПб., 1908).

6. См. в продолжении процитированной в предыдущем примечании записи: «Жаль, что ничего нельзя будет писать: или приняться за «Красавца Сержа»?» На следующий день следует запись: «Составлял план «Красавца Сержа». Это будет вещь не для печати». План этот не был осуществлен, хотя Кузмин даже предлагал повесть издательству «Скорпион» и они предполагали напечатать в одном томе «Крылья», «Картонный домик» и «Красавца Сержа» (см. в разделе «Вхождение в литературный мир»). *Валентин* — натурщик, весной 1907 г. бывавший у Кузмина и оставивший ему свой дневник (подробнее см. в статье «Литературная репутация и эпоха»). Планы повести см.: ИРЛИ. Ф. 172. Ед. хр. 321. Л. 97 об.—99.

7. Имеются в виду три комедии, о которых речь идет в конце письма. Задумывавшаяся В. Э. Мейерхольдом постановка их (см. письмо Кузмина Мейерхольду от 15 июня 1907 г. // РГАЛИ. Ф. 998. Оп. 1. Ед.хр. 1811. Л. 12) вылилась в план постановки «Комедии о Евдокии из Гелиополя» (см. письмо 29, примеч. 18), от которого отказалась В. Ф. Коммиссаржевская.

8. *Модестик* — Модест Людвигович Гофман (1887—1959), тогда молодой поэт и начинающий критик, впоследствии известный историк литературы. Ранее учился с В. А. Наумовым в юнкерском училище. См. в дневнике Кузмина 14 июня: «Целый день дождь; письмо от Модестика».

9. В отдельном издании (СПб., 1908) комедии не носили посвящений.

40

НУВЕЛЬ — КУЗМИНУ

16/VI <19>07

Дорогой друг.

Спасибо за письмо. Радуюсь и благодарю за посвящение мне «Евдокии»<sup>1</sup>. Вчера видел Сомова. Был с ним у Ивановых, на днях уезжающих в Могилевскую губ., в деревню к Марии Михайловне на все лето<sup>2</sup>.

Только и разговора, что об «Весах», о Белом, калошах, Товарище Германе, Брюсове, Мережковских и т.д.<sup>3</sup>

По всем признакам, против Петербуржцев вообще и Иванова в частности ведется сильная кампания в Москве, и Брюсов ей сочувст-



вует, судя по тому, хотя бы, что о «Цветнике Ор» он поручил писать в «Весах» — Белому, т.е. предвзятому врагу<sup>4</sup>.

Под впечатлением всех этих историй, у меня является страстное желание издавать наш петербургск<ий> журнал, в котором принимала бы главное участие петербургская молодежь. Действительно странно, что до сих пор молодой Петербург не имеет своего органа. Но как это осуществить? Откуда взять деньги?<sup>5</sup>

Иванов очень мил, как всегда. Думаю, однако, что он скоро отойдет от нас, удаляясь все более в почтенный, но не живой академизм. Но главные и непримиримые враги — это Мережковский и Белый, к которым, к сожалению, примыкает и недальновидный, но хитрый Брюсов.

Главные упреки молодым — варварство и хулиганство. Признаться, мне так надоели старые боги и старое русло, что я — «утонченник скупающего Рима»<sup>6</sup> — готов ополчиться против всех этих господ, в защиту варварства и хулиганства, вносящих все-таки свежую струю, при наличии таланта, конечно.

Но довольно об этом. Вышла «Проталина»<sup>7</sup>. Что за говно! А Маковский со своей якобы рафинированной порнографией, которою он, должно быть, страшно доволен!<sup>8</sup> «Какая пошлость!!» — можно сказать, выражаясь à la Ауслендер. Видел, но еще не читал «Белые ночи». Внешний вид очень изящный<sup>9</sup>.

Что касается эскапад, вообразите — до сих пор ничего. Отчасти потому, что чувствую себя не совсем хорошо физически. А затем решительно нечем увлекаться. Ах да! на днях видел Сагг'у, гуляющую в Александровском саду с какими-то хулиганами. J'avoue qu'elle m'a paru séduisante! Отличная фигура. Но, кажется, не подает надежд, да и боюсь я хулиганской компании.

Напрасно Вы думаете, что мое увлечение Н. прошло. Но когда ему (т.е. увлечению) нечем питаться, — ни видеть, ни слышать, ни любоваться нельзя — тогда, конечно, оно несколько остывает — до времени.

Городецкий вернулся с Кавказа и очень обижен на «Певучего Осла»<sup>10</sup>. Несчастный Чулков ищет успокоения в обществе Леонида Андреева<sup>11</sup>. Потемкина не видел<sup>12</sup>. Костя<sup>13</sup> мил, но хочет и не может найти того, что ему нужно. Не забывайте письмами, милый друг. Кланяюсь милому Сереже.

Ваш

*В. Нувель*

1. См. предыдущее письмо. Ср. также дневниковую запись от 31 марта, приведенную в примеч. 8 к письму 31.

2. Лето 1907 г. В. И. Иванов и Л. Д. Зиновьева-Аннибал проводили в имении Загорье Могилевской губ., принадлежавшем тетке их домашнего друга и домоправительницы Марии Михайловны Замятниной (1865—1919).

3. Речь идет о целой серии выступлений «Весов» против «Золотого руна» (см. письмо 38 и примечания к нему).

4. См.: *Весы*. 1907. № 6.

5. Ни один из планов нового, специфически «петербургского» символистского журнала (см., напр.: *Герцык Евгения*. Воспоминания. Париж, 1973. С. 45; *Литературное наследство*. Т. 92, кн. 3. С. 293) в то время не осуществился. Отчасти таким журналом стал «Аполлон», начавший выходить в 1909 г.

6. Отсылка к стихотворению Вяч. Иванова «Встреча гостей» (*Иванов Вячеслав*. Собр. соч. Т. II. С. 738—739): «...и ты, утонченник скучающего Рима, Петроний или Корсар...», где Нувель называется его гафизическими именами.

7. Проталина: Альманах I. СПб., 1907. В альманахе, между прочим, участвовал и Кузмин.

8. См.: *Маковский С.* Песни Астарте // Проталина. С. 79—83.

9. Об этом альманахе см. письма 30 и 41.

10. С. М. Городецкий был прототипом «певучего осла» Лигея в комедии Зиновьевой-Аннибал. Ср. в письме В. Я. Брюсова к З. Н. Гиппиус от 22 мая 1907 г.: «Г-жа Лидия Зиновьева и т.д. в драме, «варьированной на тему из Шекспира» (так и сказано!), под прозрачными псевдонимами пересказывает недавние перипетии из жизни «средового» кружка. А Вяч. Иванов и Маргарита Сабашникова (жена Макса) рассказывают самые последние перипетии уже и без псевдонимов. <...> Макс немного приуныл, больше молча сидит и прееет, но иногда яростно восхваляет стихи Вячеслава (с мягким произношением: Ви-ачи-аслава). А что-то бедняк Городецкий! легко ли читать «Завесы» после «Эроса!» (Литературное наследство. М., 1976. Т. 85. С. 696—697). «Завесы» — цикл стихов Иванова, обращенный к М. В. Сабашниковой-Волошиной.

11. Л. Н. Андреев был участником альманахов «Факелы». После резкой критики, которой были подвергнуты и «Факелы», и теория «мистического анархизма», особенно в «Весах», Чулков искал альянса с влиятельным по тем временам Андреевым, став посредником между группой писателей, объединившихся вокруг альманахов «Шиповник», и писателями-символистами.

12. О *П. П. Потемкине* см. письмо 29, примеч. 17. 13 июня Кузмин получил от него письмо: «Дорогой Михаил Алексеевич. Кажется, вы были в Олонецкой губ. и на Киваче, если не были, то все-таки я туда еду завтра в 4 часа дня. Ужасно скучно, но и хорошо у нас в Петербурге, вышли «Белые Ночи» (я их еще не видел), Гофман в Алупке, зачинателей не видно — одни только штукатуры. Ходишь по садам, смотришь на борьбу (в этом году удивительно ловкий, красиво сложенный японец-борец), заговариваешь с раз-

ными шляпками и ничего умного не делаешь. И все-таки часто вас вспоминаешь, Михаил Алексеевич. Ваш «Эме» очень понравился Гоге Попову. Он прямо в восторге от него. Если хотите узнать еще новости, спросите у Ауслендера, я пишу ему. До августа я думаю побродить в Олонецкой губ., а может быть, заберусь и дальше на север. Захотите писать, — пишите: Петрозаводск, дом Ялгубцева, П. П. Потемкину. Буду очень благодарен, если получу от вас весточку. *Потемкин*» (РНБ. Ф. 124. № 3474. Л. 1—2).

13. Имеется в виду К. А. Сомов.

41

КУЗМИН — НУВЕЛЮ

Милый друг,

как Вам понравилось, что, не сказавши дурного слова, меня напечатали в «Белых ночах» без последних 4-ех глав? Я от негодования прямо нем. Чулкова мало побить! И опечатки: «Берландадо», «Фелискович», «англицированного» и т.д. Ах, что обо мне подумают!<sup>1</sup> Нужно бы напечатать открытое письмо, хотя бы в ту же просвещенную «Русь»<sup>2</sup>. О Брюсове, я думаю, — инсинуации Лид<ии> Дм<итриевны>. Но это хорошо, что старики бессильно ярятся, хотя я и не варвар<sup>3</sup>. Милый Н. наконец прислал письмо, наиболее нежное из всех<sup>4</sup>. Я готовлю верно любовь для Вас. Я очень тороплюсь и зол на Чулкова; скажите, кому можете, о его поступке. Пишу Вам скоро.

Любящий Вас

*М. Кузмин*

*16 июня 1907*

1. Последние главы «Картонного домика» были затеряны в типографии (что объясняется тем, что наборщики приняли росчерк, отделяющий одну главу от другой, за знак окончания рукописи). Сохранилось несколько экземпляров полного текста повести, а также специально переписанное окончание ее (подробнее см. в письмах к В. В. Руслову в разделе «Вхождение в литературный мир»). Загадочно звучащее слово «Берландадо» появилось вместо фамилии итальянского художника Гирландайо. Опечатки в тексте заметил сам Чулков. Отправляя Кузмину и Ауслендеру по одному экземпляру альманаха, он писал 15 июня: «В Вашей повести я с ужасом нашел вопиющие опечатки. Что Вы со мной сделаете?! Простите меня!» (РГАЛИ. Ф. 232. Оп. 1. Ед. хр. 432. Л. 1). Однако о пропаже глав он узнал только из возмущенного письма Кузмина от 16 июня и оправдывался 22 июня: «Я понимаю и разделяю Ваше негодование! Я в ужасе от того, что произошло. Дело было так: когда было решено, что сборник выходит на товарищеских началах — без редактора — я послал Вашу рукопись в типографию, не дочитав ее до конца, надеясь прочесть ее уже в наборе. Очевидно, гнусная типография задержала конец рукописи. Как только приеду в Петербург, наведу возможные справки. Должен признаться: получив гранки, я спрашивал метранпажа, уверен ли он, что это конец, но он мне клялся, что рукопись окан-

чивается на этом месте» (Там же. Л. 2). 5 июля Чулков сообщал Кузмину: «Я разыскал конец Вашей рукописи. Он, вероятно, по ошибке был прислан типографией вместе с набором каких-нибудь стихов. Моя великая вина в том, что я тогда же не обратил на это внимание. Это нам всем урок: без редактора нельзя выпускать сборников. И несчастье с Вашей рукописью, и вопиющие опечатки приводят меня в отчаяние. Если Вы не напишете мне слово утешения и прощения, я погибну, дорогой Михаил Алексеевич» (Там же. Л. 4). В дневнике от 17 июня история изложена так: ««Белые ночи». Я онемел от негодования. Вместо 16<-ти> глав напечатано 11 с вопиющими опечатками. Чулкова прямо побить мало. <...> «Белые ночи» интереснее «Кошницы», пожалуй. «Картон<ный> дом<ик>» очень другой, чем «Крылья» и чем «Кушетка», люблю ли я его, не знаю».

2. Письмо в газету «Русь» Кузмин не написал, предложив это сделать Г.И.Чулкову (см. письмо от 16 июня 1907 — РГБ. Ф. 371. Карт. 4, Ед. хр. 16). Однако в письме от 22 июня Чулков отвечал на это предложение: «Заявление об этом от редакции «Белых ночей» надо сделать, и я это непременно сделаю в ближайшем номере «Перевала», но только не за своей подписью, потому что — как Вы знаете — я не считал и не считаю себя редактором «Белых ночей»». В итоге протест Кузмина в виде письма в редакцию, датированного 25 июня, появился в «Весах»: «М. Г., г. редактор! Считаю справедливым сделать известным, что моя повесть «Картонный домик» напечатана в альманахе «Белые Ночи» без последних пяти глав, затерянных, как оказалось, типографией или редакцией. Единственную рукопись своей повести я дал для передачи в редакцию Г. И. Чулкову, собиравшему материал для этого, оказавшегося безредакторским, сборника. Вопиющие опечатки, пестрящие мою повесть, прошу всецело относить на счет той же «редакции» альманаха. Примите и пр. М. Кузмин» (1907. № 6. С. 74). Оскорбительность этой заметки для Чулкова, и так подвергавшегося постоянным нападкам в «Весах», была очевидна. Собственное разъяснение Чулкова было опубликовано в разделе «Из жизни» журнала «Перевал»: «В силу некоторых обстоятельств, в сборнике «Белые Ночи», по досадному недоразумению, без ведома автора и редакции, не напечатаны четыре последние главы повести М. Кузмина «Картонный Домик»» (1907. № 8/9. С.93. Без подписи). См. также хроникальную заметку в разделе «Золотого руна» «Вести отовсюду»: «Вышел литературный альманах «Белые Ночи» под редакцией Георгия Чулкова. В нем в числе прочих помещены интересные стихотворения Вячеслава Иванова, Александра Блока и повесть Кузмина «Картонный Домик», в которой выведены некоторые современные писатели и художники. Повесть почему-то напечатана без последних пяти глав и с довольно грубыми опечатками» (1907. № 5. С. 78). Судя по резкости обвинений, упоминанию пяти, а не четырех пропавших глав (именно так почему-то считал Кузмин) и стремлению возложить ответственность на Чулкова, заметка очевидно принадлежит Кузмину или кому-либо из его круга.

3. См. письмо 38.

4. См. в дневнике Кузмина 16 июня: «Да, получил архимилое письмо от Наумова...»

Милый друг.

что Вы меня совсем забыли? или Вы думаете, что я уничтожен всеми помоями, что на меня выливают со всех сторон (и «Русь», и «Сегодня», и «Стол<ичное> утро», и «Понед<ельник>»<sup>1</sup>)? Вы ошибаетесь. Приятности я не чувствую, но tu l'as voulu, Georges Dandin<sup>2</sup>. Мне из «Весов» прислали кусочек корректур Белого о «Цветнике», где он очень хвалит «Евдокию» и «Любовь этого лета», хвалит Городецкого и Ремизова с выпадом против Вяч. Ив. и Блока<sup>3</sup>. Пишу я много: написал 2 рассказа — «Кушетка тети Сони» и «Тень Филлиды», кончил «Алексея» и половину «Мартиньяна», написал стихотвор<ений> 7 и 2 романа<sup>4</sup>. Письма от Н. получаю, он 4 отпуска пробыл в Петербурге, кого-то отыскивая и не находя<sup>5</sup>. Неужели он не зашел к Вам? Письма его странные, но более нежные; Павлик писал, что видел Вас с Дягилевым в Летнем<sup>6</sup>. Когда все Ваши друзья съехались, Вы забываете далеких. Поцелуйте Сомова, я ему не пишу, но люблю все так же, очень бы хотел видеть его работы. Что Ивановы? Я писал ему 2 раза, даже несколько по делу<sup>7</sup>, но ничего не получил в ответ. Городецкого стихи в «Кошнице»<sup>8</sup> похожи на плохого Бальмонта, но в «Бел<ых> ночах» мне очень нравятся<sup>9</sup>. «Перун» — слабее «Яри»<sup>10</sup>, хотя и ровнее, но как он быстро сделал свою карьеру. Ответьте мне скорее. Жду осени спокойно, но радостно.

Ваш

*М. Кузмин*

Что Ваш дневник?

*3 июля 1907*

1. Письмо, очевидно, вызвано удивлением, высказавшимся в дневниковой записи Кузмина от этого дня: «Я не думал, что «Карт<онный> домик» вызовет толки». Меж тем на протяжении второй половины июня и начала июля он регулярно фиксирует в дневнике газетные публикации, связанные с его произведениями: «В «Руси» фельетон Боцяновского «В алькове г. Кузмина» о «Карт<онном> домике», конечно, пошлость какая-то» (23 июня); «В «Руси» опять пробирают, говорят, то же и в московском «Утре» (25 июня); «В «Утре» Брюсов отвечал, в «Утре» защищал меня и Гиппиус, не знаю, для чего, но важно то, что он считает себе выгодным роль защитника. Статья очень пошлая» (28 июня); «В «Руси» перепечатали письмо Брюсова и опять целые рассказы о «Карт<онном> домике», некоторые ключи, ожидают разговоров» (29 июня); «Приехал зять, привез 2 №№ «Сегодня», где и в стихах и в прозе пародируют и издеваются над «Карт<онным> дом<ом> иком» и «Крыльями»» (2 июля); «В «Руси» опять статья Боцяновского обо мне в ответ на письма, защищающие меня» (3 июля). Речь идет о публикациях: *Боцяновский В. Ф.* В алькове г. Кузмина // Русь. 1907. 22 июня; *Книги и писатели* // Русь. 1907. 24 июня (7 июля) (Там писалось: «Повесть

Кузмина «Картонный домик» была уже отмечена в нашей газете. Не довольствуясь этой повестью — Кузмин оповещает читателя о псевдо-рафинированных, ненормальных наклонностях своих героев еще и в стихотворениях); *Ардов Т.* Отмежевывайтесь от пошляков // Столичное утро. 1907. 25 июня; Валерий Брюсов в защиту декадентов (Письмо в редакцию) // Столичное утро. 1907. 26 июня (Там же ответ Т. Ардова); [Хроника] // Русь. 1907. 28 июня (11 июля) (Там писалось: «По существу, конечно, Брюсов прав. Частная жизнь писателя, как и вообще всякого человека, должна быть избавлена от того, чтобы в ней копались чужие грязные руки. <...> Но разве сам Кузмин не ввел в свою повесть портретов, списанных с натуры? Кто хоть раз видел Вяч. Иванова, тот без труда узнает его <...>. Не менее удачно передана манера чтения Федора Сологуба...»); *Горный Сергей.* Чемпионат // Сегодня. 1907. 30 июня; [б.п.] Около искусства // Сегодня. 1907. 28 июня («Валерий Брюсов в «Столичном утре» взялся защищать от нападков критики пресловутого Кузмина, воспевającego «любовь» между мужчинами. <...> Когда сам Кузмин выводит в своих сказаниях «портреты» Вяч. Иванова, Федора Сологуба и др., то гг. Брюсовы безмолвствуют. Конечно, публике нет дела до того, любит ли г. Кузмин мальчиков из бани или нет, но автор так сладострастно смакует содомское действие, что «смеяться, право, не грешно над тем, что кажется смешно» <...> Все эти «вакханты, пророки грядущего», проще говоря — нуждаются в Крафт-Эбинге и холодных душах, и роль критики сводится к этому: проповедников половых извращений вспрыскивать холодной водой сарказма»); *Авель [Л.М. Василевский].* Дружеские пародии // Свободные мысли. 1907. 2 июля. «Понедельником» Кузмин, как и многие другие, называл газету «Свободные мысли». См. об истории этой газеты: *Пильский П.* Первый русский «Понедельник» (Из дали дней) // Сегодня. 1925. № 275а.

2. Фраза из комедии Мольера «Жорж Данден», приведенная, в соответствии с русской традицией, в несколько трансформированном виде.

3. Имеется в виду рецензия Белого, напечатанная в шестом номере «Весов», где писалось: «Грустью и неуловимо тонким ароматом иронии пропитана «Комедия о Евдокии из Гелиополя»; автор ее — М. Кузмин, один из наиболее ярких молодых талантов. Он дал нам «*Александрийские песни*» и незабываемую «*Историю любви одного лета*», где юмор и красота стиха оспаривают друг друга. <...> Свежи стихи С.Городецкого. <...> Как всегда хорош А. Ремизов. <...> Остальные? Хотелось бы умолчать. <...> Ведь тут дорога нам имена Бальмонта, Вяч. Иванова, Сологуба, Блока! <...> Хотя бы Блок. Он неустанно кощунствует. <...> Еще нагроможденнее Вяч.Иванов. У него слова лучше строчек, а строчки лучше целого» и т.д. (С.67—68). См. в дневнике Кузмина 21 июня: «Письмо от Ликиардопуло с корректур<ой> отзыва Белого о «Евдокии», где он меня хвалит до некоторой степени. Считает, что придется подсчитывать сторонников». Более подробный комментарий см.: Литературное наследство. Т. 92, кн. 3. С. 288—289.

4. О рассказе «Кушетка тети Сони» и «Комедии о Алексее» см. письмо 39, примеч. 4. Рассказ «Тень Филлиды» (впервые — Золотое руно. 1907. № 7/9) был задуман 18 июня, а написан 22—29 июля. О каких стихотворениях

идет речь, сказать трудно. В июне были написаны два романа на стихи В. Я. Брюсова.

5. Кузмин, согласно дневнику, получил письмо от Наумова 30 июня.

6. См. в дневнике 29 июня: «Получил повестку и письмо от Павлика, жалуется, конечно, пишет, что в Летнем гуляют Дягилев и Нувель. Отчего последний не пишет, не понимаю».

7. Нам известно письмо Кузмина к Иванову от 3 июня 1907 г.: «Мне жаль, что весною я поленился и не занялся в библиотеке, так что планы на 2 большие повести (путешествие XVIII в. и русское 20-ых годов) не могут быть сейчас осуществимы. Я кончаю «Алексея», пишу стихи «На фабрике», планирую «Мартиньяна» и 2 рассказа — «Кушетка тети Сони» и «Англичанка» < «Похороны мистера Смита» > из современности. По музыке думаю заняться «Ослом» Лидии Дмитриевны. Я веду очень регулярную жизнь, читаю Barbey d'Aurevilly, J. P. Richter'a и «Жизнь Аполлония Тианского» по-гречески, пишу письма, гуляю и т.п. Иногда письма из Петербурга меня пронзают острым желанием, но в общем я спокоен...» (РГБ. Ф. 109. Карт. 28. Ед. хр. 29. Л. 1 об. — 2). Второе письмо было написано 18 июня (текст неизвестен).

8. «Кошница» — альманах «Цветник Ор». Там были напечатаны стихотворения С. М. Городецкого из цикла «Алый Китеж».

9. В «Белых ночах» было напечатано 8 стихотворений Городецкого: «Вечер», «Сумерки», «Лена», «Мгла», «Упырь», «Паук», «Змея», «Страстная череда».

10. «Ярь» — первый сборник стихов Городецкого (СПб., 1907; вышел в конце 1906 г.). О чтении книги «Перун» см. в дневнике Кузмина 27 июня: «Прислали «Перуна», ровнее «Яри», но тусклее и менее свежо». Кузмин отвечает на письмо 35.

43

НУВЕЛЬ — КУЗМИНУ

4/VII <19>07

Дорогой друг,

Не писал Вам, ожидая письма от Вас. С любопытством замечаю, что каждый день во всех почти газетах упоминается Ваше имя. Vous faites parler de Vous, diable!! Между прочим, Marcel Thellier — вовсе не псевдоним, а подлинное имя здешнего французского вице-консула (отчаянной тетки), хорошо владеющего русским языком. Боцяновский оказал ему хорошую услугу, раскрыв его инкогнито!!<sup>1</sup>

Ивановы благополучно отбыли в деревню<sup>2</sup>. Сомова вижу редко. Вообще никого не вижу. Только на днях встретил в Летнем саду двух неисправимых мертвецов, эпигонов Мережковщины — Евг. Иванова

и Кику Ге. Конечно, выругал их за их бездарные и ненужные писания, отзываются вчерашней отрыжкой<sup>3</sup>.

Известие, что Наумов пробыл 4 отпуска в Петербурге, глубоко огорчило меня. Ко мне, разумеется, он не зашел.

«Картонный домик» понравился мне во вторичном чтении больше, чем в первый раз, несмотря даже на совершенное над ним обречение.

Во-первых, он отлично написан, лучше, чем «Эме Лебеф». Во-вторых, очень хороши разговоры, а рассказ о Семенушке — прямо шедевр<sup>4</sup>. К сожалению, в нем нет цельности, это какой-то беспорядочный калейдоскоп или, скорее, несколько попорченный кинематограф. «Прерванная повесть» очень хороша.

Из рассказов Ауслендера мне очень понравился «Анархист». Что касается других, то «английский» мне показался слабее, *un peu fade* (Сомову он очень понравился), а «французский» хорошо написан, но сомневаюсь, чтобы среди французских легитимистов эпохи революции могли существовать такие подлецы, как Фраже, готовые участвовать в казни всех своих друзей и любовниц, лишь бы сохранить свою голову. Это скорее психология *ultra moderne*<sup>5</sup>!

Много слабого в «Белых ночах». Не говоря уже о вышеприведенных ублюдках Иванове и Ге, а также о нестерпимо шаманящем Чулкове<sup>6</sup>, чего стоит один такой шедевр, как «Электричество» несравненной Диотимы!<sup>7</sup>

Живу страшно скромно, одиноко и бесплодно. Эскапад — никаких. Физически чувствую себя неважно. Изредка вижу «современников»<sup>8</sup>, собираемся в две недели раз. Сегодня обедаю у Аргутинского с Бенуа, который занят писанием декорации для одноактного балета «Павильон Армиды» с музыкой, увы! Черепнина<sup>9</sup>. Как Вам нравятся инсценированные Мейерхольдом романсы или «цыганские песни в лицах»?<sup>10</sup>

«Евдокия» мне нравится по-прежнему. Рад и горд, что Вы мне ее посвящаете. Жажду услышать Ваши новые вещи. Жду писем.

Ваш

*В. Нувель*

<Приписка на первой странице письма> Слышали Вы, что умерла Ольга Кузьминишна, сестра Сологуба?<sup>11</sup>

Письмо получено Кузминым 5 июля: «Письмо от верного Renouveau; оказывается, Marcel Thelier, вступившийся за меня — франц<узский> вице-консул в Петербурге».

1. Речь идет об уже упоминавшейся статье В. Ф. Боцяновского «О греческой любви» (Русь. 1907. 2 (15) июля). В ней автор писал: «У него <Кузмина>, оказывается, не мало поклонников. Я получил целый ряд писем, авторы которых меня упрекают за то, что я недостаточно оценил новый chef



d'oeuvre, за то, что я приложил в своей статье старую буржуазную мерку к новым течениям в русской жизни. <...> Приведу одно из наиболее обоснованных писем, автор которого Marcel Thelier (вероятно, псевдоним) обнаруживает весьма серьезную эрудицию в этой области...»

2. См. письмо 40, примеч. 2.

3. Речь идет об опубликованных в сборнике «Белые ночи» эссе Евгения Павловича *Иванова* (1879—1942) «Всадник: Нечто о городе Петербурге» (С. 73—91) и статье искусствоведа Николая Петровича *Ге* (1884—1920) «Белая ночь и мудрость» (С. 93—102).

4. Имеется в виду рассказ старухи Курмышевой в пятой главе повести.

5. Речь идет о рассказах С. А. Ауслендера: Анархист // Проталина. СПб., 1907. С. 31—37; Валентин мисс Белинды // Белые ночи. СПб., 1907. С. 51—63; Вечер у господина де Севираж // Там же. С. 37—49.

6. В «Белых ночах» Г. И. Чулков напечатал несколько стихотворений, в том числе цикл «Шаман» (С. 101—109)

7. Рассказ Л. Д. Зиновьевой-Аннибал (Белые ночи. С. 173—179) перепечатан в ее посмертном сборнике рассказов «Нет!» (Пг., 1918).

8. «Современники» — члены кружка «Вечера современной музыки».

9. О балете Н. Н. Черепнина «Павильон Армиды» с декорациями А. Н. Бенуа см.: *Бенуа А. Н.* Мои воспоминания. Кн. IV, V. М., 1990. С. 459—468.

10. Речь идет о готовившемся и состоявшемся 13 июля 1907 г. на «Вечере нового искусства» в Териоках представлении инсценированных романсов П. И. Чайковского (см.: *Мейерхольд В. Э.* Переписка. С. 102—103). См. также в газетном отчете: «Далее г. Мейерхольд «поставил» — так приходится сказать — несколько романсов Чайковского (исполнял безукоризненно г. Егоров)» (*Легри А.* Териокский театр // Русь. 1907. 15 (28) июля).

11. О. К. Тетерникова, сестра Ф. Сологуба, умерла от туберкулеза 28 июня.

44

КУЗМИН — НУВЕЛЮ

5 июля 1907

Милый друг,

благодарю Вас за письмо и за новости, которых я, к сожалению, Вам не могу сообщить никаких, живя здесь только в кругу своих и занимаясь писаньем. Я здоров, не грустен, не весел, жду осени, скучаю о всех вас, но не неистовствую. Я думаю, мой дневник покажется Вам очень пресным за этот период. Чулков теперь путает Сережу, уверяя, что Л. Андреев, пленясь «Вечером у Севиража», предлагает

271

ему поступить заживо в «Знание»<sup>1</sup>. Ауслендер обижен, что Вам понравился «Анархист», и старается исторически доказать возможность Фраже. Теперь он пишет своего «Эме Лебефа». Заглавие дано мною, как и имя: «Некоторые замечательные случаи из жизни Луки Бедо»<sup>2</sup>. Я написал туда застольную песню, которую и положил на музыку:

Пей за разом — два, не жди:  
Пьет земля весной дожди,  
Пьют деревья, пьет река —  
Всюду щедрая рука.  
Для чего ж, земли сыны,  
Рот и горло нам даны?  
Ах ты, кружка, кружка, кружка,  
Ах, веселая подружка!  
Губы алы, очи пьяны,  
Не страшны нам,  
Не страшны нам  
Добродетели изъяны.

За куплетом пой куплет,  
Передышки нет и нет.  
Ветер свищет, дрозд поет,  
Жернов песнь свою ведет.  
Для чего ж, земли сыны,  
Рот и горло нам даны?

Припев.

Третьим нам любовь дана.  
Эту чарку пей до дна:  
Сокол, лебедь, бык, осел —  
Ищут все прекрасный пол.

Для чего же нам даны  
Лицемерные штаны?

Припев.

Сам же я пишу «На фабрике», стихотворений 6. Кончаю «Мартиньяна» и уже упоминавшиеся мною 2 рассказа<sup>3</sup>. Леман продолжает свое adoration, письма от Н. все страннее, но и все нежнее, пишут Модестик и Потемкин, уехавший в Олон<sup>ецкую</sup> губернию, где хочет бродить пешком<sup>4</sup>. И потом Дикиардопулы, Тастевены, Мейерхольды etc. — другая категория<sup>5</sup>. Пишите, пишите новостей. Сережа Вам кланяется. Целую Вас. Когда точно уехали Ивановы?

Ваш

*М. Кузмин*

Когда же опять буду топтать свои подметки? Не видите ли Вы того студента?<sup>6</sup>

Вот она, третья известность<sup>7</sup>. Теперь и я знаю, à quel point je suis malfamé.

1. См. в дневнике 24 июня: «Письмо от Чулкова. Сереже он пишет, будто Андреев его, т<о> е<сть> Сережу приглашает в “Знание”». См. также письма С. А. Ауслендера к Г. И. Чулкову (Приложение 2). Такое предложение действительно обдумывалось Л. Н. Андреевым. 22 июля он писал Горькому: «Нужно собирать материал для сборника, вообще начать редакторствовать. Нужно приглашать новых <...>, а я и не знаю, насколько в этом случае я могу быть самостоятелен. По-моему, например, необходимо пригласить теперь же: Блока, Сологуба, Ауслендера, еще кой-кого», — на что Горький отвечал 26—30 июля: «Мое отношение к Блоку — отрицательно, как ты знаешь. <...> Склонный к садизму Сологуб — фигура лишняя в сборниках «Знания». <...> Нельзя понять, что скажет Ауслендер далее, но я ничего не имею против <н>его, как ничего не имею против Сомова, например. <...> Читаю много «новой» литературы — Кузмина, «Северные альманахи», «Белые ночи», «Весы» и все прочее. Уверен, что двадцать пять лет тому назад мне это доставляло бы удовольствие» (Литературное наследство. М., 1965. Т. 72. С. 284, 287—288). См. в хронике: «С. Ауслендер, А. Блок, Ф. Сологуб и Г. Чулков получили приглашение в сборники “Знания”» (Свободные мысли. 1907. 9/22 июля); «В «Знании» произошел раскол: отделяется часть более молодых писателей во главе с Леонидом Андреевым, который приглашает А. Блока, Ф. Сологуба и др.» (Золотое руно. 1907. № 6. С. 67). Сотрудничество Ауслендера в «Знании» не состоялось; возможно, отчасти причиной этого было открытое недовольство Кузмина. Впрочем, в ходу были разные объяснения. Так, отвечая В. И. Стражеву согласием на приглашение участвовать в газете «Литературно-художественная неделя», Г. И. Чулков писал ему 20 августа 1907 г.: «Кстати, вот Вам сообщение в хронике, если оно еще не известно Вам: “Леонид Андреев болен и по болезни своей отказался редактировать сборник «Знание». Таким образом, сотрудничество в «Знании» Сологуба, Блока и нек<оторых> др<угих> не состоялось”» (Литературное наследство. Т. 92, кн. 3. С. 295; ср. цитату из письма Андреева к Горькому, приведенную там же). Контакты Ауслендера с Андреевым продолжались и далее. См. об этом в упоминавшихся письмах Ауслендера к Чулкову, а также в открытке Л.Н.Андреева к Чулкову от 3 октября 1907 г. (датируется по почтовому штемпелю): «Как же это Вы пришли в заведомый час моего сна? Мне очень жаль, что Ауслендер вынесет дурное впечатление» (РГБ. Ф. 371. Карт. 2. Ед. хр. 40. Л. 7 об.). 9 октября Кузмин записывал в дневнике: «Пришел Сережа; он все хороводится с Зайцевыми, Чулковыми, Андреевым и «Супанником» <издательством «Шиповник»>; делает карьеру».

2. Имеется в виду повесть С. Ауслендера «Некоторые достойные внимания случаи из жизни Луки Бедо» (Факелы. Кн.3. СПб., 1908). Цитируемые далее стихи действительно включены в ее текст с незначительными разночтениями.

3. Из цикла «На фабрике» было опубликовано (и нам известно) всего три стихотворения. Еще два были отправлены одновременно с ними в журнал «Перевал», однако не устроили его издателя и напечатаны не были. Об остальных работах Кузмина этого времени см. письмо 42, примеч. 7. «Комедию о Мартиныне» Кузмин окончил на следующий день после этого письма.

4. См. письмо 40, примеч. 12.

5. *Тастевен* Генрих Эдмундович (1880—1915) — литератор, секретарь журнала «Золотое руно». Его письма к Кузмину не сохранились. Письма М.Ф.Ликиардопуло этого времени см. в нашей книге в разделе «Вхождение в литературный мир», письма В. Э. Мейерхольда — в кн.: *Мейерхольд В. Э. Переписка*. С. 99, 105.

6. См. письмо 30, примеч. 23.

7. См. письмо 30, примеч. 5.

45

НУВЕЛЬ — КУЗМИНУ

Павловск,  
11-го июля <19>07

Милый друг,

Спасибо за письмо. Только что получил 6-й номер «Весов».

Нельзя не сознаться, что в оценке «Цветника Ор» Белый прав<sup>1</sup>. Не понимаю только пристрастного и несправедливого отношения к Вяч.Иванову, сонеты которого, ведь право же, хороши! Упрек в «филологии», конечно, всегда заслужен, ну и участие в проклятом «мистическом анархизме» не может не быть осужден <так!><sup>2</sup>. Но помимо этого грустного недоразумения надо же признаться, что как явление, как фигура Вяч. Иванов стоит очень высоко, повыше самого Белого, «Панихида» которого, между прочим, мне мало понравилась<sup>3</sup>. В ней есть что-то нехудожественное, хамское, чего нет, напр<имер>, в Потемкине, несмотря на принадлежность к тому же типу «хулиганского» поэта. Вообще по духу, по психологии, Белый скорее чужд современному течению. Лишь по форме он иногда к нему подходит, но в сущности своей является несомненным наследником Достоевского, Ибсена, Мережковского, каковым он себя и признает, — а потому безусловный эпитон.

Чулкова мне не жаль<sup>4</sup>. Tu l'as voulu, Georges Dandin. Не понимаю только, как можно с такую настойчивостью и с такую злобой набрасываться на подобную жалкую бездарность и тем самым придавать ей какую-то значительность. Вообще борьба с мистическим анархизмом как с опаснейшим врагом просто смешна и недостойна, обнаруживая какую-то жалкую боязнь конкуренции.

«Незнакомка» мне мало нравится<sup>5</sup>. Блок, — Божией милостью поэт, но бесплотный романтик, — протягивает здесь руку Леониду Андрееву и... Аничкову<sup>6</sup>, причем всех трех соединяет общая черта — глупость!

Поздравляю Ауслендера с открытыми дверями в Горько-Андреевскую Академию<sup>7</sup>. Видно, не только один Городецкий делает быструю карьеру!

Настала пора дифференциаций. Одни — Андреев, Белый, Блок, не говоря уже о Парижской троице (отнесу к ним и Модестика<sup>8</sup>), — устремляются в пуп земли. Другие — Кузмин, Ауслендер, Городецкий, Потемкин — предпочитают оставаться на поверхности, которая, право же, не так дурна. И я остаюсь с ними.

На днях видел Сомова. Передал Ваш поклон. Он занят теперь по-рографическими рисунками для немецкого журнала «Die Orales»<sup>9</sup>. Некоторые из них мне нравятся, но не все. Странно, что в них есть какая-то рассудочность, признак порочности, что ли? Но непосредственной, вибрирующей чувственности я в них не нахожу.

Бедного Сологуба уволили от должности инспектора с пенсией в 500 руб. Таким образом, мы уже не будем собираться в этом старом казенном доме с целомудренными стенами, так странно контрастировавшими с раздававшимися в них словами<sup>10</sup>.

Студента Вашего не встречаю. Из собственных эскапад могу цитировать только единичное посещение одной новой *serge chaude*<sup>11</sup>, найдя которой меня более или менее удовлетворила.

На будущей неделе мне предстоит по службе поездка в Москву, недели на две. Это довольно скучно, т.к. в Москве теперь никого нет и, вероятно, не с кем будет проводить вечера.

Когда Вы собираетесь вернуться?

Где и с кем будете жить?

Что нам готовит предстоящая зима?

Ивановы уехали около 11-го июня.

Бахст в Париже. Вчера видел Серова, бывшего с ним в Греции<sup>12</sup>. В Петербурге теперь Дягилев и Бенуа.

В пятницу в Териоках «вечер молодых» с участием Блока, Городецкого и Кузмина (?)<sup>13</sup>.

Хотел было туда съездить посмотреть музыкальную студию, но далеко, притом же известно, что музыканты всегда уродливы.

Пишите, дорогой друг, покамест в Петербург, а когда перееду в Москву, сообщу Вам адрес.

Кланяйтесь Ауслендеру.

Отчего письма Н. странны? В чем странность?

Любящий Вас

*В. Нувель*

Получение письма отмечено в дневнике Кузмина 13 июля.

1. См. письмо 42, примеч. 3. Получив этот номер «Весов», Кузмин 10 июля записал: «Прислали «Весь»; бранят Чулкова, но и Иванова и Блока, объявляют мои книги». Ср. также в письме С. М. Городецкого к Г. И.

Чулкову от 15 июля 1907 г.: «Шестой номер «Весов» возмутил всех» (РГБ. Ф. 371. Карт. 3. Ед. хр. 11. Л. 4. Машинописная копия).

2. В «Цветнике Ор» был напечатан цикл сонетов Вяч. Иванова «Золотые завесы», обращенный к М. В. Сабашниковой-Волошиной. Белый писал об этих стихах: «Еще нагроможденнее <Блока. — Н.Б. > Вяч. Иванов. У него слова лучше строчек, а строчки лучше целого <...> Не слишком ли беззастенчив словесный «вир» самого г.Иванова, когда от Индии и Греции одновременно отправляется он в славянскую словесность («в и р» — славянское слово), уподобляясь Паоло и Франческе, влекомых <так!> в... не в области ли филологического водоворота?» (Весы. 1907. № 6. С. 68).

3. Лирическая поэма «Панихида» была напечатана в том же шестом номере «Весов» (С. 5—14).

4. См. в той же рецензии Белого: «Грязен и непричесан, как всегда, в стихах г. Чулков» (С. 68), а несколько ранее говорится о «безграмотных и бездарных Чулковых» (С. 66).

5. Драма Блока «Незнакомка» была напечатана в 5—7 номерах «Весов» за 1907 г.

6. *Аничков* Евгений Васильевич (1899—1937) — историк литературы, критик. Был в эти годы известен своей революционной настроенностью и даже побывал в заключении.

7. Имеется в виду издательство «Знание». См. предыдущее письмо.

8. *Парижская троцца* — З. Н. Гиппиус, Д. С. Мережковский, Д. В. Философов. *Модестик* — М. Л. Гофман. Говоря о его «устремлении в пуп земли», Нувель, очевидно, имеет в виду его брошюру «Соборный индивидуализм» (СПб., 1907), еще не вышедшую в свет, но хорошо известную знакомым.

9. См.: Die Verführung. Vierfarbendruck nach einem Aquarell von C.Somoff // Die Opale: Blätter für Kunst und für Literatur / Hrsg. von Franz Blei. 1907. Тl. 2. S. 141.

10. Описания встреч в казенной квартире Ф. К. Сологуба на Васильевском острове (7 линия, д. 20) см.: *Гиппиус З. Н.* Стихотворения; Живые лица. М., 1991. С. 363—368; *Пяст В.* Встречи. М., 1929. С. 109—111; *Чулков Г. И.* Годы странствий. М., 1930. С. 132—133; 146—147.

11. В общении Кузмина и Нувеля эти слова обозначали баню.

12. См.: *Бакст Л.* Серов и я в Греции: Дорожные записи. Берлин, 1923. Перепечатано: Валентин Серов в воспоминаниях, дневниках и переписке современников. Л., 1971. Т. 1. С. 562—588.

13. Вероятно, Нувель узнал об этом вечере из газетных объявлений, как и Кузмин, записавший в дневнике 11 июля: «В «Руси» я помечен в числе

предполагаемых участников «Вечера нового искусства» Мейерхольда». Имеется в виду заметка: «В «вечере нового искусства», который состоится в пятницу, 13 июля, под руководством гг. Мейерхольда и Неволлина, предполагается участие г-ж Крандиевской, Пашинской, гг. Блока, Городецкого, Кузмина, Чулкова, Чуковского и др.» (Русь. 1907. 10/23 июля). Среди участников вечера Кузмина, конечно, не было. Газетный отчет зафиксировал участие А. А. Блока, Л. М. Василевского, С. М. Городецкого, В. А. Пяста, А. С. Рославлева.

46

#### КУЗМИН — НУВЕЛЮ

Милый друг,

Вы так пишете, будто я какой-то поклонник и единомышленник Белого. Конечно, совершенно конечно, что Вяч<слав> Ив<анович> и как поэт и как личность незыблемо высок и дорог, важно только принять во внимание дипломатическую сторону статьи Белого, вдруг потянувшего меня и Городецкого, так недавно ругаемых им<sup>1</sup>. В корректурах, когда временно Брюсова не было в Москве, было: «К сожалению, он напечатал плохо отделанный, очевидно наспех написанный роман “Крылья”». После прибытия Валер<ия> Як<овлевича> это обратилось в скобки («Мне не нравятся его «Крылья»), поставленные, как объясняют, в оправдание перемены Белого сравнительно со статьями в «Перевале»<sup>2</sup>. Из «Перевала» я получил вторичное приглашение и не отказался<sup>3</sup>. Был у нас Филиппов из Киева, знакомящийся в Москве и Петербурге с декадентами, говоривший, что Брюсов — один из главных моих защитников. Этому нельзя верить, но верно то, что эту позу он считает теперь наиболее выгодной<sup>4</sup>. Сам Филиппов 26 л<ет>, вид тантический, но неинтересен, помесь Рафаэловича, нашего «фанэ» и увы! Судейкина<sup>5</sup>. Сережа очень счастлив, что Вы его не послали в «пуп земли». Я начинаю скучать, но, вероятно, проживу здесь до половины августа, хотя бы потому, что раньше этого времени не будет в городе Званцевых<sup>6</sup>, у которых я собираюсь жить и к которым уже перевез свои вещи. М<ожет> б<ыть>, я мог бы устроиться и удобнее. Я с нетерпением жду осени, всех вас увидеть, заниматься. Надеюсь, Вы пишете Ваш дневник. Письма Н. странны ужасною спутанностью, недоговариваньем, намеками; если бы я был самоуверен, я мог бы подумать, что он питает ко мне род влюбленности. Другая моя Элоиза пишет, к сожалению, более ясно и собирается скоро к нам. Я говорю, конечно, о Лемане<sup>7</sup>. Сегодня у меня болит голова, и Вы простите пустоту моего письма. Целую Сомова.

Ваш

М. Кузмин

16 июля 1907

1. Первоначально Андрей Белый резко отрицательно отнесся к повести Кузмина «Крылья» (см. его рецензию: Перевал. 1907. № 6. С. 50—51), однако впоследствии тон отзывов о новых произведениях Кузмина заметно изменился. Подробный комментарий см.: Литературное наследство. Т. 92, кн. 3. С. 288.

2. См. письмо 42, примеч. 3.

3. См. в дневнике 7 июля: «От Грифа вторичное приглашение в «Перевал». Согласился». Впервые С. А. Соколов («Гриф») приглашал Кузмина в новый журнал (подробнее о нем см.: *Лавров А.В.* «Перевал» // Русская литература и журналистика начала XX века. 1905—1917: Буржуазно-либеральные и модернистские издания. М., 1984. С. 174—190) осенью 1906 г., однако после письма Н. П. Феофилактова, явно спровоцированного Брюсовым, Кузмин отказался в нем сотрудничать (подробнее см. в разделе «Вхождение в литературный мир»). Само приглашение от Соколова нам не известно, однако сохранилось его письмо от 12 июля: «Радуюсь Вашему согласию участвовать в «Перевале». Разумеется, *органическое* объединение общественного и эстетического элементов в каждой вещи, помещаемой в «Перевале», было бы недостижимым, и часто органическое объединение на страницах «Перевала» замещается механическим, и тогда это покрывается центральной идеей «Перевала» о единстве революционной ломки догм, на каких бы путях она ни протекала. Посылайте несколько стихотворений. Может, к осени соберетесь дать нечто из области изящной прозы? В Вашем письме в словах о «наименьшем эротизме» Вы угадали мои тайные желания. Желать «наименьшего эротизма» заставляет — увы — стратегия и сознание, что круг наших читателей далеко не совпадает с кругом, скажем, “Весов”» (РНБ. Ф.124. № 2233. Л.1). В «Перевале» были опубликованы 3 стихотворения Кузмина из цикла «На фабрике» и «Комедия о Алексее, человеке Божьем».

4. См. запись о визите А. И. Филиппова в дневнике 13 июля: «Утром приехал Филиппов, 26 лет, помесь Рафаловича, Кены Помадкина, Штейнберга и, увы! Судейкина. Он нам значительно надоел, будучи целый день, говоря о журнале etc. <...> Мы вздохнули облегченно, когда господин уехал. Завтра за обычные занятия. Могут быть еще письма. Самое важное было то, что Фил<иппов> вынес впечатление от Брюсова, как благоволящего ко мне».

5. *Рафалович* Сергей Львович (1875—1943) — поэт; «фанэ» — прозвище Г.М. фон Штейнберга (см. в статье «Литературная репутация и эпоха»); восклицание «увы» перед фамилией С. Ю. Судейкина вызвано воспоминаниями о печальной развязке его романа с Кузминым.

6. *Званцева* Елизавета Николаевна (1864—1921) — художница, владелица художественной школы, которая размещалась на Таврической, 25, в том же доме, где жил Вяч. Иванов. Кузмин жил в ее квартире с осени 1907 г. См. в дневнике 10 июля: «Антон мои вещи перевез к Званцевой — *me voilà retablí* <...> Вот я утверждён несколько у Званцевой». В недатированном письме Кузмину Е. Н. Званцева сообщала ему: «Многоуважаемый Михаил



Алексеевич, квартиру свою и ключи я поручила моей знакомой, живущей по след<ующему> адресу: Эртелев пер., д.11, Надежда Федотовна Любавина. Вот к ней и пошлите Вашего швейцара, и она все устроит. Мне же это несколько не трудно и места, должно быть, теперь много. <...> От Вас как от жильца не отказываюсь, только сама приеду в конце августа, но Елена Ив., которая будет числа 15 в Питере, заменит меня. Надеюсь, что мы настолько познакомимся зимой, что будущее лето Вы приедете ко мне сюда на новоселье...» (РГАЛИ. Ф. 232, Оп.1. Ед. хр. 201. Л. 1—2; письмо было получено 10 августа).

7. См. в дневнике 12 июля: «День, как все дни, ничего особенного; письмо только от Лемана; писал какие-то стихи; целый день то дождь, то солнце; <...> Теперь лунные ночи, я рад, что приедет Леман».

47

#### КУЗМИН — НУВЕЛЮ

Дорогой Renouveau,

вероятно, Вы уже успели вернуться из Москвы, забыв меня окончательно. Я Вам писал 16 июля, но знаю, что некоторые простые письма не доходят. Теперь все мои помышления направлены на осень, на которую я возлагаю большие надежды и которой приближению очень радуюсь. Но пробуду еще здесь, вероятно, не менее 2-х недель, так что в Петербурге буду не ранее 15—20 августа. Не знаю, хорошо ли мне будет так, как я думаю устроиться, т.е. у Званцевой. Я очень устал от летнего отдыха, гораздо более, чем от зимнего сезона, т<ак> что теперь я почти совсем не пишу и только читаю По и Лукияна<sup>1</sup> в утешение от всех нападков и неприязни, забвения и холодка друзей с другой стороны. Вы как-то говорили, что моя некоторая известность лишает меня части интереса, но в защите я нуждаюсь теперь более, чем когда-нибудь и кто-либо. И тем более мне грустно, что друзья меня забывают. Кого Вы видите в Петербурге? Вернулся ли Вяч<еслав> Ив<анович>? один ли или с семьей? Что милый Сомов? маленькие студенты?<sup>2</sup> Как все это давно и далеко! Самая опасная вещь — разлука. Когда-то я «полечу по улицам знакомым»?<sup>3</sup> Я написал ряд стихотворений XVIII в. «Ракеты», посвятив их В. А. Наумову<sup>4</sup>, и крошечный плохой рассказец «Похороны мистера Смита»<sup>5</sup>. Неохотно и плохо написал немного музыки. Какие плохие стихи Городецкого в «Руне», а Блок, попав в «Знание», прямо с ума сошел, и читая его статью в том же «Руне» то слышишь Аничкова, то Чулкова, то, помилуй Бог, Луначарского<sup>6</sup>.

Целую Вас, до свиданья.

Что Москва?

*М. Кузмин*

31 июля 1907

1. См. в дневнике 20 июля: «...перечитывал Рое»; 22 июля: «Читаю По; все-таки это — не из любимейших, хотя отлично и остро»; «Что еще? Читал По...»; 29 июля: «...читал целый день По <...> У По известная начитанность, которая так пленяет и влечет быть книжником. Жалко, что у меня плохая память, требующая выписок»; 31 июля: «Читаю По, убеждаясь в его общности с Уайльдом и с французскими романтиками. Но он предвосхищает и позднейшее. Читал Лукиана, и ясность, бодрость, улыбка снова вливались в меня».

2. Вероятно, сочетание образовано по модели выражения «маленькие актрисы» (театра В. Ф. Коммиссаржевской), часто употреблявшегося в переписке и дневниках того времени. Кто конкретно имеется в виду, сказать трудно: возможно, участники студенческого «Кружка молодых», заседания которого Кузмин нередко посещал.

3. Цитата из «Каменного гостя» А. С. Пушкина.

4. См. в дневнике 6 июля: «...у Солюс <соседи по деревне> был фейерверк жалкий, но самый факт его меня восторг и поднял необыкновенно. Любовь к радугам и фейерверкам, к мелочам техники милых вещей, причесок, мод, камней, «сомовщина» мною овладела». 16 июля: «Написал романс на слова Брюсова и кончил цикл стихов XVIII века». Цикл опубликован: Вesy. 1908. № 2.

5. Рассказ, сколько нам известно, опубликован не был, и текст его неизвестен.

6. 24 июля Кузмин записал в дневнике: «“Руно”, стихи Городецкого, очень слабые, рассказ Ремизова, статьи Иванова и Блока (очень странная, хвалящая от Горького до Каменского, до Сергеева-Ценского вплоть, кем вдохновленная: Аничков <ым>, Чулковым?)». В пятом номере «Золотого руна» был опубликован цикл стихов С. М. Городецкого «Стихи о святой любви» и статья А. А. Блока «О реалистах». Более подробный комментарий к этой фразе см.: Литературное наследство. Т. 92, кн. 3. С. 291.

48

НУВЕЛЬ — КУЗМИНУ

*2 августа 1907.  
На бланке гостиницы  
«Метрополь»*

Дорогой друг.

Вот уже почти две недели, что я в Москве, и послезавтра уезжаю наконец в Петербург. Не писал Вам до сих пор и даже не ответил на последнее письмо, т.к. был очень занят и, кроме того, чувствовал себя все это время отврати<те>льно.

Видел Брюсова и Белого, просидевших у меня целый вечер. В редакции «Весов» познакомился с Ликиардопуло, Поляковым и Элли-

сом<sup>1</sup>, встретил Феофилактова. Разумеется, все москвичи ругательски ругают петербуржцев. Вы составляете почти единственное счастливое исключение. Ярость направлена главным образом против Чулкова, Блока, Вяч. Иванова, Леонида Андреева, Лидию Дмитриевну <так!><sup>2</sup> и Городецкого. Я всячески защищал Вяч.Иванова, оправдал Блока — глупостью, сам набросился на Чулкова, выругал Леон. Андреева и не пощадил Зиновьевой-Аннибал. Зато мужески отстаивал молодежь — Городецкого, Потемкина и др.

Брюсов поругивает Вяч. Иванова<sup>3</sup>, но кто не говорит о нем иначе как с пеною у рта, так это Эллис<sup>4</sup>. У меня был с ним горячий спор, из которого выяснилось, что этот кипяток ни что иное, как дионисианец и бодлерист, живущий исключительно «бездной»<sup>5</sup>. Брюсов очень мил, корректен, академичен. Вас очень хвалит. Впрочем, даже Белый при чтении Вас — «отдыхает»<sup>6</sup>. Белый тоже очень мил, но вести с ним продолжительную беседу — утомительно. Все время боишься: возьмет да и выпрыгнет в окно.

Итак, все Вас любят и всем Вы пришли по вкусу, за исключением З. Гиппиус, Леонида Андреева, Буренина, Боцяновского и др<угих>, им подобных<sup>8</sup>. Много шума здесь наделало известие о поступлении в «Знание» Чулкова, Блока и Ауслендера. Уверяют, что Блок написал последнюю статью в «Руне» специально для того, чтобы получить приглашение в «Знание»<sup>9</sup>. Вообще злословят немало.

«Руно» и «Перевал» скоро погибнут естественною смертью. Это факт достоверный<sup>10</sup>. Останутся одни «Весы».

Слышал, что Вы собираетесь в Москву. Верно?<sup>11</sup> Когда же Вы будете в Питере? Пишите мне туда, и поскорее. А когда думаете совсем переехать?

Брюсов Вам кланяется.

Ваш

*В. Нувель*

Письмо получено Кузминым 4 августа, о чем записано в дневнике: «Нувель прислал мне из Москвы утешительные новости о Брюсове и т.д., про себя мало». Многочисленные параллели к этому письму см. в письме Нувеля к Л. Д. Зиновьевой-Аннибал от 22 августа 1907 (см. Приложение 1).

1. Сергей Александрович *Поляков* (1874—1942) — владелец издательства «Скорпион», меценат, переводчик. *Эллис* (Лев Львович Кобылинский, 1879—1947) — поэт, критик, переводчик.

2. Л. Д. Зиновьева-Аннибал.

3. Литературная ситуация, описанная в письме, отчасти совпадает с той, что обсуждалась в переписке Кузмина с М. Ф. Ликиардопуло и с Брюсовым (см. в разделе «Вхождение в литературный мир»). О взаимоотношениях Брюсова и Вяч. Иванова в это время см. письмо Брюсова к Иванову от кон-

ца июля 1907 г., а также Иванова к Брюсову от 4 августа (Литературное наследство. Т. 85. С. 500—504).

4. Скорее всего, как указывают комментаторы «Литературного наследства», имеется в виду статья Иванова «О веселом ремесле и умном веселии» (Золотое руно. 1907. № 5), однако не исключено, что речь идет об общем впечатлении как от устных выступлений Эллиса, так и от его статьи «Пантеон современной пошлости» (Весы. 1907. № 6. С. 55—62), где содержатся резкие нападки на Иванова как автора альманаха «Факелы».

5. Выразительный портрет Эллиса этого времени см. в кн.: *Валентинов Н.* Два года с символистами. Stanford, 1969. Определение «бодлерист» связано как с переводами Эллиса из Бодлера, так и с его постоянным интересом к французскому поэту. См., напр., его рецензию на перевод «Цветов зла», выполненный А. А. Пановым (Весы. 1907. № 7. С. 75—77).

6. Ж. Шерон справедливо указывает параллель к этим словам в рецензии Белого на «Приключения Эме Лебефа» и «Три пьесы»: «Но мы так уютно отдыхаем, читая его легкие, слегка пикантные, всегда неподдельно остроумные, добродушные строки» (Перевал. 1907. № 10. С. 52). Ср. там же: «Я должен сознаться, что последнее время неизменно отдыхаешь на Кузмине после чтения претенциозных, крикливых и пестрых «глубинных» произведений».

7. Намек на ситуацию из комедии Н. В. Гоголя «Женитьба».

8. Имеются в виду статья З. Н. Гиппиус «Братская могила» (Весы. 1907. № 6), устные высказывания Л. Н. Андреева, отразившиеся в переписке (см.: Литературное наследство. М., 1965. Т. 72. С. 309, 528), пародии и критические статьи В. П. Буренина и других авторов «Нового времени», а также названные в примеч. 1 к письму 42.

9. О ситуации, в которой оказался Блок после появления статьи «О реалистах» (см. письмо 47, примеч. 6), см. тексты и примечания, опубликованные в кн.: Литературное наследство. Т. 92, кн. 3. С. 291—293.

10. Слухи о закрытии этих журналов распространялись довольно регулярно (см. в публикации писем М. Ф. Ликиардопуло), но они оправдались лишь частично: «Перевал» действительно закрылся в октябре, после выхода № 12. «Золотое руно», однако, просуществовало до конца 1909 г.

11. Эта поездка не состоялась.

Дорогой друг.

Пересылаю Вам письмо Диотимы, по ее просьбе<sup>1</sup>.

Теперь, кажется, уж Вы меня забыли. Получили мое письмо из Москвы? Когда, наконец, приедете? Приближается осень, а с нею la rentrée des amis. Приятно.

К сожалению, я чувствую себя довольно скверно и только и делаю, что лечусь. У меня объявился артрит, другими словами собачья старость, и я боюсь, что от геповеау<sup>2</sup> скоро останется только одна развалина.

Прочел изящный рассказ изящного Ауслендера<sup>3</sup> и нахожу, что это один из самых изящных образцов прославления онанизма или полового бессилия. Если не считать смутившее меня немного деепричастие «жажда», рассказ написан очень хорошо и оставляет много простора для пылкого воображения юного читателя. Ваши стихи, конечно, восхитительны, хотя вся эта глава, собственно, ни к селу ни к городу, если ее не озаглавить, напр<имер>, «Homage à Kousmine».

Однако я должен сказать, что все эти Вафилы и прочие дафнисоподобные юноши мне немножко надоели, и хочется чего-то более конкретного, ну, напр<имер>, современного студента или юнкера. Вообще удаление вглубь Александрии, римского упадка или даже XVIII-го века несколько дискредитирует современность, которая, на мой взгляд, заслуживает гораздо большего внимания и интереса. Вот почему я предпочитаю Вашу прерванную повесть и «Картонный домик» (несмотря на «ботинку»<sup>4</sup>) «Эме Лебефу» и тому подобным романтическим удалениям от того, что сейчас, здесь, вокруг нас.

Жалею, что не знаю еще Ваших последних стихов и рассказов: «Кушетки тети Сони» и пр. Надеюсь, Вы сохранили вторые экземпляры. И дневник меня очень интересует, хотя Вы и находите его однообразным.

Приезжайте скорее. Подумайте, что с Вашим приездом связано многое, напр<имер>, встреча (моя) с Н.

Не забывайте меня!

Ваш

*В. Нувель*

См. запись в дневнике Кузмина от 12 апреля: «Письмо Диотимы, пересланное мне Нувелем, живо напомнило мне петербургских друзей и захотелось их видеть и быть в городе. Письмо самого Нувеля — какое-то кисленькое».

1. Это письмо см. в Приложении 1.

2. Игра слов, основанная на буквальном значении гафизического прозвища Нувеля — «обновление».

3. Речь идет об «идиллической повести» С. А. Ауслендера «Флейты Вафила» (Перевал. 1907. № 8/9. С. 5—13), к которой Кузмин написал стихотворение «Серенада» (включено также в его книгу «Сети»). Эпитет «изящный» употреблен Андреем Белым в суждении об Ауслендере: «Неуместен

изящный Ауслендер в этой книге <альманах «Проталина». — Н.Б. > манерного производства» (Весы. 1907. № 7. С. 73).

4. См. в повести: «Демьянов широко перекрестился и, опустясь на пол, поцеловал ботинку Мятлева».

50

КУЗМИН — НУВЕЛЮ

Милый друг,

простите, что долго Вам не писал, отнюдь не забывая Вас. Мой переезд в город, к которому я стремлюсь всею душою, замедляется отчасти этой глупой Званцевой, возвращающейся только 23-го<sup>1</sup>, отчасти сестрой и Сережей, уезжающими 22—24 и которые просят меня ехать с ними<sup>2</sup>. Очень жаль, что Ивановы медлят в своем уединении, хотелось бы их обнять и посмотреть на образовавшийся «экстракт» из Диотимы от ежедневных 20-минутных ее плаваний<sup>3</sup>. К стыду, я музыки к «Ослу» не писал еще и летом вряд ли буду<sup>4</sup>. «Вафилл» мне нравится меньше всех рассказов Ауслендера. «Кушетка тети Сони» пойдет в 9 № «Весов», а стихотворения «Ракеты», посв<ященные> Наумову, в начале 1908 г. (февраль, вероятно), там же<sup>5</sup>. Наумов с 20 июля до последних дней был в Петербурге, расстроен, мрачен, кто-то у него умер, добрая половина писем к нему не доходит, теперь его везут куда-то на завод по Ю<го->В<осточной> ж<елезной> д<ороге>, где он пробудет до конца августа, остановившись дня на 2 в Москве. Все не весьма утешительно, как видите<sup>6</sup>. «Кушетка тети Сони» — современна. Там как раз 2 студента, институтка, старый генерал и старая дева. Но все мои планы — на «удаления», как Вы их называете, и начатый современный «Красавец Серж» без аппетита отложен. Планов куча, «Путешествие», «Разговор о дружбе» (ряд рассказиков), «Александр», «М-ше Guyon» «Орест» (пьеса; вероятно, первое, что буду делать, готовясь в то же время к сэру Фирфаксу) и что-нибудь из юнкеров<sup>7</sup>.

Гипсиус совсем меня зацарапала<sup>8</sup>. Ваше письмо чем-то кисленькое, лето всех утомило, по-видимому, кроме Диотимы. Если попаду в Москву, то в конце октября. На днях неожиданно получил письмо от Сапунова с Кавказа. Полон планов и предприятий, попадет, м<ожет> б<ыть>, в Петербург, сватает мне какого-то грамотного танцора из очаровательных учеников, пленившегося заочно (опасно это пылание заочно для меня) моими «Курантами» etc. и рассказами обо мне. И кучу других мечтаний<sup>9</sup>.

Скоро, скоро я полечу к Вам, милые друзья, надеюсь, все такие же ко мне, как и я к Вам. Только не очень шпыняйте меня за «Эме Лебефа» (*malgré tout et tous* лучшее мое) и не влеките временно не

расположенного к тому, что «сейчас и вдруг». Изящный Ауслендер шлет Вам привет. Целую Вас

М. Кузмин

11 августа 1907<sup>10</sup>

1. См. письмо 46, примеч. 6. 10 августа Кузмин записал: «Званцева приезжает только 24-го, хотя и предлагает мне поселиться без стола и прислуги, что не очень-то меня устраивает».

2. Кузмин уехал из Окуловки 23 августа.

3. См. письмо Зиновьевой-Аннибал в Приложении 1.

4. Музыка к «Певучему ослу» написана никогда не была.

5. «Кушетка тети Сони» и «Ракеты» были действительно опубликованы в «Весах», только рассказ — не в № 9, а в № 10.

6. См. в дневнике Кузмина за 11 августа: «Письмо от Наумова, смутное и тревожное; куда-то его везут, несколько писем не получал, скучает, надоело. Если не драма, то какие-то пертурбации явно чувствуются».

7. Из этих планов Кузмина осуществились, хотя и значительно позднее, лишь повести «Путешествие сэра Джона Фирфакса по Турции и другим замечательным странам» (Аполлон. 1910. № 5) и «Подвиги великого Александра» (Весы. 1909. № 1). Все остальное не было написано. См. в дневнике за эти дни: «Зимой напишу «Сержа», «Фирфакса», «Ореста» и «Разговор о дружбе», кроме стихов» (2 августа); «“Сержа” не пишу, помышляю об осени, о работе, о друзьях; какими-то я их встречу? И милый «Фирфакс», и «Орест», и музыка, и все» (4 августа); «С какою радостью осенью буду писать «Ореста» и «Путешествие», посвящаемое Брюсову» (5 августа); «Что же это я ленюсь, в самом деле. За “Сержа” приниматься большое отсутствие аппетита; если бы я был достаточно осведомлен, сейчас же принялся за “Ореста”, хотя главные мои aspirations к “Фирфаксу”. Пересматривая “Эме” вижу, что “Сержа” писать не хочется, другого не могу. Все до осени. Покуда подчитаю к “Фирфаксу”, буду писать “Ореста”» (7 августа); «“Сержа” писать не хочется, другого не могу. Все до осени. Покуда подчитаю к “Фирфаксу”, буду писать “Ореста”» (12 августа). Планы «Красавца Сержа», «Ореста» и материалы к повести о m-me Guyon сохранились: ИРЛИ. Ф. 172. Ед. хр. 321. Л. 97 об.—99, 102, 104 об.—105об.

8. Речь идет о статье З. Н. Гиппиус «Братская могила» (Весы. 1907. № 6).

9. См. дневниковую запись от 8 августа: «Письмо от Сапунова меня подбодрило и даже, я скажу, взбудоражило: полон планов etc., нашел какого-то Амура, дружествен. Как вспомнилась зима. Павлик пишет, что видел того

студента в Павловске». Письмо Н. Н. Сапунова опубликовано Дж. Малмстадом (Letters of N. N. Sapunov to M. A. Kuzmin // Studies in the Life and Works of M. A. Kuzmin. Wien, 1989. S. 155—156).

10. Вероятно, описка в дате (см. следующее письмо).

51

КУЗМИН — НУВЕЛЮ

Милый друг,

я приезжаю 23-го вечером, буду у Вас 24-го, если Вы в городе. Ничего не спрашиваю, ничего не говорю, оставляя все это на свиданье. Многие ли друзья в городе? дня два буду жить на даче из-за Званцевой. Особенно хотел бы я иметь в городе уже Ивашовых. Писал Вам 12-го. Сережа сегодня возвращается из Москвы, куда он ездил на 3 дня<sup>1</sup>. Возвращаемся вместе. Целую Вас, будьте здоровы — это прежде всего. До свиданья.

М. Кузмин

18 августа 1907

1. Поездка Ауслендера была важна для Кузмина, поскольку отчасти заменяла его собственную, неосуществившуюся. Поэтому приводим дневниковые записи о ней: «Сережа получил за «Вафилла» гонорар, но «Перевал» мы еще не видели; там могут быть интересные рецензии. <...> Сережа вдруг решил ехать в Москву с барышнями. Это, конечно, удобней всего, покуда есть деньги и попутчицы» (13 августа); «Сережа дописывал свой рассказ <...> Я делал ему наставления для Москвы» (14 августа); «От Сережи отписка, ничего еще важного. Москва, кажется, не очень нравится. В «Сером волке» проекты памятника мне и Ремизову, достаточно похоже. На «Вечере совр<еменного> искусства» выведены Диотима, я и Городецкий; хорошо еще, что мои искания считаются увенчивающимися успехом, чем не хвастается Аннибал» (17 августа); «Письмо только от Сережи о его пребывании в Москве» (18 августа); «Сережа и утром не приехал; не может поймать он Брюсова, что ли, или закрутился в «Перевале»? <...> Приехал зять и Сережа, усталый с дороги. Проводив Екат<ерину> Ив<ановну>, мы еще долго беседовали с Сережей о Москве, уже лежа в темноте. Предложение «Скорпиона» есть издание вместе «Карт<онного> дом<ика>», «Крыльев», «Красавца Сержа». Москва утомила Сережу «делами», шумом, распрями, интригами. Был одновременно с ним там Ремизов, которого он, однако, не видал» (19 августа); «Рассказы Сережи как-то смугили меня, не знаю, чем» (20 августа). См. также письмо Ауслендера к Г. И. Чулкову от 20 августа (Приложение 2).



Павловск,  
20/VIII <19>07

Дорогой друг.

Ваше имя продолжает блистать ежедневно на страницах, передовой печати. Сегодня читаю его сразу в двух фельетонах той же газеты — направо и налево<sup>1</sup>. Правда, есть примечание редакции, благоразумно убоявшейся обвинения скопом в протivoестественных наклонностях. Теперь, по крайней мере, нам ясно, что в ее личном составе нет ни одного «Кузмина». Действительно, Ваше имя стало нарицательным, но не столько в смысле «третьей известности», как думают иные, а в более серьезном значении, как настоящий и необходимый протест против «стуканья лбами». Как жалки и беспомощны нападки Антона Крайнего!<sup>2</sup> В сущности, ему нечем кольнуть, даже такое знаменитое жало — бессильно.

Итак, у Вас два верных друга, Брюсов и Пильский, два критика и в то же время редактора (один будущий), что также не без приятности. При такой защите врагов бояться нечего<sup>3</sup>.

Мое письмо Вам показалось кисленьким. Немудрено. Вот уже два месяца, как я чувствую себя отвратительно. Старюсь не по дням, а по часам, и прозвище «Renouveau» звучит теперь одной насмешкой. В настоящее время занят лечением. Увидим, что из этого выйдет.

Напишите, когда в точности Вы приезжаете, чтобы я мог Вас повидать в первый же день.

Костя<sup>4</sup> шлет Вам привет. Он бодр, весел и, на вид, дьявольски молод.

Судя по настроению, царящему в литературных лагерях, мне кажется, что предстоящей зимой все должны друг с другом переругаться. Боюсь даже за свои отношения к Ивановым, т.е., конечно, к Лидии Дмитриевне.

Нельзя же, право, все время ломать комедию и скрывать, что в сущности согласен и с Брюсовым, и с Пильским, и с Белым, и с Антоном Крайним, т.е. со всеми, кто ее ругает<sup>5</sup>. А сказать это — значит вражда навеки, и, пожалуй, не только с нею, но и с Вяч<еславом> Ив<ановичем>. Просто не знаешь, как быть.

С удовольствием думаю о возобновлении «ойгий» у трех граций<sup>6</sup>. Зин. Венгерова<sup>7</sup> мне клялась, что Бэла<sup>8</sup> вернется и все будет по-старому. А вот Гафиза уж больше не будет. Это наверно. Но не явится ли что-нибудь «на смену». Это было бы любопытно<sup>9</sup>. Во вся-

ком случае, Вам необходима новая «Прерванная повесть». Ведь это осеннее развлечение!<sup>10</sup>

Жду!

Ваш

*В. Нувель*

Привет Ауслендеру, «Вафил» которого очень понравился Аргентинскому.

1. См. в дневнике Кузмина 20 августа: «В «Понедельнике» Пильский восхваляет меня, с оговоркой редакции, и Чуковский пишет что-то про всех нас, неясное и ловкое». Имеется в виду статья П. Пильского «О красоте и пустоте», противопоставляющая «Картонный домик» творчеству Зиновьевой-Аннибал, с редакционным примечанием: «Точка зрения редакции на г. Кузмина и Кузминых прямо противоположна взгляду г. Петра Пильского» (Свободные мысли. 1907. 20 августа/2 сентября). Там же опубликована статья К. Чуковского «Чудо».

2. Имеется в виду все та же статья З. Гиппиус «Братская могила».

3. В. Я. Брюсов был фактическим редактором журнала «Весы», а критик Петр Моисеевич Пильский (1876—1942) — редактором газеты «Свободные мысли».

4. К. А. Сомов.

5. О критической реакции на творчество Зиновьевой-Аннибал см.: *Никольская Т.Л.* Творческий путь Л. Д. Зиновьевой-Аннибал // Ученые записки Тартуского гос. университета. Тарту, 1988. Вып. 813.

6. См. письмо 29, примеч. 15.

7. *Венгерова* Зинаида Афанасьевна (1867—1941) — критик и переводчица.

8. *Бэла* — прозвище Л. Н. Вилькиной.

9. Встречи «гафизитов» осенью 1907 г. действительно не могли состояться, т.к. не возвратившись в Петербург из Загорья Л.Д.Зиновьева-Аннибал умерла. О некоторых попытках создания нового кружка см. в статье «Кузмин осенью 1907 года».

10. События, ставшие прототипической основой повести «Картонный домик» и стихотворного цикла «Прерванная повесть», происходили осенью и в начале зимы 1906 г.

КУЗМИН — НУВЕЛЮ (отрывок)

...одной книжкой<sup>1</sup>. Рябушинский прислал пресмешное письмо<sup>2</sup>. До скорого, скорого свиданья. Целую Вас. Все ли мои повести будут «прерванными»? Укладываюсь.

Ваш

*М. Кузмин*

*22 августа 1907 г.*

Согласно списку писем Кузмина, после этого письма он получил от Нувеля еще два - 23 августа и 20 сентября.

1. Очевидно, имеется в виду предложение издательства «Скорпион» об издании в одной книге «Крыльев», «Картонного домика» и ненаписанного «Красавца Сержа» (см. письмо 51, примеч. 1).

2. См. в дневнике Кузмина за это число: «Письмо от Рябушинского, смешное до трогательности. Нувель ждет меня. Рябушинский пишет, что человек с черными глазами, духами, по всем направлениям не может делать некрасивых поступков, и вдруг бойкот и т.д.». Письмо не сохранилось в известных нам собраниях, однако понятно, что Н. П. Рябушинский уговаривал Кузмина отказаться от подписи под письмом о выходе из состава участников «Золотого руна». От подписи Кузмин официально не отказывался, однако сотрудничество в журнале Рябушинского возобновил.

КУЗМИН — НУВЕЛЮ

*<28 сентября 1907>*

Дорогой Renouveau

сегодня после бессонной ночи имел удовольствие узнать, что завтра вечером я не могу быть с Вами.

Это досадно — и что не увижу Вас, и что отложится посещение Ал<ексея> Вл<адимировича><sup>1</sup>; передайте ему мой поклон и объясните, что отнюдь не мое нежелание заставляет делать эти отсрочки.

Спросите также, если уже не знаете, адрес Сергея Павловича<sup>2</sup>. Вам поклон.

Весь Ваш

*М. Кузмин*

Письмо связано с событиями, описанными в дневнике. 25 сентября: «Дягилев уже в Париже, но как его адрес? <...> Маврин говорил, чтобы Нувель привел меня к нему»; 26 сентября: «У Сомова был Нувель, передавший

приглашение от Бенуа, сегодня у Маврина»; 27 сентября: «Совсем не спал, читая «Fanchette», думая почему-то о Валааме, о св. Артемии Веркольском. Я стал молиться, вспоминая не забытые молитвы. Это успокоило, но сна не привело. Опять читал «Fanchette». Какая-то заброшенность, апатия». Датируется по списку писем.

1. *А.В.Маврин* — секретарь С. П. Дягилева.

2. Дягилева.

55

#### НУВЕЛЬ — КУЗМИНУ

*Суббота 29/IX <19>07*

Очень рад за Вас, милый друг. Конечно, жду Вас <в> воскресенье днем — до 3-х — 4-х часов. Ведь Вы придете? Чувствую себя заранее отринутым. Так приходите, чтобы я не оказался еще и покинутым. Волнуясь, жду. Как буду волноваться, слушая Ваш правдивый рассказ<sup>1</sup>.

С <Алексеем> Вл<адимировичем><sup>2</sup> стговорюсь. Кланяйтесь, кланяйтесь В.А. !!<sup>3</sup> Ваши бессонные ночи меня беспокоят. «Что-то ждет нас впереди».

Ваш

*В. Нувель*

1. Речь идет о том, что В. А. Наумов обещал Кузмину прийти к нему в субботу (см. в дневнике за 28 сентября: «Письмо от Наумова, милое: придет в субботу. Приплелся Павлик, немного устроившийся, кажется. Как он проник, не знаю. Сидел дома, перечитывая короткую записку В<иктора> А<ндреевича>»), что вынудило Кузмина перенести планировавшуюся, очевидно, встречу в этот день с Нувелем на воскресенье, 30 сентября. См. дневниковые записи о встречах этих двух дней: «Я торопился домой и, купив папирос и конфет, поспел раньше В<иктора> А<ндреевича>. Приехал он очень ажитированный, долго говорили о занятиях и т.д., я был скучен и moussade. Ему тяжело, что он причиняет мне тяжесть, но ничего поделать он не может, будто бы. Уговорились гулять в понедельник. Звал к себе и обещал познакомить с сестрами. Был расстроен и, кажется, растроган. Говоря, что ничего сделать не может, поцеловал меня несколько раз. Ушел в первом часу, я поехал его проводить до моста, вернувшись рано. Какой-то осадок есть, мне кажется, я не так себя веду, как нужно» (29 сентября); «Нувель недоволен моей тактикой».

2. Мавриным.

3. Наумову.

## КУЗМИН — НУВЕЛЮ

Милый Вальтер Федорович,  
 может быть, мне придется приехать в Петербург на день или на два ради свиданья с В.Н.<sup>1</sup> Не могу ли я, если придется, переночевать у Вас один раз? Ведь, может быть, и не нужно будет.

Я здоров, но, разумеется, скучаю. Пишу понемногу. Написал рассказ «Флор и разбойник» и начал небольшую поэму «Всадник»<sup>2</sup>.

В.А. возвращался через Одессу и в Окуловку не заезжал. Очень, очень хочу Вас видеть всех. Что Петр Петрович?<sup>3</sup> Не приехал ли Сергей Павлович<sup>4</sup>, мои поклонения ему. Целую Вас

*М. Кузмин*

*15 июля 1908*

Несмотря на большой перерыв в письмах, пропало их немного: в списке писем Кузмина и к нему числится лишь 3 неизвестных нам письма Нувеля от 1 и 2 ноября 1907 г., а также от 4 марта 1908 г.

1. Полагавшаяся возможной поездка для свидания с В. А. Наумовым из Окуловки, где Кузмин проводил вторую половину 1908 г., в Петербург в июле—августе не состоялась.

2. «Флор и разбойник» — Весы. 1908. № 9; «Всадник» — впервые в книге «Осенние озера» (М., 1912). Посвященная И. фон Гюнтеру поэма была задумана 28 июня, а закончена 21 июля. Об истории создания поэмы см. в письме И. фон Гюнтера к В. Ф. Маркову (*Кузмин М. А. Собрание стихов.* München, 1977. Т. III. С. 638—639), хотя настрой, в котором она писалась, Гюнтером несколько изменен. Судя по дневнику Кузмина, поэма была вызвана к жизни встречей с Гюнтером, когда Кузмин играл роль мага и «шарлатанил».

3. *Петр Петрович* — Потемкин.

4. *Сергей Павлович* — Дягилев.

## НУВЕЛЬ — КУЗМИНУ

*17/VII <19>08*

Дорогой Михаил Алексеевич.

Сегодня утром вернулся из Ревеля, а послезавтра уезжаю на неделю в Стокгольм. Таким образом, нам едва ли удастся встретиться в Петербурге, если Вы не отсрочите приезда. Во всяком случае, я дам

распоряжение Аннушке приютить Вас на ночь, если меня не будет. Pour compensation Вы найдете Петра Петровича. Буду очень жалеть, если не увидимся.

Сегодня получил ответ от В. А., которому наконец-таки написал.

Что Вы делаете? Где Серг<ей> Серг<еевич><sup>1</sup>? Вообще, что-то ждет нас впереди?

Целую Вас

Ваш верный союзник

*В. Нувель*

См. в дневнике 18 июля: «Письмо от Валечки, живо мне напомнившее Петербург; пишет, что получил ответ от В<иктора> Н<аумова>, пожалуй, будут еще видеться, завяжут сношения». Ср. открытку Нувеля к Сомову от 18/31 июля: «Вчера только вернулся из Ревеля, а завтра уезжаю <...> в Стокгольм, откуда вернусь в понедельник 28-го <...> Если будешь здесь раньше, зайди к П. П. <Потемкину>. Он будет очень рад» (РГАЛИ. Ф. 869. Оп. 1. Ед. хр. 59. Л. 45 об.).

1. *Сергей Сергеевич* — Позняков (1889—1940-е?), любовник Кузмина в это время, студент Петербургского университета, литератор-дилетант, автор «Диалогов» (Весы. 1909. № 2). См. также письма 59—61.

58

НУВЕЛЬ — КУЗМИНУ

5/IX <19>08

Дорогой Михаил Алексеевич,

Вот что: Петр Петрович<sup>1</sup> не выносит одиночества. Кроме того, для него было бы хорошо быть в постоянном общении с человеком, ему дорогим и близким. Такой человек — Вы. Если Вы еще не устроились, я был бы очень рад, если б Вы поселились вместе с ним. Думаю, что и Вам это было бы приятно. Как жилец П.П. замечательно удобен. Стеснять Вас, конечно, он ни в чем не будет. Наоборот!

Напишите, пожалуйста, как Вы относитесь к такому предложению. Мне кажется, такая комбинация в высшей степени приемлема и даже желательна.

О себе не пишу — нечего! Видел Виктора Андреевича всего один раз. Он пополнел, и вид у него вполне здоровый. Несмотря на мое приглашение, он с тех пор у меня не был. Je n'en pleure pas.

Скоро надеюсь Вас обнять. Пора Вам возвращаться.

Хотя ничего заманчивого здесь и нет, но все же я очень надеюсь, что зима будет интересна, особенно при Вашем благосклонном содействии.

Сердечно Ваш

*В. Нувель*

1. *Петр Петрович* — Потемкин.

## КУЗМИН — НУВЕЛЮ

Милый и дорогой  
Вальтер Федорович,

я еще никак не устроился. Знаю одно, что у Ивановых не только не буду жить, но и произойдет большое охлаждение, чтобы не сказать более<sup>1</sup>. Много раз вспоминал Вас и Сомова с большою нежностью, *on revient toujours à ses premiers amours*. Я думаю, что мы будем, может быть, по-новому, но теснейшим образом вместе. М<ожет> б<ыть>, я буду жить с Сергеем Сергеевичем, еще не знаю. Я к Петру Петровичу отношусь очень хорошо, не выношу так же одиночества, и, конечно, был бы рад устроиться в одном месте и недалеко от Вас (это во всех случаях), но сам не знаю до приезда, как это выйдет.

Мне необходимо увидаться с Вами, прочесть дневник чуть не с ноября 1907 г. и т.д. и поговорить о новом своем курсе<sup>2</sup>.

Писал довольно много, теперь очень увлечен текстом и мелодиями оперетки (Singspiel) «Забава дев»<sup>3</sup>. Здоров.

От В. А. получаю письма не часто. Если не потребуют дела, приеду числа 15—18.

Целую Вас всех

*М. Кузмин*

*7 сентября 1908*

1. Фраза связана с тем, что Вяч. Иванов предложил Кузмину разделить с ним квартиру, однако бурный роман с Позняковым и желание жить с ним вместе привели Иванова в такое смущение, что он выразил желание видеть Кузмина жильцом «башни» только в одиночестве, чем последний был возмущен. Однако возмущение довольно быстро улеглось, а в 1909 г. Кузмин переехал на «башню». См. в дневнике 7 сентября: «Очень недружественная телеграмма от Ивановых; отвечу и поступлю, как следует. <...> Валечка пишет, не устроюсь ли я с Потемкиным. Перед розовыми облаками в открытое окно, думаю о Познякове, Ивановых, петербургской жизни».

2. См. запись от 10 сентября в дневнике Кузмина: «Остановился в «Северной», заботясь, чтобы рядом был пустой номер. <...> Поехал к Валечке, куда прибыл и Сережа. Новости, сплетни, несколько кисел. Потачились в «Вену» <...> Завтра к Дягилеву и Бенуа. Телеграммы нет. Валечка рассчитывает на Коровина для журнала. Так много людей нужно видеть. Еще Виктора; как я буду с ним объясняться?»

3. Оперетта «Забава дев» была поставлена в Малом театре в 1911 г. и имела относительный успех.

## КУЗМИН — НУВЕЛЮ

Дорогой Вальтер Федорович, вот я опять вдали от всех Вас<sup>1</sup>. Напишите мне, пожалуйста, что у Вас делается и в особенности что слышно о Сергее Сергеевиче. Хотя я к нему почувствовал некоторый ледок от его предотъездных фокусов<sup>2</sup>, но тем не менее он мне очень дорог, и я бы Вас покорнейше просил не устраивать его «счастья» никаким образом. Ведь нет ничего тайного, что бы не сделалось явным, и я Вам обещаю, что хотя бы Сергей Сергеевич мне оказался тогда нужен как прошлогодний снег, но я не прощу его «устройства». *Ни в чем его не устраивайте*. Без меня лучше бы даже личина невнимания.

Сомова попросите устоять против авансов Познякова, *п<о>т<ому> ч<то>* как мне ни дорог Сомов, я принужден буду с ним рассориться, и надолго, узнав (а узнать рано или поздно я узнаю). Вот. Пишу много, не скуаю. Знайте, что все это серьезно, как самая серьезная вещь. Передайте мое *умоление* Сомову непременно и пишите. Отказывайте во всем С. С.

Целую Вас

*М. Кузмин*

*31 октября 1908*

Это письмо и два следующих связаны с обострением отношений между Кузминым, Нувелем и Сомовым из-за ревности первого. См. в дневнике об этих письмах 31 октября: «Написал разгон Нувелю и «Руну». Вечером играли в карты. Иногда работаешь весело, иногда же чуть не плачешь, как вспомнишь С<ергея> С<ергеевича>, это какое-то сплошное недоразумение». 5 ноября: «От Валечки письмо, чтобы меня успокоить, но пикированное». 6 ноября: «Все вспоминаю, что меня расстроило? Письмо Валечки, неудовлетворенное ожидание, отсутствие писем? Не знаю, но целый день не в духе».

1. 26 октября после недолгого визита в Петербург, где он нередко виделся и с Нувелем, Кузмин вернулся в Окуловку.

2. См. о поведении Познякова в дневнике Кузмина: «Я злился, в гостинице закатил сцену. У Сологуба он был мил, но ухаживал за Сомовым, с которым Валечка его сводит» (21 октября); «Утром вместо Сережи записка: «Такое положение дальше продолжаться не может, лучше некоторое время не видаться». <...> Теперь мне не описать своего положения, тем более, что вчера Сережа мне казался желаннее, чем когда бы то ни было. <...> Потом Позняков: выяснил ему поведение и точку зрения теперешнего моего отправления» (23 октября).



НУВЕЛЬ — КУЗМИНУ

3 ноября &lt;19&gt;08

Успокойтесь, дорогой Михаил Алексеевич. Никакой опасности нет. Мы столько же думаем о С. С., сколько о прошлогоднем снеге. С тех пор, что Вы уехали, никто из нас его не видел. Мы забыли бы о его существовании, если бы Вы не напомнили.

Но мне жаль, что Вам приходится прибегать к «усиленной и чрезвычайной охране»<sup>1</sup> Ваших прав и интересов, даже к угрозам самого жестокого свойства. Надеюсь, все это скоро пройдет, т.к., по-моему, *c'est plutôt une question d'amour-propre*.

Ваш

*В. Нувель*

1. «Положение об усиленной и чрезвычайной охране» вводилось в России в критических ситуациях (например, в революционные годы).

КУЗМИН — НУВЕЛЮ

Дорогой Вальтер Федорович, Вы можете думать и надеяться на что угодно, но мои не угрозы, а слова остаются в прежней силе. Я просто сообщаю заранее, что всякий *masgrôte* С. С. будет мною принят как такая измена и оскорбление, после которых немислимы дружеские отношения. Мне помнится, что опасаться этого я имел основания. Одним словом, хотите верьте, хотите нет, поступайте, как найдете удобным, но Вы не можете оправдываться, что не знали, как я к этому отнесусь. Я очень бодр и много занимаюсь, больше, кажется, нечего и сообщать, а Вы, по-видимому, не в расположении делиться новостями, которые я был бы очень рад знать здесь, в уединении.

Милому Сомову мой поцелуй. Дай Бог, чтобы не пришлось с ним ссориться. И для него ведь это не так уже важно!

Кланяюсь всем. Целую Вас.

Ваш

*М. Кузмин*

Еще раз подтверждаю свои слова надолго, т.е. вплоть до нового распоряжения.

6 ноября 1908 г.

НУВЕЛЬ — КУЗМИНУ

8/1 &lt;19&gt;09

Дорогой Михаил Алексеевич,  
 Посылаю Вам при сем 50 рублей. Твердо рассчитываю получить всю сумму 12-го. Иначе страшно подведете. Постараюсь получить билет на «Ваньку Ключника»<sup>1</sup>. Надеюсь Вас встретить, хотя бы без С. С.<sup>2</sup>  
 Ваш

В. Нувель

1. «Ванька-Ключник и паж Жеан» — пьеса Ф. Сологуба, поставленная Н. Н. Евреиновым в театре на Офицерской. См. письмо 64, примеч. 1.

2. С. С. — Позняков (см. примеч. 1 к письму 56).

КУЗМИН — НУВЕЛЮ

Дорогой Вальтер Федорович,  
 простите, что сам не заехал. Сегодня, вероятно, будем на «Ваньке Ключнике», если С.С. свободен<sup>1</sup>. Не знаю, выберусь ли и куда из гостиницы при полной убитости новой сложностью. По правде сказать, не очень-то я верю в непричастность самого Сережи ко всей этой истории. Вчера просидел вечер у Блока<sup>2</sup>. Попрошусь переехать до 19 (время окончательного переезда ко мне С.С.) к Ме<й>ерхольду, Тамамшевым, Ремизовым — (что я знаю?), а то в комнате у чужих теперь я прямо повешусь<sup>3</sup>.

Как насчет завтраво, или в субботу? Сообщите по телефону. Спасибо. Целую.

Ваш

М. Кузмин

8 января 1909

1. См. в дневнике за это число: «Купил билеты на «Ваньку», крест. <...> Сережа очень опоздал, прямо стал говорить, что я его меньше люблю, раздражаю и т. п. На пьесе было тесно и далеко сидеть. Нам не понравилось, хотя играли хорошо и успех имела».

2. См. в дневнике за 7 января: «Вечером <Позняков> не пришел, я поехал к Ремизовым, но их не было дома, а я отправился к Блоку, где и просидел вечер, слушая и читая стихи».

3. В это время Кузмин находился в отчаянном финансовом положении, что обостряло и без того сложные отношения его с С. С. Позняковым. См. запись в дневнике, фиксирующую события 11—23 января: «Эти две недели будто 20, будто 200 лет прожито, и я то вверх влекусь надеждой и обеща-

ями, то стремлюсь вниз головой в пучину. Сережа поклялся на моем кресте, что к 20-му все устроится и он переедет ко мне. Все сижу в гостинице. Сомов пишет портрет. У Тамамшевых был маскарад, Сережа ухаживал сломя голову за Настей <А. Н. Чеботаревской>, я ревновал и вел себя невозмож-но <...> Сережа объявил, что 20-го он не может переехать. Клятва вздор, он дал ее ложно. Потом объявил, что не любит меня. Я хотел отравиться, конечно, не сделал этого, конечно, примирюсь со всем, что он захочет, конечно, он будет изменять, м<ожет> б<ыть>, женится — я все приму: я трус и раб, но люблю его больше Богородицы. Я болен, три раза кашлял с кровью, жар, ломота. Внешне все по-старому, были в театре, в Царском, у Ремизо-вых, на философск<ом> собрании; я начинаю заниматься, сижу без денег, как устроюсь, не знаю, — не все ли равно».

65

КУЗМИН — НУВЕЛЮ

Простите, милый друг, задержку. Я ездил в Москву и приехал только сегодня<sup>1</sup>. Надеюсь, что все благополучно и Вы не слишком подведены. Воображаю, что Вы обо мне думали, но я не вконец мо-шенник. Очень жду Вас, чтобы видеть, что Вы не сердитесь. Благода-рю Вас и С. П.<sup>2</sup>.

Ваш

*М. Кузмин*

*16 января 1909*

1. См. в уже цитировавшейся записи за 11—23 января: «Через день по-вестка из суда. Поскакал без вещей в Москву, Сережа провожал меня, слег-ка печальный, бесконечно милый, в фуражке. В Москве холод, все милое, дело почти устроил, запродав свою душу «Скорпиону», но пока это устраи-валось, чего только не передумал, и лицо, глаза милого Сережи меня оста-навливали от безумств. Не видеть его, да лучше быть собакой, калеккой, брю-совским рабом, прикованным к ложу, только бы видеть. <...> Вернулся, расплатился». В тот же день, что и Нувелю, Кузмин написал Сомову: «...меня задержали очень неприятные дела, которые теперь к счастью кончены» (ГРМ. Ф. 133. № 232).

2. С. П. — Дягилев.

66

КУЗМИН — НУВЕЛЮ

*Открытка со штемпелем:  
Окуловка, 27.2.<19>09.*

Милый друг, я так рад, что последний вечер, проведенный в горо-де, был именно такой, и помню благодарно все, что Вы говорили. Я

вскоре напишу Вам и Петру Петровичу, — а куда будьте другом, сообщите, где, как, с кем и в каком виде видели Вы С. С. Целую.

Ваш

*М. Кузмин*

67

КУЗМИН — НУВЕЛЮ

Милый Renouveau, благодарю Вас за дружбу и за утешительные сведения о С. С.

Если Вам вздумается осуществить Вашу «безумную мысль», т.е. приехать в Окуловку, мы будем очень рады<sup>1</sup>. Я вполне понимаю Ваше настроение и очень жалею Вас, но, не зная всего, чем могу помочь? да и возможна ли тут помощь? Вот когда жалко, что искусство не может достаточной быть отдушиной для Вашей печали. Il n'y a que l'art<sup>2</sup> всегда приходит на помощь в таких случаях, хотя я предчувствую, что данный Ваш случай совсем не то, не заурядная измена или невозможность, но вроде того поворота, который всех нас ждет, который при большей взаимности, м<ожет> б<ыть>, представляет один из прекраснейших видов любви, притом без риска измены и ревности. Я говорю о том времени, когда половое стремление (всегда главное, без чего ничто не существует: ни чувство, ни искусство, ни вера: скопец — не может быть художником и священником, он лишен творчества) переходит в потенциальное состояние, уступая первенство нежности, дружбе, руководительству, не простым, но как-то в высшей степени любовным и целомудренным. При искусстве возможна роль музы, Дульциней, что я знаю? Это страшно трудно и сурово, несмотря на всю сладость такого отречения. Я уверен, что этот час еще далек от Вас, но предупреждающие удары мы все знаем, и всегда кажется, что это — последний... Если бы я был более увлечен Судейкиным, и с его стороны было что-нибудь, кроме детского обмана и комедии, разве не ужасным ударом была бы вся эта история?<sup>3</sup> И если в будущем моей теперешней любви стоит нечто подобное, то это будет удар если не последний, то предпоследний<sup>4</sup>. Я не знаю, в чем невозможность, ревность etc. у Вас. Любит ли он другого, глух ли к такой любви вообще, глух ли к Вам, не любя другого? Это все надо знать, и чего Вы хотите? и чего достигнуть Вы не можете надеяться? Приезжайте, дорогой друг, а пишите во всяком случае.

Я здоров и покоен, но мало работаю. Поклон Сомову и Потемкину. Целую Вас.

*М. Кузмин*

2 марта 1909

<Приписка> Простите за мозгологию<sup>5</sup>. Очень люблю Вас.

См. в дневнике Кузмина 1 марта: «Солнце. Письма от милого Сережи и доброго Нувеля. Какая радость. Веселятся они напропалую. Ну и что же: это хорошо».

1. Нувель в Окуловку, где Кузмин прожил с небольшими перерывами с лета 1908-го до осени 1909 г., не приезжал (см. примеч. к письму 67).

2. Фраза, которая имела в кругу Кузмина особое значение. См. в дневнике 17 августа 1909 г.: «Слава Богу, *vita puova?* сколько раз она начиналась. <...> Дома играли Бетховена и Моцарта. Тихо, спокойно. Работать. Il n'y a que l'art, как говорит Бакст после сердечных крушений».

3. Подробнее см. в статье «Автобиографическое начало в раннем творчестве Кузмина».

4. Имеется в виду роман с С. С. Позняковым, завершившийся довольно скоро и без особых последствий.

5. Слово, которым в кругу Кузмина, Нувеля, Сомова обозначалось бесплодное умствование.

68

#### НУВЕЛЬ — КУЗМИНУ

*Четверг 5/III <19>09*

Спасибо, милый друг, за сочувствие. Писал я Вам в пароксизме отчаяния, когда надо было принять тяжелое решение. Теперь оно принято — и мне как будто легче. Не знаю, надолго ли. Но остроты боли уже нет. Боже мой! Как трудно уничтожить в себе то, что любишь и ценишь больше всего!

Ach! der heiligste von unsern Trieben  
Warum quillt'aus ihm die Grimme Pein!<sup>1</sup>

Живу как-то тупо и глупо. Мало куда хожу. Занят парижскими делами, хотя они меня мало интересуют, но все же отвлекают от навязчивых идей. Увы! у меня нет утешения творчеством, как у Вас.

Предстоит, я знаю, долгий период пустоты и угнетенности. Но все же это лучше, нежели эти нестерпимые страдания, которые, наверно, погубили бы меня. И жертва была бы — бессмысленная, никому не нужная.

А так во мне живет еще надежда на *renouveau*, на возможность снова увидеть прелесть мира и полюбить ее. Ужасно только то, что я убедился в своей слабости, в том, что борьба мне не под силу.

Простите, надоедаю Вам своими иеремиадами. Как Ваше здоровье? С С. С. встречаюсь только на репетициях «Ночных плясок»<sup>2</sup>.

Не приедете ли в Петербург? Здесь Брюсов. Я его не видал<sup>3</sup>. Были как-то у Иванова, где гостит Бердяев<sup>4</sup>. Было уныло и беспросветно.

Ах, милый! Боюсь, que je suis un «опустившийся человек».

Пишите.

Любящий Вас

*В. Нувель*

См. в дневнике Кузмина 6 марта: «Письмо от Валечки. Не приедет. Брюсов в Петербурге».

1. Из стихотворения Гете «Надпись на книге “Страдания юного Вертера”» (за указание благодарим Г. И. Ратгауза).

2. «Ночные пляски» — пьеса Ф. Сологуба, поставленная группой петербургских литераторов.

3. В. Я. Брюсов приезжал в Петербург по делам книгоиздательства «Пантеон» и для свидания с Н. И. Петровской.

4. Николай Александрович *Бердяев* (1874—1948) — философ, одно время близкий друг Вяч. Иванова, впоследствии с ним разошедшийся. В 1908—1909 гг. испытывал сильное воздействие Мережковских. О его отношениях с Ивановым см. статью: *Shishkin Andrej. Le banquet platonicien et soufi à la «tour» pétersbourgeoise: Berdjaev et Vjačeslav Ivanov // Cahiers du Monde russe. 1994. Т. XXXV, № 1—2. Р. 15—80.*

69

НУВЕЛЬ — КУЗМИНУ

*Открытка со штемпелем  
25/XII <19>11*

Спасибо. Поздравляю. Целую.  
Что ж это Вы застряли?

*В. Н.*

70

НУВЕЛЬ — КУЗМИНУ

*Пятница*

Михаил Алексеевич! Неужели Вы сердитесь? Кому же, как не Вам, понять мое состояние? Кому же говорить то, что меня мучает? Быть может, я груб и несправедлив. Ну тогда придите и скажите: «Вы неправы», — и я поверю Вам. А за грубость простите.

Я слишком хорошо знаю, что до сих пор я почти всем обязан Вам. Мне, действительно, очень тяжело без Вас. Ведь я не сделал Вам ни-

чего дурного. Я просто сказал Вам то, что думал. Если я ошибся, тем лучше для Вас, для меня и — главное — для него.

Михаил Алексеевич! Отчего Вы меня оставляете, когда Вы мне необходимы! Неужели мы больше не будем, вместе, говорить о нем?  
Любящий Вас

*В. Нувель*

Письмо, очевидно, связано с обоюдной влюбленностью в В. А. Наумова и, если это справедливо, относится к концу 1907-го или началу 1908 г.

71

НУВЕЛЬ — КУЗМИНУ

*Понедельник*

Дорогой

Михаил Алексеевич,

Потемкин, Костя, Бакст и я собираемся к Вам завтра вечером. Если Вам неудобно, известите меня каким-нибудь способом.

Ваш

*В. Нувель*

## ПРИЛОЖЕНИЕ 1

1

Л. Д. ЗИНОВЬЕВА-АННИБАЛ —  
В. Ф. НУВЕЛЮ И М. А. КУЗМИНУ

*24 июля <1907>*

Дорогой Вальтер Федорович, сиречь Петроний,

Пишу из страны, которая причинила бы вам сто смертей. Если выйти из нашего большого дома — терема Билибинского, наполовину отстроенного и покинутого зарвавшимся хозяином и где мы живем вдвоем — и выйти в поле, то увидишь совершенно круглый горизонт, и по всей шири круга — леса, леса, луга и поля... Тишина истинная, и зелень без края, и что-то очень серьезное и растворяющее душу. Словом, сто смертей для Вас, сто жизней для меня. Всякая накипь растворяется; и сосредоточивается какой-то экстракт новых сил и неумолимости.

Работается *così-così*. Не к месту напряжение. Это жалко, но, надеюсь, восстановится <?>. Зато плаваю каждое утро по двадцати минут. Постоянно куда-то тянет уходить, бродить или на лодке катать Вячеслава между сонными травами пруда: тогда он начинает жарко мечтать об Италии и о том, чтобы нам туда сбежать, в Рим

или на море, надолго, на годы. И заражает мою патриотическую душу.

Литература далека, и все, что казалось чем-то, — стаяло в ничто, т.е. все сплетни и канканы кружков. В<ячесла>в пишет «Прометей»<sup>1</sup>, я тоже драму<sup>2</sup>, и страшно мешаем друг другу, каждый говорит о своем, т<ак> что я даже пока бросила свое. Приехала моя дочь Вера<sup>3</sup>, и это очень хорошо. Часто думается о Вас, дорогих и близких irrevocablement. Прочитайте мое письмо (хотя оно совершенно бесполезно, ибо я не могу больше совсем писать писем, и Вам пишу первому) Сомову и поцелуйте его. Антиною давно написала бы, но адрес мне сомнителен: не сбежал ли он в Петерб<ург>: о нем что-то писали по поводу вечера в Териоках<sup>4</sup>. Очень нежно ему кланяюсь. Мы получили два его письма<sup>5</sup>. Мы, конечно, в отчаянии от уродства, совершенного несчастными «Белыми ночами»<sup>6</sup>. Скажите ему, что я читала всего «Осла» Мейерхольду и он уверял, что он непременно должен пойти у него в этом сезоне, если *только не воспротивится Вера Федоровна*<sup>7</sup>. Я очень была счастлива слышать, что он пишет музыку<sup>8</sup>. Если он хочет, то на днях могу выслать ему копию всего конца. Дорогой мой, если он не с вами, — перешлите ему это письмо. Оно немаложко коллективно Гафисское, хотя друзья все трое найдут его не соблазнительным и нам не позавидуют! Мы в таком одиночестве, что оба вспоминаем итальянское изгнание и даже потянуло повторить... Дорогой, прошу о строчке: что делаете? что чувствуете? Repouveau ли Вы? На высоте ли себя? Что они — Аладин и Антиной? Помните ли нас? Осуждаете ли? И если совсем не трудно, — пришлите 6-й № «Весов»: у нас его не имелось. Придется в нем попачкаться<sup>9</sup>. Адр<ес>: Ст. Любавичи, Могил<евской> губ<ернии>, им<ение> Загорье. У Вяч<есла>ва разболелись зубы, и потому отсылаю письмо, не дожидаясь его, а то очень задержу: он еще хуже моего на письма.

*Ваша верная Диотима*

1. «Прометей» — трагедия Вяч. Иванова. Достоверно известно, что начал писаться он еще в 1906 г., однако закончен лишь к концу 1914-го и впервые напечатан в 1915 г.

2. По всей видимости, имеется в виду неопубликованная драма «Колокол».

3. Вера Константиновна Шварсалон (1890—1920), дочь Зиновьевой-Аннибал от первого брака, впоследствии третья жена Вяч. Иванова.

4. См. письмо 45, примеч. 14.

5. См. письмо 42, примеч. 7.

6. См. письмо 41.



7. Вера Федоровна — Коммиссаржевская. О намерении Мейерхольда ставить «Певучего осла» см. в его письме Ф. Ф. Коммиссаржевскому: «Там же < в «Белых ночах». — Н.Б. > найдете пьесу Зиновьевой-Аннибал. Она читала мне ее всю (в альманахе помещен только первый акт). Я бы поставил и эту пьесу» (Мейерхольд В. Э. Переписка. С. 103). Отклик Коммиссаржевской см.: Вера Федоровна Коммиссаржевская. М., 1964. С. 164—165.

8. См. в дневнике 22 апреля: «Л<идия> Дм<итриевна> мне сказала, что судьба ее «Осла» в моих руках; я так испугался, что это насчет денег, что, когда узнал, что дело в музыке к ее пьесе, сейчас же согласился». Музыки, впрочем, он так и не написал (см. письмо 50).

9. Речь идет о многочисленных статьях, направленных против Вяч.Иванова и «петербуржцев».

2

В. Ф. НУВЕЛЬ — Л. Д. ЗИНОВЬЕВОЙ-АННИБАЛ

СПб 111/VIII <19>07

Дорогая Диотима!

Не удивляйтесь и не сердитесь, что я теперь только отвечаю на Ваше письмо. Дело в том, что я на днях только его прочел, вернувшись из Москвы, где мне пришлось прожить более 2-х недель. Пересылаю его Антиною. Аладина же я давно не видал и увижу только на будущей неделе.

В Москве встречался с Брюсовым и Белым<sup>1</sup>. Защищал Петербуржцев от нападок Москвичей. Особенно попадаетея Блоку ну и, конечно, Чулкову. Статья Вячеслава Ив<ановича> в «Руне» вызвала почему-то страшный гнев Эллиса<sup>2</sup>. Почему? я так и не мог понять. В конце концов, единственный петербуржец, пользующийся московскою благосклонностью — это Кузмин, защищаемый даже от Антона Крайнего, и еще Ремизов.

О «мистическом анархизме» иначе как с пеною у рта не говорят. В общем, впечатление такое, что Петербург с Москвою никогда не уживутся. Das ist der alte Streit...

По слухам, «Перевал» и «Руно» доживают последние дни. Останутся одни «Весь». Не пора ли Петербургу иметь свой журнал? Встретил здесь неисправимого эсдека и англомана Эничкова и, к ужасу, узнал, что он собирается издавать журнал вместе с Вяч<еславом> Ив<ановичем>. Неужели возможно такое противоестественное сочетание?

Что касается самого Renouveau, должен Вам признаться, что за последнее время он сильно сдал. Во-первых, у него появился артрит. Для Петрония это еще ничего, но с Renouveau уже как-то не вяжется. Во-вторых... но тут придется говорить и в-третьих, и в-четвертых, а потому умолкаю.

Скоро ли собираетесь сюда? Боюсь, что на лоне природы Вы обратились в таких *Naturmenchen*, что не признаете и не захотите понять такие *naturae denaturatae*, как мы. *Neu! me miserum!*

Обнимаю дорогого Вяч.Ивановича. Приезжайте скорее, а то еще в Италию удерете. Это будет слишком жестоко.

Душевно Ваш *В. Нувель*

Адрес Антиноя: ст. Окуловка, Николаев<ской> ж<елезной> д<ороги>, контора Пасбург.

Большой отрывок из письма опубликован: Литературное наследство. Т. 92, кн. 3. С. 293, с исчерпывающим комментарием. Многочисленные параллели к тексту см. в письме 48. Откомментированные там места здесь не комментируются.

1. В не дошедшем до нас письме А. Белого к З. Н. Гиппиус было рассказано об этой встрече, на что она отвечала: «Нувель был весной в Париже и говорил, как граммофон, те же фразы, что и вам».

2. Имеется в виду статья Иванова «О веселом ремесле и умном веселии» (Золотое руно. 1907. № 5).

## ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ПИСЬМА С. А. АУСЛЕНДЕРА К Г. И. ЧУЛКОВУ

### 1

Дорогой Георгий Иванович

в своем уединении очень соскучился по Петербурге. Хочется хоть если узнавать ничего особенного нет, какую-нибудь весточку получить, какое-нибудь напоминание, что все-таки есть Петербург и в нем всякие люди. А то временами кажется, что никого и ничего больше не осталось, и дичаешь.

Что «Белые ночи»? В отдалении становишься нетерпеливым до злости. Может быть, плохая погода будет благоприятствовать им. У нас через день идет дождь. Я немного пишу. Увлекаюсь верховой ездой и читаю письма Пушкина с Кузминым<sup>1</sup>.

Когда выйдут «Белые ночи», мне будет необходимо сейчас же иметь по крайней мере два экземпляра. Если не очень будет трудно, пожалуйста, похлопочите о присылке их нам.

Что Городецкий? Приехал ли он? Если когда-нибудь увидите его, напомните ему, что я жду от него известий. Привет Алек-

сандру Александровичу<sup>2</sup> и Надежде Григорьевне<sup>3</sup>. Кузмин кланяется.

С нетерпением ожидающий весточки о Вас и о «Белых ночах»  
Ваш

*Сергей Ауслендер*

24 Prairial  
a. 114 r. F<sup>4</sup>.

14. VI. 07

Окуловка.

*Наш адрес: Окуловка Николаевской ж.д. контора Пассбург.*

1. См. в дневнике Кузмина за близкие дни: «Когда гуляли, Сережа ехал верхом, я думаю, что это большое удовольствие, но если бы я и ездил, столько претендентов, что было бы неловко и некогда ездить» (10 июня); «Дождь шумел все время. Думалось в такую погоду ехать в карете из балета домой, где приготовлен чай и ужин, сидеть вдвоем, втроем у камина, дружески болтая, курия, за вином. В промежутках читали Брюсова и письма Пушкина. Когда-нибудь и наши письма и дневники будут иметь такую же незабываемую свежесть и жизненность, как все живое» (12 июня); «Целый день дождь. <...> Продолжаем читать письма Пушкина. Сережа ездит верхом» (14 июня).

2. Блоку.

3. Жена Чулкова (1874—1961).

4. Свои письма здесь и далее Ауслендер помечает датами французского республиканского календаря в связи с работой над произведениями из времен Великой французской революции.

2

Дорогой Георгий Иванович,  
сегодня получил «Белые ночи». Прекрасно вышел сборник. У себя я заметил только одну опечатку, но это неважно. Жаль только, что мой экземпляр пришел с испорченной обложкой (весь в пятнах). Кроме того, мне ужасно необходимо теперь же иметь второй экземпляр.

Если издатели не намерены давать больше одного, то, пожалуйста, купите мне один сборник и вышлите наложенным платежом. Мне очень нужно. Простите за беспокойство. Привет Надежде Григорьевне.

Любящий Вас

*Сергей Ауслендер*

27 Prairial  
a. 114 r. F.

17. VI. 07

Окуловка

Дорогой Георгий Иванович,  
спасибо за весточку. Вторые «Белые ночи» получил в совершенно нетленном виде. Спасибо. Право, это совсем хороший сборник. Интересно, что будут писать. «Русь» читал<sup>1</sup>. Что-то скажут московские? Ваше предложение относительно «Знания» меня ошеломило. Меня тешит и забавляет мысль попасть в неприступную крепость врагов. Как раз сегодня кончил переписывать новый рассказ о Шарлотте Кордэ в духе «Вечера у Сев<иража>» и еще не знал, куда его послать<sup>2</sup>. А тут Ваше письмо. Конечно, завтра же пошлю его Андрееву и горю нетерпением узнать, что выйдет из этой забавной истории. Только с адресом. Почему Куоккала, когда Вам я пишу в ту же Новую деревню через Териоки? Но послушался Вас и послал на Куоккалу. Не пропадет ли?

Мы теперь в новом доме. У нас окна на огород и солнце, а дальше за прудом большая дорога. Пишем в четыре руки. Кузмин опять занялся Александрией. Если увидите Андреева, спросите, получил ли? и что? Смешно.

Привет Надежде Григорьевне.

Любящий Вас

*Сергей Ауслендер*

*3 Messidor*  
*а. 114 г.Р.*  
*24.VI.07*  
*Окуловка*

Идут ли «Ночи»? Что говорят и пишут? Кузмин кланяется, получил только одну ночь и на днях пишет.

1. Речь идет о статье: *Боцяновский В.Ф.* В алькове г. Кузмина // Русь. 1907. 22 июня.

2. Речь идет о рассказе «Литания» (см. письмо 5; публикация не обнаружена).

3. См. в дневнике Кузмина за ближайшие дни: «День переезда. То дождь, то солнце. Последний раз обедали в старом доме; писем не было. Очень быстро устроились на новый лад; вид оживленный на пруды, где ловят дрова, на проезжую дорогу, на цветник, на огород. Целый день развала...» (20 июня); «...начал «Филлиду»; Сережа кончил «Шарлоту»» (22 июня); «Письмо от Чулкова. Сереже он пишет, будто Андреев его, т<о> е<сть> Сережу, приглашает в «Знание». Писал «Филлиду»; Александрия меня снова охватывает, и даже в лесу я о ней думал, в лесу с цветоч<ными> лужайками, лесными озерами, болотами и холмами» (24 июня).

Дорогой Георгий Иванович,  
 есть у меня большая просьба к Вам. Если увидите Л.Андреева, не можете ли спросить у него о рассказе, который я послал ему по Вашему письму. Если ему не пригодится, нельзя ли как-нибудь получить рукопись, а то переписывать для меня всегда мука.

У нас совсем осень. Холодно и ясно. Я хандрю и жду города. Пишу маленький роман «Некоторые достойные внимания случаи из жизни Луки Бедо». Как-то нас еще выругают в «Весах» за «Белые ночи»! Если разрыв дипломатических сношений должен был совершиться, то хорошо, что он уже совершился. А разве рецензия о цветнике уже не открытое нападение по всем правилам стратегии<sup>1</sup>? Что-то будет осенью?

Напишите хоть несколько строчек, а то так скучно ничего не знать, что делается. Привет Надежде Григорьевне.

Любящий Вас

*Сергей Ауслендер*

*27 Messidor*

*≈ 114 г.Р.*

*18.VII.07*

*Окуловка*

*фабрика*

*Пассбург*

Кузмин кланяется и просит, если можно, прислать кончик рукописи.

1. Речь идет о рецензии Андрея Белого на альманах «Цветник Ор» (Весы. 1907. № 6).

Дорогой Георгий Иванович,  
 больше всего не любя неизвестности, я очень хотел бы выяснить, пригодится ли мой рассказ Андрееву. Простите, что все беспокою Вас, но, может быть, Вы выдаете Л<еонида> Н<иколаевича>.

В октябре кончу большую повесть, из которой написал восемь глав; в ней будет французская революция, гильотины, маркизы, тайные общества и проч. и проч., но не знаю, подойдет ли она больше «Литании» (рассказ, уже посланный Андрееву), которую я все-таки имею смелость защищать и считать более глубокой, чем «Севираж»<sup>1</sup>.

Слышал, что есть слухи о журнале. Правда ли? В конце концов журнал будет, потому что это необходимо. Но как и когда?

У нас прекрасная, ясная и холодная осень. Солнечно и ветрено. Дни идут тихо, размеренно и легко. Езжу верхом, читаю Вальтер Скотта и много пишу. Что Александр Александрович? Привет Надежде Григорьевне. Здесь пробуду числа до 22.

Любящий Вас

Ваш

*Сергей Ауслендер*

*23 Thermidor*

*a. 114 r. F.*

*13.VIII.07*

*Окуловка*

В тексте письмо датировано: 13. VII.07.

1. Речь идет о повести «Вечер у господина де Севираж» (опубликована в альманахе «Белые ночи»).

6

Дорогой Георгий Иванович,  
только вчера приехал из Москвы, куда ездил и себя показать, и других посмотреть. Очень устал от бесконечных деловых разговоров, от интриг и стратегий московских редакций. Теперь отдыхаю на осеннем солнце и с радостью думаю о строгом, аристократическом Петербурге, где литературой занимаются как истые мастера, спокойно и с достоинством, не завидуя, не злословя на конкурентов и оставаясь такими же людьми, как мастера и<з> других цехов, а не обращаясь в автомат, не умеющих не только жить, но даже ни о чем другом говорить, как о том, кто кого и как выругал, какие будут новые журналы, кто что сказал, и так без конца. В Петербурге тихие мастерские, в Москве шумный базар. Базары нужны, но лучше жить от них подальше. Мистических анархистов ругают с неутомимым однообразием. В этом ожесточении есть какой-то страх за себя.

Что в Петербурге? Слух об имеющихся открыться журналах теперь принимаю с боязнью, как бы бессмысленный базар не проник бы и в нашу тихую, дружную жизнь обыкновенных рабочих людей, а не маклаков и скупщиков.

Переезжаю в этот четверг в Петербург. В пятницу, вероятно, забегу, хотя хлопот будет такая масса, что страшно подумать. Андрееву писать не буду пока. Может быть, увижу лично. Он, оказывается, составил мне протекцию в московскую газету «Утро», куда я получил приглашение по его настоянию<sup>1</sup>. Меня трогает такое внимание даже без всякой личной приязни и дружбы. Я с удовольствием дал бы рас-

сказ для «Факелов»<sup>2</sup>, но до января еще очень далеко, и к новому году думаю издать книжечку (в «Гриф»)<sup>3</sup>, в которую войдет этот рассказ. Мне хотелось бы раньше провести его где-нибудь. Привет Надежде Григорьевне. Кузмин кланяется. Рукопись он получил. До скорого свиданья.

Любящий Вас

*Сергей Ауслендер*

*30 Thermidor*

*a. 114 r.F.*

*20. VIII. 07*

*Окуловка*

1. В газете «Столичное утро», имеющейся здесь в виду, в 1907 г. Ауслендер не печатался.

2. В третий альманах «Факелы» Ауслендер отдал повесть «Некоторые достойные внимания случаи из жизни Луки Бедо».

3. Книга «Золотые яблоки» действительно была издана московским издательством «Гриф» в 1908 г.

## ДНЕВНИКОВЫЕ ЗАПИСИ В. К. ШВАРСАЛОН

Мемуары о Кузмине сравнительно малочисленны. Очерки Ремизова, Цветаевой, А. Шайкевича, Л. Борисова, Рюрика Ивнева, В. Н. Петрова, записки О. Н. Арбениной да более или менее развернутые характеристики его личности в общих мемуарах об эпохе — вот едва ли не все, что можно вспомнить. И на этом фоне особенное значение приобретают дневники и письма современников, из которых можно извлечь какие-либо сведения о жизни Кузмина. Давно введены в научный оборот дневник и дневниковые письма Вяч. Иванова, а теперь приходит очередь еще одного дневника, принадлежащего человеку из того же круга.

Вера Константиновна Шварсалон (1890—1920) была падчерицей Иванова, дочерью Л. Д. Зиновьевой-Аннибал от первого брака. После трагической смерти матери в 1907 году она была вынуждена принять на себя значительную долю не только хозяйственных материнских хлопот, но и заботы об отчине, которого всегда воспринимала как самого близкого себе человека. Жизнь заставила ее окунуться в литературную и художественную среду, заставила столкнуться с мистическими переживаниями и попытаться оградить Иванова от сильнейшего влияния А. Р. Минцловой (существуют записи Шварсалон о той вражде, которую она испытывала к Минцловой, и о попытках отделить ее от Иванова), привела к особому состоянию души, которое очень отчетливо вырисовывается в публикуемых нами записях.

Как и когда вошел в эту жизнь Кузмин, нам неизвестно, мы оказываемся прямо *in medias res*: потаенные записи Веры Константиновны посвящены ее влюбленности в Кузмина, влюбленности, естественно обреченной на страдания. Она и сама понимала это, но все же не могла сделаться равнодушной к человеку, который так ее поразили. И влюбленность жила в ее душе очень долго. Позволим себе повторить уже процитированный фрагмент из дневника Кузмина: «Днем, когда все ушли, Вера сказала мне, что она беременна от Вячеслава, что любит меня и без этого не могла бы жить с ним, что продолжается уже давно, и предложила мне фиктивно жениться на ней.



Я был потрясен. Притом тут приплетена тень Л<идии> Д<митриевны>». История женитьбы Иванова на своей падчерице теперь уже достаточно выяснена, но для нас существенно, что немалую роль в этом играла любовь Веры Константиновны к Кузмину.

Публикуемые записи позволяют проследить развитие этой любви, но, что, возможно, для нас гораздо существеннее, они точно фиксируют то, что видела вокруг себя молодая девушка. Ее впечатления от личности Кузмина, передача слов, сказанных и им, и Вячеславом Ивановым, мелкие события в ивановской квартире — все это пропало бы для нас, если бы не дневник. Собственно говоря, на этом предисловие можно и закончить, поскольку он говорит сам за себя, донося до нас весьма важную информацию.

Дневниковые записи В.К.Шварсалон находятся в нескольких единицах хранения в фонде Вяч.Иванова в РГБ (Ф. 109. Карг. 46. Ед.хр. 50—53). Нами отобраны из них две, описывающие отношения с Кузминым. Записи января 1908-го и января 1909 г. находятся в ед. хр. 50 (отдельные четыре страницы, датированные 16—18 декабря 1907 г. и посвященные внутренним переживаниям автора, с Кузминым не связанным, мы не печатаем). Следует отметить, что определение датировок представляло собою проблему: записи сделаны на двух больших двойных листах чернилами и карандашом и следуют в таком порядке: недатированная запись чернилами, карандашные записи от 20 января и вторника 22—1—08 — на одном, сделанные чернилами записи от 28 и 30 января 1908 г. — на другом. Как нам представляется, карандашные записи от 20 и 22 января относятся не к 1908-му, а к 1909 г. (такие описки в датах начала года встречаются регулярно). Отметим, что 22 января не приходилось на вторник ни в 1908-м (среда), ни в 1909 (четверг) г. Основанием для передатировки записей является прежде всего упоминание в них событий, о которых В.К. не могла знать 20 и 22 января 1908 г. (см. в примечаниях). Вместе с тем первая страница, записанная чернилами и содержащая как бы предисловие к дневнику, могла быть записана как в 1908-м, так и в 1909 г., но мы оставляем ее отнесенной к самому началу публикуемых записей.

Наше решение не обладает, как мы сами понимаем, стопроцентной убедительностью, но в данный момент представляется наиболее верным.

Записи апреля 1908 — февраля 1910 г. находятся в ед. хр. 52.

В текстологическом предуведомлении будет нелишне отметить, что Шварсалон пишет очень небрежно, часто пропуская буквы и заменяя их другими (так, например, она систематически пишет «думую» вместо «думаю», «хуть» вместо «хоть» и т.п.). Мы не сочли необходимым передавать эти особенности правописания. В некоторых местах почерк ее становится весьма малоразборчивым и, несмотря на все усилия, отдельные слова остались непонятыми или же мы остались не уверены в точности чтения (они отмечены знаком <?>).

Можно ли писать два дневника, а главное — можно ли писать дневник «второй степени», — не знаю. Попробую. Писать дневник «первой степени» для меня очень важно, потому что самые важные или, вернее, самые мучительные мысли куда-то исчезают, или только потом припоминаются. Но, пища дневник, я не могу не писать о Кузмине и Модесте<sup>1</sup>, а мне бы не хотелось, чтобы кто бы то ни было видел, кроме разве Вячеслава; с другой стороны, необходимость писать о Кузмине решает вечно мешающий [вопрос] мысль: писать только для себя или для людей; хотелось бы для людей, но тогда нельзя или трудно быть искренней, а теперь ясно; буду писать о Кузмине, писать дневник искренно.

*Понедельник 28—1—08*

Я не знаю хуже состояния, чем эта беспредельная скука, ноющая тоска, как у меня сегодня вечером была. На сильное страдание есть сильное средство — главное, молитва всегда как-то поможет, и плакать... а тут ничего не *хочется* делать, молитва, может, помогла бы, да не *хочется*.

Не буду искать причин, — может, от Кузмина, но буду надеяться, что нет. Давно о нем не говорила, давно бросила о нем писать, потому что нельзя писать на бумаге то, что должно исчезнуть, изгладиться, с чем нужно распрощаться. Но теперь, кажется (невольнo хочется сказать «увы»), можно. Но буду писать коротко, чтобы говорить немного о том, что *должно* быть не из самых важных.

Я благополучно охлаждаюсь к К<узмину>, но вот новое темное мученье: я боюсь, что с К<узминым> будет как с «другими»; слишком яростно набросилась я на него, «выпила» из него то, что *мне* хотелось, и отбрасываю, и отворачиваюсь, т.е. из сильного чувства в слишком слабое, и ни одного правильного, ни одного верного, и в жизни не буду в состоянии отнестись к человеку какому-либо тепло, но объективно справедливо, не смотреть на него «своими глазами», — это угнетающе. Тоже начинаю замечать и тоже несправедливо преувеличивать его чуждающееся отношение ко мне....

Невольнo напрашивается горькое заключение: полюбила, потому что себе сама понравилась очень раз при нем. Разлюбила, потому что, решив: «не любит», — посмотрела спокойно и увидела его холодное отношение ко мне. Теперь мне сейчас хорошо; но ужасно вижу во всех действиях и мыслях (их так мало) свою лень. Читала Голя для изложения Модесту и увидела, что Манилов похож на меня, кроме внешней слабости и кроме доброты.

*Среда 30—1—08*

День под знаком слез сегодня: сначала сцена слезная у х — потом и я, но тайно, хотя по обыкновению мысленно желала и мечтала (и

[это] такие мечты останавливает мои слезы всегда окончательно или на время), что вот войдет К<узмин> или Городецкий, скажет мне то-то и то-то, и будет очень трогательно, и приятно, и т.д. Залезла в голову такая мысль, что как бы человечество со временем ни улучшалось и ни уменьшались страдания, а или не будет влюбливания и только <?> будет как-то тепло и не жарко, или все то же вечное страдание, когда нельзя любить, когда тебя *совсем\* не любят*. А о себе было очень смутно и неясно, потому что если я должна так каждый год влюбляться, и каждый год, чем старше, тем больше так мучиться, и бить головой об стену и... и...

В конце концов я о самом главном, и о Маме и Вячеславе еще писать не могу, а о дне вообще не успеваю, только последнее впечатление вечера. Значит: картины дня нету. Буду стараться хоть словами <1 сл. нрзб.> На сегодня довольно — буду думать, пока Вяч. не позовет, об инциденте с Модестом.

### Вторник. 8—4—08

<Внизу страницы примечание, не отнесенное к определенному месту текста:> Можно прочесть или показать К<узмину> этот дневник после моей смерти, если это покажется нужным.

Я долго не решалась писать дневник, бросала и начинала опять. Разные причины мне казались препятствиями, и оставить след того, что происходит со мной, хотя как будто не из-за того, чтобы было неприятно для самолюбия, — нет, не хотелось, чтобы не огорчать людей самых дорогих. Боялась тоже возбуждать, анализируя их, свои чувства, в особенности те, кот<орых> мне хотелось, чтобы не было. Одна из важных причин — это что неприятно и больно вести дело секретно от Вячеслава — секретно потому, что то одно из самых главных, о чем необходимо говорить здесь, потому что играет слишком важную роль в моей теперешней жизни — моя любовь к Кузмину, ему, Вячеславу, делает боль, и я ее старательно прячу, я боялась даже, что писать об ней — ее увеличит, а я так хотела, или, вернее, не хотела, но мне так нужно было заглушить это чувство. Но в конце концов во всех моих чувствах такая путаница, что я вижу, что нужно разобраться, нужно писать, и я, хотя с сомнением и еще с укором совести, приступаю к делу.

.....

О возникновении этого чувства к К<узмину> расскажу позже, теперь нет времени. Я лежу в постели, уже 1 1/2, Вячеслав еще не вернулся, и мне нужно рассказать то, что было сегодня. Скажу как предисловие, что я

\* Подчеркнуто дважды.

постоянно думала, что, может быть, мое чувство к К<узмину> не есть настоящая любовь (и даже говорила это Вячеславу), а детская влюбчивость, девичья, нелепая и сентиментальная, т.к. возникшая от жалости — эта мысль меня, конечно, угнетает, и я себе возражаю, что в таком случае отчего же я страдаю так серьезно, постоянно (это ужасно, это приводит меня в отчаяние — думать, что я страдаю из-за пустяков и что я всегда и вечно нахожу себе причину, чтобы страдать).

Сегодня был такой случай. Маруся предложила мне пойти в аптеку купить спирта для А<нны> Р<удольфовны><sup>2</sup>, которая должна была мыть волосы, мне не хотелось, но я решила в себе пойти и только внешне колебалась, не хотелось уходить от К<узмина> — он был свободен, а Вячеслава не было дома, у А<нны> Р<удольфовны> был Макс<sup>3</sup>. Я подумала: «Кабы он со мной пошел», и вспомнила, что он раз хотел поехать с Костей<sup>4</sup>, просто так, на Н<иколаевский> вокзал, когда Костя должен был отослать письмо. Маруся как раз сказала: «Сереза сейчас уходит, он может проводить тебя до аптеки, потом назад по безлюдному переулку до угла». Я, конечно, рассердилась, что меня нужно провожать, в эту минуту Мар<уся> посмотрела на К<узмина>, сидящего у рояля с «Angotaut <?>»<sup>5</sup> на нем, и улыбнулась: «Он с тобой прогуляется», смеясь тому, как она всех займет и устроит свои дела. Она подошла к нему и сказала: «М<ихаил> А<лексеевич>, Вам не хочется прогуляться с Верой?». — тогда К<узмин>, соскочив со стула и говоря, как он часто делает, полуулыбаясь, тянучим и как бы обиженным, но очень решительным тоном и махая руками: «Нет, я ни за что не пойду», — или что-то в этом роде, — меня это страшно кольнуло. «С Костей пойти сам просил почти, а меня с таким отвращением отталкивает», — подумала я, мне было очень больно, и я очень злилась, я сжала брови и стала что-то очень неясно говорить о том, что Маруся меня ставит в неловкое положение, что препятствует Кузмину со мной идти, а он так отказывается, и что это неприятно очень, и т.д. К<узмин> и Мар<уся> смеялись, говоря, что не понимают, на кого я сержусь, я сама полуулыбалась, полузлилась. К<узмин> сказал: «Я понимаю только, что В<ера> К<онстантиновна> сердится за что-то на меня», а Маруся сказала: «Нет, на меня, за то, что я предложила ей провожатого, это ее всегда обижает». Я еще раз сказала, что я сержусь на Марусю за то, что она меня ставит в нелепое положение: приглашает К<узмина> со мной идти, и «вы думаете, это не обидно, — сказала я, — что вам отказывают?». К<узмин> улыбался и, как мне казалось, «avait l'air de s'en fiche». Я злилась, и мне хотелось плакать. Я пошла одна. На улице <?> выбирала безлюдную сторону, т.к. слезы приходили в глаза. К<узмин> казался, как я сказала Марусе в передней, «эгоистом и грубым», и он должен был понять, думала я, что Маруся просит от него услугу — меня проводить; и не должен был отказать, он просто эгоист, и, как

всегда, я шла и в уме представляла себе, что я все это ему говорю, и трогательную сцену. Потом мне хотелось плакать, думая о том, что я так несчастна одна, совсем, совсем, что мне даже за столом было очень скучно, говорили об интуиции (К<узмина> не было), что Вячеслав> редко со мной и все говорит о вещах мне тяжелых и скучных, что я совсем одна, те, кто меня любят, мне не милы, т.е. я их люблю, но их видеть тягостно, что один К<узмин> не то радость дает, а он меня даже не замечает. Все и теперь и в будущем казалось так тяжелым, без возможности любви, отчаянно, я шла и, как всегда, сочиняла трогательные речи об этом Кузмину, перед аптекой несчастная лошадь стояла, а ее били, потом она пошла, но с тр<удом>, странно как-то, шагом и делая движения как при галопе; очевидно, задние ноги страшно болели, был адски мучителен каждый шаг, но она шла, иногда бежала, и я подумала с несколько театральным ожесточением: «Так и я, хотя все впереди темно <?> и полное отчаяние, но меня бьют кнутом и *должна* идти», — это мне дало энергию. Я вернулась. К<узмин> заговаривал со мной как ни в чем не бывало, я хмурилась, не смотрела ему в глаза, но иногда не выдерживала и говорила с ним и смеялась. Он очевидно ничего и не замечал. Я сочиняла в уме речь ему о том, что он не должен думать, что я злая или обидчивая барышня, но что я как бы вся в болячках, и малейший удар, незначительный для здоровья, мне мучителен; так я думала намекнуть очень отдаленно на свою любовь. Я ушла к себе, но мне было стыдно и скучно по К<узмине>. Под каким-то предлогом я пошла в столовую, и сердце пало: его не было, за ним пришли звать его, у него были гости.

Я пошла к Лидии<sup>6</sup>, стала молиться с ней, но не хотелось говорить святые слова «о чистом сердце и Духе», не хотелось быть хорошей и светлой, потому что не хотелось ко всем быть хорошо и светло расположенной, а хотелось страдать, чувствовать себя обиженной.

Сегодня не училась, не играла на рояле. Только читала Толстого, была у портнихи. На душе как-то нехорошо — упрек совести, не спокойно.

#### *Четверг (великий) 10—4—08*

Вчера не писала, потому что встала рано и так хотела спать вечером, что делала несколько попыток поцеловать Вячеслава и сбежать, ничего не говоря, но он останавливал, спрашивал, зачем иду, и я признавалась, что иду спать, но оставалась; наконец, мы ушли; я, как молния, разделась и заснула одним мигом, как закатилась, не дождавшись его, пока он заходил к А<нне> Р<удольфовне>. Сегодня великий четверг; говорила с Вячеславом> о том, что думаю не говеть, и почему; он сказал на мой вопрос, хотел бы он, чтобы я говела, — «Да», и, поняв меня, сказал: «Ты на исповеди, говоря о чем-нибудь дурном, можешь не входить в подробности»; а сущность моего опасенья — трусость: я боюсь, что священник, простой, без

психологии в хорошем или дурном смысле, запретит мне причащаться за мои «кощунства», кот<орые> меня все угнетают. Вторая причина: невыясненность моего отношенья к «Троице» и причастию. Сегодня, вечером, уже разбитая, проходя мимо маминой комнаты, я вошла (мне, как почти всегда, и хотелось и очень не хотелось войти) — было 3 часа, но уже рассвет (теперь совсем светло, и это очень неприятно). Войдя, мне было как-то страшно (пахло духами А<нны> Р<удольфовны>). Я села на стул и думала о том, как я, в сущности, дурна, ничего не имею, кроме своей любви к К<узмину>. Только и думать люблю о ней или сочинять приятные разговоры мысленно, где играю главную, всегда героическую роль, — сравнивала себя с В<ячеславом>, кот<орый> только живет делом, а мне всякая серьезная мысль, важная — тягость, а не сущность дела, как должно было бы быть; еще встала на колени и молилась. Как всегда, молилась <?> с тяжелым дурным чувством, в особенности когда о Маме. Эти дурные чувства угнетают весь день, все о них думаю, и в церкви, очень мучает, что дурное бывает постоянно, когда думаю о Маме и о самом святом; объясняла себе тем, что слишком себя люблю, жажду приятного для себя чувства и *поэтому* быть хорошей, и еще тем, что в минуту серьезную, торжественную я себе описываю в уме, какая я есмь, или хорошо бы быть («светлой», «радостной», «в экстазе» и т.д.), а потом, как противоречье, дурные мысли и К<узмин>. Была на 12-ти евангелиях с Л<идией>. Мало вникала в смысл читаемого, много дурного, немножко молилась хорошо.

Сегодня заплакала, увидя корректуры загорских стихотворений. Вспоминая, как мы с Мамой, сидя втроем на постели, критиковали одну из 2 версий одного сонета, и серьезный, почти серд<итый?> вид Мамы на то, что В<ячеслав> переделал хуже и хотел уже оставить.

До 4 покупала кофту — не читала, не училась, не играла, не училась с Леной (за что в церкви себя упрекала — дилетантство) — вечером красила яйца и Зван<цевой>, позже искала перед собой предлог сходить к ним, узнать о К<узмине> — скучала по нем (сочиняла в уме разговор между ним и мной, где <?> трогательно, как всегда).

#### *Пятница страстная 11—4—08*

Сегодня вечером было очень хорошо, на душе светло и тихо, наверное, вследствие утреннего разговора с Вячесл<авом> по поводу причастия. Я сказала, что не *знаю* Троицу, не *знаю Христа* и поэтому не могу. Он дал мне прочитать стихотвор<ение> «Тебе Благодарим» из «Кормч<их> Звезд»<sup>8</sup> — я прочитала, потом сказала ему, что во мне такой душевный разлад: иногда сердце мое согласно с этим стихотвореньем, и тогда могу принять причастье, а иногда восстаю, хочу своего индивидуального счастья (он подсказал: личного садика с оградой), и тогда мне кажется, что я не могу жить в духе Мамы, не

могу даже искренно желать этого, т.к. не буду получать счастье там, где она его чувствовала, что и к Миру, ко страданию у меня тогда такое же отношение, что не хочу страдать, и главное — что-то объединяющее, абсолютное счастье меня не удовлетворяет, и жажду лично. Он сказал, что личный сад — совсем не дурно, что и Мама его хотела в известный период, но что тот, кто его имеет, должен быть в состоянии его отдать, чтобы выйти за ограду в Мир, если нужно. В<ячеслав> сказал, что мое исканье личного, индивидуального есть не дурно, но благородно — сказал, что со мной совершается теперь что-то очень большое, святое, на что я сказала, что странно тогда, что у меня постоянно так много дурных мыслей. Про причастие советовал не идти теперь, если, как он говорил, воспринимаю его так глубоко и чувствую, что не имею сил, душевного покоя, что прошу *огорожденья* от слишком большого. Я согласилась, потом сомневалась и еще теперь сомневаюсь — во-пер<вых>, должна признаться, что одна из причин против была (хотя, кажется, она важную роль не играла), чтобы меня знакомые не считали просто сказать <1 слово нрзб.> и мне было стыдно этой причины, хотелось против нее действовать — потом, казалось, что могу воспринять причастие просто и светло, что нет причин против и т.д. Сегодня был вечером К<узмин>, всю обстрелял меня электричеством — я старалась быть более оживленной, чтобы ему не было слишком скучно у нас (так как он как будто от нас отстранился эти несколько дней — кстати, что-то переживал. Я думаю, как это меня ни досаждает, из-за Наумова и мелкости увлечения, я думаю — он увлекся маленьким Позняковым). Сегодня были у дяди Саши, а раньше полдня обсуждали присланную сегодня Сереже карточку от Константина Семеновича<sup>9</sup>, <в> кот<орой> говорится, что «рад был бы видеть своих детей и покойной Лидии Дмитриевны, если это соответств<ует> их желанью». Я с лета, после разговора об этом с Мамой и В<ячеславом>, считаю своим долгом с ним увидаться, когда он захочет, но вообще, а те<перь?> в сто раз больше, это очень трудно было и тяжело; очень волновалась весь день, так что с сердца камень спал, когда мы решили, что теперь не нужно видаться и это ему соответствующим образом написали.

*Воскр<есенье> ночью 13—4—08*

Очень поздно, совсем светает, хотелось страшно читать, уступила желанью и безобразно зачиталась.

Сегодня вечером было опять такое выражение в глазах В<ячеслава>, я смотрела на него, как всегда, очень спокойно, властно, успокаивающе (как мне казалось, хотя я не уверена, что все это мне только не показалось), но смотря на него, у меня было неловкое чувство, как будто я обманываю его тем, что он думает — я вся его, а я — Кузминская. Сегодня этот дурацкий К<узмин> опять заставил меня

«страдать» (мне все кажется, когда такого рода страдание пройдет, что оно было не настоящее, а просто сентиментальность), что у меня глупое барышненное увлечение и т.д.; эта мысль подтверждается тем, что я страшно редко думаю внутренне о К<узмине>, т.е. не так уж редко, но пропорционально с внешними мыслями); дело, конечно, заключается в пустяке: мне страшно хотелось ехать (я ведь всегда так люблю и вечно мечтаю о поездках, быстрой езде и т.д.), ну а сегодня тем более, уставши и разгорячившись с бандой неинтересных детей, и Васюней<sup>10</sup>, кот<орую> в первый раз вижу и в первый раз это очень стеснительно (у нас был только один короткий, очень меня взволновавший разговор о ее матери). И так К<узмин> пришел к нам, совсем неожиданно (его только что звали вниз) в Марусину комнату, где довольно скучно играли дети (Филипповы) в «почту». Я радостно предложила ему играть, он сказал: «Мне очень хочется на воздух», и стал говорить о том, что поедем с Костей и Сережей. Я, конечно, спокойно сказала: «Очень хорошо, поезжайте» и т.д. Он сказал: «А Вы не хотите?» — Я забылась и стала, разведя руками: «Я не могу». Тогда Анюта и все встали и сказали, что они сейчас уйдут и чтобы я ехала. Я сказала: «Нет, нет, ведь я сказала: не хочу, а не не могу» (что неправда). К<узмин> сказал: «Да я совсем не хотел, чтобы В. К. с нами ехала, я только из вежливости сказал», — ну и, конечно, резнул меня здорово этим (я нашла случай ответить более или менее колко — но это долго описывать). Очень долго я внутренне рыдала и ходила со страдальческ<им> лицом (хотя, конечно, играли и никто не заметил). — Я думаю, мой дневник очень скучен, я все говорю о пустяках, но дело в том, что если это и не самое важное для меня, то, по крайней мере, такие пустяки берут больше всего времени.

Сегодня очень огорчена, что проснулась в праздник с тяжелыми, страшными и дурными мыслями, когда молилась: «И сущим во гробех» и т.д., не имела настоящее чувство молитвы, а, напротив, пугающее меня чувство холодности и мысль страшная, главным образом «не настоящая», о том, что Мама не нужна мне, что я теперь живу не в ее духу, и хорошо без нее. — Господи, прости! — это ужасно, и мне холодно, и страшно от таких мыслей и «кошунств», связанных с ними. Потом я, кажется, овладела собой, была светлая, Вяч<еслав> говорил, — но весь день, хотя весело катали яйца, гуляли с Лидией на набережной и т.д. — было что-то тяжелое, не пасхальное на душе. — Суббота вечером и заутреня, т.е. не столь она, сколь кладбище и все там, оставило глубокое впечатление. На могиле, всей зеленой, с лавровым большим венком с пожелтевшими листьями и высокими тремя кустами темно-красных глубоких роз, с горящей тонкой свечкой, посередине <1 слово нрзб> между незабудки и запахом белых гиацинтов и <1 слово нрзб> — ночью темной, хотя звездной, влажной и очень таинст-



венной\*. Большой мир, тишина, точно совсем в другом мире. Не хотелось ни о чем думать, ни молиться; я старалась отогнать всякую дурную мысль, и их было очень мало; но заметя, что я думаю о постороннем, о К<узмине>, о том, смотрит ли он <на> меня и т.д., мне пришла мысль, что я Маму больше не желаю, что я вошла в другую жизнь, устраиваюсь без нее жить <?> и какое-то тяжелое чувство вошло в меня, чего-то неискренного, смутного. Мы сидели еще очень долго молча, и я все-таки ушла (мысленно говоря «Христос Воскресе» Маме) с чувством глубокого мира и света — и со слезами на глазах. На разговлении было очень хорошо, и Вячес<лаву> тоже было светло, радостно, он был веселый.

### *Среда 16—4—08*

Сегодня вечером мне было так, так тяжело, что Кузмин ушел, а я не выдержала и расплакалась, так сердце и разрывалось, не знала, куда деться. Составилось это состоянье из разных причин, сама ясно не отдаю отчета себе во всех. Утром встала, спеша была у дантиста, потом дома, за мелкими дельцами не делала долго почти ничего. Была тетя Лиза и младши<е> 2<sup>11</sup>; потом мы с Костей были на крыше, ветер чудно гудел и кружился вокруг нас и окон бельведера, смотрели в бинокль на лес и горы, пели «Эй, ухнем» и другие, высунувшись, как охотник <?> (Костя поддерживал и вел, когда я врала и спотыкалась, свистя).

Потом мы долго завтракали. Потом решила выйти, но не хотелось, решила играть на рояли, но все сомневалась (несколько раз даже, как часто делаю, подходя к Маминому портрету и думая, что у нее видя укор), сомневалась, не нужно ли лучше писать письма. Играли до полной темноты, хотя надоело очень (разбирали очень медленно). Поджидала аббата<sup>12</sup> и, искренно говоря, была рада, что Костя ушел в ту квартиру учиться. Но аббат пришел поздно, уже когда мы с Лидией играли в четыре руки. Костя его привел и, обманывая, сказал, что его нету, а К<узмин> прошел на цыпочках и стал сзади нас, но я сразу почувствовала, что он здесь, только боялась ошибиться. Я, однако, не оглянулась, пока не кончили играть, и потом из этого вывела, что, значит, я перестаю его любить, и вместо того, чтобы радоваться этому, огорчилась.

Тяжело бывает до невыносимости ничего не говорить В<ячеславу> о моих чувствах к К<узмину>, — хотя я всегда стараюсь так делать, чтобы в моих словах никогда не было бы обмана, но все-таки есть ужасное, от кот<орого> я задыхаюсь, чувство обмана.

Итак, сегодня вечером очень тяжело было — не могу понять еще всех причин. Чувствовала свое какое-то совершенное одиночество.

\* Редкие группы проходили у входа и по первым дорожкам, но у нас было полное одиночество, усиленное далекими звуками людей, лошадей — кто-то близко слабо кашлянул, и этот слабый звук еще усилил впечатление одиночества, потом и такие звуки пропали совсем, и только уже когда мы собирались уйти, стали лаять собаки на цепи.

За игрой в «*serre taire*» <?> опозорилась, не сумела ничего писать, всех задерживала, а когда написала дурацкие, несмешные ответы, все узнали мои и смеялись. Еще на один: «Как вы себя чувствовали вчера?» ответила: «С больной головой и душой», и только потом сообразила, как это неловко и не к месту, а все оттого, что имела какой-то глупый, переумный расчет (как все мои расчеты) говорить не о себе, а о К<узмине>; совсем забыла, что все это примут от меня. После этого впала в печальные размышления о том, что я глупее всех, и Сережи, и Кости, о Л<идии> и не говорю, я ее давно признала выше, а что гордость моя выше всех и самомнение. Еще о многом думала, о чем нет времени писать, — о своей грубости к Марусе, о том, что я могу жить как нужно, быть светлее, в Мамином духе, но что не хватит никогда довольно духовных сил, чтобы *желать* этого, — слишком хочу своего эгоистичного счастья. Больше всего, конечно, думала о К<узмине>, о том, что он меня презирает, считает грубой, кокетующей <так!> с ним (он в разговоре сказал, что есть манера смотреть в глаза, чтобы тронуть совесть, а попросту это — «делать глазки»). Мне было тяжело, я ходила смотреть на мамин портрет, то уходила с дурным чувств<ом>, то возвращалась, из-за этого и имела хорошее <?>. — За сонатой почти плакала, А<нна> Р<удольфовна> меня приласкала, это меня очень тронуло, на К<узмина> почти не смотрела — от стыда, верно. Когда все уходили, К<узмин> тоже собрался. Мне было так худо, и страшно захотелось, чтобы он остался, и я сказала: «В<ячеслав> еще не идет спать, он будет чай пить». К<узмин> сказал с улыбкой: «Да?», все собираясь уходить; мне стало стыдно, чтобы заглядывать, я сказала: «У Вас сон — молния», он сказал: «Нет» и ушел. Я вернулась в столовую и заплака<ла>. Мне было тяжело, и думаю о Маме (завтра 17-ое<sup>13</sup>) и из-за себя. Я так и сказала В<ячеславу>, не упоминая о К<узмине>, — он стал меня спрашивать и сказал изложить, как могу (без логической связи), причины. Я сделала приблизительно так здесь написала, только не говоря о К<узмине>. Он сказал: «Отчего такое чувство одиночества? Ты и не любишь сестер? или из-за Марии Петровны?» — Я сказа<ла>, что всем, всем чужда, думаю только о себе. Он еще сказал: «Ты находишь, что К<узмин> на тебя мало внимания обращал сегодня?» — Я сказала: «К<узмин> всегда такой же, — он никогда и не обращает на меня никакого внимания». Но я себя чувствую такой дурной, такой гадкой и гордой, он... но вот не знаю, что он сказал, знаю только, что он это слово всегда светло делает. Он обнимал, нежно <?> целовал, утешал и говорил. Еще я сказала: «Я плачу отчасти о Маме, а отчасти о себе, и это из трусости, потому что знаю, что могла бы быть лучше, жить светлее, но боюсь этого и от этого плачу, потому что тогда много страданий и нужно отказаться от многого» (Я думала о моей любви к К<узмину>, которую нужно вырвать из сердца или, вернее, высушить в Крыму). В<ячеслав> говорил, что бедная, бедная девочка, она устала, измучилась, никто не требует, чтобы она была хоро-

шая и т.д. (Я не могу передать почти ничего, тем более, что уже почти утро, я устала). И еще я сказала, что Мама мне говорила: «Если ты дурная, я тебя не любила бы», — он сказал: «Но она тебя любила, как любим на земле». Я еще говорила: «Я сделалась хуже», но он сказал, что нет. Потом еще сказал: «Неужели не понимаешь, я тебе говорю ее слова, — она говорит через меня, неужели ты не доверяешь, что я от нее говорю». Я сказала: «Доверяю».

Вечером смотрела на женеvский портрет — и мучила меня улыбка, этот прекрасный взгляд (gabelle). Но моя ужасная гордость мучилась доброй, но снисходительной улыбке, отвечающей на мои жалобы о страданиях. Зажигала спичку за спичкой, стараясь смотреть, пока это дурное чувство пройдет, и последний раз посмотреть с хорошим чувством (как постоянно делаю, впала в какую-то манию ужасную). Сережа ужасно тронул своей добротой — расскажу завтра.

Господи, прости мою гордость.

.....  
.....

#### Суббота 19—4. 08

Такая путаница и смута мыслей и ощущений в эти дни, что было слишком много да и слишком утомительно писать. Сегодня, между прочим, и сердилась и беспокоилась за Кузмина. Сердилась потому, что он Костю звал к себе пить чай с ромом. Беспокоилась, потому что Кузмин перешел теперь в такой период «voltigeur», как я ему сказала. (Кстати, всегда меня толкает дразнить Кузмина — это тот единственный почти мой способ с ним разговаривать, но всегда, мне кажется, так выходит, что я норовлю его ранить, и мне это больно. Вячеслав сказал: «Можно словом создать, убить, но не ранить».)

Назвала я теперешний Кузминский период «voltigeur». Потому что, коротко и ясно, уставший от строгости и серьезности башенных «audiences» и стилия, он (в Вячеславово отсутствие) увлекся за студентиком Позняковым<sup>14</sup> (за ежедневными длящимися несколько часов репетициями «Курантов»<sup>15</sup>). Когда я два раза видела, как этот Позняков сбежал по лестнице, подпрыгивая и подпевая, я сказала Кузмину, что Позняков voltige, а сам Кузмин в période voltigeur. — Чем и показывала связь между Кузминым и Позняковым.

Меня удручало так! шатанья Кузмина — целые ночи его нет дома, весь день на репетиции. Про ночь то Косте говорит, что был в баре, на лихаче на островах, то ничего не говорит. Стихи не пишет и обещает Вячеславу, что «будут завтра» (точно в магазине, смеется Костя). Я очень была озабочена всем этим, очень неясное чувство большого огорченья, злости. Мне казалось, что я его больше не люблю, и вот то это меня радовало (как должно бы было быть), то приводило в отчаянье.

Сегодня я стала себя упрекать, что я себе делаю нелепые, никому не нужные, ни на чем не основанные страдания. В конце концов решила, что то, что он гуляет, — не беда, но что дурно и печально, это что раз К<узмин> влюбится, он теряет себя, он уже Позняков № 2, хотя пока только легкое увлечение, что К<узмин> каждую минуту разлюбливает и влюбляется, не так печально, как то, что когда он влюбится, он будто надевает на себя, на К<узмина>, который остается внутри, маску с изображением того, в кого он влюблен, и эта маска говорит и действует.

Не так должна быть любовь, она должна быть *строга* (как сказала Мама), она должна поднимать человека до себя или подниматься к нему, или, чаще, и то и другое. К<узмин> ни того, ни другого не делает, он «приспособляется» к тому, в кого влюблен.

«Тряпка» — как я часто мысленно, его браня.

В полное отчаяние привел меня тот факт, что он звал его к чаю. Мне вообще не нравятся его отношения к Косте. Ему он рассказывает то, что нам не говорит, о лихачах, बारे и т.д., шепчется с ним полутайно за столом, зовет его тихонько пить чай с ромом и П<озняковым> при случае (Костя комично трогательно, наивно не понимает тон полусекретничанья и всем рассказывает; всё ли, впрочем, — не знаю, не думаю). Когда я узнала о роме, я ударила кулаком об стол, мне хотелось К<узмина> избить. Потом я себе сказала, что много просто ревности в моем негодовании.

Но все-таки меня мучил вопрос, глуп ли К<узмин> и хочет умышленно <так!> развратить Костю, хотя, конечно, не в серьезном смысле слова, но вином, рассказом о ресторанах и т.д. У В<ячеслава> мы заговорили о К<узмине>, этот разговор меня успокоил, я рассказала о Позняк<ове> и о моих догадках о Нувеле<sup>16</sup>. В<ячеслав> сказал, что я хороший сыщик и что он это любит, но прибавил, что я ему мало нового говорю (я же была очень как-то даже глупо-радостна, excited). В<ячеслав> сказал, что он убежден, что увлечение совсем поверхностное, что К<узмин> от нас не отошел и т.д., хотя я уверяла В<ячеслава>, что я тоже так думаю, но я, в сущности, сомневалась, а теперь успокоилась. В<ячеслав> его бранил «бабой» и «тряпкой». В конце разговора я сказала: «Я К<узмина> все-таки люблю за его чудные стихи». В<ячеслав> сказал: «И я его люблю за его чудные стихи».

В<ячеслав> очень грустен, очень тоскует всю неделю, — встретив меня в коридоре, сказал: «Ты все-таки у меня одна на свете, без тебя я тоскую, каждый раз тебя видеть — радость». Я подумала о том, что я теперь очень смутна и дурна, боялась, что не могу ему помочь. В постели все-таки старалась его сделать радостнее, спокойнее и взглядом и словом или намеком светлым старалась. Стыдно было каждую минуту забываться и «мечтать», и мыслить <?> о К<узмине> (Мечтать, т. е. думать бессвязно). Я ведь решила: когда я с В<ячеславом>,

запретить себе думать о том, о чем не могу ему сказать. Но не исполняю решение.

К<узмин> радовался, как ребенок, что будет петь на «Курантах» (это, кажется, трогательное, может быть, но простое честолюбие — его мучает, что голос у него музыкален, но очень мал).

Мне очень стыдно так много писать о К<узмине> и пустяках, главное — так мало о главном.

---

22—4—08

Так страшно уставала все эти дни, что ничего не могла писать, как ни хотелось, потому что именно нужно было бы массу написать.

Очень трудно описать то, что пережито в эти дни, т.е. вкратце ничего нового не пережила, а просто поднялась опять эта мучительная волна протеста против А<нны> Р<удольфовны>, против ее мистики. Вышел у нас об этом разговор с В<ячеславом>, он меня спросил, что я имею против мистики. Я долго старалась разъяснить, но все-таки мы пришли к тому, что В<ячеслав> вскрикнул: «Ты не хочешь понять меня и быть понятой», а я всплеснула руки с отчаянья и ушла. А во время разговора я крикнула, как сумасшедшая, сбросив в какой-то злости и исступлении книги со стола: «Да, мне душно! мне душно с А<нной> Р<удольфовной> и с тобой, когда она с тобой». Но главное уже очень меня мучает то, что В<ячеслав> сказал: «Она знает, что ты ее ненавидишь, и это ее мучает». У меня является протест против слова «ненавидишь». Но об этом не буду говорить, о моих столь для меня мучительных, потому что совершенно не выясненных отношениях к А<нне> Р<удольфовне> я еще должна много потом писать. Главное, что меня приводит в полное отчаянье, — это что от меня люди мучаются, что я, стоя между А<нной> Р<удольфовной> и В<ячеславом>, тем <?> мучаю их, причиняю им страданье, как сказал сам В<ячеслав>, и что, что я могу против этого сделать, ведь ничего не знаю. Сегодня вечером В<ячеслав> говорил со мной еще о том, что я боюсь дать себе свободу, быть немножко сумасшедшей. Я сказала, что это потому, что я боюсь быть совсем сумасшедшей, что если отпущу себе вожжи <?>, то уже не могу буду удержаться...

Слишком устала, не могу больше об этом писать, нет сил мозгов, чтобы собрать все разные слова и мысли и сбросить их сгущенными на бумагу, оставляю это до завтра, а теперь расскажу про А<нну> Р<удольфовну>.

Сегодня утром я заметила, что она очень утомлена, она выехала, несмотря на дурную погоду. К вечеру, после того, [когда] я, уставши играть на рояле с 4 часов, стала петь с Лидией, и стыдясь этого и все-таки стараясь петь громко, так, чтобы слышали жильцы Pages и Harper<sup>17</sup> и насилуя свой голос <?> (а потом, очень смущенная тем, что Лидия сказала: «Ты, Вера, не пой громко, а вполголоса, а то вы-

ходит очень уродливо, как женевские деревенские девчонки). Кончив петь около восьми, я пошла в кабинет действовать насчет обеда, увидела, что А<нна> Р<удольфовна> и В<ячеслав> сидят, с открытой дверью, в спальне, рядом, не на обыкновенных местах. В<ячеслав> очень взволнован, но говорит, как всегда в таких случаях: «А<нна> Р<удольфовна> больна, Вера, у нее рвота, она меня очень беспокоит, я уже послал за доктором». А<нна> Р<удольфовна> со странно широким и застывшим лицом молчит. Потом говорит, что она согласна на доктора, но что все-таки лучше бы не посылать (В<ячеслав> успокаивает, что уже послано), что доктор\*

*Вторник 29—4—08*

Так давно заброшен мой дневничок, и не хочется приниматься опять за старое. Так путанны, неопределенны и однотонны все мои внутренние переживания и страдания. Хотелось только записать один разговор с Вячеславом вчера, нет — третьего дня. Я была угнетена, все мое вечн<ое> темное и вся та тяжесть, кот<орая> во мне есть, которая заставляет некоторых говорить, что я всегда грустна, что я «кислятина» (Лидия), что я «вешаю нос на квинты» (Маруся), все как бы сосредоточилось и воплотилось в одну мысль, одну трагедию — «моя вражда к Маме». Мне страшно об этом писать. Сколько раз я, сознавая, что <я> страстно люблю Маму, начинала думать, что нет, что я ее разлюбила, что я себя только убеждаю, что люблю, так покрывало все то темное непонятное чувство какой-то вражды к ней. Это чувство ведь было и при ее жизни, я его всегда соединяла с тем отвратительным чувством кошунственного отношения, какой-то ненависти ко всему святому, то же, что заставляло меня еще двенадцатилетней девочкой высовывать язык на образа и смотреть на мамин портрет будто тоже с желаньем высунуть язык. А теперь заставляет проноситься в моей голове бессознательный, неуправляемый вихрь кошунств при приближении или мысли о святом или дорогом. Впрочем, у меня развилась какая-то болезненная, сумасшедшая черта, наверное вследствие напряжения нервов, мысли, чувств и впечатлений за это полугодие; я это объясню примером, т.к. это так непонятно и неясно, что иначе объяснить нельзя: ища кого-нибудь, например, и приближаясь к какой-нибудь комнате, я себе говорю *против воли*: «Если его нет тут — да будь он прокл.... и т.д.»: страшно подумать, и даже о Маме такие бессознательные мысли часто приходят, наряду с отвратительными, не то что сальными, но грязными и совершенно нелепыми. Мне <так!> берет в конце концов такой ужас, за всю эту ненавистную подпольную работу, что я падаю в отчаянье. Я себя тогда убеждаю, что это усталость, что это от праздности, что нужно работать, сделать лучше, и это пройдет... Пока я это писала, я подума-

---

\* Текст обрывается (публ.).

ла о том, что это болезненное откровение с моей стороны, т. к. если бы (хотя я и убеждена в противном) случилось, что у меня был бы жених, я бы ему показала бы эту тетрадку и, наверное, он бы отказался от меня с отвращением. Когда я пришла к В<ячеславу> третьего дня утром, он спросил: «Отчего ты такая грустная?» — и я призналась, что это от гнета этого ужасного чувства вражды к Маме, что оно меня терзает, оно было и при жизни и, может быть, оно производит во мне такие невыразимо мучительные вещи, например, что, молясь «за упокой» Мамы, я иногда себе делаю замечание, что я это делаю холодно, что будто я ей не желаю «вечной радости, вечного света», как я молюсь, и хотя через несколько минут я и молюсь об этом пламенно, страстно и светло, но все-таки такие темные мысли меня угнетают. «Я думаю, такое отношение к Маме у меня от зависти, — сказала я, — что я как бы ей завидую, что она такая светлая, высокая, а я такой не могу быть, точно высокая, сияющей белизны гора, на которую не могу подняться и которую за это браню. Или, может быть, — сказала я еще, — это от того, что я как бы должна искупить ошибку Мамину, единственную для меня и из-за которой мы родились, я темная, страдающая, борьбой к свету и победой над тьмой и дурным, может быть, могу искупить и как бы даже отцу своему этим помочь, и эта мысль дает силу и надежду на борьбу с дурным».

Теперь постараюсь передать очень и очень приблизительно то, что сказал В<ячеслав> или, вернее, из того, что он сказал, то, что осталось у меня в памяти и в сердце яснее и определеннее\*. Он сказал, что, может быть, от того я страдаю, что я «свет от света», что я родилась от светлого и имею чувство светлого, желание его, но в то же время не могу достигнуть до той степени света, к которой стремлюсь. Как это ни странно и страшно, он сказал, что можно сравнить мою трагедию с трагедией Иуды, что Иуда несомненно любил Христа, и страшно его любил, но чувствовал себя слишком низким по сравнению с ним, чувствовал свою тьму по сравнению с светом его и потому злобу против света. И я должна победить тьму в себе, нужно, чтобы свет победил тьму, это цель всей моей жизни.

---

Я же все как-то борюсь против чего-то непонятного. Каждый день, читая молитву о «да придет царствие твое», я себя упрекаю в том, что этого царствия не желаю, а хочу, чтобы мир был бы как есть, и на нем строить свои эгоистические наслаждения, и каждый раз я в себе борюсь, пока не убежду <так!> себя в противоположном и в том, что желаю полного царствия света и Божией радости. Мне все кажется, что я заставляю страдать Маму тем, что живу не в ее духе, не горю, а лениво, для себя, сонно живу. И не чувствую в себе силу все отдать радостно, за идею, как Мама тогда, 20-ти лет, вся горела, мне кажется вечный упрек

---

\* На полях помета: Четверг 1—5—08 (публ.).

в Маминых письмах <?>, и я раздражаюсь, потом думаю, что она меня не может любить такую, а потом себя виню и раскаиваюсь в том, что усумнилась в ее любви, и молю прощенья. А К<узмина> уже нет 2 дня, как я ни думала, что его разлюбила (что подтверждается тем, что мне не об чем с ним разговарив<ать>, когда мы вдвоем, и мне неловко), а все-таки страшно скучно без него, и тогда <?> (хотя отчасти упрекая себя за это, а отчасти оправдывая тем, что я себе позволила не стеснять этого чувства до Крыма) решаю, кончив писать (12 часов утра) выдумать предлог, чтобы спуститься и встретить его, м<ожет> б<ыть>, на лестнице. Но не знаю, вряд ли сделаю это, т.к. Вячеслав сейчас должен проснуться, Маруси нет, да и предлога нет.

Я все себя упрекаю в том, что думаю так долго о К<узмине> и почти все пустяки, что душу его не люблю, не всегда желаю ей добра (будто все его ошибки или переживания эгоистически занимают, интересуют меня), и вот сегодня сделала себе предложение написать о нем рассказ, роман, развить его характер и постараться понять, какие бы он принял решения в том или другом случае. Но тут возник вопрос, могу ли я знать путь, психологию чужой души, когда своя сейчас как темный комок, в ней сама ничего не разбираю.

Вчера артисты худож<ественного> театра хотели устроить провести вечер с Петербургскими, но Вячеслав был болен, а Блок отказался, Сологуб за ним и т<ак> далее, испугались проэктурируемой Вячеславом и Сюннербергом серьезности вечера — в общем, у них так никакого вечера и не состоялось<sup>18</sup> .....

### Вторник 6—5—08

В воскресенье мы катались на Приморье 3 <?> часа в лодке, на воде — и я почти без остановки гребла, часто в гонке, так что потом болели и ныли целый день все кости рук и спины, и теперь еще чувствительны. Был день с редкими тучами на очень синем небе, очень тепло (мы гребли без пальто), по всей воде разбросаны многочисленные лодки, весело, пестрят ее — много музыки и пения полупьяного, музыка слышна по воде, и хотя это всегда хорошо, но тут уже слишком тоскливо грубая — и «*bourgeois en dimanche*» (как говорит Кузмин) на стрелке. Мы попали далеко на взморье, вода была чем позже, тем спокойнее, стеклянная и нежно-голубая. Уже когда мы повернули лодку обратно (Костя, Над<ежда> Григ<орьевна> Чулкова и я), наскочили на нас внезапно на лодке Кузмин и Позняков (у нас с ними был назначен rendez-vous на пристани, но мы их не застали, и так как они не очень надежные в этом отношении, то не стали ждать), — оказалось, они заговорились с Вячеславом. Позняков<ов> первый раз с Вячеславом имел свиданья и говорил, что очень его боится. Мы все пересели в одну лодку, кроме Кости, кот<орый> остал-



ся один в другой и крейсировал вокруг нас, дразнил и шалил — сидел <?> и злил аббата, кот<орый> и без того был в отвратительном настроении, немного только говорил и смеялся с Н<адеждой> Г<ригорьевной>, а то сидел молчаливый и недовольный или смотрел и следил глазами и перебрасывался словами с Позняк<овым>. К вечеру народу совсем не было, и хотя компания наша не была веселая и оживленная, но когда солнце почти заходило, я пересела вместо Кости в одинокую лодку, легла на спину и заложила руку за голову, смотря на воду и небо. Вода так<ая> стеклянная, далекая, такая голубая и прекрасная, вся золотилась, и облака пушистыми слоями золотились и краснели, и когда медленно-медленно опускающееся солнце стало скрываться, все — и солнце, <и> полоса неба за ним, и вода, за кот<орой> оно скрывалось между темными соснами, сделалось северно-красного цвета. Мы причалили и в тот вечер были у Н.Г. за чтением Блока<sup>20</sup>. К<узмин> не пошел, хотя я очень надеялась и в то же время почти знала, что он не пойдет — ...

---

Все это пишу по долгу, т.к. начала писать, но сейчас писать не хочется, — осталось 2 дня до отъезда, но хотелось бы страшно, минутами, чтобы уже пролетели эти 2 дня, так тупо и неотвязчиво ноет сердце с утра, еще в постели, как проснусь, — затем нелепые печальные мысли залезают в голову о К<узмине> и будущем. Боже мой, если два дня останусь, не видя его, то в конце второго дня уже неистовая, а тут 6 месяцев...

*Вторн<ик> вечер (вернее, среда утром, 4 часа)*

Как хорошо! солнце встало, и небо так нежно, радостно и свежо голубое, а лучи совсем золотые, а я так рада!

Была наконец после долгого промежутка аудиенция с К<узминным><sup>21</sup> и Вя<чеслава> и А<нны> Р<удольфовны> (ведь с тех пор, как К<узмин> в «période voltig<eur>»), и с начала этого периода К<узмин> очень изменился, — он в очень плохом, отчаянном состоянии был все время (с лоском веселости и цыганск<их> песень), отдаленный от нас. Имел вчера только одну аудиенцию с А<нной> Р<удольфовной> — очень трудную, как она говорит, и во время кот<орой> (она мне рассказывала с изможденным и горестным видом) он плакал много, говоря, что он знает, — мы (Вя<чеслав> с А<нной> Р<удольфовной>, и т.д.) его осуждают <так!>, но и т.д. Тоже говорил, что Позняк<ов> больше его любит, чем он его.

Я думала: мы уедем, оставив К<узмина> в таком страшном и неопределенном виде, и, верно, от того такая тяжелая грусть сегодня утром.

И вот они все после длинной аудиенции вышли светлые и усталые. Вя<чеслав> сказал: «К<узмин> теперь успокоенный, твердый, радостный и счастливый. Нет, не счастливый, но радостный», — и

мне стало так радостно, и я была так счастлива, и так все казалось хорошо и светло — и небо, и солнце, и все, и грусти никакой не было. Даже подумала на минуту: оттого нет грусти при мысли об отъезде, что не влюблена по-настоящему в К<узмину>. Но все равно мне, так радостна теперь из-за него. Так хорошо было и так себя чувствовала любящей ко всем (нежно целовала и долго А<нну> Р<удольфовну>), что спросила себя, что бы я сделала для других, и быстро решила: «Чтобы К<узмин> был счастлив и радостен, — согласилась бы никогда его не видеть»<sup>22</sup>.

20 января <1909>

Вчера Кузмин начал «выезжать и принимать», и нам очень скучно без него. Боюсь дневника — слово может убить, ранить, но и родить или утвердить непоколебимо, оттого-то чего я боюсь — боюсь и о нем писать, хотя так страшно писать хочется.

Сегодня две мысли или, лучше, два отдела мысли мучительны: Крым, о котором говорили вчера с Вячеславом<sup>24</sup>, и Кузмин; дело в том, что вот ясно, как положенье с Кузминым, — с 19 октября<sup>25</sup> тупая (зудящая?) боль налево на месте сердца, она иногда умолкает, а иногда нестерпимо больно, точно лисица, загрызшая спартанского мальчика, а пробудилась она по переезду моему сюда, на башню, и было все это время одно у меня желанье, одно утешенье — это сон; о сне я думала с утра, как о счастье, и даже себя склонна в этом винить. И вот Кузмин заменил мне это, но во сколько раз сильнее! и светлее и радостнее! Теперь с утра радость дня — это мысль о вечере и о Кузмине, как тогда мысль о сне! другие люди приходящие действовали на меня различно, но все совсем разно от Кузмина, он истину давал луч светлый, а когда его нет, как сегодня, то лисица больно начинает мне грызть грудь. Но вот тяжелый, тяжелый, томящий, разрывающий вопрос: «правильно, от света ли это?» Вячеслав говорит: «Светлее солнца, белее снега...» — но имею ли я право отдаваться так всецело, может быть, поверхностному, наносному, «сентиментальному» чувству и ставить его наряду с самым важным, существенным? Кто разрешит это? Не грешу ли я тем, что с утра до вечера думаю и даже не думаю о «нем», мечтаю о нем и по поводу него, и этим меньше, гораздо меньше думаю о важном...

Вторник 22—1—08 <1909>

Не знаю, хорошо ли я это говорю, но вот, может быть, отчего я это так люблю Кузмина, он сам мне дал эту мысль, когда мы говорили полшутя на юрьевск<ом> вечере<sup>26</sup>, о том, что он бывает злой, а все его считают добрым, и он спросил меня: «Но ведь я ласковый, я всегда ласковый?» Да, именно ласковый, и в этой ласке, в его глазах я, кажется, вижу что-то издали напоминающее ласку в маминых глазах. Может быть, и как я была бы рада, если это так; может быть, я оттого его так

люблю и он мне так мил, а не оттого (как я себя мучаю), что я «себе понравилась перед ним», т.е. он мне не нравился, пока я все как-то говорила глупо при нем, а он «срезал» меня, а раз (при чтении «Мартиньяна»<sup>27</sup>) я осталась очень, очень довольна своими умными ответами (такое самодовольство со мной, увы, слишком часто бывает), и это имело отношение к нему, а с тех пор он мне стал очень в розовом свете появляться. О Кузмин, дорогой, тайный, совсем тайный для тебя самого друг, сколько света (хороший ли свет, Боже мой! я не знаю) ты мне даешь. Когда мне трудно, тяжело, как после разговора с Сережей<sup>28</sup> сегодня и «предательства» Маруси<sup>29</sup> (это мелочь и тяжелая ревность) я думала о тебе, мне хотелось твоих ласковых добрых глаз, так хотелось жать твою руку и просто прижать мою грусть к тебе, если бы ты знал, сколько мне света даешь. В конце концов я успеваю записать в дневнике только последнюю мысль.

*Суббота 14 ноября 1909*

С тех пор прошло уже полтора года, полтора года, кажущимися <так!> недавним совсем прошлым, но набитые <так!> до переполнения всеми разрешеньями <?> и возникновеньями бесконечных жизненных вопросов, кот<орые> нужно решать за эти бесконечно и постоянно мучительные (кроме редких полусветлых минут) два года. И вот опять то же, то же, что было. Прочла впервые вчера все, что написано у меня тут о моей истории с К<узминим> и с изумлением, с позором констатировала, как мало я двинулась с тех пор. Когда во всем другом все так двигается, так идет, так много происходит, борется и ломается во мне, как непрерывная электрич<еская> машина, где две искорки ударяются друг о друга с треском, и от этого все идет. А здесь я прихожу, я измененная, опять почти к тому же — это меня мучает, это не действительно, это м<ожет> б<ыть>, не по-Маминому.

Вот короткий резюмэ того, что было у меня относительно К<узмина>: в 1908 летом, к<а>к было написано, я уехала, страшно нехотя, в Судак. Но, уехав, я не<sup>30</sup> сделалась почти сразу же бесстрадальна по отношению к К<узмину>. Настолько, что даже нашла нужным «влюбиться» кратковременно в брата Жени, и здесь первый раз в жизни моей в этом отношении был короткий и нелепый минут <так!> счастья. В первый раз и мне отвечали, и когда меня не видели час, меня повсюду искали и мне говорили, что соскучились без меня. Но очень скоро увлекшись «Японией», мой Боба по-медвежьему отстранил меня с самой откровенной грубостью. «Как ненужный предмет смахнул локтем», — так я это воспринимала и, конечно, очень была оскорблена и болела. Тут, конечно, тоже мучилась из-за В<ячеслава>, что предпочитаю ему этого глупого sac de plombes — и в такое для него (В<ячеслава>) мучительное, трудное время. Все это прошло, конечно, очень скоро, и только положило лишний мрачный мазок на тяжелую вообще картину этого лета.

Вернувшись, скоро осенью приехал К<узмин> из Окуловки, я твердо «знала», что всякое мое к нему чувство совершенно остыло, и только приятно было, что на этот раз он как-то со мной был чуть-чуть более дружествен, читал *мне* стихи, не сразу уходил из гостиной, если я там сидела одна. Потом случился этот ужасный крах с «Двойным наперсником», где я первый раз встретилась с настоящим злом и предательством<sup>31</sup>, и мне казалось — во мне была ранена вера вообще в человека, и не только в К<узмина>. Это было страшно больно, и я перенесла это очень тяжело, как важный момент в моей жизни; на характер мой это повлияло тем, что заставило меня сделаться еще более недоверчивой и подозрительной к людям. И я раз ночью написала письмо, кот<орое> В<ячеслав> ему отрывками прочел, и я тогда думала: «Какое счастье для меня, что я его больше не люблю, ведь иначе я бы этого не выдержала». Всю эту зиму я сумела себя так держать в руках, что никого абсолютно не только что не любила, но даже ни к кому не питала того особого, почти всегда существующего влюбчивого чувства. Это было страшно хорошо, я была твердо уверена, что это означает конец моей «молодости», что теперь буду тиха <?> и любить только (если буду вообще, в чем сомневалась) <1 слово нрзб> серьезно и окончательно, *зрело*. Летом, когда приехал К<узмин> внезапно, я долго равнодушно слушала звук его голоса в гостиной, даже не выходила к нему, а когда вышла — мало и холодно спрашивала и говорила. Когда В<ячеславу> он понравился и сделался приятным, как товарищ-поэт, и возник вопрос о его переезде к нам<sup>32</sup>, я не была *за* и даже слегка отговаривала, точно предчувствуя опасность, и кроме того чувствуя себя не в силах перенести какую-нибудь новую «подлость». Этот страх перед «подлостью» стоит вечно передо мною и не покидает, к<a>к кошмар. Когда он переехал, я старалась быть с ним ласковой и веселой (прогулки затевала), чтобы ему у нас не было скучно, а он тогда писал мне стихи в альбом «искупительные» о прощении странника и т.д.<sup>33</sup>

Притом я, когда прочла их, поцеловала <?> его, и написала письмо, переведенное В<ячеславом> <1 слово нрзб> на стихи о прощении и не забвении и т.д., но думала и тогда, уже, и теперь, что м<ожет> б<ыть>, это была больше с его стороны поза, ко мне же был он так же безразличен и, м<ожет> б<ыть>, немножко враждебен.

Уже за самое короткое время до отъезда я почувствовала какое-то в себе подтаянье по отношению к нему, ревность к Косте <1 слово нрзб> — это меня возмутило и было одной из двух главных причин, почему я решила ехать. В деревне опять все было совершенно покойно, и я решила, что страхи мои — «*pictus metus*», и вот, вернувшись, начала совсем иначе с ним жить (встретил он меня очень холодно, к<a>к мне чудилось — огорченный нарушением их тройки). Я стала с ним очень *почтительна, уважительна и отдаленна*, и так и осталась до конца, изредка, очень изредка соскальзывая на прежний

путь шуток над ним; совсем почти не смотрела на его лицо и, главное, в глаза зачарующие — не заговаривала почти никогда с ним первая и только показывала ему при всяком случае свое уважение, admiration его к<а>к писателя. Он был ко мне также холоден, т<ак> что Вячеслав говорил, что он, К<узмин>, меня боится, что я его замораживаю. Но я-то думаю, что он *знает* очень хорошо, что я его люблю и что это его тяготит и надоедает ему, так что теперь я уже боюсь слово сказать или посмотреть на него, чтобы его не раздражить. Он все-таки к<а>к будто лучше ко мне относится, чем в том году, в смысле, что с большим уважением и, м<ожет> б<ыть>, немножко интересом. Спрашивает немножко про курсы, сам рассказывает о себе, сам предложил прочесть свои стихи и роман. Раз или два вечером мы просто и хорошо говорили с Ауслен<дером> втроем о «Нежном И<осифе>»<sup>34</sup>, о нем, и про его «хулиганский» период и т.д. Впрочем, за последнее время нашлись у него переживалы <?> Зноско и Белкин<sup>35</sup> (кот<орый> внушает у меня <так!> ужас уродством <1 или 2 слова нрзб>), он совсем холоден, и от Вячеслава, к<а>к это мне ни больно, совсем, совсем отошел.

Так первое время я жила спокойная, уверенная в том, что нашла modus vivendi с К<узминым> — не грозящий мне влюбиться и правильный по отношению к нему. И вот на днях увидела, что все это соломенные мечты <?>, что все улетело в трубу, что к<а>к я ни скрываюсь и ни извиваюсь, я просто его *люблю*, только это чувство еще углубилось как-то с возрастом, ушло внутрь и не выражается больше так поверхностно — в то же время я убедилась, что он меня не только абсолютно не любит, но даже ко мне питает определенную неприязнь, м<ожет> б<ыть>, понимая, несмотря на всю мою бесконечную осторожность, мои чувства к нему. Так что я твердо знаю, что, может быть, только на том свете, после этой жизни или после моей смерти ему не будет тягостно и даже, м<ожет> б<ыть>, будет светло знать, как я его люблю.

Начала я писать опять от полного отчаяния, тут так адский <1 слово нрзб>, что только можно бить себе голову о косяки дверей, что я и делаю вот уже несколько дней. Вячеславу грозит сильная опасность от союза А<нны> Р<удольфовны>, М<аруси> и Л<идии?>, и только сильной любовью могу я ему помочь — ему грозит в связи с этим изменить земле, и только этим могу я ему помочь, а я душой и помышлениями тянусь, несмотря на все дела <?> к К<узмину>. Третьего дня отчаянно плакала, и билась об стену, и сделала ему (Вячеславу) сцену, и ругала его, а про К<узмина> не могла решиться сказать. Ведь выход же есть один — *уехать*. Но туристами не хочу, не могу, слишком душа против этого, я тогда буду дурная с Вячеславом и только его раню, — а в Рим он сейчас не соберется — значит, он *должен* проехать в Абиссинию<sup>36</sup>, дальше от союза <?> и всего. Вчера я опять, подав<ая> слабо, к<а>к всегда, и как<-то> хо-

лодно руку К<узмин>у (он в то же время, отвернувшись, говорил что-то кому-то), я стала отчаянно плакать, и только что, несколько успокоившись, легла, как пришла М<аруся>, и начался длинный сложный разговор о прислуге и о <2 слова нрзб>. Потом пришел В<ячеслав> попрощаться. Потом я решила от отчаяния писать немножко — ведь я же одна со своими мыслями и чувствами, и главное — страшными дилеммами, одна на белом свете, а это ведь так больно, что нельзя кому-нибудь все это сказать, — плача и прячась на груди, как Маме раньше.

P.S. Когда я увидела, что К<узмин> начинает развинчиваться из-за такого-то <?> Белкина, мне стала опять приходиться мысль, что если бы он мог полюбить *настоящую* женщину, он, м<ожет> б<ыть>, любил бы ее *большой* любовью, и окреп бы, сделался бы человеком. И вот я, зная, конечно, все это страшно <1 слово нрзб> и неопределенно, и так в воздухе, я решила просто <?> дать ему возможность подружиться с хорошими женщинами (не М-ше Venois или Толстая<sup>37</sup>). Себя ведь я же знала как абсолютно ему ни на что не годящуюся, и вот решила сблизить его с Дмитриевой<sup>38</sup> (я тогда ей очень увлекалась). Они сразу подружились, разговорились, спорили и т.д. Она и стихи ее ему понравились, и я искренне радовалась, не давая хода никакой ревности, задушивая ее.

Но теперь и здесь грустный крах. Д<митриева> совсем не то, что я думала — она, кажется, самая обыкновенная «баба» — и в том же А.Толстовско-Максином<sup>39</sup> духе — и потом я все терпела, но когда вчера у Лидии в комнате они, не обращая никакого внимания на ход игры, лежали на диване, болтали и смеялись, и потом интимно она заговорила о Белкине, а он отвечал ей тоже дружественно, мне нужно было все мое мужество и вся моя заледенелость, чтобы не зареветь, как дикий зверь, которому всадили в бок кол раскаленный. Вместо этого я стала страшно оживленно руководить <?> дальше всею репетициею. Вот и все — а когда бы К<узмин> со мной заговорил о Белкине... знаю я, что он сухо бы прекратил сразу разговор. Вот так дела обстоят. Вот как мне нужно жить. C'est rude <2 слова нрзб>!

*Воскресенье 15.11.09.*

Сегодня весь день была в полном отчаянии и не знала, что делать, что говорить В<ячеславу>, как объяснить, что я отхожу от него... Потому, когда побывала с ним после того, к<а>к он проснулся, не помню как, но меня вдруг озарил какой-то свет, я поняла, что я не должна так его любить, к<а>к люблю, с ревностью, и compagne, влюбчиво, а должна любить его всего не высшею любовью, желая ему только добра и света. А сама должна уехать, скорей уехать с В<ячеславом>, к<а>к это мне сейчас не хочется. Когда я потом пошла завтракать, К<узмин> встретил меня с какой-то светлой улыбкой,

впрочем забыв, что утром мы уже не только виделись, но и чай пили вместе. Когда он затем пошел к себе, из комнаты его доносился *rag bouffées* <?> ладан, кот<орый> он курил, вероятно, в печке. Этот запах рождал во мне какой-то свет и радость. Но все-таки мне непонятно, к<а>к человек может соединять в одно время ладан с Белкиным. Вечером он заявил, что перешел на *ты* с Б<елкиным>, Гюгюсом<sup>40</sup> и Нувелем. Как это уродливо, что такой переворот для него, к<а>к называть кого-нибудь *ты* (ведь он и братьям своим гов<орит> *вы*) с таких личностей, кот<орые>, к<а>к G<ügius> и Б<елкин> не имеют права гов<орить> ему *ты*. Но хочу только одного — ехать! ехать!

18—12—09

Вячеслав, вернувшись от «Понсиhi», рассказал, что она ему говорила о любви, т.е., что она отрицает возможность бесконечно безнадежно любить, любовь в конце концов исчезнет, и указала рецепт.....!! гомеопатический (!!?)

Насчет рецепта я крайне скептически, а насчет невозможности бесконечной влюбленности согласна. И Женина знакомая, влюблена<я> страстно и безнадежно уже 20 лет в Гучкова, — я абсолютно не доверяю.

По-моему, 4 исхода:

- 1) «каннибальская песнь» — самый редкий, но самый пленительный
- 2) осинушка <?>
- 3) разлюбить
- 4) монастырь, причем он может быть и в миру — тогда *любовь преображается* и человека преображает.

Что касается до меня, то я истомилась в каком-то полусне или бреду и с ужасом думаю, что ведь прошло 3 года почти. Впрочем, знаю, что чтобы избавиться от мертвого <?> томленья, нужно уехать или, во всяком случае, и это даже лучше, быть тут, но отойти совсем, т.е. не привыкать <?>. Но отодрать ее адски больно.

P.S. Сегодня портниха моя Бронислава сказала, что уехала из Ковны из-за «несчастной любви», кот<орая> длится 10 лет. Это ужасно долго, 10 лет. Впрочем, любовь больше, кажется, с его стороны, чем с ее. Родители не позволяют ей за него идти, говорят: «Лучше в девках оставаться». Она же, хотя говорит, что он мне «приятен», не умерла от такого положения, уехала с СПб и несколько раз хотела выйти замуж за другого. Но он каждый раз письмами и угрозами запугивал претендентов, а она уступала, т.к. он ей все-таки «приятен».

6 января

Записываю, что говорил М. А. сегодня за завтраком. Говорил о драме Анненского, о глазах, в кот<орых> отражается весь мир. Вячеслав

сказал, что это теперь ему стало понятно. К<узмин> вдруг ожил и стал кивать головой и говорить, что да, и ему тоже понятно.....

#### 4. II. 10

Душа моя летит, словно несомая на санях четверкой могучих лошадей, то плавно по глади <1 слово нрзб>, то подскакивая, окунаясь вниз и взбираясь куда-то вверх, и только с сегодняшнего дня где-то не перед собой: на пути блещит огонь, но на небе далеко, тепло\* светится яркая звезда, кот<орая>, я знаю, мне благословенна.

1. *Гофман* Модест Людвигович (1887—1959) — в то время студент Петербургского университета, поэт и автор своеобразного манифеста «Соборный индивидуализм»; впоследствии — известный литературовед. Входил в круг близких знакомых Иванова, был влюблен в В.К. и мечтал на ней жениться. О своих связях с семейством Ивановых вспоминал в очерке «Петербургские воспоминания» (Новый журнал. 1955. Кн. 43; перепеч.: Воспоминания о серебряном веке. М., 1993).

2. *А.Р. Минцлова* (ок. 1860—1910?) — деятельница теософского движения, оказывавшая после смерти жены сильнейшее воздействие на Иванова. В.К. относилась к ней резко враждебно, считая, что ее поучения направляют Иванова по неверному пути, и видя не только мистические устремления ее, но и не слишком привлекательные житейские.

3. М. А. Волошин.

4. *К. К. Шварсалон*, брат В.К., был младше ее на три года. В это время учился в реальном училище Гуревича. О его дальнейшей судьбе см.: «...в России он поступил в 1-й кадетский корпус, вытянулся, сделался очень стройным и красивым. После окончания Михайловского артиллерийского училища он был послан в Ровно, где через несколько месяцев его застигла война. Он пробыл на фронте благополучно до 1918 года, а затем пропал без вести — по всей вероятности, погиб» (*Иванова Лидия*. Воспоминания: Книга об отце. [Paris, 1990]. С. 13). Как следует из дневника Кузмина, К.К. ему нравился, но ухаживания не перешагивали рамок допустимого.

5. Чтение весьма гипотетическое. В качестве предположений мы рассматривали музыку Кузмина к «Праматери» («Die Ahnfrau») Ф.Грильпарцера, но она была заказана ему значительно позже. Второе — имя французского композитора E. Audran, которым Кузмин интересовался в 1908 г., о чем см. в дневниковых записях: «Играл позднюю и мало известную оперетку Audran, очень жидко» (18 августа); «Играл Одран, снова изменил мнение: когда-нибудь всей этой милой, веселой, чувствительной музыке будет дано место Grétry, Dalayrac etc.» (18 августа). Однако такое чтение требует излишних натяжек.

6. *Л. В. Иванова* (1896—1985) — дочь Иванова и Л. Д. Зиновьевой-Аннибал. О ней см. предисловие Дж. Мальмстада к уже цитировавшейся книге

\* Подчеркнуто дважды.



ее воспоминаний, а также некролог В. Блинова и В. Рудича (Новый журнал. 1986. Кн. 162. С. 279—283).

7. Елизавета Николаевна *Званцева* (1864—192) — художница. Под квартирой Ивановых на «башне» помещалась ее художественная школа, где в то время жил Кузмин.

8. См.: *Иванов Вяч.* Собр. соч. Брюссель, 1971. Т. 1. С. 704—705.

9. *Дядя Саша* — Александр Дмитриевич Зиновьев (1854—1931), старший брат Л.Д.Зиновьевой-Аннибал. См. о нем: «Александр Дмитриевич Зиновьев был тогда губернатором петербургской губернии. Много позже, когда мы виделись в Риме, он сказал: «Я счастлив, что при мне не было ни одной смертной казни» (Город Петербург имел своего градоначальника и в управление губернии не входил). Зиновьевы жили в роскошном особняке. Внизу важный швейцар, обширный холл, широкая лестница, покрытая хорошими коврами <...> Мы с Зиновьевыми жили в таких разных мирах...» (*Иванова Л.* Цит. соч. С. 27). О *К.С.Шварсалоне*, первом муже Л. Д. Зиновьевой-Аннибал, см. там же: «Когда она была молоденькой девушкой, к ней пригласили блестящего преподавателя, пользовавшегося большой популярностью. <...> Он посвятил свою ученицу во все общественные движения эпохи. Она страшно ими увлеклась, поверила в беззаветный идеализм своего наставника, решила с ним вместе посвятить себя служению народу и, несмотря на отчаянное сопротивление семьи, вышла за него замуж. Брак оказался несчастным. <...> Постепенно выяснилось, что его проповеди были только приманкой для невесты с деньгами и высокими связями. Прошло несколько лет, пока мама, наконец, убедилась в том, что он ее во всем обманывал; как только это произошло, она взяла троих своих детей и уехала с ними за границу» (С. 16).

10. См.: «Мама всегда возила с собою нескольких девушек, которых держала как членов семьи. Она их находила в России, где спасала их от разных тяжелых, иногда трагических обстоятельств. Помню Дуню из рыбацкой деревни, Анюту, Олю <...> Вспоминаются еще имена Васюни и Кристины» (*Иванова Л.* Цит. соч. С. 14).

11. *Тетя Лиза* — жена А. Д. Зиновьева. В семье было 7 детей.

12. Одно из прозвищ Кузмина у Иванова.

13. 17 октября умерла Л. Д. Зиновьева-Аннибал.

14. О *С.С.Познякове* см. в статье «Кузмин осенью 1907 года».

15. «*Куранты любви*» — вокальная сюита Кузмина. Репетировались они для постановки на «Вечере искусств» в зале Павловой 23 апреля. См. о ней: «При выходе и чтении Кузмина половина зала отчаянно шикала, половина отчаянно хлопала. Поставлены были «Куранты» стильно, но исполнители, особенно певицы, пели плохо. Сам Кузмин был загримирован и изображал «поэта»» (Из дневника А. Н. Верховской // Литературное наследство. М., 1982. Т. 91, кн. 3. С. 325). Отчеты см.: Речь. 1908, 25 апреля; Русь. 1908. 26 апреля; Биржевые ведомости. 1908. 24 апреля, веч. вып.; Обозрение театров. 1908. № 384; Слово. 1908. 26 апреля.

16. Подробнее о *В. Ф. Нувеле* см. в предисловии к публикации его переписки с Кузминым. Какие именно «догадки» В. К. имеются в виду, сказать нелегко. Вероятно, нечто относящееся к общим любовным увлечениям Кузмина и Нувеля.

17. *Бернард Перс* (1867—1949) и *С.Н.Харпер* — английские слависты, знакомые с Ивановым и, очевидно, у него жившие. См. в дневнике Кузми-

на, жившего в те дни на «башне»: «Вечером сидел mister Pares, беседуя с грацией о Думе, Англии, России и т.д. Человек с фантазией, как все англичане» (17 июня). Отъезд англичан отмечен 20 июня.

18. Весной 1908 г. в Петербурге находился на гастролях МХТ, его актеры и режиссеры принимали активное участие в художественной жизни Петербурга. Блок в начале мая читал руководителям МХТ только что написанную «Песню Судьбы». См. в письме Блока к матери 28 апреля: «...стихи (Сологуба) были лейтмотивом всех походов (и снялись мы на этом основании: Сологуб, я, Сюннерберг и Чулков). — Эти дни тоже было не без пьянства <...> Отчего не выпить иногда, когда жизнь так сложилась: бывают минуты приближения трагического и страшного, ветер в душе еще свежий; а бывает — “легкая, такая легкая жизнь”» (*Блок Александр*. Собр. соч.: В 8 т. М.; Л., 1963. Т. 8. С. 239). Константин Александрович *Сюннерберг* (писал под псевд. Конст. Эрберг, 1871—1942) — поэт и философ.

19. *Н. Г. Чулкова* (1874—1961) — жена писателя Г. И. Чулкова. В это время Чулковы входили в круг ближайших друзей Иванова.

20. О чтении Блоком своей пьесы «Песня Судьбы» в доме Т. И. Чулкова см.: Литературное наследство. Т. 92, кн. 3. С. 326.

21. См.: «У нас было полушуточно принято выражение «аудиенция». — Вячеслав Иванович, NN просит назначить ему аудиенцию». NN приходил, они с Вячеславом удалялись вдвоем и долго беседовали наедине» (*Иванова Л.* Цит. соч. С. 42).

22. 9 мая, проезжая Окуловку, В. К. отправила Кузмину открытку (ЦГА-ЛИ С.-Петербурга. Ф. 437. Оп. 1. Ед. хр. 162. Л. 14).

23. Описание этих дней в дневнике Кузмина сделано ретроспективно и весьма подробно, поэтому трудно сказать, что имеется в виду. Следует отметить, что в конце Кузмин стремился создать у своих знакомых впечатлительное длительное затворничество в конце 1907-го и начале 1908 г. Подробнее см. в статьях «Автобиографическое начало в раннем творчестве Кузмина» и «Кузмин осенью 1907 года».

24. Здесь и далее Вячеславом В. К. называет отчима. См. в воспоминаниях Л.В.Ивановой: «Сережа, Вера и Костя <...> звали отчима Вячеславом, и чтобы среди них не выделяться, мне сказали тоже так делать; но у меня это как-то не выходило» (*Иванова Л.* Цит. соч. С. 13). Лето 1908 г. Ивановы провели в Крыму.

25. См. запись от 19 октября 1908 г. в дневнике Кузмина: «Он <Позняков> поехал домой, я же к Ивановым. Распростерты объятья, не зная еще «Наперсника». Все милы. <...> Но скоро и этой дружбе конец». Об истории с повестью «Двойной наперсник» см. ниже, примеч. 31.

26. 14—15 февраля 1908 г. большая компания петербургских литераторов устраивала в Юрьеве (Тарту) литературный вечер. Вместе с ними ездила и В.К.Шварсалон, записи о которой в дневнике Кузмина за эти дни очень недружелюбны.

27. «Комедия о Мартинияне» — пьеса Кузмина (впервые напечатана в его книге «Комедии» (СПб., 1908). Была окончена 7—8 июня 1908 г.

28. *С. К. Шварсалон* (1887—?) — старший брат В. К. О нем и его судьбе после революции (он остался в России) см.: *Азадовский К.М.* Эпизоды // Новое литературное обозрение. 1994. № 10.

29. *Маруся* — Мария Михайловна Замятнина (1862—1919), друг дома и фактическая домоправительница Ивановых. См.: «Мария Михайловна (мы ее звали Марусей) познакомилась с мамой на Высших женских курсах <...> Встреча с мамой была для Маруси переворотом в ее жизни, а ко времени нашего пребывания в Женеве она окончательно переселилась к нам и сделалась членом семьи» (*Иванова Л.* Цит. соч. С. 14).

30. Так в тексте. Однако по смыслу «не» здесь — явно лишнее.

31. Написанная в июле—августе 1908 г. повесть «Двойной наперсник» (Золотое руно. 1908. № 10) выводила в пародийном виде А. Р. Минцлову, М. Л. Гофмана и других постоянных посетителей дома Ивановых, что было принято с обидой. См. в дневнике Кузмина 20 ноября 1908 г.: «У Вячеслава был Троцкий. Началось объяснение, отвергал преднамеренность. Вячеслав читал самые скользкие места, прибавляя: «Всякий же узнает, что это Анна Рудольфовна!» Было все-таки менее тягостно, чем я ожидал. Вера, оказывается, была влюблена в меня. Вячеслав целовал меня нежно, спрашивал о работах, ему хотелось, чтобы я остался, но было неловко...» (ср. также примеч. 25). Повесть эту Кузмин никогда не перепечатывал.

32. Окончательно вопрос о переезде был решен 17 августа 1909 г.

33. Имеется в виду стихотворение «Петь начну я в нежном тоне...», вошедшее в книгу «Осенние озера»:

Кров нашел бездомный странник  
После жизни кочевой...

34. Роман Кузмина, который писался в это время и много обсуждался на «башне» (см. записи в дневнике Иванова: Собр. соч. Т. 2. С. 784 и далее).

35. Драматург и секретарь редакции «Аполлона» Евгений Александрович *Зноско-Боровский* (1884—1954) и художник Вениамин Павлович *Белкин* (1884—1951). У Кузмина был роман со вторым из них; близкая дружба с первым, как кажется из дневника, была лишена эротического начала.

36. Поездку в Абиссинию предлагал Иванову Гумилев. См. об этом, а также о «Геософическом обществе», которое, вероятно, называется «союзом»: *Гумилев Николай.* Соч.: В 3 т. М., 1991. Т. 3. С. 362. Письма Гумилева Вяч. Иванову и В. К. Шварсалон из абиссинского путешествия см.: *Неизвестные письма Н. С. Гумилева / Публ. Р. Д. Тименчика // Известия АН СССР. Серия литературы и языка.* 1987. Т. 46. № 1. С. 62—64, 68—69.

37. Анна Карловна *Бенуа* (1869—1952) — жена художника А. Н. Бенуа; Софья Исааковна *Дымищ-Толстая* (1886—1963) — художница, жена Ал. Н. Толстого. С последней из них Кузмин был в приятельских отношениях.

38. Елизавета Ивановна *Дмитриева* (в замуж. Васильева, 1887—1928), более всего известная под псевдонимом Черубина де Габриа.

39. Очевидно, В. К. связывает Ал. Н. Толстого и М. А. Волошину здесь воедино, т.к. летом 1909 г. они вместе были в Коктебеле, где произошла любовная история между Дмитриевой, Гумилевым и Володиным, описанная во многих воспоминаниях.

40. *Гюгюс* — прозвище немецкого поэта и переводчика русских поэтов на немецкий Иоганнеса фон Гюнтера (1886—1973). В 1909 г. гостил на «башне», был в дружеских отношениях с Кузминым.

## ПРИМЕЧАНИЯ

### «ЛЮБОВЬ — ВСЕГДАШНЯЯ МОЯ ВЕРА...» -

Написано как предисловие к не вышедшему в свет сборнику стихотворений Кузмина в «Библиотеке поэта». Публикуется впервые.

1. Наиболее полно стихотворения Кузмина собраны в «Собрании стихов» под редакцией Дж. Малмстада и В. Маркова (München, 1977. Bd. 1—3), проза — в девятитомнике под редакцией В. Маркова и Г. Шольца (Berkeley, 1984—1990), двухтомник пьес подготовлен А.Г.Тимофеевым (первый том уже вышел в Беркли), там же готовится и двухтомник критической прозы под редакцией Ж. Шерона, А. Тимофеева, Н. Богомолова и О. Коростелева. Из отдельных изданий следует отметить «Избранные произведения» (Л., 1990), вышедшие под редакцией А. В. Лаврова и Р. Д. Тименчика, а также сборник «Арена» (СПб., 1994, под ред. А. Г. Тимофеева). Вышедшие в России книги под редакцией С. С. Куняева, Е. В. Ермиловой и А. Пурина научной ценностью не обладают. В дальнейшем мы цитируем стихотворения Кузмина по подготовленному нами сборнику, предназначенному для «Библиотеки поэта», всякий раз оговаривая существенные разночтения с наиболее популярными источниками.

2. Наиболее обширный личный фонд Кузмина хранится в РГАЛИ (ф. 232), значительные комплексы материалов — в РНБ, ЦГАЛИ С.-Петербурга, ИМЛИ, ГЛМ, ИРЛИ (описаны А. Г. Тимофеевым // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1990 год. СПб., 1993; Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1991 год. СПб., 1994).

3. См., напр.: *Шмаков Г.* Блок и Кузмин // Блоковский сборник. Тарту, 1972. Вып. 2. С. 341—364; Письма М. А. Кузмина к Блоку и отрывки из дневника М. А. Кузмина / Публ. К. Н. Суворовой // Литературное наследство. М., 1981. Т. 92., кн. 2. С. 143—174; *Cheron G.* Letters of V. Ja. Vrhjuzov to M. A. Kuzmin // Wiener slawistischer Almanach. Wien, 1981. Bd. 7. S. 65—79; *Тименчик Р. Д., Топоров В. Н., Цивьян Т. В.* Ахматова и Кузмин // Russian Literature. 1978. VI—3; *Фрейдлин Ю. Л.* Михаил Кузмин и Осип Мандельштам: влияния и отклики // Михаил Кузмин и русская культура XX века. Л., 1990. С. 28—31; *Парнис А. Е.* Хлебников в дневнике М.А.Кузмина // Там же. С. 156—165; *Толстая-Сегал Е.* Пастернак и Кузмин // Russian Literature and History. Jerusalem, 1989; Пись-

мо Б. Пастернака Ю. Юркуну / Публ. Н. А. Богомолова // Вопросы литературы. 1981. № 7. С. 225—232; *Селезнев Л.* Михаил Кузмин и Владимир Маяковский // Вопросы литературы. 1989. № 11. С. 66—87; *Cheron G.* Kuzmin and the Oberiuty: an Overview // Wiener slawistischer Almanach. Wien, 1983. Bd. 12. S. 87—101 и др.

4. Более подробный рассказ о биографии Кузмина см. в уже упоминавшейся книге: *Богомолов Н. А., Малмстад. Дж. Э.* Михаил Кузмин: искусство, жизнь, эпоха. М., 1995.

5. Уникальный в этом смысле пример представляет собою книга: *Полишин В.* В лабиринтах серебряного века. Кишинев, 1991. Ср. нашу рецензию: *De Visu*, 1993. № 1. С. 57—58.

6. *Михайлов Е. С.* Фрагменты воспоминаний о К. А. Сомове // Константин Андреевич Сомов. Мир художника: Письма. Дневники. Суждения современников. М., 1979. С. 493. Воспоминания относятся к лету 1906 г. В дневнике Кузмина нередко рассказы о том, как его принимают за «песельника».

7. *Ремизов А.* Встречи: Петербургский буерак. Paris, [1981]. С. 181.

8. *Ремизов А.* Кукха: Розановы письма. Берлин: 1923. С. 106. Отметим неточность автора: сестра Кузмина к тому времени уже давно, овдовев, вышла замуж второй раз и носила фамилию Мошкова.

9. *Цветаева Марина.* Нездешний вечер // *Цветаева Марина.* Сочинения.: В 2 т. М.: 1988. Т. 2. С. 106—119.

10. *Петров В.Н.* Калиостро: Воспоминания и размышления о М. А. Кузмине / Публ. Г. Шмакова // Новый журнал. 1986. Кн. 163. С. 88—89. См. также: *Петров В. Н.* Из «Книги воспоминаний» // Панорама искусств. М., 1980. Кн. 3. С. 150.

11. Заслуга эта принадлежит К. Н. Суворовой. См.: *Суворова К. Н.* Архивист ищет дату // Встречи с прошлым. М., 1975. Вып. 2. С. 119.

12. *Иванов Георгий.* Собр. соч.: В 3 т. М., 1994. Т. III. С. 104—105.

13. Основными источниками для реконструкции жизни Кузмина ранних лет служат его письма к Г. В. Чичерину (РНБ. Ф. 1030. № 17—22, 52—54; ввиду отсутствия полной публикации этого ценнейшего комплекса мы цитируем письма преимущественно по рукописям, оговаривая единичные исключения) и небольшое «вступление» к дневнику, озаглавленное «Histoire édifiante de mes commencements» (опубл. С. В. Шумихиным // Михаил Кузмин и русская культура XX века; незначительные исправления, делаемые нами по рукописи, далее не оговариваются). Для упрощения повествования точные ссылки на страницы, единицы хранения и листы этих материалов далее не указываются.

14. Некоторые сравнительно немногочисленные факты см.: *Кизельштейн Г.Б.* Молодые годы Г. В. Чичерина // Прометей. М., 1969. Т. 7. С. 230—235.

15. Удачный анализ повести см.: *Харер Клаус.* «Крылья» М. А. Кузмина как пример «прекрасной легкости» // Любовь и эротика в русской литературе XX-го века. Вегп е.а., [1992].

16. Усиленные попытки идентифицировать этого человека по имеющимся сведениям не дали результата. Не исключено, что это — своеобраз-

разный псевдоним, какие были употребительны в светском обществе конца века.

17. Константин Андреевич Сомов... С. 471. Обратим внимание, что «свечи, фейерверки и радуги» — слова, в высшей степени характерные для первого сборника стихов Кузмина: «Свет двух свечей не гонит полумрака», «Кем воспета радость лета: роща, радуга, ракета...» и мн. др.

18. См.: *Ильинская С. Б.* «Александрйское урочище» в поэзии К. Кавафиса и М. Кузмина // Балканские чтения-2: Симпозиум по структуре текста. М., 1992. С. 113—118.

19. Подробнее об этом путешествии см.: *Тимофеев А. Г.* «Итальянское путешествие» Михаила Кузмина // Памятники культуры: Новые открытия. Ежегодник 1992. М., 1993. В этой же работе — публикация итальянских писем Кузмина к Чичерину.

20. Введены в научный оборот П. В. Дмитриевым (Новое литературное обозрение. 1993. № 3).

21. *Брюсов Валерий.* Среди стихов: Манифесты, статьи, рецензии. М., 1990. С. 133.

22. *Блок Александр.* Собр. соч.: В 8 т. М.; Л., 1962. Т. 5. С. 587.

23. «Не забыта и Паллада...»: Из воспоминаний графа Б. О. Берга / Публ. Р.Д.Тименчика // Русская мысль. 1990. 2 ноября. Литературное приложение № 11 к № 3852. С. XI.

24. Подробнее о ней и об ее значении для русской культуры см.: *Бердяев Николай.* «Ивановские среды» // Русская литература XX века. М., 1916. Т. III.

25. См. дневниковую запись Кузмина о первом визите 18 января 1906 г.: Литературное наследство. М., 1981. Т. 92., кн.2. С. 151, а также неодобрительную фразу о нем Л. Д. Зиновьевой-Аннибал (Там же. Кн.3. С.243).

26. Здесь и далее на протяжении всей книги дневники Кузмина цитируются по подготовленному Н. А. Богомоловым и С. В. Шумихиным для публикации в издательстве «Северо-Запад» тексту.

27. Литературное наследство. М., 1976. Т. 85. С. 208.

28. Там же. С. 206.

29. О таком типе построения текста см.: *Лотман Ю. М.* Текст и структура аудитории // Ученые записки Тартуского ун-та. Тарту, 1977. Вып. 442.

30. *Волошин Максимилиан.* Лики творчества. Л., 1988. С. 471, 473.

31. *Брюсов Валерий.* Среди стихов. С. 131.

32. Письмо к В. Я. Брюсову от 30 мая 1907 г. // РГБ. Ф. 386. Карт. 91, Ед. хр. 12. Л. 7—8.

33. О религиозном смысле одновременно с «Евдокией» написанной и представлявшей частью единого замысла «Комедии о Алексее человеке Божьем» см. довольно убедительную статью: *Хорват Евгений.* Вокруг десяти реплик «Комедии о Алексее человеке Божьем» М. Кузмина // Стрелец. 1984. № 11. С. 37—39.

34. См. письмо М. М. Замятниной к Кузмину от 16 августа 1908 г. // РГАЛИ. Ф. 232. Оп. 1. Ед. хр. 200. Л. 5 об.

35. В дневнике Иванова за 1909 г. часты записи об обсуждении планов поэмы «Новый Ролла», о чтении пишущейся повести «Нежный Иосиф» и пр. См.: *Иванов Вячеслав*. Собр. соч. Брюссель, 1974. Т. II. С. 773—807. О более ранних отношениях см. в этой книге статью «Петербургские гафизиты».

36. Письмо Н.Н.Сапунова к Кузмину от 18 августа 1907 г. // РНБ. Ф. 400. № 138. Л. 1.

37. См. публикацию переписки Кузмина и Нувеля в нашей книге.

38. См. ниже публикацию писем М. Ф. Ликиардопуло к Кузмину.

39. Наиболее подробный литературно-критический анализ стихов Кузмина — статья В. Ф. Маркова «Поэзия Михаила Кузмина» (*Кузмин Михаил*. Собрание стихов. München: 1977. Т. III; перепечатана в его книге «О свободе в поэзии» [СПб., 1994]). Отметим также статью: *Лавров А. В., Тименчик Р. Д.* «Милые старые миры и грядущий век»: Штрихи к портрету М. Кузмина // *Кузмин М.* Избранные произведения. Л., 1990. С. 3—16; *Тимофеев А. Г.* Семь набросков к портрету М. Кузмина // *Кузмин М.* Арена: Избранные стихотворения. СПб., 1994. С. 5—38.

40. Ср. вполне обычные мнения критиков «Кузьмин <так!> <...> пишет маленькую хронiku нескольких дней своей интимной жизни» (*К.Л.* [Рец. на:] Белые ночи. СПб., 1907 // *Перевал*. 1907. № 10. С. 53); «...выведение живых лиц под прозрачными псевдонимами нам не нравится» (*Эрмий* [*С.В.Киссин*]. [Рец. на:] Белые ночи. СПб., 1907 // *Литературно-художественная неделя*. 1907. 1 октября).

41. *Гаспаров М. Л.* Художественный мир писателя: тезаурус формальный и тезаурус функциональный // *Проблемы структурной лингвистики* 1984. М., 1988. С. 132.

42. *Цветаева Марина*. Соч.: В 2 т.. М. 1988. Т. 2. С. 115.

43. См. напр.: *Гаспаров М. Л.* Стих начала XX в.: строфическая традиция и эксперимент // *Связь времен: Проблемы преемственности в русской литературе конца XIX — начала XX в. М., 1992. С. 362—367.*

44. *Брюсов Валерий*. Среди стихов. С. 379.

45. *Соловьев Сергей* // *Весы*. 1908, № 6. С. 64.

46. *Гумилев Николай*. Соч.: В 3 т. М., 1991. Т. 3. С. 34.

47. См.: *Кузмин М.* Дневник 1931 года / Вступ. ст., публ. и примеч. С. В. Шумихина // *Новое литературное обозрение*. 1994., № 7. С. 177.

48. См.: *Брюсов Валерий*. Среди стихов. С. 379.

49. Наиболее удачные попытки такого рода см. в упомянутых статьях Г. Шмакова, а также А. В. Лаврова и Р. Д. Тименчика. Немало важных наблюдений содержится в статьях: *Морев Г. А.* Полемический контекст рассказа М. А. Кузмина «Высокое искусство» // *Ученые записки Тартуского ун-та*. Тарту, 1991. Вып. 881. С. 92—100; *Тимофеев А. Г.* «Память» и «археология» — «реставрация» в поэзии и «пристрастной критике» М. А. Кузмина // Там же. С. 101—116.

50. О них см.: *Богомолов Н. А.* К одному темному эпизоду в биографии Кузмина // *Михаил Кузмин и русская культура XX века*. С. 166—169; *Азадовский К.* Эпизоды // *Новое литературное обозрение*. 1994. № 10.

51. Печатный текст рецензии — «Труды и дни». 1912, № 1. С. 49—51. В тексте была опущена последняя фраза: «Говорить ли нам о технике? пусть другие это сделают со свободным духом, мы же напомним, что техника стиха, общих и частных форм, теперь имеет лишь двух мастеров, Валерия Брюсова и Вяч. Иванова» (РГБ. Ф. 190. Карт. 47. Ед.хр. 7). Подробнее см. в нашей статье «История одной рецензии» (Philologica. 1994. № 1/2. В печати).

52. Аполлон. 1912, № 5. С. 57.

53. *Жирмунский В. М.* М. А. Кузмин // Биржевые ведомости. Утр. вып. 1916. 11 ноября. Ср.: *Жирмунский В. М.* Теория литературы. Поэтика. Стилистика. Л., 1977. С. 107—109.

54. *Чуковская Лидия.* Записки об Анне Ахматовой. Кн.1: 1938—1941. М., 1989. С. 141.

55. Аполлон. 1912, № 8; Гиперборей. 1912, № 1; Ежемесячные литературные и популярно-научные приложения к журналу «Нива». 1912, № 11.

56. Подробная разработка этой темы: *Тименчик Р. Д., Топоров В. Н., Цивьян Т. В.* Ахматова и Кузмин // Russian Literature. 1978, VI—3.

57. *Иванов Георгий.* Цит. соч. С. 103.

58. *Анненский Иннокентий.* Книги отражений. М., 1979. С. 366.

59. РГБ. Ф. 386. Карт. 91. Ед.хр. 12. Л. 22.

60. *Чулков Г.* Сегодня и вчера // Народоправство. 1917, № 12. С. 9.

61. Подробнее об отношении Кузмина к событиям первых послереволюционных лет см. в предисловии Н. А. Богомолова и С. В. Шумихина к публикации дневника Кузмина за 1921 год // Минувшее: Исторический альманах. [Paris, 1991]. Вып. 12. С. 428—432 (репринтное воспроизведение — СПб.; М., 1993).

62. См.: *Богомолов Н. А.* «Мы — два грозой зажженные ствола»: Эротика в русской поэзии — от символистов до обэриутов // Литературное обозрение. 1991, № 11. С. 61—63.

63. *Цивьян Т. В.* К анализу цикла Кузмина «Фузий в блюдечке» // Михаил Кузмин и русская культура XX века. С. 44.

64. *Мочульский К.* Классицизм в современной русской поэзии // Современные записки. 1922. Кн. XI. С. 376.

65. Подробнее см. в статье «Из комментария к стихам двадцатых годов».

66. Подробнее о бытовом укладе и художественных вкусах Кузмина в конце двадцатых и начале тридцатых годов, помимо названных выше воспоминаний В. Н. Петрова, см.: *Гильдебранд О. Н.* М. А. Кузмин / Предисл. и коммент. Г. А. Морева. Публ. и подгот. текста М. В. Толмачева // Лица: Биографический альманах. СПб; М., 1992. Вып.1. С. 262—290.

67. Фрагменты опубликованы: *Шмаков Г.* Михаил Кузмин и Рихард Вагнер // Studies in the Life and Works of Mixail Kuzmin. Wien, 1989. S. 34, 41—42.

68. *Струве Никита.* Восемь часов с Анной Ахматовой // *Ахматова Анна.* После всего. М., 1990. С. 257.



69. Встречи с прошлым. М., 1990. Вып. 7. С. 247.

70. Блок Александр. Собр. соч. Т. 6. С. 440.

### ЛИТЕРАТУРНАЯ РЕПУТАЦИЯ И ЭПОХА

Впервые — Новое литературное обозрение. 1995. № 11.

1. См.: *Розанов И. Н.* Литературные репутации. М., 1928. Перепечатано: Литературные репутации: Работы разных лет. М., 1990.

2. Письмо к В. К. Станюковичу от 17 сентября 1895 г. // Литературное наследство. Т. 85. М., 1976. С. 737.

3. *Брюсов Валерий.* Среди стихов: Манифесты, статьи, рецензии 1894—1924. М., 1990. С. 48.

4. 11 мая 1896 г. Брюсов записывает в дневнике: «Друзья мои — кроме Бальмонта — отвернулись от меня после рассылки им 2-го изд<ания> с моими надписями» (РГБ. Ф. 386. Карт. 1. Ед. хр. 14/1). Образец такой надписи приведен им также в дневнике: «Фриче прислал ругательное письмо в ответ на надпись, сделанную ему на экз<емпляре> Ш<е> d'O<е>: «Одному из тех, чьим мнением я когда-то дорожил» (Там же, запись от 9 апреля). А. А. Курсинскому надпись была такой: «Автору «Полутеней», полупоэту и полудругу» (Письма В. Я. Брюсова к П. П. Перцову: К истории раннего русского символизма. М., 1927. С. 73).

5. Для них, отметим сразу, имя одного из главных «идеологических» персонажей повести Штрупа не могло быть безразличным, поскольку большинство наверняка знало музыкального критика и соавтора либретто больше «Садко» Н. М. Штрупа не понаслышке.

6. Следует иметь в виду, что отклик мог содержаться в неизвестном нам письме Кузмина к Чичерину. Но существенно, что в дневнике, фиксирующем различные оценки романа, мнение Чичерина не отмечено.

7. ЦГАЛИ С.-Петербурга. Ф. 437. Оп. 1. Ед. хр. 162. История издевательств над Штейнбергом была несколько позднее подробно и весьма близко к действительности описана С. А. Ауслендером в рассказе «Апропо» (Весна. 1908. № 4).

8. Планы «Красавца Сержа» см.: ИРЛИ. Ф. 172. Ед. хр. 321. Л. 97 об. — 98 об. Ср. также хроникальную заметку «К исчезновению натурщика Валентина»: «Осенью прошел слух, что известный в художественном мире натурщик Валентин исчез бесследно. Многие живописцы, для которых он служил хорошей моделью, прямо затосковали <...> Говорили, что Валентин уехал в Варшаву и был там случайно убит. Говорили, что его заколол ножом какой-то хулиган. На самом же деле известный натурщик жив и невредим. Он взят в солдаты и служит рядовым в 8-й роте л.-гв. Семеновского полка (Биржевые ведомости. 1908. 29 февраля. Веч. вып. № 10379).

9. Свободные мысли. 1907. 28 мая.

10. Русь. 1907. 28 июня.

11. Там же. 2 июля.

12. Сегодня. 1907. 30 июня.
13. Речь идет о Доме искусств.
14. Опыты. 1994, № 1. С. 97 / Публ. Инны Андреевой. В оригинале письма ошибка в дате: вместо 1921 г. назван 1920-й.
15. Чуковский К. Дневник 1901— 1929. М., 1991. С. 158.
16. Жизнь искусства. 1924. № 5.
17. *Malmstad John E. Michail Kuzmin: A Chronicle of His Life and Times // Кузмин М. А. Собрание стихов. München, 1977. Т. III. P. 251—252. Цит. с уточнениями по автографу: ГЛМ. Ф. 9. Ед.хр. 37, оф 1378. Л. 1.*
18. Тимофеев А. Г. Прогулка без Гуля? (К истории организации авторского вечера М. А.Кузмина в мае 1924 года) // Михаил Кузмин и русская культура XX века. Л., 1990.
19. Л. Л. Раков, которому посвящен «Новый Гуль», едва ли не последняя любовь Кузмина, впоследствии искусствоведа.
20. Соседи Кузмина по коммуналке.
21. См.: Кузмин М. Дневник 1931 года / Публ. С.В.Шумихина // Новое литературное обозрение. 1994. № 7.
22. Аксакова-Сиверс Т. А. Семейная хроника. Кн. II. Paris, 1991. С. 216.

#### ПЕТЕРБУРГСКИЕ ГАФИЗИТЫ

Впервые, под заглавием «Эпизод из петербургской культурной жизни 1906—1907 гг.» — Ученые записки Тартуского гос. университета. Вып. 813. Блоковский сборник, VIII. Тарту, 1988. Дополнение: Отголоски века Просвещения в русской культурной жизни эпохи революции 1905 года: Тез. докл. научной конференции «Великая французская революция и пути русского освободительного движения» 15—17 декабря 1989 г. Тарту, 1989. Вся статья в практически полностью переработанном виде — Серебряный век в России: Избранные страницы. М., 1993. Печатается с некоторыми дополнениями и исправлениями.

1. Блестящий образец исследования кружка такого рода см.: Лавров А. В. Мифотворчество «аргонавтов» // Миф — фольклор — литература. Л., 1973. Ср. также английский вариант этой работы с некоторыми исправлениями и дополнениями: *Creating Life: The Aesthetic Utopia of Russian Modernism / Ed. by I.Paperno and J.D.Grossman. Stanford, 1994.*
2. Письма З. Н. Гиппиус к А. Л. Волынскому / Публ. А. Л. Евстигнеевой и Н. И. Пушкаревой // Минувшее: Исторический альманах. [Paris, 1991]. Т. 12. С. 283 (Репринтное воспроизведение — М.; СПб., 1993).
3. Константин Андреевич Сомов: Мир художника. Письма. Дневники. Воспоминания современников. М., 1979. С. 95 и коммент.
4. Иванов Вяч. Собр. соч. Брюссель, 1974. Т. II. Оригинал хранится: РГБ. Ф. 109. Карт. 1. Ед.хр. 19. Цитаты всюду сверены с ним и неточности устранены без оговорок.
5. *Wiener slawistischer Almanach. Wien, 1986. Bd. 17. Публ. Ж. Шерона.*

6. Кузмин М. Собрание стихотворений: В 3 т. München, 1977. Т. III. Некоторые сведения имеются также в предисловии Дж.Малмстада к этому тому.

7. Davidson P. The Poetic Imagination of Vyacheslav Ivanov. Cambridge e.a., [1989]. P. 112—120. Следует также отметить совсем недавнюю статью, использующую и материал нашей работы: Shishkin Andrej. Le banquet platonicien et soufi à la «tour» pétersbourgeoise: Berdjajev et Vyacheslav Ivanov // Cahiers du Monde russe. 1994. Т. XXXV, № 1—2. P. 15—80.

8. РГБ. Ф. 109. Карт. 23. Ед.хр. 17. Л. 24—26 об.

9. Guenther Johannes von. Ein Leben im Ostwind. Zwischen Petersburg und München: Erinnerungen. München, [1969]. S. 125. Цит. по переводу К. М. Азадовского // Наше наследие. 1990. № 6. С. 61.

10. РГБ. Ф. 109. Карт. 9. Ед.хр. 33. Л. 33—33 об. Это письмо ускользнуло от внимания автора новейшей статьи об отношениях Горького и Иванова (см.: Корецкая И. В. Горький и Вяч. Иванов // Горький и его эпоха: Исследования и материалы. М., 1989. Вып. 1).

11. См., напр., запись в дневнике Кузмина от 18 января 1906 г. // Литературное наследство. М., 1981. Т. 92, кн. 2. С. 151. С этим общением были параллельны давние дружеские отношения между Нувелем, Сомовым, А. Н. Бенуа и Л. С. Бакстом. О стиле, присутствовавшем в этом кружке, отличное представление дает начало одного письма Бакста к Нувелю: «Старая, обвислая жопа, здравствуй...» (Письмо от 29 июля 1907 // РГАЛИ. Ф. 781. Оп. 1. Ед.хр. 2. Л. 15)

12. В письме от 3 апреля к Замятниной Зиновьева-Аннибал презрительно писала: «...имя Александра Блока <...> оценено ниже какого-то черносотенного поэтишки Кузмина» (Литературное наследство. М., 1982. Т. 92, кн. 3. С. 243).

13. Указанная в примеч. 5 публикация основана на машинописной копии, хранящейся в РНБ, поэтому здесь, как в прочих случаях, цитируем по подготовленному к печати тексту, основанному на оригиналах РГАЛИ.

14. В письмах Зиновьевой-Аннибал фамилия Кузмина всюду пишется именно так. Далее написание исправляется без оговорок.

15. РГБ. Ф. 109. Карт. 23. Ед. хр. 18. Л. 14—15.

16. Именно к нему относится открытка Нувеля к Кузмину от 28 апреля: «Только что получил известие от Сомова, с просьбой Вам его передать, что Hafiz-Schenke у Ивановых откладывается с субботы на ближайший вторник». Переписка Кузмина и Нувеля опубликована в нашей книге и цитируется по ней, без указания страниц.

17. В комментариях к «Собранию стихотворений» Кузмина «Апеллес» расшифрован как псевдоним Сомова. Это явное недоразумение, основанное, очевидно, на том, что в фонде Сомова в РГАЛИ сохранилась записка Кузмина с просьбой о займе с обращением «Апеллес» (РГАЛИ. Ф. 869. Оп. 1. Ед. хр. 44). Однако из писем Бакста к Сомову становится очевидным, что записка была первоначально послана Баксту, а он только переадресовал ее Сомову. В комментариях О. А. Дешарт ко второму тому «Собрания сочинений» Иванова в качестве «гафизита» назван И. фон Гюнтер под именем Ганимеда. На самом же деле Гюнтер в собраниях не участвовал,

так как уже в начале мая уехал из Петербурга. Он сам засвидетельствовал, что с Кузминым — непременным участником собраний — познакомился лишь в 1908 г. (см.: *Guenther Johannes von*. Op. cit. S. 140, 204). Владелец прозвища «Ганимед» устанавливается на основании письма Иванова к Кузмину в Васильсурск от 24 июня 1906 г., где он просит: «Передайте мой привет милому Ганимеду» (*Wiener slawistischer Almanach*. Wien, 1986. Bd. 17. S. 438 / Публ. Ж. Шерона). Единственным человеком, к которому эта просьба могла относиться, был Ауслендер, гостивший в это время в Васильсурске. Имя «Гермес» применительно к Городецкому употреблено Ивановым в дневнике: «Загадочное письмо Гермеса-Зейна о таинственных и нежных причинах, его задержавших» (РГБ. Ф. 109. Карт. 1. Ед. хр. 19. Л. 19; в опубликованном тексте неверное прочтение «Гершен-Зейна» и соответственный комментарий к имени М. О. Гершензона). Еще один вариант прозвища Городецкого, восходящий к стихотворению Иванова, называет Нуэль в письме к Кузмину: «"Перун" мне мало нравится. Зато очень хороши его стихи в «Цветнике <Ор>». Не знаете ли, где теперь сам Китоврас?».

18. Иванов Вяч. Указ. соч. С. 738. Список рукой Кузмина — РГАЛИ. Ф. 232. Оп. 1. Ед. хр. 6.

19. РГАЛИ. Ф. 232. Оп. 1. Ед. хр. 9. Л. 193—193 об. На л. 201 — 201 об. то же стихотворение переписано неизвестной нам рукой, а на л. 202 об. находится набросок еще одного «гафизического» стихотворения, записанного тою же неизвестною рукой, неизвестно кому принадлежащего и плохо читающегося.

20. Окончательный вариант: *Иванов Вяч.* Указ. соч. С. 343. Черновой автограф с рядом вариантов и набросками продолжения — ИРЛИ. Ф. 607. Ед. хр. 21.

21. РГБ. Ф. 109. Карт. 23. Ед. хр. 19. Л. 55—55 об. Об исключении из числа «гафизитов» Л. Ю. Бердяевой Кузмин записывал 8 мая: «У Ивановых новых были: Бакст, Бердяева, Городецкий и Сережа. Все были в новых одеждах. Сомов принес мне книги XVIII в. и подарил «Affetti amorosi» 1600 <года>. Я был ужасно польщен и обрадован. Видел книгу, которую давно стремился видеть: «К. Сомов». К сожалению, там не сказана цена, которую знать мне нужно, чтобы сообразить, когда можно будет приобрести эту книгу, первую à acheter. Вначале стесняла тайно Бердяева, потом начала стеснять даже совсем и слишком явно, так что поднятый вопрос об ее исключении был принят почти единодушно. Может быть, я был слишком категоричен, так что она могла обидеться. Вячеслав Иванович читал свое стихотворение, Городецкий импровизировал. Все целовались, я не целовался только с Сомовым и Бердяевыми. Играли на флейтах, пили, было шумно и несколько бестолково, пахло розовым маслом, платья были пестры. У меня все было розовое с белым и бледно-зеленым. Я был увлечен, но не был никем ранен, оттого, может быть, и показался Гипериону мудрым». Упоминаемый Зиновьевой-Аннибал Кравчий — С. А. Ауслендер.

22. *Иванов Вяч.* Указ. соч. С. 752. Эти высказывания необходимо поставить в связь с общими представлениями Иванова о театре. См.: *Цимборска-Лебода М.* Театральные утопии русского символизма // *Slavia*. [Praha]. 1984. Sešit 3—4. В значительно облегченном виде соотношение «Вечеров Гафиза» с театральными идеями Иванова описано в брошюре: *Стахорский С. В.* Вячеслав Иванов и русская театральная культура начала XX века. М., 1991. С. 34—60.

23. Письмо от 13 июля 1906 г. // РГБ. Ф. 109. Карт. 10. Ед. хр. 3. Л. 3—3 об. Эти письма, отправлявшиеся Ивановым жене в Швейцарию, представляют собою фактически часть дневника, заполняя тот хронологический пропуск в нем, который остался в опубликованном тексте. Далее эти письма цитируются без ссылок на источник.

24. Следует отметить, что в комментарии О. А. Дешарт ко второму тому «Собрания сочинений» Иванова (С. 743—764) чувственный накал переживаний Иванова значительно снижен.

25. Открытка со штемпелем 27.8.1906 // РГБ. Ф. 109. Карт. 23. Ед. хр. 19. Л. 28.

26. Открытка со штемпелем 29.8.1906 // Там же. Л. 29.

27. РГАЛИ. Ф. 781. Оп. 1. Ед. хр. 7.

28. РГБ. Ф. 109. Карт. 22. Ед. хр. 13. Л. 67—69.

29. РГБ. Ф. 109. Карт. 23. Ед. хр. 19. Л. 39 об.

30. Чулкова Н. Г. Воспоминания о моей жизни с Г. И. Чулковым и о встречах с замечательными людьми // РГБ. Ф. 371. Карт. 6. Ед. хр. 1. Л. 65—66. См. упоминания о заседаниях «Фиаса» в письмах Зиновьевой-Аннибал к Н. Г. Чулковой: «Троим из членов Фиаса оказался неудобным вторник. Поэтому отложили собрание до вторника 15-го ноября» (Письмо от 7 ноября // РГАЛИ. Ф. 548. Оп. 1. Ед. хр. 457. Л. 9); «Фиас еще раз откладывается на неделю из-за отъезда в Финляндию заболевшей Примаверы» (Письмо, помеченное «Понедельник» <14 ноября 1906?> // Там же. Л. 8).

31. Литературное наследство. М., 1976. Т. 85. С. 496—497.

32. Публикуются в приложении к переписке Кузмина и Нувеля в нашей книге.

33. *Broms Henry. Two Studies in the Relations of Hafiz and the West.* Helsinki, 1968. P. 8.

34. *Guy Arthur. Introduction // Les poèmes erotiques ou ghazels de Chems Ed Din Mohammed Hâfiz.* P., 1927. Т. 1. P. IX—X.

35. Пригарина Н. И. Хафиз и влияние суфизма на формирование языка персидской поэзии // Суфизм в контексте мусульманской культуры. М., 1989. С. 94.

36. Минц З. Г. Блок и русский символизм // Литературное наследство. М., 1980. Т. 92, кн. 1. С. 107.

37. РГБ. Ф. 386. Карт. 82. Ед. хр. 38. Л. 40—40 об. Еще более фантастические слухи о существовании «Гафиза» фиксирует письмо А. А. Смирнова к Нувелю от 16 ноября: «Не рассчитывайте меня залучить в Ваше общество. До меня дошло, что там танцуют голые женщины из хорошего общества, недавно вышедшие замуж. Это отвратительно! даже хуже, чем то, что написал Ганимед. А вот еще рассказ М<onsieur> N\* о вечерах у В. Иванова: «Очень хорошо там... В других местах сидят на стульях да в креслах. А там приходим и садимся прямо на пол. Ну, кто хочет, рассказывает что-нибудь... Другие слушают... Пьем что-нибудь... Курим что-нибудь... чудесно!» И Вы, Вы могли!!...» (РГАЛИ. Ф. 781. Оп. 1. Ед. хр. 15.

Л. 13 об.) Очевидно, известия, содержащиеся в процитированных письмах, и есть «парижские сплетни», о которых идет речь в дневнике Кузмина 15 ноября (см. выше; письма Смирнова и Гиппиус, видимо, датированы по новому стилю). Судя по всему, известия из обоих писем каким-то образом между собою связаны (А. А. Смирнов был постоянным посетителем Межковских в Париже).

38. Вesy. 1906. № 9.

39. Михайлов А. В. «Западно-восточный диван» Гете: смысл и форма // Гете И. В. Западно-восточный диван. М., 1988. С. 667.

40. Гельдерлин Ф. Гиперион. Стихи. Письма. М., 1988, С. 41.

41. Письмо от 22 июля 1893 г. // РГАЛИ. Ф. 232. Оп. 1. Ед. хр. 430. Л. 141—141 об.

42. Иванов Вяч. Указ. соч. С. 751.

43. В этом отношении чрезвычайно интересен тот факт, что «гафизиты» регулярно читали друг другу свои весьма интимного свойства дневники. Несколько подробнее об этом см.: Богомолов Н. А. Дневники в русской культуре начала XX века // Тыняновский сборник: Четвертые Тыняновские чтения. Рига, 1990. С. 152—154.

44. Иванов Вяч. Указ. соч. С. 744.

45. Там же. С. 747.

46. Из письма Нувеля к Кузмину от 16 июня 1907 г.

47. В комментарии О. А. Дешарт к этому стихотворению (Иванов Вяч. Указ. соч. С. 738) фамилия второго мужа Анненковой-Бернар названа неверно.

48. РГБ. Ф. 109. Карт. 22. Ед. хр. 13. Л. 55 об. — 56 об.

49. РГБ. Ф. 109. Карт. 23. Ед. хр. 19. Л. 49—50.

50. Первая точка зрения с наибольшей отчетливостью выражена в рецензии В. Я. Брюсова на «Сети» (Брюсов В. Я. Среди стихов: Манифесты, статьи, рецензии. М., 1990. С. 379). Образец второй: «При всей своей «простоте и ясности» творчество М. Кузмина загадочно» (Мочульский К. Классицизм в современной поэзии // Современные записки. 1922. Кн. XI. С. 370).

51. Блоковский сборник. Тарту, 1972. Вып. II. С. 341—360.

52. Мочульский К. Указ. соч. С. 374.

53. Русская литература конца XIX — начала XX в. 1908—1917. М., 1972. С. 302—303.

54. Константин Андреевич Сомов... С. 471. Ср. с «Терцинами к Сомову» Вяч. Иванова.

55. Там же. С. 95. Неточности публикации исправлены по оригиналу (РНБ. Ф. 124. № 4084. Л. 3 об. — 4 об.).

56. РГБ. Ф. 371. Карт. 4. Ед. хр. 6. Л. 5. Пьемо от 8 мая 1907 г.

57. См.: Литературное наследство. Т. 92, кн. 3. С. 286.

58. Ср. с историей рукописного сборника «Запретный сад», предлагавшегося Кузминым букинисту Л. Ф. Мелину (письмо от 6 июня 1919 г. // РГАЛИ. Ф. 232. Оп. 1. Ед. хр. 64) с обещанием не делать других списков. Тем не менее такие списки существовали, делались попытки их распространения и, что еще более важно, сама рукопись вскоре была издана под заглавием «Занавешенные картинки» (Амстердам, 1920; фактически, конечно, была напечатана в Петрограде).

59. Письмо от 3 июня 1912 г. // ИМЛИ. Ф. 189. Оп. 1. Ед. хр. 7. Л. 2 — 2 об.

60. Письмо от 21 июня 1912 г. // Там же. Л. 4. Рукопись этого сборника известна в двух экземплярах: карандашный список неизвестной рукой — РГАЛИ. Ф. 232. Оп. 1. Ед. хр. 6; список же рукой Кузмина разделен: его собственные стихи хранятся в РГБ (Ф. 622. Карт. 3. Ед. хр. 15), а стихи Князева — в РГАЛИ (Ф. 548. Оп. 1. Ед. хр. 415).

61. *Шмаков Г.* Указ. соч. С. 354.

62. *Жирмунский В. М.* Теория литературы. Поэтика. Стилистика. Л., 1977. С. 107.

63. См., напр., статью Б. М. Эйхенбаума «О прозе М. Кузмина» (*Эйхенбаум Б.* О литературе: Работы разных лет. М., 1987. С. 348—351) и упомянутую статью К. В. Мочульского.

64. *Блок А.* Записные книжки. М., 1965. С. 85.

65. *Иванов Ф.* Старому Петербургу (Что вспомнилось) // Жизнь [Берлин]. 1920. № 9. С. 16. Цитировано также в статье Р. Д. Тименчика «Рижский эпизод в «Поэме без героя» Анны Ахматовой» (Даугава. 1984, № 2). Следует, однако, отметить, что то ли мемуариста подвела память, то ли, что гораздо более вероятно, читая ему дневники, Кузмин нарочно совместил разновременные события: в его дневнике запись о похоронах Князева находится, как и положено, под 8 апреля 1913 г., а запись о неплохом романе Т. Краснопольской — 28 апреля 1914 г. Единственная зафиксированная дневником Кузмина встреча его с Ф. Ивановым произошла 20 августа 1915 г.

66. Из письма Н. С. Гумилева к Л. М. Рейснер от 8 ноября 1916 г. // В мире книг. 1987. № 2. С. 72.

67. *Тименчик Р. Д.* Неопубликованные прозаические заметки Анны Ахматовой // Известия АН СССР. Серия литературы и языка. 1985. Т. 43. № 1. С. 71.

68. См.: *Тименчик Р. Д., Топоров В. Н., Цивьян Т. В.* Ахматова и Кузмин // Russian Literature. 1978. Vol. VI. № 3.

69. Театр. 1993. № 5. С. 176 / Публ. Н. А. Богомолова.

70. Там же. С. 181.

71. Литературное наследство. Т. 85. С. 696—697.

72. РГБ. Ф. 109. Карт. 24. Ед. хр. 11. Л. 6—7. Подробнее о творчестве Л. Д. Зиновьевой-Аннибал, в том числе и о повести «Тридцать три урожая» см.: *Никольская Т. Л.* Творческий путь Л. Д. Зиновьевой-Аннибал // Ученые записки Тартуского гос. университета. Тарту, 1988. Вып. 813.

73. РГБ. Ф. 109. Карт. 13. Ед. хр. 17. Л. 19—19 об.

74. Новый мир. 1990. № 1. С. 231—323 / Публ. Р. А. Гальцевой. Неточности публикации исправлены по оригиналу.

75. Русская литература XX века. М., 1916. Т. III.

76. РГБ. Ф. 109. Карт. 13. Ед. хр. 17. Л. 16 — 17 об. О позиции Бердяева в годы близкого знакомства с Ивановым см.: Письма Николая Бердяева / Публ. В. Аллоя // Минувшее: Исторический альманах. [Paris, 1990]. Вып. 9. С. 294—325, а также упомянутую выше статью А. Б. Шишкина. Когда книга была уже в наборе, появилась статья: *Фаликов Борис*. «Я понять тебя хочу, смысла я в тебе ищу...» (Н. А. Бердяев и оккультизм) // Комментарии. 1995, № 4. С. 174—189.

77. РГБ. Ф. 109. Карт. 23. Ед. хр. 20. Л. 16 — 16 об.

78. Письмо Зиновьевой-Аннибал к Замятниной от 17 февраля 1907 г. // Там же. Л. 11—12. Реферат Волошина опубликован не был и хранится в его архиве в ИРЛИ. Тезисы Иванова развиты в статье «О любви дерзашей» (Факелы. СПб., 1907. Кн. 2; впоследствии в несколько переработанном виде вошла в цикл «Спорады» книги «Борозды и межи»).

79. Письмо к Замятниной от 4 февраля 1907 г. // Там же. Л. 7 — 7 об.

80. Письмо от 2 марта 1907 г. // РГБ. Ф. 109. Карт. 24. Ед. хр. 11. Л. 9 об. — 14 об. Ср. там же письмо от 3 марта.

81. Предисловие Н. В. Котрелева и З. Г. Минц к публикации «Блок в неизданной переписке и дневниках современников» // Литературное наследство. Т. 92., кн. 3. С. 161.

82. Там же. С. 291.

83. Письмо к Замятниной от 24 апреля — 1 мая 1906 г. // РГБ. Ф. 109. Карт. 23. Ед. хр. 18. Л. 16.

84. Письмо от 15/28 августа 1906 г. // РГБ. Ф. 109. Карт. 29. Ед. хр. 91. Л. — 8 об.

85. Приведем несколько выразительных цитат, характеризующих тогдашнее отношение Мережковских к идеям «башни» и самого Иванова: «"Среды" у Вячеслава кончились, ибо выродились во что-то уж очень неприличное» (Письмо З. Н. Гиппиус к Андрею Белому от 3 марта 1907 г. // РГБ. Ф. 25. Карт. 14. Ед. хр. 6. Л. 50 об). «Мережковские ругательски ругают всех наших поэтов и писателей — Сологуба, Иванова, Блока, Городецкого, Ремизова, Вас, словом, решительно всех, за исключением одного — как бы Вы думали? Сергеева-Ценского!» (Письмо Нувеля к Кузмину от 8 мая 1907 г.). «Д.С. (чуть не написал Д.С.С. — а следовало бы — чин этот уже написан на просветленном лбу), Д<митрий> С<ергеевич> по матери ругал Вячеслава Иванова (жалкий, методичный немецкий фармацевт, профессор, развешивающий на скрупулы классицизм, Городецкого (хулиганом), Кузмина (прикащик, говорящий об Александрии и Флоренции). И только из естественного чувства неловкости перед кое-кем из присутствующих не ругал бедного Михаила Алексеевича другим словом. Ругали всех молодых за самонадеянность, за заносчивость, за дерзость, а все кончалось тем, что «вот погодите, выйдет Димина ругательная статья — все узнаете». И по оскаленному лицу Зиновочки (в этот миг собачьему; она часто похожа



на собаку) я понял, qu'elle y est pour quelque chose и что второй после Белого Полишинель дернет в такт Зиночке ядовитый памфлетик» (РГАЛИ. Ф. 781. Оп. 1. Ед. хр. 2. Л. 14). См. также ст.: *Соболев А. Л.* Мережковские в Париже (1906—1908 г.) // Лица: Биографический альманах. М.: СПб., 1992. Вып. 1. С. 352—372.

86. См., например, надпись М. Л. Гофмана на книге «Соборный индивидуализм», обращенную к В. К. Шварсалон и сделанную 26 октября 1907 г.: «Книга создавалась во время разговоров с Диотимой и Вячеславом ровно год тому назад» (РГБ. МК. XII. А. 4 а/8).

87. Александр Блок в воспоминаниях современников. М., 1980. Т. 2. С. 64.

88. Литературное наследство. Т. 92, кн. 3. С. 269.

89. Самому Кузмину, однако, эта известность не была так неприятна. См. в письме к Нувелю от 3 июля 1907 г.: «...Вы думаете, что я уничтожен всеми помоями, что на меня выливают со всех сторон? <...> Вы ошибаетесь. Приятности я не чувствую, но tu l'as voulu, Georges Dandin».

90. Блок А. Собр. соч. Т. V. С. 291. Своеобразный отклик на это место статьи находим в письме Кузмина к Вяч. Иванову от 9 ноября 1908 г.: «Блок пишет, что я сам виноват, что «большая публика» не видит моего настоящего лица. Но кто хочет, кто может — видит, и не довольно ли этого?» (РГБ. Ф. 109. Карт. 28. Ед. хр. 29. Л. 5).

91. Блок А. Собр. соч. Т. V. С. 294.

#### КУЗМИН ОСЕНЬЮ 1907 ГОДА

Впервые — Лица: Биографический альманах. СПб.; М., 1994. Вып. 5.

1. При переходе от неформальных и нерегулярных собраний на «башне» к гораздо более формализованным в редакции «Аполлона» общество было вынуждено создать свой устав и даже зарегистрироваться в петербургском градоначальстве (см. письма Е. А. Зноско-Боровского В. Я. Брюсову от 21 сентября и 20 октября 1909 г. // РГБ. Ф. 386. Карт. 88. Ед. хр. 71. Л. 1—2).

2. Многочисленные факты такого рода описаны и истолкованы в кн.: *Богомолов Н. А., Малмстад Дж. Э.* Михаил Кузмин: Искусство, жизнь, эпоха. М., 1995.

3. При всей существенности для биографов Кузмина первой публикации его стихов в качестве вокальных текстов еще в 1898 г., для читателей он, безусловно, дебютировал именно в 1904-м.

4. Отметим, впрочем, что и в дальнейшем Кузмин не брезговал довольно низкопробными знакомствами, но они уже или отходили в сферу его чисто чувственных увлечений, или же он делал попытки возвысить своих любовников до уровня настоящей литературы.

5. РГАЛИ. Ф. 232. Оп. 1. Ед. хр. 21.

6. Письмо, датированное XXVIII / I 1908 // ЦГАЛИ С.-Петербурга. Ф. 437. Оп. 1. Ед. хр. 162. Л. 10—11 об. Никаких сведений об авторе

письма обнаружить не удалось. В списке писем января 1907 г. Кузмин под 28 января помечает письмо «Реалисту» (ИРЛИ. Ф. 172. Ед. хр. 321).

7. ГРМ. Ф. 133. Ед.хр. 216. Ответные письма, лишённые какого бы то ни было чувственного начала,— ИРЛИ. Ф. 39. Ед. хр. 930.

8. Несколько подробнее о планах нового журнала см. в переписке Кузмина с Нувелем лета 1907 г. и в комментариях к ней.

9. См.: Letters of N.N.Sapunov to M.A.Kuzmin / Publication of John E.Malmstad // Studies in the Life and Works of Mixail Kusmin. Wien, 1989. P. 157—158.

10. Подробнее см.: Богомолов Н. А. «Мы — два грозой зажженные ствола...»: Эротика в русской поэзии от символистов до обэриутов // Литературное обозрение. 1991. № 11. С. 59—60.

11. В последнее время эта проблема обстоятельно исследована А. Е. Парнисом в докладе, представленном на конференции в ИРЛИ, посвященной жизни и творчеству А. М. Ремизова.

12. См.: Будимир. Клуб порнографии // Столичное утро. 1907. 2 июля.

13. Подробнее см.: Литературное наследство. Т. 92, кн. 3. М., 1982. С. 271—272.

14. См.: Гильдебрандт-Арбенина О. Н. Письмо Ю. И. Юркуну. 13. 02. 1946 / Публ. и коммент. Г. А. Морева // Михаил Кузмин и русская культура XX века. Л., 1990. С. 249.

15. ГРМ. Ф. 137. Ед. хр. 1108.

16. РНБ. Ф. 124. № 410.

17. В словоупотреблении того времени слово значило «оформляет».

18. Подробнее см.: Тимофеев А. Г. Прогулка без Гуля? (К истории организации авторского вечера М. А. Кузмина в мае 1924 г.) // Михаил Кузмин и русская культура XX века. С. 178—196.

19. Этим именем в дневнике Кузмина часто обозначался Святополк-Мирский.

20. Блок Александр. Собр. соч.: В 8 т.. М.; Л., 1963. Т. 8. С. 221. Упоминаемые в тексте «трое» — Блок, Л. Д. Блок и Н. Н. Волохова.

21. См. комментарии: Там же. С. 589; Литературное наследство. Т. 92, кн. 3. С. 315.

22. Андрей Белый после ссоры с Л. Д. Блок 18 ноября уехал из Петербурга в Москву. См.: Лазров А. В. Андрей Белый: Хронологическая канва жизни и творчества // Андрей Белый: Проблемы творчества. М., 1988. С. 782.

23. Имеются в виду строки из «Курантов любви»: «Кто может у Венера колодца Любви стрелой, любви стрелой не уколоться?»

24. Русь. 1907. 2/15 декабря. Подпись: М.

25. О литературной позе Кузмина в эти недели см. в статье «Автобиографическое начало в раннем творчестве Кузмина», в письме к В. В. Руслову от 20 января 1908 г. и к Блоку от 29 декабря 1907 г. (Литературное наследство. М., 1981. Т. 92, кн. 2. С. 148).

26. См. реакцию вполне доброжелательно настроенного к Кузмину С. М. Городецкого на публикацию этого произведения в письме к Кузмину от 6 декабря 1908 г.: «Дорогой Михаил Алексеевич, Вы делаете школу, но все-таки рассака Познякова никуда не годится. Впрочем, в «Весы» даже очень. Или я ослеп, или Купидонова повязка Вас подводит. Но это не мое только мнение. Кроме непристойностей и пародирования Вас в рассказе ничего нет. Не Вашему бы милому голосу защищать его» (РНБ. Ф. 124. № 1291. Л. 5).

27. Подробнее см.: *Никольская Т. Л. Эмоционализм // Russian Literature. 1986. Vol. XX. № 17.*

28. Подробнее см.: *Богомолов Н. А. История одной рецензии // Philologica. 1995. № 1/2 (в печати).*

29. См. письмо Кузмина: «С благодарностью принимаю предложение вступить в Кольцо Поэтов Имени К. М. Фофанова. М. Кузмин. 1921 14 июня» (ИРЛИ. Ф. 355. Ед. хр. 29). Подробнее о «Кольце поэтов» см.: *Anemone A., Martynov I. Towards the History of the Leninigrad Avant-Garde: The «Ring of Poets» // Wiener slawistischer Almanach. Wien, 1986. Bd. 16.* Ср. также материалы об этом, собранные в ст.: *Тимофеев А. Г. Материалы М. А. Кузмина в Рукописном отделе Пушкинского Дома (Некоторые дополнения) // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1991 год. СПб., 1994. С. 53—55.*

30. См.: *Кузмин Михаил. Дневник 1921 года / Публ. Н. А. Богомолова и С. В. Шумихина // Минувшее: Исторический альманах. СПб.; М., 1993. Т. 13. С. 524.*

#### АВТОБИОГРАФИЧЕСКОЕ НАЧАЛО В РАННЕМ ТВОРЧЕСТВЕ КУЗМИНА

Первая часть — Блоковский сборник. Тарту, 1993. Вып. XII. Вторая часть печатается впервые.

1. *Топоров В. Н. О «Крестовых сестрах» А. М. Ремизова: поэзия и правда // Ученые записки Тартуского гос. университета: Биография и творчество в русской культуре начала XX века. Тарту, 1989. Вып. 857. С. 139.*

2. Попытка создания подробной биографии Кузмина (см.: *Богомолов Н. А., Малмстад Дж. Э. Михаил Кузмин: Искусство, жизнь, эпоха. М., 1995*) обнажила несколько не поддающихся прояснению темных мест, в том числе и чрезвычайно важных для понимания его личности.

3. Напомним читателям слова гр. Б. О. Берга из его воспоминаний, приведенные в разделе «Любовь — всегдашняя моя вера...»: «Жаль, что нет его полного собрания стихов и что прелестные его сонеты, появившиеся в «Зеленом сборнике», нигде не перепечатаны».

4. РНБ. Ф. 1030. № 54. Л. 29.

5. Там же. Л. 14.

6. Первый цикл был опубликован отдельным нотным изданием и — тексты — в книге стихов «Осенние озера» (М., 1912), причем и в том и в другом случае даты были намеренно опущены. Второй цикл частично

опубликован в 1915 г. под названием «С Волги» (отдельным нотным изданием), частично сохранился в архиве Кузмина в РНБ. Отметим, что можно встретить и иное его название — «Времена жизни».

7. Речь идет о поездке четы Мережковских ко «граду Китежу». См.: *Гиппиус З. Н.* Светлое озеро: Дневники // Новый путь. 1904. № 1—2. Любопытная параллель к этому письму Кузмина — письмо Э. К. Метнера к Андрею Белому от 26—29 декабря 1902 г.: «Андрей Павлович Мельников (сын Печерского) сказал мне, что ему передавали раскольники о Мережковских; Д. С. и З. Н. были, как Вы знаете, «в лесах и горах»; их там приняли некоторые старые раскольники за Антихриста и Вавилонскую блудницу. Тот же Мельников рассказал мне, как Мережковский совсем нечаянно разыграл Хлестакова: в каком-то селении исправник и другие власти сочли его за какое-то важное лицо, посланное от правительства, и сообразно с этим рассыпались в чрезмерных любезностях; возили его всюду даром на земских лошадях чуть ли не цугом, и во всяком случае с эскортом верховых урядников; все это факты, ибо исправник представил счет расходам по приему Д<митрия> С<ергеевича> С<упругой>» (РГБ. Ф.167. Карт. 4. Ед. хр. 8. Л. 1 об.).

8. РНБ. Ф. 1030. № 22. Л. 31 об. — 32 об.

9. Там же. Л. 14 — 15 об. Григорий Михайлович *Казак* — владелец лавки, где продавались старообрядческие книги и иконы (см. о нем: Справочная книга о лицах Санктпетербургского купечества. СПб., 1901. — Указано В. В. Нехотиным). Степан Васильевич *Смоленский* (1848—1909) — исследователь и популяризатор русского церковного пения, с которым Кузмин консультировался. *Сокольский* Петр Петрович (1832—1887) — автор книги «Русская народная музыка великорусская и малорусская в ее строении мелодическом и ритмическом и отличия ее от основ современной гармонической музыки» (Харьков, 1888).

10. РНБ. Ф. 1030. № 54. Л. 29.

11. Имеются в виду два лета — 1902 и 1903 гг., проведенных им с семьей сестры, В. Н. Мошковой, в Васильурске.

12. Несколько писем А. Бехли к Кузмину хранится в ЦГАЛИ С.-Петербурга (Ф. 437. Оп. 1. Ед. хр. 13): письмо от 15 октября написано из Нижнего Новгорода, письма от 1 ноября и 8 декабря — из Москвы.

13. *Шумихин С. В.* Дневник Михаила Кузмина: архивная предыстория // Михаил Кузмин и русская культура XX века: Тезисы и материалы конференции 15—17 мая 1990 г. Л., 1990. С. 153. Здесь и далее текст публикации сверен с архивным оригиналом и разночтения исправлены без оговорок.

14. Под загл. «17 сонетов» опубликованы: *Кузмин М.* Собрание стихов. München, 1977. Т. III. С. 434—441. Автографы — в записной книжке 1904—1905 гг. (РГАЛИ. Ф. 232. Оп. 1. Ед. хр.10).

15. *Шумихин С. В.* Цит. соч. С. 152. Фамилия этого лифт-боя Луиджино — Кардони. См.: *Тимофеев А. Г.* «Итальянское путешествие» Михаила Кузмина // Памятники культуры: Новые открытия: Письменность. Искусство. Археология. Ежегодник 1992. М., 1993. С. 53.

16. См. в его письме Кузмину от 23 декабря 1906 г.: «Вижу, что есть кое-что автобиографическое (даже с именами!) и кое-что в этом отноше-

нии для меня новое...» (РГАЛИ. Ф. 232. Оп.1. Ед. хр. 432. Л. 197). Из реальных имен, вошедших в повесть, мы можем назвать имя флорентийского каноника Мори (правда, как сообщил нам проф. С. Гардзонио, поиски реального человека с таким именем во Флоренции конца прошлого века пока что не привели ни к каким результатам), одного из главных персонажей — Штрупа (см.: *Бернадт Г. Б., Ямпольский И. М., Киселева Т. Е.* Кто писал о музыке. М., 1991. Вып. 4. С. 48) и молодого старовеера Сорокина (см. выше в письме на с. 119).

17. См.: *Шмаков Г.* Блок и Кузмин // Блоковский сборник. Тарту, 1972. Вып. 2. С. 351—353; *Malmstad John E.* Mixail Kuzmin: A Chronicle of his Life and Times // Кузмин М. Собрание стихов. Т. III. С. 84—88; *Харер Клаус.* «Крылья» М. А. Кузмина как пример «прекрасной легкости» // Любовь и эротика в русской литературе XX века. Bern e.a., [1991]; *Gillis Donald S.* The Platonic Theme in Kuzmin's «Wings» // Slavic and East European Journal. 1978. Vol. 22 №. 3; *Тырышкина Е. В.* «Синайский патерик» в «Крыльях» М.Кузмина: Христианский текст в нехристианском контексте // Евангельский текст в русской литературе XVIII—XX веков: Цитата, реминисценция, мотив, сюжет, жанр. Петрозаводск, 1994.

18. Так, например, Кузмин описывает: «Тут я в первый раз имел связь с учеником старше меня, он был высокий, полунемец, с глазами почти белыми, так они были светлы, невинными и развратными, белокурый. Он хорошо танцевал и мы виделись, кроме перемен, на уроках танцев, и потом я бывал у него» (*Шумихин С. В.* Цит. соч. С. 149), что никак не походит на возвышенные попытки Смурова обрести крылья.

19. Все цитаты из прозы Кузмина приводятся по изданию: *Кузмин Михаил.* Проза. Berkeley, 1980—1990. Т. I—IX.

20. РГБ. Ф. 386. Карт. 91. Ед. хр. 13. Л. 4 — 4 об.

21. См.: *Cheron G.* Letters of V.Ja.Brjusov to M.A.Kuzmin // Wiener slawistischer Almanach. Wien, 1981. Bd. 7. S. 74.

22. РГБ. Ф. 386. Карт. 91. Ед. хр. 13. Л. 5.

23. Обзор откликов см. в комментариях А. В. Лаврова и Р. Д. Тименчика // *Кузмин М.* Избранные произведения. Л., 1990. С. 500—502.

24. Получив книгу Брюсова «Далекие и близкие», где впервые был напечатан этот отзыв, А. А. Кондратьев написал ему: «... многие критики списывают свое мнение с Вас, а руководствуются Вашими оценками — все...» (Письмо от 19 ноября 1911 г. // РГБ. Ф. 386. Карт. 90. Ед. хр. 8. Л. 26).

25. *Брюсов Валерий.* Среди стихов: Манифесты, статьи, рецензии. М., 1990. С. 379.

26. Имеется в виду В. Ф. Нувель. См. его письмо к Кузмину из Парижа от 8 мая 1907 г.

27. РГБ. Ф. 386. Карт. 91. Ед. хр. 12. Л. 7—8.

28. Подробнее см.: *Гаспаров М. Л.* Художественный мир писателя: Тезаурус формальный и тезаурус функциональный (М. Кузмин, «Сети», часть третья) // Проблемы структурной лингвистики 1984. М., 1988; *Harer Klaus.* Michail Kuzmin: Studien zur Poetik der frühen und mittleren Schaffensperiode. München, 1993. S. 58—89.

29. Отчасти эти отношения описаны и осмыслены в работах американских авторов: *Carlson Maria*. Ivanov — Bely — Minclova: The Mystical Triangle // *Cultura e Memoria*. [Pavia], 1988; *Wachtel Michael*. Viacheslav Ivanov: From Aesthetic Theory to Biographical Practice // *Creating Life: The Aesthetic Utopia of Russian Modernism*. Stanford, 1994. P. 158—162.

30. О князе Жорже см. примеч. 15 к первой статье книги.

31. *Девы* — ученицы художественной школы Званцевой, находившейся в том же доме, что и «башня» Вяч. Иванова. В квартире Званцевой Кузмин некоторое время жил.

32. Они были знакомы весьма неблизко. Два незначительных сохранившихся письма Кондратьева опубликованы: *Топоров В. Н.* Неомифологизм в русской литературе начала XX века: Роман А. А. Кондратьева «На берегах Ярны» [Trento, 1990]. С. 220—221. В дневнике Кузмина упоминания Кондратьева случайны.

33. Письмо к Б. В. Беру от 19 июля 1907 г. // *Литературное наследство*. М., 1982. Т. 92, кн. 3. С. 286.

34. *Cheron G.* F.Sologub and M.Kuzmin: Two Letters // *Wiener slawistischer Almanach*. Wien, 1982. Bd. 9. S. 373. Ср. также более позднюю и менее совершенную публикацию: Rabinovitz Stanley. F.K.Sologub: Two Unpublished Letters to M.A.Kuzmin // *Russian Literature Triquarterly*. 1988. № 21. P. 182.

35. *Russian Literature*. 1976. Vol. VI. № 3.

36. См. письма Вилькиной к Сомову: ГРМ. Ф. 133. Ед. хр. 216. Гораздо менее выразительные ответные письма — ИРЛИ. Ф. 39. Ед. хр. 930. В первоначальных планах «Картонного домика» (ИРЛИ. Ф. 172. Ед. хр. 321. Л. 91—92), ставших нам доступными уже после набора книги, Вилькина фигурирует под именем «Адель Петровна Закс» (что заставляет отождествить Матильду Петровну и Сакс в окончательном тексте). Отметим также, что вариантом имени Сметанина было «Сережа», фамилия Демьянова была Курмышев, Мятлев должен был именоваться Павлом Ивановичем Вершининым, Темиров был назван Николаем Павловичем Мятлевым (потом сменено на «Ронин»).

37. Частично опубликовано А. В. Лавровым и Р. Д. Тименчиком. См.: *Кузмин М.* Избранные произведения. Л., 1990. С. 505.

38. Не лишено известного вероятия, что в Овиновой отчасти зашифрована и она: присвоение имени реальной женщины влюбленному в нее по сюжету повести молодому человеку вполне было бы в духе поэтики номинации у Кузмина.

39. Александр Блок в воспоминаниях современников. М., 1980. Т. 1. С. 427; цитируемая фраза попала и в отдельно изданные «Воспоминания» Веригиной (Л., 1974), однако пассаж из «Картонного домика» там опущен.

40. См. различные свидетельства об этом в статье «Петербургские гафизиты» и в статье: *Богомолов Н. А.* Дневники в русской культуре начала XX века // *Тыняновский сборник: Четвертые Тыняновские чтения*. Рига, 1990.

41. См. дневниковую запись Кузмина, опубликованную в работе: Письма М. А. Кузмина к Блоку и отрывки из дневника М. А. Кузмина / Предисл. и публ. К. Н. Суворовой // Литературное наследство. М., 1981. Т. 92, кн. 2. С. 152.

42. Его описание в дневнике Кузмина см.: Там же. С. 155.

43. Читатель может это установить по сопоставлению недатированной записки Судейкина и его невесты к Кузмину с письмом С. А. Аусленддера к Л. Н. Вилькиной от 26 декабря 1906 г. Оба текста опубликованы: Кузмин М. Цит. соч. С. 505.

44. Фрагмент вокального цикла «Куранты любви».

45. Ср. описание этой предполагаемой картины в стихотворении Кузмина «Мой портрет» (цикл «Прерванная повесть»).

46. Имеется в виду написанный еще летом 1906 г. текст «Histoire édifiante de mes commencements».

47. Речь идет о жандармском ротмистре Георгии Порфирьевиче Судейкине (1850—1883).

48. Запись от 5 ноября 1906 г.

49. Григорий Васильевич Муравьев — любовник Кузмина в 1905-м и начале 1906 г.

50. См.: Кузмин М. Собрание стихов. München, 1977. Т. III. С. 621.

51. Обратим внимание на то, что стихотворение «Мечты о Москве», явно воспроизводящее впечатление от записанного разговора, в то же время очевидно восходит к стихотворному наброску 1904 г. «Эти весенние теплые дыхания...» (РГАЛИ. Ф. 232. Оп. 1. Ед. хр. 10).

52. Так Кузмин называл кружок «Вечера современной музыки» и его членов.

53. От домашнего прозвища жены Вяч. Иванова Л. Д. Зиновьевой-Аннибал.

54. Опубликовано А. В. Лавровым и Р. Д. Тименчиком. См.: Кузмин М. Избранные произведения. С. 505 (первое письмо — по копии из собрания М. С. Лесмана, второе — по оригиналу). В уже упоминавшихся планах «Картонного домика» сказано: «Письмо (точно)».

55. Литературное наследство. Т. 92, кн. 2. С. 155.

56. См. его письмо к К. А. Сомову от 13 сентября 1906 г. // ГРМ. Ф. 133. Ед. хр. 232.

57. Говоря это, мы должны, конечно, иметь в виду, что только к этому функции линии Курмышевой и Раисы далеко не сводятся. Так, рассказ о внезапной предсмертной причуде «бабиньки» безусловно проецируется на отношения Демьянова и Мятлева. Не случайно В. Ф. Нувель писал Кузмину: «...рассказ о Семенушке прямо шедевр».

58. См.: Морев Г. А. Полемический контекст рассказа М. А. Кузмина «Высокое искусство» // Ученые записки Тартуского университета: А. Блок и русский символизм: Проблемы текста и жанра. Тарту, 1991. Вып. 881; Морев Г. Заметки о прозе М. Кузмина («Высокое искусство») // Русская мысль. Литературное приложение № 11 к № 3852 от 2 ноября 1990 г.

59. Ср. отчет: *Кравцова И., Эльзон М.* // Русская литература. 1992. № 4.
60. Ученые записки Тартуского университета. Вып. 881. С. 92.
61. См. письма Элвиса к Вяч. Иванову от 4 апреля и 14 мая 1910 г. // РГБ. Ф. 109. Карт. 39. Ед. хр. 58.
62. См.: *Superfin G., Timenčik R.* A propos de deux lettres de A. A. Akhmatova à V. Brjusov // Cahiers du Monde russe et soviétique. 1974. Vol. XV. № 1—2. P. 190. .
63. Ученые записки Тартуского университета. Вып. 881. С. 92.
64. 19 января он был у Ремизовых.
65. Литературное наследство. Т. 92, кн. 3. С. 372.
66. В другом месте, несколько далее, Кузмин добавит к этому списку слово «уроды».
67. В черновике статьи Иванова «прекрасная ясность» прямо упоминалась. См.: *Кузнецова О.А.* Дискуссия о состоянии русского символизма в «Обществе ревнителей художественного слова» // Русская литература. 1990. № 1. С. 207.
68. *Иванов Вячеслав.* Собр. соч. Брюссель, 1974. Т. II. С. 598—599.
69. *Блок Александр.* Собр. соч.: В 8 т. М.; Л.: 1962. Т. 5. С. 433—434.
70. *Иванов Вячеслав.* Цит. соч. С. 602.
71. Подборку высказываний на эту тему см. в статье «Петербургские гафизиты».
72. *Иванов Вячеслав.* Цит. соч. С. 603.
73. Там же. С. 780.
74. Там же. С. 785.
75. Там же. С. 784.
76. *Эйхенбаум Б. М.* О литературе. М., 1987. С. 349.
77. *Иванов Вячеслав.* Цит. соч. С. 784.
78. Там же. С. 797.
79. С ними Кузмин был знаком, несомненно, не только по «Велико-светскому расколу» Лескова, но и по собственным впечатлениям. В «Histoire édifiante...» читаем: «Чичерин старался дать мне стража вместо Мори и, после моего отказа обратиться к Пейкер, направил меня к о. Алексею Колоколову...» (Михаил Кузмин и русская культура XX века. С. 152).
80. Обратим внимание на неслучайность подбора имен: все они являются именами апостолов.
81. *Иванов Вячеслав.* Цит. соч. С. 801.
82. Там же. С. 799.
83. См. в романе: «Он тотчас женился на Марье Ильиничне, отдававшей комнаты не строгим девицам и состоявшей их руководительницею, переехал в это тихое пристанище...»



84. Слово написано под титлом.

85. В планах задуманной, но не написанной повести «Красавец Серж» (ИРЛИ. Ф. 172. Ед.хр. 321. Л. 97 об. — 99) несколько раз фигурирует «Эпизод с Броскиным», что свидетельствует о принципиальной важности этого случая для Кузмина.

#### ИЗ КОММЕНТАРИЯ К СТИХАМ ДВАДЦАТЫХ ГОДОВ

Первая часть — Readings in Russian Modernism: To Honor V.F.Markov / Ed. by Ronald Vroon, John E.Malmstad. Moscow, 1993 / UCLA Slavic Studies. New Series. Vol. I. Вторая часть печатается впервые.

1. Кузмин М. А. Собрание стихов. München, 1977. Т. III. С. 674.

2. РГАЛИ. Ф. 232. Оп. 1. Ед. хр. 430. Л. 227—228.

3. См.: Шмаков Г. Блок и Кузмин (Новые материалы) // Блоковский сборник. Тарту, 1972. Вып. 2. С. 350; Malmstad John E. Mikhail Kuzmin: A Chronicle of His Life and Times // Кузмин М.А. Цит. соч. С. 74.

4. Т.е. крышки колбы. — Примеч. А. Н. Пыпина.

5. Кажется, что-то пропущено или ошибочно написано. — Примеч. А.Н. Пыпина.

6. Т.е. чистилище. — Примеч. А. Н. Пыпина.

7. Пыпин А. Н. Русское масонство (XVIII и первая четверть XIX в.) / Ред. и примеч. Г. В. Вернадского. Пг., 1916. С. 495—497. Впервые: Пыпин А. Н. Notunculus. Эпизод из алхимии и из истории русской литературы // Почин: Сборник Общества любителей российской словесности на 1896 год. М., 1896.

8. См.: Альтшуллер М. Масонские мотивы «второго тома» (Университетские штудии А. А. Блока и их отражение в лирике 1904—1905 годов) // Revue des études slaves. 1982. Т. IV. № 4. С. 597—600.

9. Указано в списке произведений Кузмина 1920—1928 гг. // ИРЛИ. Ф. 172. Оп. 1. Ед. хр. 319.

10. Кузмин Михаил. Дневник 1921 года / Публ. Н. А. Богомолова и С. В. Шумихина // Минувшее: Исторический альманах. [Paris, 1991]. Вып. 12. С. 463. В связи с опубликованностью дневника за этот год, не даем более подробных цитат.

11. Явная отсылка к «Письмам русского путешественника»: «Щастливые Швейцары! всякой ли день, всякой ли час благодарите вы Небо за свое щастие...» (Карамзин Н. М. Письма русского путешественника. Л., 1984. С. 102).

12. Имеются в виду: ресторан «Альбер», нередко упоминаемый в стихах Кузмина (чаще всего как ностальгически вспоминаемое прошлое); Нижний Новгород, в котором или недалеко от которого он нередко проводил лето в начале века, вплоть до 1906 г.; станция Окуловка Новгородской губ., недалеко от которой находилась фабрика, где служил зять Кузмина П. С. Мошков и где Кузмин часто бывал; меценатка Кузмина Еддокия

Аполлоновна Нагродская, в квартире которой он некоторое время жил (в дневнике регулярно выражается недовольство ею и многим, с ней связанным); лавка купца Казакова, завсегдатаем которой Кузмин был в начале века; издатель Зиновий Исаевич Гржебин, услугами которого Кузмину, как и многим, нередко приходилось пользоваться после революции, преодолевая внутреннюю неприязнь. Кстати сказать, дневниковые записи Кузмина подтверждают то весьма нелестное мнение о Гржебине, которое сложилось у литераторов, вынужденных продавать ему права на издание своих произведений в первые годы после революции, и вносят существенные коррективы в ту благостную картину деятельности Гржебина, которая складывается в ряде недавних публикаций (см., напр.: Зиновий Гржебин и Максим Горький: Из истории послереволюционной издательской деятельности З. И. Гржебина / Предисл. Л. Юниверга // Евреи в культуре русского зарубежья: Сборник статей, публикаций, мемуаров и эссе / Сост. М. Пархомовский. Иерусалим, 1992. Вып. 1. С. 142—145; *Гржебина Е. З. И. Гржебин — издатель: По документам и воспоминаниям его дочери* // Там же. С. 146—168 (Впервые — Solanus. 1987. Vol. 1; еще одна публикация — *Опыты*. 1994. № 1); *Вайнберг И.* «Все будет оценено — не может быть иначе» // Там же. С. 169—192; Возвращаясь к имени Зиновия Исаевича Гржебина: Незвестное письмо А. М. Горького В. И. Ленину / Публ. И. Вайнберга // Там же. Иерусалим, 1993. Вып. 2. С. 307—310.

13. См.: *Ronen Omry. A Functional Technique of Myth Transformation in Twentieth-century Russian Poetry* // *Myth in Literature*. Columbus (Ohio), [1984]. P. 114—116.

14. См.: *Масонство в его прошлом и настоящем* / Под ред. С. П. Мельгунова и Н. П. Сидорова. М., 1914. [Т. 1]. С. 167—168.

15. *Тукалевский Вл. Н. И. Новиков и И. Г. Шварц* // Там же. С. 213.

16. О дате см.: *Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1990 год*. СПб., 1993. С. 29.

17. Очевидная важность этой темы для русской литературы XX в. вызвала ряд работ Л. Ф. Кациса. Рискнем высказать предположение, что Кузмину понадобилось решительное снижение высокой и не располагающей, казалось бы, к шуткам темы не только для остранения, но и для размежевания с предельно серьезным отношением к ней Мережковских. Ср. в «Чешуе в неводе»: «Я позабыл про тройцу Мережковских, но какие же это теоретики? ворчливые дворцовые швейцары не у дел» (Стрелец: Сборник третий и последний. СПб., 1922. С. 101).

18. См. в кантате «Святой Георгий»:

Пеной  
Персеев конь  
у глоских приморий  
белеет, взмываясь...  
Георгий!

Подробнее о Георгии у Кузмина и его мифопоэтических аналогах см.: *Harer Klaus. Michail Kuzmin: Studien zur Poetik der frühen und mittleren Schaffensperiode*. München., 1993. S. 90—168.

19. *Франс Анатоль. Остров пингвинов*. Пг., 1919. С. 7.

20. Обратим внимание на явную двусмысленность последних слов: явно имеется в виду не только социальная революция в романе Франса, но и революция 1917 г.

21. *Франс Анатоль*. Цит. соч. С. 8—9. Отметим в последней фразе пародийное осмысление теории «вечного возвращения».

22. Это слово, семантически отмеченное для русской поэзии, как кажется, уже само по себе должно указывать на глубокую личность стихотворения, если следовать за прямым смыслом тютчевской строки: «Душа моя — элизум теней». Помимо этого, не настаивая на обязательности такого прочтения, напомним фразу из предисловия к «Острову пингвинов»: «Мы узнаем и лукавого под наивной внешностью летописца, роль которого так охотно берет на себя Франс, <...> и любовника древнего мира, представляющего нам его в загробном томном сиянии Елисейских полей, и насмешливого бенедиктинца...» (*Франс Анатоль*. Цит. соч. С. 7). Елисейские поля тут вполне могут представлять как распадающиеся на Элизум и Елисея.

23. Трубы этой строки далее оказываются аналогами труб страшного суда.

24. *Кузмин М.* Чешуя в неводе. С. 102—103.

25. Отметим еще один фрагмент из предисловия к роману Франса: «Дописать предсказания «Острова пингвинов» и проверить их, конечно, может одно лишь время» (С. 10).

26. Вспомним, что в наиболее беспощадном к советской России стихотворении «Не губернаторша сидела с офицером...» последняя фраза звучит все же: «Пройдет еще неделя И станет полотно белее снега», конец самого страшного из стихотворений цикла «Плен» озаряется солнечным светом и теплом, «Лазарь» завершается воскрешением и трансформацией героя.

#### «ОТРЫВКИ ИЗ ПРОЧИТАННЫХ РОМАНОВ»

Впервые — Новое литературное обозрение. 1993. № 3. Печатается с редакторской правкой.

1. Так его фамилию транскрибировали переводчики двадцатых годов и сам Кузмин; нынешние издатели предпочитают писать «Майринк» (см., помимо цитируемого далее издания, книгу: *Майринк Густав*. Голем; Вальпургиева ночь. М.: Прометей, 1990). В дальнейшем мы будем употреблять новую огласовку фамилии.

2. *Петров В. Н.* Из «Книги воспоминаний» // Панорама искусств. М., 1980. Кн. 3. С. 156. Полный вариант воспоминаний см.: *Петров В. Н.* Калиostro: Воспоминания и размышления о М. А. Кузмине / Публ. Г. Шмакова // Новый журнал. 1986. Кн. 163. С. 100.

3. *Cheron G.* Kuzmin's «Fore! Razbivaet Led»: The Austrian Connection // Wiener slawistischer Almanach. Wien, 1983. Bd. 12. S. 108. Ср. там же воспроизведение автографа.

4. См. в нашей книге статью «Вокруг “Форели”».

5. *Malmstad John E., Shmakov G.* Kuzmin's «The Trout Breaking through the Ice» // Russian Modernism: Culture and the Avant-Garde, 1900—1930. Ithaca; Lnd., 1976; *Малмстад Дж., Марков В.* Примечания // *Кузмин М.*

Собрание стихов. München, 1977. Т. III; *Тименчик Р. Д., Топоров В. Н., Цивьян Т. В.* Ахматова и Кузмин // *Russian Literature*. 1978. Vol. VI—3; *Паперно И.* Двойничество и любовный треугольник: поэтический миф Кузмина и его пушкинская проекция // *Studies in the Life and Works of Mikhail Kuzmin*. Wien, 1989; *Гаспаров Б.* Еще раз о прекрасной ясности: эстетика М. Кузмина в зеркале ее символического воплощения в поэме «Форель разбивает лед» // Там же; *Лавров А. В., Тименчик Р. Д.* Комментарии // *Кузмин М.* Избранные произведения. Л., 1990; *Тимофеев А. Г.* Комментарии // *Кузмин М.* Арена: Избранные стихотворения. СПб., 1994.

6. Майринк Густав. Ангел Западного окна: Роман / Пер. с нем. Владимира Крюкова. Предисл. Ю. Стефанова; послесл. Е. Головина. СПб.: Terra incognita, 1992. Далее сноски на эту книгу даются в тексте. Следует отметить, что в данном издании никак не упоминается о связях романа и стихотворений Кузмина, и тем показательнее, что в переводе, делавшемся без учета проекций романа на русскую поэзию, все-таки эти проекции обнаруживаются.

7. *Кузмин М.* Избранные произведения. С. 547.

8. Напомню, что в кузминском «Первом ударе» вспоминается «медиум — забитый чех». По предположению Р. Д. Тименчика (см.: Памятные книжные даты. М., 1988. С. 160—161; ср. также: *Кузмин М.* Избранные произведения. С. 548), имеется в виду реальный медиум Ян Гузик, гастролировавший в Петербурге в 1913 г. Однако хотелось бы отметить, что на самом деле Гузик был не чехом, а поляком. Его биографию см.: Ребус. 1901. № 9. С. 95. Ср. также информации «Ребуса»: 1901 № 5, 15; 1903. № 17.

9. Имплицитное сопоставление текстов см.: *Лавров А. В.* «Другая жизнь» в стихотворении А. Блока «Было то в темных Карпатах...» // Сборник статей к 70-летию проф. Ю. М. Лотмана. Тарту, 1992.

10. Установлено Р. Д. Тименчиком; в цикле и в кинофильме есть прямые параллели.

11. См.: *Кузмин М.* Избранные произведения. С. 548.

12. С меньшим основанием можно относить к прототипической основе текста «Форели» отношения Кузмина с Н. Н. Сапуновым (при учете той функции, которую играет Темиров-Сапунов в повести «Картонный домик»), а также реально существовавший треугольник Кузмин — Князев — П. О. Богданова-Бельская.

13. См.: «Много бы я дал, чтобы узнать его мнение об этом приживале (Келли. — Н.Б.), который так или иначе, несмотря на явную абсурдность такого допущения, напоминает мне бессознательного медиума Бартлета Грина!» (С. 207; ср. также с. 451).

14. Как параллель комментаторы указывают лишь «ангела песнопений» из стихотворений А. Д. Радловой.

15. Кажется, до сих пор исследователями не отмечена практически неприкрытая полемика этих строк с теориями акмеистов.

16. Особенно очевидно это в стихотворении с важным в контексте нашего разговора заглавием «Ангел благовествующий» (цикл «Плен»).

17. Последнее слово исправлено по беловому автографу; в печатном тексте — «оплата».

18. В романе она неоднократно отождествляется с богинями Ночи и Луны (хотя вообще ее функции значительно шире: см. коммент. на с. 503—507), таким образом являясь частичной заместительницей Гекаты.

19. Ср. тему «близнеца»—«одиночки» в «Десятом ударе» «Форели».

20. Описание нового пространства, увиденного «белым глазом» Барллета Грина, см. выше.

21. В черновике непосредственным продолжением этих строк является выразительное: «От двадцати до двадцати пяти».

#### ВОКРУГ «ФОРЕЛИ»

Впервые — Михаил Кузмин и русская культура XX века.: Тезисы и материалы конференции 15—17 мая 1990 г. Л., 1990. Печатается с дополнениями и изменениями.

1. См. об этом коммент. Дж. Малмстада и В. Маркова к этим стихам в третьем томе «Собрания стихов», а также работу: *Ratgauz M.* Кузмин и кино // Киноведческие записки. 1992. Кн. 13.

2. *Ботт Мария-Луиза*. О построении пьесы Михаила Кузмина «Смерть Нерона» (1928—1929 г.) // *Studies in the Life and Works of Mixail Kuzmin*. Wien, 1989. P. 141.

3. Дата взята из списка произведений Кузмина 1920—1928 гг. (ИРЛИ. Ф. 172. Оп. 1. Ед. хр. 319). Ср. также: *Тимофеев А. Г.* Материалы М. А. Кузмина в Рукописном отделе Пушкинского Дома // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1990 год. СПб., 1994.

4. По текстологическому недоразумению (видимо, из-за испорченной копии) в двух известных нам посмертных публикациях этого текста вместо прямо сказанного в стихотворении: «Фейдт и Гофман повернулись» было напечатано: «Фейдт и Рихтер повернулись», что заставило, соответственно, прочесть и имя Теодор как имя актера Теодора Рихтера (см.: *Кузмин М. А.* Собрание стихов. Т. III. С.500—502; *Ratgauz M. G.* Цит. соч., приложение III. С.84—86). Верное чтение содержится как в беловом автографе из собрания А. М. Луценко, так и в черновике (РГАЛИ. Ф. 232. Оп. 1. Ед. хр. 6).

5. См.: *Джойс Дж. Улисс* / Пер. В. Житомирского // Новинки Запада. М.; Л., 1925. Ср. в воспоминаниях В. Н. Петрова: «Книги с трудом проникали через границу и были редки. «Новыми» считались книги предшествующего десятилетия. Правда, имена Джойса и Пруста иногда мелькали в газетной полемике. В. О. Стенич переводил Джойса, но я не помню, чтобы Михаил Алексеевич когда-нибудь упоминал это имя» (Новый журнал. 1986. Кн. 163. С. 100).

6. См.: *Cheron G.* Kuzmin and Oberiuty // *Wiener slawistischer Almanach*. Wien, 1983. Bd. 12. Сам Кузмин, впрочем, полагал, что в произведениях этого рода он вступает в соперничество с Юркуном.

7. Цит. соч. С. 72.

8. Мы не можем быть уверены, но не лишено вероятия, что это — бывший одноклассник Кузмина.

## ВХОЖДЕНИЕ В ЛИТЕРАТУРНЫЙ МИР

Объединены две публикации — Новое литературное обозрение. 1993. № 1 и De Visu. 1993. № 5. Печатается с изменениями и дополнениями.

1. Судя по письмам и автобиографическим записям «Histoire édifiante de mes commencements», позиция Кузмина была в чем-то аналогичной той, что описана им самим при изображении Штрупа в «Крыльях» (см. выше, с. 123.). Несомненно, что делалось в жизни это гораздо более интенсивно, но сами интенции были схожими.

2. *Иванов Георгий*. Собр. соч.: В 3 т. М., 1994. Т. 3. С. 105—106.

3. Опубликовано в статье: *Malmstad John E.* Mixail Kuzmin: A Chronicle of his Life and Art // *Кузмин М.* Собрание стихов. München, 1977. Т. III. P. 35.

4. Вошли в сборник «Осенние озера» (М., 1912); тогда же появилось отдельное нотное издание, неся на себе мистифицирующее посвящение Всеволоду Князеву.

5. ГРМ. Ф. 133. Ед. хр. 232.

6. *Ремизов А.* Кукха. Розановы письма. Берлин, 1923. С. 107.

7. РНБ. Ф. 643. № 18. Л. 4; несколько отличающийся вариант опубликован: *Кузмин М.* Собрание стихов. Т. III. С. 466.

8. См.: *Аксакова-Сиверс Т. А.* Семейная хроника. [Paris, 1986]. Т. II. С. 216.

9. См. предисловие Ж. Шерона к его публикации: *Letters of V.Ja.Brjusov to M.A.Kuzmin* // *Wiener slawistischer Almanach*. Wien, 1981. Bd. 7.

10. Подробнее о нем см. содержательную статью Т. В. Павловой в кн.: *Русские писатели 1800—1917: Биографический словарь*. М., 1994. Т. 3.

11. Два из них находятся в той же единице хранения, что и три публикуемых нами, еще три, относящихся к 1906 г., — ИРЛИ. Ф. 123. Оп. 2. Ед. хр. 276 (опубликованы: *Тимофеев А. Г.* Материалы М. А. Кузмина в Рукописном отделе Пушкинского Дома // *Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1990 год*. СПб., 1993. С. 46—49; там же еще одно письмо от октября 1909 г.). Письмо Кузмина к Ликиардопуло присоединено к его письмам к В. Я. Брюсову (РГБ. Ф. 386. Карт. 91. Ед. хр. 13).

12. Сведения о дате выхода почерпнуты из дневника Ю. Н. Верховского. См.: РГБ. Ф. 697. Карт. 3. Ед. хр. 38. Л. 27.

13. В начале 1907 г. (письмо не датировано) Брюсов сообщал отцу: «“Крылья” Кузмина имеют большой успех. Все хотят купить № 11, где они напечатаны. Выпускаем роман отдельной книжкой» (РГБ. Ф. 386. Карт. 142. Ед. хр. 9. Л. 1 об.).

14. Письмо от 21—24 июля 1907 г. Цит. по.: *Ямпольский И. Г.* Валерий Брюсов и первая русская революция // *Литературное наследство*. М., 1934. Т. 15. С. 214. Текст сверен с рукописной копией: РГБ. Ф. 386. Карт. 142. Ед. хр. 9. Л. 16 об. — 17.

15. Письмо без даты. См.: РНБ. Ф. 124. № 4488; дата определяется на основании письма Кузмина к К.А.Сомову от 25/12 октября: «Сегодня получил несколько писем, но очень трогательное письмо от Феофилактова, где он просит меня не соглашаться на участие в новом журнале Грифа “Перевал”» (ГРМ. Ф. 133. Ед. хр. 232. Л. 15).

16. Некоторые материалы, относящиеся к этому процессу, см.: ЦГАЛИ С.-Петербурга. Ф. 437. Оп. 1. Ед. хр. 187.

17. Об обстоятельствах, при которых начинались эти выплаты, шедшие через брата Чичерина Николая Васильевича и его жену Наталью Дмитриевну, см. письмо Г. В. Чичерина к Н. Д. Чичериной от 22 ноября/5 декабря 1904 г.: «...обращаюсь к Вам, так как Вы с самого начала отлично отнеслись к Кузмину и сумели оценить его выдающуюся натуру. Умоляю Вас теперь заняться им. Продолжавшаяся почти 1/4 столетия жизнь разрушилась. Он с детства жил вдвоем с матерью и теперь остается совершенно один. Он несомненно вполне беспомощен и растерян. *Нельзя* его так оставить без содействия. <...> Поймите положение! В этой квартире, где почти 1/4 столетия протекала вся его жизнь, он остается вдвоем с трупом матери!! Надо как можно скорее устроить его у каких-нибудь хороших знакомых, где он чувствовал бы себя тепло. <...> Он «менестрель на готовых хлебах», он таким создан и таким должен быть. Я считаю возможным для себя уделять на него 100 руб. в месяц. <...> Главное сейчас — поддержать его в первое время катаклизма. Еще раз умоляю Вас заняться им!» (РНБ. Ф. 1030. № 16. Л. 5—5 об.).

18. До этой даты деньги ему были выплачены. См. письмо Г. В. Чичерина к Н. Д. Чичериной от 1/14 февраля 1907 г.: «У меня значит, что в 1905 было передано Николе (Н. В. Чичерину. — *Н.В.*) для Кузмина 1200 р. от 1/X 905 до 1/IX 906; в 1906 было передано Николе для Кузмина 1200 р. от 1/X 906 до 1/IX 907» (Там же. № 58. Л. 3). В дневнике есть записи, свидетельствующие, что и в дальнейшем Кузмин получал какие-то деньги от Н. В. Чичерина. Но были ли это регулярные выплаты от Г. В. или какие-то другие суммы, мы не знаем.

19. *Cheron G.* Op. cit. S. 72. Печ. с небольшими уточнениями по автографу (РНБ. Ф. 124. № 675).

20. См. об этом ниже, в письмах к Руслову от 2 и 8—9 декабря 1907 г.

21. *Cheron G.* Op. cit. S. 73.

22. Письмо от 6 декабря 1907 г. см.: РГБ. Ф. 386. Карт. 91. Ед. хр. 12. Л. 21.

23. Об источниках «Крыльев» см.: *Харер Клаус*. «Крылья» М. А. Кузмина как пример «прекрасной легкости» // *Любовь и эротика в русской литературе XX века*. Верн е.а., [1991]; об отражениях платоновских идей — *Gillis Donald S.* The Platonic Theme in Kuzmin's «Wings» // *Slavic and East European Journal*. 1978. Vol. 22. № 3.

24. См.: *Тимофеев А. Г.* Прогулки без Гуля? (К истории организации авторского вечера М. А. Кузмина в мае 1924 г.) // *Михаил Кузмин и русская культура XX века*. Л., 1990.

25. *Шмаков Г.* Блок и Кузмин // *Блоковский сборник*. Тарту, 1972. Вып. 2.

26. *Блок Александр*. Собр. соч.: В 8 т. М.; Л., 1963. Т. 8. С. 241.

27. См. о ней: *Мок-Бикер Э.* «Коломба десятих годов...» СПб., 1993.

28. Помимо литературы, указанной в статье Р. Д. Тименчика о ней (Русские писатели 1800—1917: Биографический словарь. М., 1989. Т. 1. С. 299) см. беллетризованные мемуары Г. Иванова (*Иванов Георгий*. Цит. соч. С. 194 и далее) и воспоминаний одного из ее многочисленных мужей («Не забыта и Паллада...»: Из воспоминаний графа Б. О. Берга / Публ. Р. Д. Тименчика // Русская мысль. Лит. приложение № 11 к № 3852 от 2 ноября 1990 г.).

29. Как кажется, довольно адекватно отношение Кузмина к типу Паллады представлено в романе «Плавающие путешественные», где вмешательство Полины ведет к страшным последствиям, несколько сглаживаемым сюжетными поворотами, но от того не менее трагическим.

30. Фрагменты первой тетради дневника (по машинописной копии) опубликованы Ж. Шероном (*Wiener slawistischer Almanach*. Wien, 1986. Bd. 17), дневник 1921 г. по оригиналу — Н. А. Богомоловым и С. В. Шумихиным (Минувшее: Исторический альманах. Вып.12—13. СПб.; М., 1993), дневник 1931 года — С. В. Шумихиным (Новое литературное обозрение. 1994. № 7). Полная публикация дневника готовится Н. А. Богомоловым и С. В. Шумихиным.

31. Большие фрагменты переписки использованы в биографии Кузмина (*Богомолов Н. А., Малмстад Дж. Э.* Михаил Кузмин: Искусство, жизнь, эпоха. М., 1995), извлечения из переписки опубликованы С. Чимишкян (*Cahiers du Monde russe et soviétique*. 1974. Т. 15. № 1/2), целостная подборка итальянских писем Кузмина напечатана А. Г. Тимофеевым (*Тимофеев А. Г.* «Итальянское путешествие» Михаила Кузмина // Памятники культуры: Новые открытия. Ежегодник 1992. М., 1993).

32. Письма Кузмина хранятся в архиве В. Я. Брюсова в РГБ и подготовлены нами для публикации в издании материалов из архива Кузмина в издательстве Berkeley Slavic Specialties; письма Брюсова опубликованы Ж. Шероном (в не раз называвшейся нами работе) и А.Г.Тимофеевым (Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1990 год. С. 49—51).

33. См. публикацию в настоящем издании. Первоначально письма Нувеля лета 1907 г. были опубликованы Ж. Шероном (*Wiener slawistischer Almanach*. Wien 1987. Bd. 19).

34. Видимо, нелишне будет напомнить хотя бы одну запись из дневника, свидетельствующую о настроении Кузмина осенью 1907 г.: «Было бы много денег, я бы не горевал, сшил бы платья, пошел бы в балет, в театр, в «Вену» (излюбленный петербургской богемой ресторан. — *Н.Б.*), что я знаю? взял бы тапку (пассивный педераст. — *Н.Б.*), поехал бы кататься. Или лучше опять засесть за греков, никуда не ходить, писать, сидеть дома — и все приложится. Ах, если бы Наумов был другой!» (9 сентября).

#### ПЕРЕПИСКА С В. Ф. НУВЕЛЕМ

Печатается впервые.

1. Михаил Кузмин и русская культура XX века. Л., 1990. С. 154.

2. См.: *Cheron G.* Letters of V.F.Nuvel' to M.A.Kuzmin: Summer 1907 // *Wiener slawistischer Almanach*. Wien, 1987. Bd.19; Блок в неизданной пере-



писке и дневниках современников (1898—1921) / Вступ. ст. Н.В.Котрелева и З. Г. Минц, публ. Н. В. Котрелева и Р. Д. Тищенко // Литературное наследство. М., 1982. Т. 92, кн. 3. С. 288—289, 291, 293. См. также предисловие к публикации А. Г. Тимофеева (Новое литературное обозрение. 1993. № 3. С. 121).

3. Наиболее подробно рассказано о Нувеле в мемуарах А. Н. Бенуа, знакомого с Нувелем еще с гимназических дней. См.: *Бенуа Александр. Мои воспоминания*. Изд. 2-е., доп. М., 1990. Кн. первая, вторая, третья. С. 486—491; То же. Кн. четвертая, пятая. С. 222—225.

4. Валентин Серов в воспоминаниях, дневниках и переписке современников. Л., 1971. Т. 1. С. 373.

5. *Добужинский М. В.* Воспоминания. М., 1987. С. 203.

6. Наиболее серьезное свидетельство подобного рода — письма З. Н. Гиппиус к Нувелю (РГАЛИ. Ф. 781. Оп. 1. Ед. хр. 5). К сожалению, ответные письма Нувеля нам не известны.

7. Помимо отмеченного комментаторами различных книг участия в работе над монографией А. Гаскелла «Дягилев. Его художественная и частная жизнь» (Л., 1935), Нувель оставил написанные по-французски воспоминания о Дягилеве, известные составителям двухтомника дягилевских материалов, но использованные ими лишь частично из-за чрезмерно большого объема (РГАЛИ. Ф. 2712. Оп.1. Ед. хр. 104. 308 л.).

8. *Бенуа Александр.* Цит. соч. Кн. четвертая, пятая. С. 477.

#### ДНЕВНИКОВЫЕ ЗАПИСИ В.К.ШВАРСАЛОН

Печатается впервые.

*Николай Алексеевич Богомолов*

**МИХАИЛ КУЗМИН: СТАТЬИ И МАТЕРИАЛЫ**

**Технический редактор**

*В. Авдеева*

**Корректор**

*Л. Морозова*

**Формат 60×90<sup>1</sup>/<sub>16</sub>. Бумага офсетная № 1.  
Гарнитура «Schoolbook». Офсетная печать.  
Уч.-изд. л. 23. Тираж 3 000 экз.  
Зак. 431.**

**АО "Астра семь". 121019, Москва, пер. Аксакова, 13.**

